

A959/D

W.P. ellagestrafu us docki po takoñael irodu rozyjoh Dla Bibljoteki Publicznej w bodzi g mi - 19





PYCCRIE NUCATEJN NOCJB. POPOJA.

TUNTERN

A959. D

РУССКІЕ ПИСАТЕЛИ

посль гоголя

ЧТЕНІЯ, РФЧИ И СТАТЬИ

ОРЕСТА МИЛЛЕРА.

SEND ALOTER

часть III.

С. Т. АКСАКОВЪ—ІІ. И. МЕЛЬНИКОВЪ. А. Н. ОСТРОВСКІЙ.



С.-ЛЕТЕРБУРГЪ. ИЗДАНІЕ Н. Ц. КАРВАСНИКОВА.







ОТЪ АВТОРА.

Около года тому назадъ я выпустиль въ свётъ третьимъ изданіемъ мои публичныя лекціи о новыхъ Русскихъ писателяхъ, дополнивъ ихъ нёкоторыми статьями и рёчами. Изъ одной книги первыхъ двухъ изданій вышли такимъ образомъ цёлыхъ двё части. Въ предисловіи къ 3-му изданію я указалъ на то, что со временемъ могутъ появиться въ свётъ и дальнёйшія части. Въ настоящее время издается 3-ья, посвященная С. Т. Аксакову, П. И. Мельникову и А. Н. Островскому. Всё три характеристики появляются въ печати въ первый разъ.

Ор. Миллерг.

26-го ноября 1887 г.

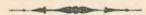




ОГЛАВЛЕНІЕ.

$C.$ $T.$ $AKCAKOB\mathcal{D}.$	CIP
С. Т. АКСАКОВЪ І. "Семейная Хроника". І. "Дътскіе годы Багрова внука".—"Наташа".—"Восноминанія"	1 7 30
П. И. МЕЛЬНИКОВЪ.	
(А. Печерскій).	
1. Разсказы и очерки. . II. "Въ Лѣсахъ". . III. "На Горахъ". .	63 78 107
$A.\ H.\ OCTPOBCKIЙ.$	
А. Н. ОСТРОВСКІЙ	133
чтемся".— "Бѣдная Невѣста"	135
—"Не такъ живи, какъ хочется"	162
сошлись характерами". — Бальзаминовская трилогія	194 217
V. "Старый другъ лучше новыхъ двухъ".—"Гръхъ да бъда на кого пе живстъ".—"Путники".—"На бойкомъ мъстъ".—"Пучина"	245
orn, hirliman	- 10

VI.	"Козьма Захарычъ Мининъ Сухорукъ"	265
VII.	"Воевода". – "Димитрій Самозванецъ и Василій Шуй-	
	скій".—"Тупино"	277
VIII.	"Василиса Мелентьева"	297
IX.	"На всякаго мудреца довольно простоты". "Горячее	
	сердце" "Бъшевыя деньги" Не все коту масляни-	
	ца".—"Лѣсъ"	307
Χ.	"Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ". — "Комикъ XVII	
	стольтія". — "Снътурочка". — "Поздняя любовь"	326
XI.	"Трудовой хлюбъ". — "Богатыя невъсты". — "Волки и	
	Овцы""Правда хорошо, а счастье лучие""Послъд-	
	няя жертва"	336
XII.	"Безприданница".—"Сердце не камень".—"Невольницы".	
	— _" Таланты и поклонники"	353
XIII.	"Красавелъ мужчина".—"Безъ вины виноватые".—"Не	
	отъ міра сего"	373
XIV.	Заключение	383



С. Т. АКСАКОВЪ *).

Что это? и С. Т. Аксаковъ въ числъ Русскихъ писателей послѣ Гоголя? Да вѣдь если онъ умеръ семью голами позже геніяльнаго родоначальника Русскаго реализма, то въль онъ началъ свое литературное поприще еще въ двалцатыхъ годахъ, даже ранбе. Положимъ; но развъ до своего знакомства съ Гоголемъ Аксаковъ былъ темъ же, кемъ сталь подъ конецъ жизни Гоголя? Правда, уже въ «Буранъ», напечатанномъ Аксаковымъ еще въ 1834 г., блистательно сказываются признаки того дарованія, которое такъ поразило читающую публику при появленіи «Семейной Хроники». Но въдь и въ небольшомъ очеркъ 1834 г. уже могло сказаться вліяніе Гоголевскаго, а отчасти, конечно, и Пушкинскаго реализма, хотя еще критикъ «Русской Бесёды» напомниль о томъ, что Аксаковскій очеркь появился «за два года до знаменитаго Пушкинскаго описанія бурана въ «Капитанской дочкъ» **). Какъ бы то ни было, набрасывать прославившую его потомъ «Семейную Хронику» Аксаковъ началъ только въ 1840 г., а отрывки изъ нея появились въ печати уже шесть лътъ спустя, въ «Московскомъ Сборникъ» 1846 г. Первый узналь про эти

^{*)} Изъ лекцій, читанныхъ въ Сиб. Университетъ въ 1887 г.

^{**)} Р. Бесфда 1856 г., кн. 1, стр. 45. Отд. критики.

отрывки и первый по достоинству ихъ оцфниль не кто другой, какъ Гоголь, — этотъ младшій другъ С. Т. Аксакова, имъвшій несомнънное право считать его въ числь своих тучениковъ. Первыми большими трудами Аксакова, сразу появившимися въ полномъ видъ и впервые обратившими на себя вниманіе публики, были, какъ изв'єстно: «Записки объ уженьи рыбы» (1847 г.), «Записки оружейнаго охотника» (1852 г.) и «Разсказы и воспоминанія охотника» (1855 г.). Вторая изъ поименованныхъ книгъ напла себъ восторженнаго ценителя въ одномъ изъ знаменитыхъ последователей Гоголя, И. С. Тургеневъ. «Онъ смотрить на природу (одушевленную и неодушевленную), говорить объ Аксаковъ авторъ «Записокъ «Охотника», не съ какой нибудь исключительной точки зрѣнія, а такъ, какъ на нее смотртть должно: ясно, просто, и съ полнымъ участіемъ... Передъ такимъ взоромъ природа раскрывается и даетъ ему «заглянуть» въ себя Оттого... когда я прочелъ, напримъръ, статью о тетеревъ, мнъ, право, показалось, что лучше тетерева жить невозможно... Еслибы тетеревъ могъ разсказать о себъ, онъ бы, я въ томъ увъренъ, ни слова не прибавилъ къ тому, что о немъ повъдалъ намъ г. Аксаковъ» *).

Объ охотничьихъ книгахъ Аксакова и о книгѣ его объ уженьи и критикъ «Р Бесѣды» (Н. П. Г—въ), и критикъ «Отечественныхъ Записокъ» (С. С. Дудышкинъ) замѣтили, что это не спеціальныя, а скорѣе поэтическія книги, хотя самъ авторъ, быть можетъ, и придавалъ имъ болѣе утилитарное значеніе (первое изданіе книги объ уженьи, по замѣчанію г. Н. Г—ва, отличается большею сухостью, чѣмъ второе, въ которомъ художническая натура автора окончательно одержала верхъ надъ его утилитарною цѣлью). Къ такому же мнѣнію приходилъ и И. С. Тургеневъ, хотя, самъ страстный охотникъ, онъ способенъ былъ признавать у С. Т. Аксакова и многое поучительное въ чисто

^{*)} Соч. И. С. Тургенева, т. І, стр. 352.

охотничьемъ смыслъ *). Въ какой бы мъръ ни признавали мы въ этихъ книгахъ Аксакова и художественный интересъ, остается, кажется, только согласиться съ критикомъ «Русской Бесъды», что «художественно изображенная охота возбуждаеть наше сочувствіе только отрицательно»... «Въ сущности, эта борьба (т.-е. борьба охотника съ представляющимися ему препятствіями) пуста... Сочувствіе и любовь охотника къ своимъ жертвамъ также пусты: ибо они обращены на природу, не имъющую нравственнаго достоинства. Перейдите маленькую черту, и успокоивающее, а отчасти трогающее впечатлъние превратится въ комическое... Охотникъ въ пыли, наполовину въ грязи, съ едва переводимымъ дыхавіемъ слъдящій за движеніями маленькой птички, истощающій запась силы, ума и искусства, чтобы убить ее, не комическое ли явленіе?» **). Иначе. конечно, смотритъ И. С. Тургеневъ, говоря, по поводу книги Аксакова, объ историческомъ значеніи у насъ охоты съ издавнихъ княжескихъ временъ, о томъ значеніи ея, какъ одного изъ видовъ оборонительной земской службы, которое сказывается, конечно, и въ следующихъ словахъ Тургенева: «дайте мужику ружье, хоть веревками связанное, да горсточку пороху, и пойдеть онъ бродить, въ однихъ лаптишкахъ, по болотамъ да по лъсамъ съ утра до вечера. И не думайте, что бы онъ стрёляль изъ него однёхъ утокъ: съ этимъ же ружьемъ пойдетъ онъ караулить медвъдя на «овсахъ», вобьетъ въ дуло не пулю, а самодъльный, кой-какъ сколоченный, жеребій-и убьетъ медвъдя; а не убьеть, такъ дасть медвъдю себя поцарапать, отлежится, полуживой дотащится до дому и, коли выздоровъетъ, опять пойдетъ на того же медвъдя съ тъмъ же ружьемъ. Правда, случится иногда, что медвъдь опять его поломаеть; но въдь Русскимъ же человъкомъ сложена пословица, что звъря бояться—въ лъсъ не ходить» ***). Тутъ,

^{*) &}quot;Не чуждыми вибшней, спеціальной или практической цёли" признаваль охотпичьи книги Аксакова и критикь "Атенея" (А. Станкевичь).

^{**)} Р. Бесъда 56 г., вн. 1, стр. 26. Отд. критики.

^{***)} Соч. Тургенева, т. І, стр. 350.

разумбется, нёть уже пустоты, какь нёть и ничего комическаго; туть совсёмь другая сторона охоты, ни мало, разумбется, не роняющая человёческаго достоинства.

Во всякомъ случав, несомивно правъ, конечно, покойный Дудышкинъ, усматривая въ поэтической сторонъ охотничьихъ книгъ Аксакова собственно только «фактъ той большой картины Русской жизни, которая настоящій свой интересъ получаетъ лишь изображеніемъ человъка, обитателя этихъ льсовъ, этихъ безпредъльныхъ полей». Но такое изображеніе даетъ намъ уже «Семейная Хроника», воспроизводящая передъ нами, по замъчанію того же критика, жизнь Русскаго человъка XVIII ст. въ цъломъ рядъ художественныхъ портретовъ *).

Мы не станемъ по всему этому останавливаться не только на технической, но даже и на поэтической сторонъ книгъ Аксакова объ охотъ и уженьи, хотя бы самъ Гоголь сказалъ, что въ птицахъ и рыбахъ Аксакова болъе жизни, чъмъ въ его собственныхъ, т.-е. Гоголевскихъ людяхъ, и хотя бы въ разсказъ 2-го тома «Мертвыхъ Душъ» о двухъ мартынахъ (птицахъ)—мартынъ, уже поймавшемъ рыбу, и мартынъ, еще не поймавшемъ рыбы, и слышалось, какъ это кажется г. Н. Г—ву, вліяніе на самого Гоголя охотничьихъ сценъ Аксакова **).

Мы вполнъ готовы допустить обратное вліяніе старика Аксакова на своего, сравнительно молодого, учителя. Но въдь тъмъ же критикомъ признано, что «окончательнымъ развитіемъ своего таланта Аксаковъ, безъ сомнънія, обязанъ Гоголю», который «первый вполнъ показалъ намъ все художественное значеніе для насъ современной народной дъйствительности»,... «первый пригнулъ насъ совершенно къ землъ, чтобъ оттуда, какъ все получаетъ себъ жизнь и силу, такъ извлекалъ бы ***) себъ и художникъ силу и одушевленіе». Это, конечно, не помъщаетъ намъ признать

³) Отеч. Зап. 56 г., Апрель, стр. 72. Отд. критики.

^{**)} Р. Бесъда 56 г., кн. 1, стр. 5. Отд. вритики.

^{***)} Тамъ же, стр. 43.

и върность мевнія покойнаго Дудышкина, что «манера Аксакова напоминаетъ манеру Пушкина въ повъстяхъ послъднихъ его лътъ» *). Но въдь существовало же и взаимовліяніе между Пушкинымъ и Гоголемъ. Замфтимъ. наконецъ, тутъ же, что иностранная критика оговаривалась совершенно справедливо: «хотя и ученикъ Гоголя, Аксаковъ не обладаетъ нисколько юмористическимъ талантомъ своего учителя и на предметь свой, во всёхъ его разнообразнъйшихъ проявленіяхъ, смотритъ съ совершенною ясностью» **). Эта «ясность» Французскаго критика, повидимому, вполнъ соотвътствуетъ тому «полному безпристрастію къ дъйствительности, какое замътиль у Аксакова критикъ «Русской Бесъды», — «безпристрастію, какъ поясняль онь, сочувствующему, желающему въ каждомъ явленій отыскать свётлую сторону, которою бы смягчалось впечатлъніе, производимое его темною стороною». Въ этомъ справедливо можно видъть у Аксакова шагъ впередъ, «возникающее, по выраженію того же критика, въ немъ виднъе нежели въ другихъ, отръшение искусства отъ прежней отрицательности» ***). Покойный А. С. Хомяковъ, формулируя взглядъ «Р. Бесты», выразился такимъ образомъ, что С. Т. Аксаковъ «первый изъ нашихъ литераторовъ взглянулъ на нашу жизнь съ положительной, а не съ отрицательной точки зрвнія» ****). Онъ такимъ образомъ достигъ того, къ чему такъ болъзненно, а потому и такъ неудачно, сталъ стремиться Гоголь. Такимъ образомъ не только такой молодой ученикъ великаго юмориста, какъ Достоевскій въ своихъ «Бѣдныхъ Людяхъ», но и такой старый его ученикъ, какъ Аксаковъ, въ известномъ смысле

^{*)} Отеч. Зап. 56 г., Апрыль, стр. 84.

^{**)} Миѣніе Делаво въ Revue des deux Mondes, сообщенное въ № 9 "Современника" 1857 г.

^{***)} Р. Бестда 56 г. І. 22. Къ тому же пришель и критикъ Руск. Въстинка Ф. Дмигріевь.

^{****)} Подное Собраніе сочиненій С. Т. Аксакова І, стр. X V. Кътому же вь сущности приходиль и покойный П. В. Анненковь въ "Современникъ" 1856 г.

опередилъ учителя, т.-е. представилъ своего рода «поправку» или, върнъе сказать, дополненіе къ его направленію. Это ни мало не упраздняетъ зависимости обоихъ отъ Гоголя, т.-е. отъ Гоголевской близости къ жизни, отъ его простоты и безъискусственности. Самъ С. Т. Аксаковъ признавалъ вліяніе на себя Гоголя, наприм., вспоминая, какъ во время оно сказалъ онъ кн. Шаховскому, что считаетъ оскорбленіемъ искусству представлять на сценъ, какъ мошенники вытаскиваютъ деньги изъ кармановъ добрыхъ людей и плутуютъ въ карты. «Я, замъчаетъ онъ при этомъ, былъ не совсъмъ правъ и не предчувствовалъ Гоголевскихъ «Игроковъ»; неясно и нетвердо понималъ я, что высокое художество можетъ воспроизводить и пошлое и, до извъстной степени, низкое въ жизни, не оскорбляя чувства изящнаго въ душтъ человъческой» *).

Торжество надъ Аксаковымъ Гоголевскаго началаименно въ этомъ смыслъ тъмъ болъе замъчательно, что Сергъй Тимонеевичъ не только выросъ, но и возмужалъ, какъ это видно изъ его «Воспоминаній», совствить подъ иными литературными впечатленіями. Въ детстве зачитываясь «Россіадою» и Сумароковымъ, въ юности принявъ сторону Шишкова противъ Карамзинской новизны, онъ и позже очень полго носиль на себъ отпечатокъ псевдо-классическихъ вліяній. «Какъ не подивиться, справедливо зам'вчаетъ по этому поводу А. Станкевичъ, что онъ могъ впоследствіи разсказать свои воспоминанія простымъ, ровнымъ, точнымъ и прекраснымъ языкомъ» **). Другой критикъ Аксакова, Ф. Дмитріевъ, отмътилъ въ воспоминаніяхъ нашего автора объ актеръ Шушеринъ тотъ фактъ, что его «простая, естественная игра увлекала зрителей, не умъвшихъ объяснить себъ своего увлеченія» ***). Надъ такимъ фактомъ, кажется намъ, стоило бы позадуматься. Прежде всего слъдовало бы сопоставить съ нимъ то, что разска-

^{*)} Соч. С Т. Аксакова, IV, 102.

^{**)} Атеней 1858 г. № 4.

^{***)} Р. Въстникъ 1856 г., № 7, стр. 473.

вывается Аксаковымъ о старъйшей изъ нашихъ театральныхъ знаменитостей. Дмитревскомъ. Въдь и онъ, выросшій на Сумароковъ, да на Княжнинъ и дожившій только до Озерова, возставалъ противъ крайней напыщенности, сказывавшейся, подъ вліяніемъ господствовавшей школы, и у гораздо младшаго Яковлева. Не ясно ли, что стремленіе къ простотъ могло проявиться у насъ на сценъ еще въ самый разгаръ прививного псевдо-классицизма. Не сказалась ли туть невольно побъда надъ нимъ Русской природы, и не этимъ ли объясняется и увлечение публики, котя и иначе совствить воспитываемой, простою, естественною игрою Шушерина? Какъ бы то ни было, хотя самъ С. Т. Аксаковъ и не указываетъ на это, намъ невольно сдается, что вліяніемъ Шушерина на него самого, какъ записного театрала и публичнаго чтеца, подготовлено было литературное на него вліяніе Гоголевской простоты и естественности. Это последнее, во всякомъ случав, не подлежить никакому сомнънію. Во всемъ блескъ сказалось оно уже въ «Семейной Хроникъ», появившейся въ полномъ вилъ только четыре года спустя послъ смерти Гоголя (1856 г.)тогда, когда успъли уже привлечь къ себъ внимание публики многіе изъ младшихъ учениковъ Гоголя, речь о которыхъ и была у насъ ранбе.

I.

"Семейная Хроника".

«Прощайте, мои свътлые и темные образы, мои добрые и недобрые люди, или, лучше сказать, образы, въ которыхъ есть и свътлыя и темныя стороны, люди, въ которыхъ есть и доброе и худое! Вы не великіе герои, не громкія личности; въ тишинъ и безвъстности прошли вы свое земное поприще, и давно, очень давно его оставили; но вы были люди, и ваша внъшняя и внутренняя жизнь исполнена поэзіи, также любопытна и поучительна для

насъ, какъ мы и наша жизнь въ свою очередь будемъ любопытны и поучительны для потомковъ.... Да не оскорбится же никогда память ваша никакимъ пристрастнымъ судомъ, никакимъ легкомысленнымъ словомъ *). Такъ напутствоваль своихъ, какъ выразился онъ, совстмъ не героевъ самъ С. Т. Аксаковъ, уже этимъ прямо подавая критикъ поводъ къ вышеприведеннымъ ея словамъ объ его художническомъ безпристрастіи и сочувственной снисходительности. Не даромъ и иностранная критика приходила къ подобному же о немъ заключенію. «Изображая, говориль Делаво, дикое состояние некоторой части Русскаго общества при Екатеринъ II, авторъ выставляеть и ть природныя достоинства, которыми нъсколько умърялась эта дикость». Нъмецкій же критикь вь объясненіе темныхъ сторонъ тъхъ дичностей, которыя выставлены Аксаковымъ, приводиль параллели изъ Западно-европейской жизни. «Разбросанность и уединенность жилищъ, говорилъ онъ. недостаточность сообщеній ...все это, сто льть тому назадь, вызывало въ Германіи и Франціи такія же явленія, какъ въ Россіи: являлись грубый произволь и дикое насиліе.... Но и тутъ, оговаривался онъ, человъческая природа не теряетъ своихъ правъ, и въ господинъ и въ рабъ не умираетъ чувство чести, и среди глубочайшей одичалости громко говорить совъсть». Сообщившій намъ отзывы о «Семейной Хроникъ» Нъмецкой критики, С. А. Рачинскій дълаетъ изъ нихъ такой общій выводъ, что «кровавая повъсть о Куролесовъ не возбудила ни отвращенія, ни удивленія, а характеръ Степана Михайловича находять чуть ли не идеальнымъ» **).

Объясненіе этому любопытному факту можно найти въ самой же «Семейной Хроникъ»—тамъ, гдъ говорится о палочныхъ ударахъ, которымъ, вмъстъ съ другими молодыми офицерами, подвергся сынъ Степана Михайловича по приказанію Нъмца-генерала, внушавшаго этимъ спосо-

^{*)} П. С. С. Аксакова, г. І, стр. 222.

^{**)} Библіогр. Записки 1858 г., № 8.

бомъ своимъ подчиненнымъ «благоговъніе къ служба господня», какъ выражался на своемъ жаргонъ этотъ Нъмецъ и лютеранинъ, по долгу службы всегда присутствовавшій при православномъ богослуженіц, но вовсе не считавшій неблагоговъйнымъ прибъгать къ палочной расправъ въ сосъдней съ домовою церковью комнатъ, «Вольшая часть этихъ господъ Нъмцевъ, замъчаетъ С. Т. Аксаковъ, и вообще иностранцевъ, служившихъ тогда въ Русской службъ, постоянно отличались жестокостью и большою охотою до палокъ» *). Эта иностранная грубость, такъ долго сохранявшаяся и въ нашихъ управляющихъ изъ Нъмцевъ, поддерживаемая въ нихъ презрѣніемъ къ невѣжественнымъ представителямъ низшей расы, слишкомъ медленно уступала вліянію такъ давно развившейся на Западъ культуры. Только у насъ въдь серьезно воображали, подъ вліяніемъ того восторженнаго культа культуры, къ которому насъ, наконецъ, привело наше продолжительное невѣжество, будто, напримѣръ, сентиментальныя повъсти Карамзина, съ вызванными ими слезами надъ Лизины прудомъ, должны были такъ ръшительно содъйствовать смягченію нравовъ. Иностранцы не поддавались подобному самообольщенію. Они знали, что реформація, при всемъ своемъ громадномъ культурномъ значенія, не помъщала протестантамъ соперничать въ варварскомъ истребленій колдуновъ съ папистами, и что случай сожженія въдьмъ возможны были въ Европъ еще при началъ Французской революціи. Они понимали, что наиболье культурная часть общества, какъ часть привилегированная, могла упорно держаться очень многихъ жестокихъ привычекъ, коренившихся во властности ен положенія. Во властности же, разумъется, заключается и главное объяснение дикихъ порывовъ Степана Михайловича, которые обуздывались въ немъ природною добротой его сердца едва ли не въ большей степени, чёмъ обуздываются такіе порывы хотя бы и призначительной, но односторонней воздъланности ума.

^{*)} П. С. С. Аксакова, т. І, стр. 73.

Характеръ той властности, которою искажались лучшія стороны Русской природы, конечно, является у Аксакова со всъми специфическими сторонами нашего XVIII стольтія, снявшаго съ Русскихъ дворянъ всякія обязавности и предоставившаго имъ права, одни лишь права. При этомъ у самыхъ невъжественныхъ изъ нихъ невольно сказывалось, конечно, и кое-какое позаимствование у чужой жизни-въ видъ того увлечения родовитостью, которое и Степана Михайловича Багрова привело къ фикціи, будто родъ его происходить отъ какого-то Варяжскаго князя, а потому его сыну и не подобаеть бракъ съ внучкою казацкаго урядника, хотя, разумвется, онъ не могъ бы прінскать (да и не прінскиваль) Русскаго слова, сколько нибудь соотвътственнаго слову mésaillian e, (такъ какъ неравный брака выражаеть у насъ совсъмъ не то) *). Такая черта, разумъется, всего менъе могла поразить иностранныхъ читателей.

Властность и связанная съ нею самость Степана Михайловича, уподобляющая его всеобщему сказочному царю—этому «вольному человъку» (по выраженію Русскихъ сказокъ), дълаетъ его и вообще такимъ представителемъ крупно развившагося личнаго начала, который не можетъ не прійдтись сродни Западно-европейскому читателю, давно привыкшему ко всевозможнымъ типамъ, возникшимъ изъ этого начала.

Степанъ Михайловичъ пересталъ считать себя вольнымъ въ своей родовой вотчинъ, потому что она мало-по-малу стала разнопомъстною, —и вотъ онъ затъялъ переселиться. «Сказано — сдълано» — такова настоящая формула образа дъйствій подобныхъ господъ. «Сказано — сдълано», не смотря на то, что «переселеніе, тяжкое вездъ, особенно противно Русскому человъку», что «переселяться тогда въ неизвъстную бусурманскую сторону, про которую, между хорошими, ходило много и недобрыхъ слуховъ, гдъ, по отдаленности церквей, надо было и умирать безъ исповъди

^{*)} П. С. С. Аксакова, т. I, стр. 6 и 81.

и новорожденнымъ младенцамъ долго оставаться некрещенными—казалось дѣломъ страшнымъ» (т. І; стр. 9). «Сказано—сдѣлано», и вотъ Степанъ Михайловичъ—«одинъ полный господинъ, не только надъ своей землей, но и надъ чужой. Паси стада, коси траву, руби дрова—никто слова не скажетъ» (Стр. 15). Жажда полной свободы заставляла Степана Михайловича говорить: «не хочу мѣшаться въ эти поганыя дѣла» (стр. 63). А «мѣшаться въ эти поганыя дѣла»—значило спасать отъ ихъ злодѣя помѣщика крестьянъ двоюродной сестры, которую, однако же, спасъ, при помощи своихъ крестьянъ, тотъ же Степанъ Михайловичъ, такимъ образомъ вмѣшавшійся въ эти «поганыя дѣла» ради близкаго человѣка, но только по отношенію къ страждущимъ мужикамъ державшійся «непротивленія злу», хотя тогда, конечно, еще не существовало теоріи Л. Н. Толстого.

А между тымь Степань Михайловичь быль же способень, по добрымъ сторонамъ своей природы, быть полезнымъ своимъ крестьянамъ — насколько это ему было угодно и насколько это было возможно безъ особеннаго напряженія воли. «Я зналь. разсказываетъ С. Т. Аксаковъ, внуковъ, правнуковъ тогдашняго поколенія, благодарной памяти которыхъ въ изустныхъ разсказахъ переданъ былъ благод втельный и строгій образъ Степана Михайловича, незабытаго еще и теперь» (стр. 18). Дёло въ томъ, что какъ гнёвъ, такъ и милость сказывались въ немъ совершенно стихійно, подобно темъ разрушительно-бурнымъ и благод тельно-тихимъ днямъ, пестрая сміна которых сказывается въ природі. Чисто стихійнымъ оставалось въ немъ и самое чувство правды и справедливости, въ силу которыхъ «пе было человъка, кто бы ему не върилъ», такъ какъ «его слова, его объщаніе были кръпче и святье всякихъ духовныхъ и гражданскихъ актовъ» (стр. 4). Что это именно только лежало уже въ самой его природъ, а не было выработано въ немъ борьбою и нравственнымъ уходомъ за самимъ собою, что онъ въ этомъ отношеніи какъ бы не понималь самой возможности какихъ нибудь соблазновъ и колебаній, ясно изъ того, что, по замѣчанію автора, «кто разъ солгаль, разъ обмануль, тоть и не ходи къ нему на господскій дворъ: не только ничего не получить, да въ иной часъ дай Богъ и ноги унести» (стр. 18). Понятно, что при такой стихійности въ немъ самаго добра, при такомъ отсутствіи въ немъ сознательности, ему приходилось подчась, желая добра, дълать прямо зло. Вспомнимъ, какъ первая надежда на то, что у него будеть внукъ, возбудила въ старикъ страстное желаніе порадовать кого нибуль изъ своихъ людей, — и вотъ онъ выдалъ некрасивую и немолодую уже Аксютку за молодого, давно уже понравившагося ей, красавца-парня. Въ результатъ, конечно, оказалось, что «Аксютка ревновала съ утра до вечера, и не безъ причины, а Малышъ колотилъ ее съ утра до вечера и также не безъ причины, потому что одно только полъно, и то не надолго, могло зажимать ей ротъ, унимать ея злой языкъ» (стр. 185). Замѣчая по поводу этого: «жаль, очень жаль! погрѣшилъ Степанъ Михайловичъ и сдълалъ онъ чужое горе изъ своей ралости», авторъ и не касается того, сознаваль ли Степанъ Михайловичъ свой невольный гръхъ. Но, на основаніи всего, что о немъ говорится въ книгъ, мы едва ли не имъемъ права заключить, что онъ его такъ и не сознавалъ. Въдь и самая совъсть сказывалась въ немъ какъ-то стихійно-въ томъ, напримъръ, что послъ страшной расправы съ ближайшими къ нему людьми ему вдругъ хотълось, чтобы они объ этомъ забыли и весело шли на его ласковый зовъ со встми очевидными признаками недавней расправы. При этомъ, конечно, въ немъ оставалось и самолюбивое чувство своей все-же-таки правоты, - такъ какъ гроза поднималась въ немъ изъ-за правды, принимала видъ карающаго отеческаго самосуда и самый голосъ совъсти, возбуждаемый безчеловъчною жестокостью его расправы, нашептываль ему только то, что надо же смвнить свой, хотя и праведный, гнъвъ на милость. Что-то въ родъ сознанія и своей собственной настоящей вины, сказывается въ немъ развъ тогда, когда на его требование: «подайте Сережу, ему, однакоже, не подають внука и онъ, вмъсто того, чтобы грозно повторить свое требованіе, самъ идетъ

къ его матери, такъ болъзненно имъ озадаченной, обнимаетъ ее и нъжно ей говоритъ, что ему «безъ невъстыньки будеть скучно» (стр. 19-20). Дело въ томъ, что въ природъ его несомнънно заключаются любящія наклонности, только постоянно заглушаемыя въ немъ прирожденнымъ избыткомъ властной самости. Затаенная въ основахъ его природы, прямо даже мягкость приводить его подчась и къ той полнъйшей снисходительности къ дерзкимъ даже продълкамъ своихъ дворовыхъ людей, къ той снисходительности, въ которой, конечно, отзывается съ другой стороны опять-таки барское: «я караю, я и милую» (стр. 27-28). Конечно, не что иное, какъ доброта и нъжная заботливость о любимомъ существъ заставляютъ его не велъть будить Танюшу, про которую только что сказали ему, что она дурно провела ночь; между тъмъ, эта же самая любовь и заботливость обращаются въ пытку для его милой дочери, которую, уже давно одътую, заставляють опять улечься въ постель, боясь доложить старику, что она уже встала, т. е. что вышло не такъ, какъ онъ въ своей заботливости поръщилъ.

Способность къ самой нёжной любви сказывается и въ отношеніяхъ Степана Михайловича къ своей двоюродной сестръ, Прасковьъ Ивановнъ, которую, не смотря на его грозный нравъ, женская хитрость умфетъ, однако же, пристроить тайкомъ отъ него за такого человека, которому нужно было лишь «прибрать къ рукамъ ея богатство» (стр. 36). Не только свътлый, отъ природы проницательный умъ Багрова, но именно также и любовь къ сестръ, доводящая, такъ сказать, до сердечной прозорливости, даетъ ему возможность столь върно разгадать Куролесова, такъ ловко замаскировывающагося отъ другихъ и даже отъ своей молодой жены, которую умъль же онъ къ себъ привязать такою прочной привязанностью. «Ласковыя речи и почтительный тонь не обманули Степана Михайловича» замъчаеть авторъ, прибавляя, конечно, съ другой стороны: «при томъ дедушка быль самой строгой и скромной жизни, и слухи, еще прежде случайно дошедшіе до него, такъ

легко извиняемые другими, о безпутствъ майора, поселили отвращение къ нему въ цъломудренной душъ Степана Михайловича, и хотя онъ самъ былъ горячъ до бъщенства, но недобрыхъ, злыхъ и жестокихъ безъ гнъва людей терпъть не могъ» (стр. 37). Это послъднее указаніе автора, замътимъ мимоходомъ, заслуживаетъ особеннаго вниманія. Багрову была, стало быть, противна холодная, преднамъренная, разсчетливая жестокость, при которой, разумбется, невозможна никакая, даже инстинктивная, доброта, такъ громко опять пробуждавшаяся въ Степанъ Михайловичъ послъ самыхъ жестокихъ проявленій его страшнаго гнъва. Но въдь именно при такой стихійной страстности Багровской природы и представляется особенно замфчательною его строгая и скромная, его цёломудренная, какъ выражается авторъ, жизнь. Она, конечно, можетъ объясняться отводомъ всъхъ страстныхъ поползновеній Багровской природы въ одну сторону-въ сторону рьянаго ратованія за правду, ратованія, понимаемаго односторонне и извращенно-въ смыслъ постояннаго преслъдованія и малъйшихъ уклоненій оть нея въ своей семь одною патріархальною грозою. Всего же върнъе, конечно, цъломудренность Степана Михайловича объясняется силою его привязанности къ семьъ, заставляющей его сосредоточивать свои чувства, непозволяющей ему проматываніемъ этихъ чувствъ на сторонъ оскорблять дорогую для его сердца святыню семьи. Кромъ жены и дътей, кръпко и постоянно любя, какъ бы родной брать, и свою двоюродную сестру, Багровъ любитъ ее вовсе не эгоистически; онъ готовъ увидъть ее замужемъ, но за человъкомъ, который былъ бы достоинъ ея, который понималь бы, что настоящая человъческая привязанность къ женщинъ-это только привязанность сосредоточенная, прочная, способная лечь въ основу семейной жизни — съ ея святыней любви уже вовсе не страстной, не заполоняющей всего человъка, но оставляющей его свободнымъ для всъхъ проявленій высшей человъческой жизни. Все это, конечно, чуется Багровымъ чисто инстинктивно, но чуется имъ глубоко. Отсутствіе всякаго эгоизма въ отношеніяхъ его къ Прасковь Ивановн , судьбою которой такъ легкомысленно распоряжаются другіе, навлекающіе на себя за то, съ его стороны, такую ужасающую грозу, заставляетъ его, при всей его непреклонности въ своихъ ръшеніяхъ, сказать ей: «если черезъ годъ ты будешь такъ же довольна своимъ мужемъ, и онъ будетъ такъ же хорошо съ тобою жить, то я помирюсь съ нимъ» (стр. 46). Видя, какъ благополучно проходить не только годъ, но и нъсколько лътъ, Степанъ Михайловичъ, преодолъвая себя, способенъ даже признать хозяйственныя распоряженія Куролесова дёльными и сказать ему самому: «ну, братъ Михайло, ты изъ молодыхъ да ранній, и тебя учить нечего» (стр. 62) *). А все же на повърку оказывается, что не даромъ Багровъ повторялъ такъ долго: «хорошъ парень, ловокъ и смышленъ, а сердце не лежитъ», и Прасковы Ивановнъ все болъе и болъе приходится убтждаться въ томъ, что «изъ встхъ баловницъ и потатчицъ ея ребяческимъ желаніямъ-всъхъ больше любить ее грубый брать, противникъ ея счастья». Онъ-то, какъ извъстно, и спасаетъ ее отъ мужа, обернувшагося, наконецъ, настоящимъ извергомъ.

Своего рода сердечная прозорливость, а не однѣ причуды вообразившаго себя такимъ родовитымъ, отца-самодура, заставляетъ Степана Михайловича такъ долго сопротивляться намѣренью своего сына жениться на Софъѣ Николаевнѣ Зубиной. Прежде всего, конечно, его смущаетъ уже одно то, что его сынъ влюбился. «Онъ, говоритъ авторъ про старика Багрова, мало понималъ романическую сторону любви, и мужская его гордость оскорблялась влюбленностью сына, которая казалась ему слабостью, униженіемъ, дрянностью въ мужчинѣ» (стр. 88). По поводу этого совершенно вѣрно замѣчено было покойнымъ

^{*)} По свидѣтельству автора, внукъ Степана Михайловича нашелъ въ бывшихъ крестьянахъ Прасковьи Ивановиы даже благодарную память объ управленіи ея мужа, потому что они чувствовали постоянную пользу многихъ его учрежденій (стр. 69).

Дудышкинымъ: «черта замъчательная и особенно важная въ примънени къ нашей старинной до-Петровской жизни. черта, которою многое поясняется, а еще больше уничтожается фальшивыхъ драмъ, фальшивыхъ историческихъ романовъ, гдъ наши степенные бояре безъ ума влюбляются въ красавиль подъ романтическими фатами». Критикъ при этомъ вмъняетъ въ особенную заслугу С. Т. Аксакову то, что онъ въ своей характеристикъ Степана Михайловича, да и самой Софьи Николаевны обощелся «безъ помощи тъхъ рессурсовъ, къ которымъ обыкновенно прибъгаютъ наши повъствователи, т.-е. безъ помощи любви, какъ главной дъйствующей страсти» *). Да и одни ли наши? готовы бы мы спросить. Не романы ли всего міра повъствуютъ намъ-не о любви, безъ которой въ ея высокомъ міровомъ смыслѣ обойтись нельзя, —а о влюбленности, этой жалкой порабощенности одного человъка другимъ или же обоюдной порабощенности двухъ существъ; а то, что это еще не опротивъло, не довело читателей всего міра до повальной тошноты, —не объясняется ли замъчаніемъ доктора Крупова, что всъ мы нъсколько психопаты? Какъ бы то ни было, но «Семейная Хроника» С. Т. Аксакова, какъ и нъкоторыя другія произведенія нашей новъйшей литературы, дъйствительно выводять наст на новую дорогу, -- такую, на которой можно будетъ обходиться-не безъ любви, повторимъ еще разъ, а безъ того, что не даромъ же Русскій человъкъ обозначаеть презрительно-насм вшливыми глаголами: втюриться, вризаться и т. п., выражающими то глупое положение, когда человъкъ, ради личной страсти, теряетъ свою свободу, свою способность принадлежать себъ, т.-е. своей сознательной связи съ обществомъ и всёмъ высшимъ отправленіямъ своей духовной природы.

Но если Степанъ Михайловичъ оскорблялся влюбленностью своего сына, какъ признакомъ его «слабости, дрянности», то это, конечно, связывалось у него и съ тѣмъ,

^{*) &}quot;Отеч. Зап." 1856 г., стр. 84.

что онъ не могъ не признавать въ своемъ сынъ и вообще довольно слабаго характера. «Она найдетъ себъ получше и побойчье жениха, говориль онъ про Софью Николаевну женъ и дочерямъ. «Онъ ей не пара» (стр. 86). «Она твердилъ онъ самому влюбленному въ нее сыну, горожанка. ученая, бойкая, привыкла послѣ мачихи повелѣвать въ домъ и привыкла жить богато, даромъ что сама бъдна; а мы люди деревенскіе, простые и наше житье ты самъ знаешь, да и себя ты долженъ понимать: ты парень смирный; но хуже всего, что она больно умна». — Отсюда у Степана Михайловича, при его свычав и обычав, выводъ короткій: «Ну такъ вотъ тебъ мое отцовское приказаніе: выкинь эту любовь изъ головы». А кончается все-таки тъмъ, что, когда эта любовь изъ головы у Алексъя не выкидывается, старикъ сдается при всей своей обычной властности-сдается передъ страхомъ, что сынъ, пожалуй, и не даромъ грозитъ ему взять да и покончить съ собою. (Къмъ-то очень върно было замъчено, что старикъ не читаль сентиментальных романовъ, а потому и не догадывался о происхожденіи этой угрозы сына). Такимъ образомъ, любовь къ сыну, --- любовь, можно сказать, прямо нъжная, одерживаеть верхъ надъ властною натурою отца. А старикъ, между тъмъ, въдь правъ относительно своей невъстки. «По-неволъ должно признать, говорить авторъ, что въ основаніи ея характера уже лежали съмена властолюбія и что въ настоящее время, освобожденныя изъ подъ тяжкаго гнета жестокой мачихи, они дали сильные ростки; что безъ въдома самой Софыи Никодаевны — любовь къ власти была тайною причиною ея рѣшимости» (стр. 102) (т.-е. рѣшимости на бракъ съ Алексвемъ, въ котораго она вовсе не была влюблена). И впоследствии, и самъ даже нъжно привязавшись къ невъсткъ — за ея замъчательный умъ и за ея умъніе, при всемъ различіи въ воспитаніи, привычкахъ и даже взглядахъ, ладить со старикомъ, Степанъ Михайловичъ остался при своемъ взглядъ. «Онъ былъ такъ уменъ, не смотря на то, что не получилъ никакого образованія, такъ тонко понималь, не смотря на то, что выражался грубо, по топорному, - что почувствоваль все неравенство природы этихъ двухъ существъ, -- и кръпко призадумался» (стр. 175). Не даромъ же говорилъ онъ Софьъ Николаевнъ: «дорогая невъстушка, всъмъ тебя Богъ не обидълъ, одно скажу тебъ: не давай воли своему горячему сердцу; мужъ у тебя добрый и честный человъкъ: нравъ у него тихій и ты отъ него никогда терпть не будець никакой обиды; не обижай же его сама. Чти его и поступай съ уваженьемъ. Не станешь почитать мужа-пути не будеть. Что онъ скажеть или сделаеть не такъ, не по твоему, - промолчи, не всяко лыко въ строку, не всяка вина виновата. Больно я тебя полюбиль, вижу я тебя всю! (Какой чудный, собственный намекъ старика на ту прозорливость, которая вытекаеть изъ любви). Ради Бога, не переливай черезъ край; все хорошо въ мъру, даже ласки и угожленья». Съумъвъ и къ себъ привязать невъстку, старикъ какъ будто тъмъ самымъ сильнъе ее привязалъ къ своему сыну. «Подобно встмъ страстнымъ, восторженнымъ людямъ, она перенесла нъкоторую часть качествъ, плънившихъ ее въ свекръ, на своего молодого, прекраснаго друга и любила его въ то время больше, чёмъ когда нибудь» (стр. 146). Но въдь такъ оно было только на время. Чъмъ дальше, тъмъ больше самая мягкость и ровность, самое его природное спокойствіе тяжело действовали на нее. Стоитъ только припомнить, какъ, послъ бурной сцены съ нею изъ-за его сестеръ и последовавшаго съ ея стороны раскаянія, «онъ проспаль всю ночь преспокойно, -- она всю ночь не спала» (стр. 164). Уже одного этого вполит достаточно, чтобы понять, до какой степени она только пыталась его идеализировать.

Все болъе и болъе оглядываясь вокругъ себя, она стала судить върнъе: «разумнъе, снисходительнъе смотръла она на чуждыхъ ей во всъхъ отношеніяхъ свекровь и молодую золовку; съ меньшимъ увлеченьемъ взглянула на свекра и поняла, изъ какой среды вышелъ ея мужъ» (174).

Вотъ этого-то никакъ не могъ понять самъ столь умный и прозорливый свекоръ. Да, онъ никакъ не могъ понять,

что именно ему-то, его слишкомъ частой семейной грозъ, и быль обязань Алексъй своимь черезь-чуръ податливымь. мягкимъ, въ сущности совстмъ не мужскимъ, характеромъ. На вст печальныя внутреннія последствія домашняго строя Степана Михайловича, зависъвшія отъ его нрава и впослъдствіи отразившіяся даже на его внукъ (какъ-то можно проследить по «Детскимъ годамъ Багрова»), справедливо обратиль внимание еще покойный Шевыревь (въ статьъ своей объ этой послъдней книгъ)*). При всъхъ обильныхъ задаткахъ любви въ своей природъ, старикъ Багровъ былъ далекъ отъ того, чтобы сознательно возвести начало любви на степень руководящей силы въ семейной жизни. Онъ прямо потакалъ своимъ гневнымъ наклонностямъ, придавая такую руководящую силу именно грозъ, устрашающему значенію своей патріархальной власти. Это не мізшало ему, какъ неоднократно показываетъ намъ авторъ, быть порою прямо пересиливаему женскимъ упрямствомъ или же перехитряему женскою хитростью; но онъ слёпо держался за то же свое руководищее начало, невразумляемый никакимъ опытомъ, при всемъ своемъ свътломъ умъ. Онъ держался въ семьъ, этомъ маленькомъ своемъ государствъ, той фикцін сильной власти, которая на пов'трку оказывается только властью самодовлениею, не желая вразумиться ничемъ, что настоящая сила власти именно и заключается вълюбви. Такимъ образомъ становясь подчасъ для своихъ ближайшихъ настоящимъ Иваномъ Грознымъ, онъ создалъ въ лицъ своего Алексъя Степановича какое-то подобіе кроткаго и безличнаго Өедора Ивановича. Потому-то и лучшія стороны природы, не заглушенныя въ немъ, какъ были онъ наконецъ заглушены въ Грозномъ, но оставшіяся въ состояніи природной невоздъланности, не спасли благороднаго Степана Михайловича отъ величайшаго изъ несчастій-стать виновникомъ нравственнаго несчастія въ своемъ потомствъ. Все это, конечно, зависъло отъ той безъидейности, до которой всегда доходить самодовленщая властность.

^{*) &}quot;Русская Бесьда" 1858 года.

Какъ І розный пришель наконець къ тому, что сталь исключительно защищать свою власть, просто какъ власть, отръшивъ ее отъ высшаго ея назначенія, не думая даже о томъ, чтобы оправдить ея крайности служеньемъ землъ, -- такъ и старикъ Багровъ, на высотъ своей барской безотвътственности и отръшенности отъ всякаго сознательнаго служенія общему благу, является въ сущности тъмъ, что называется у народа самодуромъ, хотя и сохраняетъ до конца потребность смѣнять свои грозные дни днями свътлыми и спокойными. Мы не можемъ поэтому согласиться съ характеристикою старика Багрова у одного изъ современныхъ Аксакову критиковъ, въ которой является онъ выразителемъ основныхъ свойствъ всего Русскаго народа. «Въ жизни, по словамъ этого критика (т.-е. въ жизни народа) великая практичность; въ семь полное самовластіе, въ области идей и смыслѣ нравственномъ-немногія обиходныя правила, почерпнутыя изъ жизни и укръпленныя обычаемъ той же жизни». Что касается такъ называемой практичности, то именно ея-то, пожалуй, и не было въ строгомъ смыслъ у Степана Михайловича; но зато въ строгомъ смыслѣ не было у него и тѣхъ твердыхъ правиль, той руководящей идеи, которыя заключаются для народа въ его бытовомъ началъ-общинъ. «Въ жизни дъйствительной, продолжаль критикь, въ большинствъ, онъ, (т.-е. народъ), тъснимый практическимъ умомъ, часто, можеть быть, жертвоваль безукоризненностью своей нравственности исторической пользъ... Тогда онъ умълъ и терпъть и хитрить... и, помощью этихъ двухъ новыхъ силъ, способенъ былъ управиться съ Татариномъ, вытерпъвъ все, что только можетъ вытерпъть человъкъ, и перехитривъ своего врага, отъ котораго во время борьбы позаимствовался многимъ немягкимъ въ своемъ характеръ (85-86). Но Степану Михайловичу, продолжаемъ мы не сближать, а противопоставлять, совсёмъ не приходилось кривить душой, потому что въ сущности не приходилось и терпъть, бороться. Ему выпала красная доля той части Русскаго народа, которая оторвалась отъ его общей, столь незавидной

жизни, зажила своею особою, привольною верховою, но поплатилась за это утратою нравственно возвышающаго вліянія связи съ великимъ цълымъ, утратою и того руководящаго начала народнаго быта, безъ котораго барская личность осталась вполнъ предоставленною самой себъ, произволу своей властной самости. Старикъ Багровъ далекъ отъ сознанія всего этого, несмотря на свой світлый и даже проницательный умъ; онъ вполнъ сжился со своею жизнью, -- вольною и въ то же время столь узкою жизнью, отъ однообразія которой онъ находить спасенье въ семейныхъ буряхъ, способныхъ и помимо какого либо байронизма подчасъ ему доставлять особаго рода покой. Въ этомъ отношении уже нъчто иное представляетъ намъ, столь ненавистный Степану Михайловичу, мужъ его милой Прасковыи Ивановны. «Куролесовъ, говоритъ тотъ же критикъ, начинаетъ тяготиться деревенскою жизнью, тогда какъ Багровъ постоянно ею доволенъ... но въ этомъ стремленіи выйти изъ монотонной и недъятельной жизни онъ бросается въ ту крайность, которая можетъ быть только у человъка вполнъ необразованнаго... Будь Куролесовъ настолько доступенъ вліянію идей, насколько у него достаеть сметки на каждое практическое дело (авторъ выставляетъ его, напомнимъ мы отъ себя, человъкомъ очень способнымъ); будь душа этого человъка занята мыслію въ безконечные праздные дни, будь она подготовлена къ принятію какого нибудь благороднаго помысла, върно Куролесовъ не кончилъ бы свой въкъ въ безобразныхъ оргіяхъ...» Въ этомъ много правды. Самъ С. Т. Аксаковъ замъчаетъ, что «только дёло спасало Куролесова», что когда онъ привелъ въ порядокъ объ новыя деревни, пьянство и буйство совершенно имъ овладъли» (53). «Переходъ отъ трезвой дъятельности къ безумной оргіи, продолжаеть критикъ, какъ переходъ отъ старинной заунывной пъсни къ плясовой, составлялъ характеристическую черту нашей старины» *). Да, но и туть надо въдь умъть различать такой переходъ въ

^{*)} Отеч. Зап. 1856 г. кн., стр. 83-89 огд. критики.

народъ, гдъ овъ происходить по большей части съ горя или съ отчаянія, происходить ради того, чтобы хоть на время забыться, отъ полобнаго же перехода на той высотъ барской жизни, гдъ оргія принимаеть характерь какого-то особаго права или привилегіи. Не надо въдь забывать, что, по замъчанію Аксакова, несмотря ни на какія оргіи, ни на какое безшабашное самоуправство, авторитетъ Михайлы Максимовича въ общественномъ мнъніи росъ не по днямъ, а по часамъ. «Съ мелкимъ и бъднымъ дворянствомъ, правду сказать, поступаль онъ крутенько и самовластно, и хотя оно его не любило, но зато кръпко боялось, а высшее дворянство только похваливало Михайлу Максимовича за то, что онъ не даетъ забываться тъмъ, кто его пониже» (стр. 49). Только при такомъ общественномъ попустительствъ или даже санкціи, «кровожадная натура Куролесова, воспламеняемая до бъщенства спиртными парами, и развивалась на свободъ во всей своей полнотъ и представила одно изъ тъхъ страшныхъ явленій. отъ которыхъ содрогается и которыми гнушается человъчество. Это ужасное соединеніе инстинкта тигра съ разумностью человѣка» (стр. 50). Мы можемъ, пожалуй, привести параллель и изъ народныхъ былинъ, но собственно изъ техъ былинъ Новгородскихъ, героемъ которыхъ является не крестьянскій сынъ Илья, а Васька Буслаевъ, котораго по теперешнему пришлось бы назвать богатымъ купеческимъ сынкомъ съ его «рукою владыкою» (къ такой параллели мы вернемся еще по поводу комедій Островскаго). Типъ этотъ столь же, конечно, не милъ народу, потому то и сохранившему о Васькъ такъ мало пъсень, какъ, напротивъ того, милъ народу, сохранившійся въ такомъ громадномъ количеств былинъ, типъ Ильи. Но у Куролесовыхъ опорой для варварскаго ихъ самодурства служило не только богатство, но и гнусной памяти кръпостное право. Оно-то окончательно имъ давало возможность доходить до того Карамазовскаго безудержа, который, разумбется, существоваль въ нашей жизни задолго до Достоевскаго, существоваль въ разныхъ видахъ и былъ только формулированъ въ его общемъ ши-

рокомъ смыслъ нашимъ великимъ психологомъ-романистомъ. Мы положительно знаемъ, что Куролесовщина продолжала еще пержаться въ Ореноургской губерній даже въ то время, когла появилась «Семейная Хроника», знаемъ по тогдашнимъ разсказамъ одного изътамошнихъ землевладельцевъ, нашего университетского товарища, которому вполнъ довъряемъ. Да, еще въ то время, т.-е. почти наканунъ отмъны кръпостного права, одинъ изъ тамошнихъ помъщиковъ, занимавшій должность убзднаго предводителя дворянства, подвергшись опасности быть приколоченнымъ однимъ изъ своихъ крестьянъ за любезности къ его женъ, упекъ этого крестьянина въ Сибирь, а жену его оставилъ при себъ. Другой изъ Оренбургскихъ помъщиковъ продолжалъ въ то время пользоваться правомъ primae noctis — съ особенными изопреніями, достойными самыхъ гнусныхъ временъ Римской имперіи. Тотъ же изобрътательный сладострастникъ, въ случаяхъ гнева на своихъ крестьянъ, выжигалъ иногда у нихъ хлъбъ, безъ разбора сдавалъ ихъ въ рекруты, а однажды, въ разгаръ бъщенства, погрозился встить годнымъ изъ нихъ забрить лобъ, остальныхъ же сослать въ Сибирь. Когда, вслёдствіе крестьянскихъ жалобъ, по старанію тогдашняго вице-губернатора того края, варваръ помъщикъ подвергся, наконецъ, заключенію, почтенные дворяне Оренбургской губерніи сердобольно навъщали его, исполненные признательной памяти о роскошныхъ пирахъ, которые онъ имъ давалъ. По ходатайству своихъ доброхотовъ вскоръ выпущенный на свободу, онъ удостоился приглашенія на об'єдъ къ губернатору, а виновнику его долгой невзгоды, вице-губернатору, сдъланъ быль строгій выговорь. Кончилось, впрочемь, темь, что новому Куролесову приказано было жить безвытадно въ Вяткъ. Былъ, наконецъ, въ то время на границъ Оренбургской и Казанской губерній и такой шутникъ, который наставляль своихъ крепостныхъ въ воровстве и разбое попроселочной дорогъ и хранилъ у себя добычу, когда же къ къ нему наважалъ исправникъ, по-просту говорилъ ему, что домъ дворянина не можетъ подвергаться обыску (нахоля, можеть быть, возможнымь подкрёплять свои доводы и кое-чъмъ инымъ). Все это было записано нами со словъ нашего бывшаго товарища въ 1858 г., когда появились, въ видъ продолженія «Семейной Хроники», и «Дътскіе годы Багрова внука», по поводу которыхъ написана была извъстная статья покойнаго Добролюбова: «Деревенская жизнь пом'вщика въ старые годы». Зам'вчательно, что въ стать в этой Добролюбовъ ут в шаль себя такими соображеніями: «Нынъ распространившееся образованіе измънило во многомъ даже деревенскую жизнь. Помъщики, конечно, поняли нынъ свои отношенія къ крестьянамъ гораздо лучше, чъмъ прежде: доказательствомъ этого можетъ служить то ралостное чувство съ которымъ принимается ими, за исключеніемъ самыхъ грубыхъ и необразованныхъ, Высочайшая воля объ освобожденій крестьянь (?!)... Рёдкій пом'вщикъ въ наше время не выписываетъ журналовъ и хорошихъ книгъ. Слъдовательно, у нихъ есть куда дъвать свое время не безъ пользы... и, при помощи просвъщающаго вліянія новыхъ книгъ, есть уважение къ человъческому достоинству и въ лицъ крестьянина» *). На самомъ же дълъ остатки Куролесовщины пережили крѣпостное право, и послъдніе ея представители, въ числъ всякаго другого подходящаго люда, нахватываемаго отовсюду, стали вербоваться въ ряды дёятелей, посвятившихъ себя дёлу разрушенія ради политическихъ цълей. Вотъ откуда произошелъ въ «Бъсахъ» Достоевскаго Николай Ставрогинъ.

Совершенно особеннымъ, и по своему положенію, и по своему характеру, является въ «Семейной Хроникъ» отецъ Софьи Николаевны, выслужившійся сынъ казацкаго урядника, Зубинъ—человъкъ, по выраженію автора, умный и честный, но слишкомъ нъжный и слабый» (стр. 74), къ тому же «носившій на себъ печать уклончиваго, искательнаго чиновника, который, начавъ съ канцелярскаго писца, дослужился до званія товарища намъстника» (стр. 145). Та нъженость, которой онъ даетъ въ себъ проявляться такъ-же

^{*)} Соч. Добролюбова, т. І, стр. 353.

на свободъ, какъ другіе герои «Хроники» даютъ проявляться другого рода наклонностямъ, доходитъ наконецъ до противности, невольно заставляющей предпочесть ей грубость. Дело въ томъ, что эта нежность, непомерно развитая въ одну сторону, доводитъ его до безчувственности, по прямаго равнолушія къ жестокости, даже мирволенья ей (или, говоря языкомъ Л. Н. Толстого, до «непротивленія элу»). Зубинъ — это вёдь одинъ изъ тёхъ отцовъ, которые, овдовъвъ, считаютъ, видите-ли, своимъ долгомъ опять жениться - конечно «ради дътей», на самомъ же дълъ ради самихъ себя (болъе откровенные изъ нихъ позволяють себъ сознаться какому нибудь подростающему сыну, что безъ этого они не могутъ, - и это, пожалуй, еще лучшіе!). Зубинъ-одинъ изъ тъхъ мерзкихъ отцовъ, которые являются на глазахъ у своихъ дътей въ дурацкой роли влюбленныхъ, которые, втюрившись по уши, позволяють своей второй жень обратиться въ гонительницу и мучительницу ихъ дътей. Къ счастью для Зубина, его вскоръ постигаетъ несчастіе-вторая его жена преждевременно умираетъ и, хотя онъ, вследъ затемъ, самъ оказывается разбитымъ параличомъ, но въ немъ зато не въ конецъ разбивается его мужское и вообще человъческое достоинство, -- впрочемъ только до поры до времени. Все болъе и болъе позволяя своему физическому недугу одолъвать себя, т.-е. и свою духовную сторону, онъ доходитъ наконецъ до того, что той самой дочери, которая была главнымъ предметомъ гоненій его жены, а послѣ ея смерти стала его правой рукой, ръшается предпочесть своего крестника Калмыка, бывшаго любимца его второй жены, съумъвшаго во время отлучки Софьи Николаевны, приноровившись къ его вкусамъ, съ какою-то нѣжностью ухаживать за больнымъ. Родная, дъйствительно нъжно любившая его, несмотря на свою ссылку на кухню при мачихъ, умная и даровитая дочь, которой одной онъ обязанъ быль тёмъ, что могъ, несмотря на параличъ, исполнять всв служебныя обязанности, --- выпуждена, ради Калмыка любимца, выбхать съ мужемъ изъ его дома - потому что къ отду

ея вполнѣ примѣнима пословица «каковъ въ колыбелку, таковъ и въ могилку». Какъ всегда, такъ и теперь, Зубинъ весь уходитъ своей дряблой душой въ одно—въ привязанность къ существу, умѣющему лично ему понравиться—удовлетвореньемъ его похотливой жаждѣ усерднаго ухода, жаждѣ того, чтобы другое существо, какое бы то ни было, хотя бы только казалось отдавшимъ себя ему вполнѣ. Но отойдемъ поскорѣе отъ Зубина, къ которому, повидимому, душа не лежитъ и у самого безпристрастнаго художника, умѣвшаго насъ заставить, хотя мы и чувствуемъ подчасъ ужасъ передъ старикомъ Багровымъ, не только вообще уважать, но отчасти и любить этого старика.

Женскіе образы «Семейной Хроники», особенно Прасковьи Ивановны, не вполнъ еще дорисованы въ ней, переходя и въ «Иттскіе годы Багрова». И Прасковья Ивановна, и Софья Николаевна, когда-то хотя и жертвы гнета, несмотря на то, а върнъе, пожалуй, и вслъдствіе того, выступають передъ нами, какъ женщины въ своемъ родъ властныя, хотя и въ болте, конечно, смягченномъ смыслт, чъмъ грозно-благодушный Степанъ Михайловичъ. Прасковья Ивановна впрочемъ проявляетъ свою властность въ «Семейной Хроникъ» собственно въ моменть своего появленія передъ мужемъ, среди самаго разгара его отвратительной оргін; — это, конечно, властность вполнъ законная, чисто нравственная, напоминающая величавый образъ эпической Дамаянти въ моментъ ея расправы, силою своего негодующаго слова, со «святотатцемъ», напавшимъ на нее въ пустынъ. Мы смъло можемъ отнести не только къ спасителю Прасковыи Ивановны, Степану Михайловичу, но отчасти и къ ней самой, золотыя слова нашего автора: «да, есть нравственная сила праваго дёла, передъ которой уступаеть мужество неправаго человъка» (стр. 65). Да, и въ ту минуту, когда, въ отвътъ своей негодующей жень, Куролесовь въ состояніи прибытнуть только къ палкамъ, мы заранъе можемъ его признать уже на половину побъжденнымъ. Впослъдствіи въ той же Прасковь Ивановнъ развивается властность уже другого рода - вовсе

не освященная нравственною идеею, а просто желающая себя вознаградить за весь переиспытанный гнетъ причудливымъ произволомъ, властность, пользующаяся матерьяльнымъ своимъ положеніемъ для разыгрыванія среди окружающаго общества роли, немножко какъ будто бы позаимствованной отъ супруга — роли величающагося надъ окружающими, презирающаго ихъ ради ихъ податливости, самодура въ юбкъ. Но переходъ этотъ обнаруживается только въ «Лътскихъ годахъ Багрова». Отчасти такой же переходъ, хотя и въ болъе мягкихъ формахъ, происходитъ и въ Софът Николаевит, но происходитъ и окончательно упрочивается въ ней уже въ «Семейной Хроникъ». «Загнанная, оборванная барышня, -- говорить авторь о Софь Виколаевиб, которую подлое лакейство, особенно приданые мачихи, обижали сколько душ'в угодно, втоптали въ грязь (подобно сказочной Попелюгъ или Сандрильонъ, прибавимъ мы отъ себя), -- вдругъ сдёлалась полновластною госпожею въ домъ, потому что больной отецъ отдалъ ей въ распоряженіе все... Умудренная годами тяжкихъ страданій, семнадцатильтняя девушка вдругь превратилась въ совершенную женщину, мать (т.-е. на первыхъ порахъ мать своихъ младшихъ братьевъ, завъщанныхъ ей не къмъ инымъ, какъ самою же умирающею и раскаявшеюся передъ нею мачихою), хозяйку и даже оффиціальную даму, потому что, по болъзни отца, принимала всъ власти, всъхъ чиновниковъ и городскихъ жителей, вела съ ними переговоры, писала письма, дёловыя бумаги, и впослёдствіи сдёлалась настоящимъ правителемъ дёлъ отцовской канцеляріи» (стр. 76-77). При развившемся ото всего отъ этого знаніи себъ цъны, при неизбъжномъ тутъ самолюбіи, Софья Николаевна не доходить однакоже до тъхъ крайнихъ проявленій властности, которыя, даже и при добромъ направленіи, дълаютъ властность противною. Въ ней не проявляется ни чего самодурнаю. Способная сильно прогнъваться на своего слабаго и спокойнаго мужа, въ отвътъ на выходки противъ нея его сестеръ не встръчая съ его стороны достаточно сильнаго отпора, способная даже проговориться

отчасти объ этихъ выходкахъ передъ крѣпко ее полюбившимъ свекромъ. Софья Николаевна способна однако же и признать, хотя и не сразу, хотя сначала и почувствовавъ себя оскорбленною, основательность тъхъ укоровъ ей, до какихъ наконецъ дошелъ ея слабый мужъ, -- укоровъ въ томъ, что она необдуманно подвергаетъ его сестеръ отповской грозъ; она способна раскаяться въ томъ и просить у него прощенія (стр. 164). Старикъ Багровъ вполнъ понимаетъ ее, говоря о ней сыну: «жена у тебя больно умна и горяча, можетъ, иногда скажетъ тебъ и лишнее, не балуй ее, сейчасъ останови и вразуми, что это не годится; пожури, но сейчасъ же прости, не дуйся, не таи на душъ досады, если чёмъ недоволенъ; выскажи ей все на прямыя денежки; но върь ей во всемъ: она тебя ни на кого не промъняетъ» (стр. 176). Но Софья Николаевна не только умъеть жертвовать своимъ самолюбіемъ своей любви къ мужу; самолюбіе постоянно подавляется въ ней и тъмъ чувствомъ справедливости, которое, по народному пониманію, служить прямою основою для настоящей, для нравственной власти. «Коли правъ, такъ и баринъ», сказалъ при А. С. Хомяковъ не про кого другого, какъ про самого же себя, одинъ, чувствовавний себя правымъ, крестьянинъ; и хотя Софья Николаевна, по городскому своему воспитанію, даже въ деревнъ держала себя далеко отъ крестьянскаго міра, она какъ-то совпадала, однако, въ этомъ отношении съ такимъ народнымъ міровозэртніемъ. Такъ, убтившись въ томъ, что Калмыкъ дъйствительно хорошо ходитъ за ея больнымъ отцомъ, она заставила себя примириться съ нимъ незадолго до смерти отца и позволила ему ходить вмъстъ съ нею за умирающимъ» (стр. 208). Конечно, туть дъйствовала и просто любовь къ отцу, любовь, ни мало не ослабъвшая отъ его къ ней несправедливости. Но, при всей своей способности любить настоящею любовью, любить не для себя, а съ самоотвержениемъ, Софья Николаевна, при своей властности, огорчается тымь, что мужь, какь она замъчаетъ, любитъ ее уже не такъ пламенно, какъ въ пору своей, столь польстившей ея самолюбію, влюбленности; отсюда въ ней ревность, усиливающаяся сознаніемъ зависъвшей отъ извъстнаго ея положенія утраты красоты. ревность, поддерживаемая недостаточною, какъ ей кажется, внимательностью съ его стороны, объясняемою просто тъмъ. что «какъ тутъ быть, если у одного нервы толсты, кръпки и здоровы, а у другого тонки, нъжны и болъзненны, если приходили они въ сотрясение у Софьи Николаевны отъ того, что не дотрогивалось до нервовъ Алексъя Степаныча» (стр. 196). При всемъ своемъ свътломъ умъ, Софья Николаевна не въ силахъ сразу унять свою ревность и такимъ объясненіемъ его, такъ называемаго, охлажденія къ ней, какъ то, что «восторженность на людей тихихъ, кроткихъ и спокойныхъ всегда производить непріятное впечатльніе» (стр. 217). Но Софья Николаевна не остается, однако, рабою своей самолюбивой страсти. Она постоянно владъетъ собою. Ея выдержанный нравъ объясняется, конечно, и тою весьма значительною образованностью, которую, воспользовавшись своимъ положеніемъ послѣ смерти мачихи, съумъла сама доставить себъ эта находчивая и неутомимая въ своей рьяности молодая дъвушка. Образованность. ею пріобрътенная, вполнъ отражаеть въ себъ господствующій характеръ нашей образованности вообще-характеръ тепличности, отръшенности отъ нашей жизни, такъ долго доводившей образованных наших людей до совершеннаго равнодушія къ родному народу, до совершеннаго непониманья его и отъ него отчужденья. Отюда-то, надо думать, въ справедливой и человъчной Софьъ Николаевнъ такая жалкая слабость, какъ то, что она скрывала свое родство съ Уфимской мъщанкой, добръйшей и всею душою преданной ей, Катериной Алексъевной (стр. 192), на взглядъ Софьи Николаевны – той же, конечно, мужичкой. Отсюда и сильная нелюбовь просвъщенной горожанки не только къ имънію ихъ Багрову (на то могли быть у нея свои особенныя основанія, завиствшія отъ недружелюбнаго отношенія къ ней золовокъ), но и къ деревнѣ вообще, хотя ей и было суждено не только почти постоянно жить, но даже и умереть въ этомъ немиломъ Багровћ (стр. 168). Впрочемъ, нерасположение Софьи Николаевны ко всему деревенскому окончательно раскрывается передъ нами уже въ «Дѣтскихъ годахъ Багрова».

«Въ нашей литературъ, — замътилъ въ свое время критикъ «Отечественныхъ Записокъ», — мало женскихъ лицъ съ характерами, ръзко, но психологически върно очерченными, характерами сильными, взятыми не изъ фантазіи автора, а изъ дъйствительной жизни. Такова Софъя Николаевна, одаренная сильною волею и сильною любовью материнской» *). Но и эту свою сильную любовь со всъмъ ея добромъ, а отчасти, пожалуй, и зломъ проявляетъ она уже въ «Дътскихъ годахъ Багрова».

Перейдемъ же теперь къ ихъ разбору.

II.

"Дътскіе годы Вагрова—внука". — "Наташа". "Воспоминанія".

Замъчательный, въ такой мъръ едва ли даже ожиданный авторомъ успъхъ «Семейной Хроники», изданной имъ одновременно со своими «Воспоминаніями», побудилъ С. Т. Аксакова, всего уже за годъ до своей смерти, издать «Дътскіе годы Багрова—внука, служащіе продолженіемъ Семейной Хроники» (въ хронологическомъ порядкъ они занимаютъ середину между нею и «Воспоминаніями»). Самъ указавъ въ своемъ обращеніи къ читателямъ на связь своей новой книги (написанной будто бы со словъ внука Степана Михайловича Багрова) съ прежнею, авторъ придалъ ей, однако, и самостоятельное значеніе, говоря, что «разсказы эти представляютъ довольно полную исторію дитяти, жизнь человъка въ дътствъ, дътскій міръ, созидающійся постепенно подъ вліяніемъ ежедневныхъ новыхъ впечатлъній» (Соч. С. Т. Аксакова, I, 331). Вотъ

[&]quot;Отеч. Заи." стр. 83. Отд. критики.

въ этомъ-то смыслѣ, какъ замѣтилъ критикъ «Русскаго Вѣстника», новая книга С. Т. Аксакова и «напоминаетъ намъ повѣсти Диккенса и труды одного изъ молодыхъ Русскихъ писателей, пріобрѣтшаго извѣстность искусствомъ передавать впечатлѣнія дѣтства» *) (подразумѣвается, конечно, гр. Л. Н. Толстой, «Дѣтство» котораго появилось еще въ 1852 г., «Отрочество» въ 1854, а «Юность» въ 1855—57 г., такъ что и въ этомъ случаѣ С. Т. Аксаковъ выступилъ только вслѣдъ даже за однимъ изъ самыхъ молодыхъ преемниковъ Гоголя).

Если върно, какъ замътилъ другой критикъ **), что настоящимъ героемъ новой книги должно считать Сережу, то и туть оказывается связь съ «Хроникою», которая заканчивается извъстіемъ объ его рожденіи, получаемымъ въ Багровъ старикомъ Степаномъ Михайловичемъ, въ свое время очень недовольнымъ, что родилась внучка, но тогда же утъшавшимъ себя мыслію, что за нею, конечно, послъдуетъ и внукъ. Старикъ Степанъ Михайловичъ въ новой книгъ уже доживаеть свой въкъ. Онъ уже уходился и опустился, все почти сидить въ своихъ кожанныхъ креслахъ со множествомъ мъдныхъ шишечекъ, производящихъ такое впечатлъніе на Сережу, сперва таки побаивавшагося дедушки-вследствіе, вероятно, молвы объ его грозъ. Дъдушкъ сначала не нравится, что мальчикъ какъ будто сторонится отъ него; онъ болте привязывается къ его ласковой сестренкъ Наташъ, которую называетъ «козулькою», говоря, что она веселе Сережи, а онъ плакса, потому что слишкомъ скучаетъ безъ матери, на время отлучившейся изъ Багрова вмъстъ съ мужемъ. Когда же дъдушка убъждается въ томъ, что Сережа кръпко привязанъ и къ отцу, между нимъ и мальчикомъ устанавливаются добрыя отношенія, продолжающіяся до самой смерти старика. Сережа подчасъ читаетъ ему «Дътское чтеніе» Новикова (стр. 287, 302, 305-306). Послѣ своей

^{*)} Ст Ф. Дмитріева "Р. Вѣсти." 1858 г.

^{**)} А. Н. Бекетовь въ томъ же журналь.

смерти дѣдушка становится снова страшнымъ Сережѣ, впервые знакомящимся тутъ со всѣми наружными послѣдствіями смерти. Но любовь къ дѣдушкѣ вызываетъ въ Сережѣ желаніе вмѣстѣ съ другими почитать по немъ псалтырь (стр. 336 и слѣд., стр. 381).

Не долго заживается послъ своего грознаго, но любимаго мужа и бабушка Арина Васильевна, которой подъ конецъ, по замъчанію мальчика, «какъ-то ни до чего не было дёла» (ч. II, стр. 35). Это не помётало ей, однако, по старой привычкъ, въ присутствіи внучка, схватить за волосы крестьянскую девочку, подавшую ей не совсемъ чистый клочекъ пуха, и отхлестать ее ременною плеткой, — такъ что мальчикъ въ испугъ убъжалъ (I, стр. 410). Зато совствит уходились тетушки, которымъ по-неволт приходится теперь лебезить передъ Сережиной матерью. какъ передъ полной хозяйкой, хотя она и всячески избъгаетъ давать имъ чувствовать свою новую роль. Не уходилась только, а скоръе вполнъ развернулась живущая сама по себъ, на всей на своей волъ, бабушка Прасковья Ивановна. «Когда тебѣ захочется меня видъть, милости прошу, — говорить она прівхавшей погостить къ ней съ дътьми Софьъ Николаевнъ: не захочется, цълый день сиди у себя; я за это въ претензіи не буду... У меня и всъ гости живутъ на такомъ положеніи. Я собой никому не скучаю, прошу и мнв не скучать». (II, 5). Чего бы, казалось, лучше? Но на повърку выходить, что она-то и требуеть отъ гостей подчиненія нікоторымь стіснительнымь особенностямъ своего «Домостроя». Такъ, напримъръ, она было уже распорядилась однажды, чтобы высъкли меньшаго братца Сережи за то, что онъ громко плакалъ; правда, Софья Николаевна не допустила этого. Но чьи-бы то ни было дети должны у Прасковыи Ивановны обедать постоянно особнякомъ, рискуя остаться голодными, благодаря тому, что избалованная прислуга не подаеть имъ подчасъ ничего. Софь В Николаевн в слишком в скоро приходится убъдиться въ томъ, что слова Прасковыи Ивановны: «приказывай — все будеть исполняться» остаются только пу-

стымъ звукомъ. Дъло въ томъ, что и сама Прасковья Ивановна вовсе не полозрѣвала, какъ часто не исполняется собственная ея воля. «Все вокругъ нея утопало въ безпутствъ, потому что она ничего не видъла, ничего не знала и очень не любила, когда говорили ей о чемъ нибуль полобномъ». Это могло бы въ ней полорвать милую для нея фикцію той сильной власти, которой у нея на повърку совсъмъ не оказывалось, какъ и у большей части мнящихъ себя обладателями таковой. Она думала обладать подобною властью, не тревожа себя никакими заботами, никакимъ трудомъ, «не сознавая своихъ обязанностей и отношеній къ 1200 душъ подвластныхъ ей людей». Все это, конечно, объясняется тёмъ, что когда-то «еще ребенкомъ выданная замужъ родными своей матери за страшнаго злодъя, испытавъ цъйствительно всь ужасы, какіе мы знаемъ изъ старыхъ романовъ и Французскихъ мелодраммъ, она уже двадцать лътъ жила вдовою. Пользуясь независимостью своего положенія, доставляемаго ей богатствомъ и нравственною чистотою цёлой жизни, она была совершенно свободна и даже своевольна во всъхъ движеніяхъ своего ума и сердца». По опыту зная, что значить дурно выйди замужъ, она спасла отъ необходимости непремънно пристроиться свою бъдную родственницу, пріютивъ ее у себя; но той, однако, живется у Прасковыи Ивановны такъ, что она постоянно чувствуетъ свое положение «бъдной родственницы». Не даромъ Александра Ивановна разсказываеть про нее Сережиной матери, до какой степени она избалована тъмъ, что «за богатство ее всъ уважають, что даже всякій новый губернаторь пріважаеть съ ней знакомиться». «Сама же Прасковья Ивановна, по словамъ той же родственницы, никого не уважаетъ и не любить (любить, скажемъ мы, всегда въдь значить себя ограничивать, болье или менье отдаваться другому), она своими гостями или забавляется, или ругаетъ ихъ въ глаза». Въ самомъ дълъ, та свобода, которую, повидимому, она предоставляеть имъ у себя, только замаскировываеть въ ихъ глазахъ ту дъйствительно полную свободу, которая составляеть ее собственную львиную часть. Она всемъ безъ исключенія (или, можеть быть, за исключеніемъ губернатора?) говорить ты, но никто, ни даже ближайшіе родственники, не ръшился бы ей отвътить тъмъ-же. Дъло въ томъ, что это слово для нея уже исключительная привилегія. Ей и не снится то святое, то чудное для души употребление этого слова, которое связывается не съ главенствомъ, не съ превозносящеюся властностью, а съ крѣпкою привязанностью къ тому, кому оно говорится и неизбъжно предполагаетъ взаимность; то употребление этого слова старшими по отношенію къ особенно дорогимъ для нихъ младшимъ, которое теряетъ для старшихъ всю свою прелесть, если эти любимыя дъти, эти юноши не отвъчають имъ тъмъ же, т.-е. не дають имъ этимъ знать, что и они, старшіе, не менте кртпко любимы. Прасковья Ивановна, повидимому, не соображала, что и Богу говорять ты, при этомъ, конечно, гораздо болте Его любя и благоговъя предъ нимъ, чъмъ была бы на то способна сама Прасковья Ивановна. Да, ея отношенія и къ Богу были тъ же барски-причудливыя. «Молится, замъчаетъ о ней Александра Ивановна, по капризу, когда ей захочется, а не захочется, то и среди объдни изъ церкви уйдетъ» (стр. II, 5-7). Это, конечно, происходило у нея не отъ подмъси къ религіи какой нибудь раціоналистической струйки — откуда бы могла она быть у Прасковыи Ивановны? — а именно отъ той барской причудливости, которая сказывалась у нея во всемъ. Такъ, изъ той же причудливости-и причудливости чисто-властной-Прасковья Ивановна задерживаеть у себя слабаго волею Алексъя Степановича, а онъ вследствіе этого застаетъ свою больную мать уже на столъ (стр. 101).

Съ особенною силою авторъ налегаетъ въ своей новой книгъ на дальнъйшее развите типовъ Софьи Николаевны и ея мужа, особенно же первой. Тутъ мы совсъмъ уже коротко съ ней знакомимся, хотя подчасъ и далеко не къ ея выгодъ. Ближе прежняго знакомимся мы и съ Алексъемъ Степановичемъ и онъ, напротивъ, часто только

выигрываеть оть этого въ нашемъ мнѣніи. «Сережа, по вѣрному выраженію одного изъ критиковъ, находится подъ вліяніемъ весьма разнообразныхъ условій, между которыми важнѣйшія и, по сущности своей, противоположныя—суть вліянія отца и матери, — вліянія свѣтскаго городскаго и сельскаго элементовъ» *). Отецъ, какъ представитель послѣдняго, является вполнѣ желаннымъ противовѣсомъ матери, и остается только пожалѣть, что, по слабости свой воли и по тому, что онъ вообще стоитъ ей не въ уровень, онъ слишкомъ уступаетъ и тутъ женѣ, а мальчикъ поэтому становится матушкинымъ сынкомъ—не въ буквальномъ, а въ иносказательномъ смыслѣ этого слова.

Старикъ Степанъ Михайловичъ, однакоже, не опибся въ томъ, что Сережа кръпко любитъ и отца. Оно и не можетъ быть иначе, уже потому, что отецъ, хотя и не такъ къ нему нъженъ, какъ мать, но гораздо ближе стоитъ къ природъ и къ простымъ людямъ, т.-е. и къ дътскому возрасту.

«Оставшись на-единъ съ матерью, я спросиль ее, вспоминаеть свое детство Багровъ-внукъ, отчего отецъ не ходить удить, хотя очень любить уженье? Отчего онъ ни разу не бралъ ружья въ руки, а стрелять онъ также быль охотникь, о чемь не разъ разсказываль мнъ. Матери моей были непріятны мои вопросы. Она отвъчала, что никто не запрещаетъ ему ни стрълять, ни удить; но въ тоже время презрительно отозвалась объ этихъ охотахъ, особенно объ уженьи, называя его забавою людей праздныхъ и пустыхъ, не имъющихъ лучшаго дъла, забавою, приличною только дътскому возрасту, и мнъ немножко стало стыдно, что я такъ люблю удить» (П, стр. 47). Что касается стрёльбы, то со стороны матери примешивалось тутъ, конечно, и нъчто другое. «По моей усиленной просьбъ, отедъ, продолжаетъ припоминать Багровъ, согласился было взять съ собою ружье, потому что въ поляхъ водилось множество полевой дичи; но мать начала говорить,

^{*)} А. Н. Бекетовъ въ Р. Въстникъ 1885 г.

что она боится, какъ бы ружье не выстрълило и меня не убило, а потому отецъ, хотя увърялъ, что ружье лежало бы на дрогахъ незаряженное, оставилъ его дома. Я замътиль, что ему самому хотълось взять ружье; я же очень горячо этого желаль, а потому повхаль нъсколько огорченный» (Ц, стр. 49). Между тъмъ разумной матери слъдовало бы, конечно, побъдить въ себъ невольный страхъ, потому что, какъ бы тамъ ни судила она свысока объ охотъ, а самая борьба съ какими-бы то ни было препятствіями и самая даже тёнь опасности способны развивать въ мальчикъ смълость, не давать ему окончательно стать такимъ, какимъ былъ Сережа, когда его посадили на самую смирную лошадь и онъ вдругъ съ испугу вообразилъ, что она его уже понесла (І, 348). Не забудемъ, что мальчику стало при этомъ ужасно стыдно, а «благо тъмъ которые щадять, избавляють оть унизительнаго сознанія въ трусости робкое сердце дитяти» (I, 376). Но въдь Софьъ Николаевнъ не нравилось даже и то, что отецъ водилъ Сережу собирать грибы, а при этомъ въдь не видно, чтобы она чего-нибудь боялась—змъй, что ли? «Мнъ очень было непріятно, припоминаеть сынъ, что въ продолженіе всего объда мать насмъхалась надъ охотой брать грибы и особенно надъ моимъ отцомъ, который для этой поъздки отложилъ до завтра какое-то нужное по хозяйству дёло. Я подумаль, что мать ни за что меня не отпустить, и, такъ только, для пробы, спросилъ весьма нетвердымъ голосомъ: «Не позволите ли, маменька, и мнъ поъхать за груздями? Къ удивленію моему, мать сейчась же согласилась и выразительнымъ голосомъ сказала мнѣ: «только съ тьмъ, чтобы ты въ лъсу ни на шагъ не отставалъ отъ отца, а то, пожалуй, какъ займутся груздями, то тебя потеряютъ» (П, 63-64). Но въдь подобнымъ предположениемъ, намекавшимъ на то, что отецъ-весь такъ и уйдетъ въ свои грузди, она прямо роняла отца во мненіи сына-ревнуя, что ли, Сережу къ отцу? Но, любя природу и занятія, или забавы, ставящія съ глаза на глазъ съ нею, Алексъй Степановичь любиль также и людей съ простымъ природнымъ

умомъ. Софьт Николаевнъ обыкновенно надобдало слушать его разговоры съ ними. Но однажды и она нашла забавными насмъшливые разсказы старика-крестьянина о томъ самомъ помъщикъ Дурасовъ, роскошь котораго еще недавно привела въ изумление Сережу. Ребенку досталось за это. «Ты точно быль крестьянскій мальчикь, выговаривала ему мать, который сроду ничего не видываль, кромъ своей избы, и котораго привели въ господскій домъ» (П. 79). Теперь же вдругъ мужицкія насмъшки надъ этимъ же самымъ Дурасовымъ, со всёми его затёями, приводятъ тогоже самаго Сережу вотъ къ чему. «Крестьянинъ насмъхался надъ бариномъ, а я, разсуждаеть онъ, привыкъ думать, что крестьяне смотрять на своихъ господъ съ благоговъніемъ и всѣ ихъ поступки и дѣла считаютъ разумными» (П. 118). Почуяла ли умная Софья Николаевна, что въ подобномъ открытіи заключалась такая воспитательная сила, которая стоила цёлаго множества книгъ? Намёреніе Сережи прислушиваться съ этихъ поръ къ тому, что про нихъ говорятъ Параша съ Евсеичемъ, вызываетъ у нея лишь улыбку съ такимъ замъчаніемъ: «Параша, особенно Евсеичъ служатъ намъ усердно, а что про насъ думаютъ, я и знать не хочу».

Не желая знать мужицкихъ думъ и не долюбливая мужицкихъ разговоровъ, Софья Николаевна огородила свой деревенскій домъ также и отъ народныхъ пъсенъ. Случайно подслушавъ однажды Матрешу, и похваливъ ея прекрасный голосъ, Сережа спросилъ ее, «отчего она никогда не поетъ въ дъвичьей», а она наклонилась и шепнула ему на ухо, что его матушка не любитъ слушать ихъ мужицкихъ пъсенъ. Онъ очень пожалълъ о томъ, потому что пъсня и голосъ Матреши заронились ему въ душу (П, 64). Матери, однакоже, не удалось его окончательно уберечь отъ народныхъ сказокъ. Одну изъ нихъ онъ подъ старость пересказалъ на литературномъ языкъ. Это тотъ «Аленькій цвъточекъ», который, существуя въ отдъльномъ дешевомъ изданіи, вошелъ и въ полное собраніе сочененій Аксакова (т. П). Нелюбовь къ народной

поэзіи связывалась, конечно, у Софьи Николаевны съ тѣмъ городскимъ настроеніемъ, при которомъ она «равнодушно смотрѣла, припоминаетъ ея сынъ, на зеленыя липы и березы, на текущую вокругъ воду; стукъ толчеи, шумъ мельницы, долетавшій иногда явственно, когда поднимался вѣтерокъ, по временамъ затихавшій, казался ей одно образнымъ и скучнымъ; сырой запахъ отъ пруда, котораго никто не замѣчалъ, находила она противнымъ и, посидѣвъ съ часъ, уходила домой въ свою душную спальню, раскаленную солнечными лучами» (П, 55).

Доходило до того, что Софья Николаевна ревновала Сережу къ этой, нисколько ею нелюбимой природъ. Когда еще въ раннемъ дётствъ, скръпя сердце отпущенный ею поудить съ отцемъ, онъ вскоръ оттуда возвращается къ ней, видя, какъ грустно ей было его отпускать *), мы не можемъ, конечно, не признать прекрасною въ мальчикъ эту способность ради матери отказаться отъ собственнаго удовольствія, какъ и ту силу его любви къ ней, при которой непріятное для нея и для него уже было вовсе не удовольствіе. Но мы не можемъ признать позволительнымъ влоупотребленіе этимъ съ ея стороны. А въдь прямо до такого злоупотребленія доходить она, когда, по поводу его столь естественныхъ весеннихъ побътовъ отъ нея въ лъсъ да въ поле, говоритъ ему, едва лишь онъ поостылъ къ этому: «ну, теперь ты, кажется, очнулся... а въдь ты былъ точно помъщанный. Ты ни въ чемъ не принималъ участія, ты забыль, что у тебя есть мать». Правда, конечно, и то, что самая любовь къ природъ принимала у Сережи какой-то страстный характеръ, становилась «болъзненнымъ устремленьемъ всъхъ помышленій и чувствъ къ одному предмету», такъ что онъ при этомъ одностороннемъ стремленіи «не могъ ничти заниматься, скучаль и привередничалъ» (I, 331). Но такая страстность была привита къ нему страстностью той же его матери, и изцеленіемъ едва ли могли служить ея страстные

^{*)} I, 279-280.

же ему упреки. Въдь довели же его такіе упреки до бользненно-преувеличенной мысли о томъ, что онъ «дурной, неблагодарный сынъ, котораго всъ должны презирать». --«Подстрекая другь друга, вспоминаеть онь, мы съ матерью предались пламеннымъ изліяніямъ взаимнаго раскаянія и восторженной любви; между нами изчезло разстояние лътъ и отношеній, мы оба изступленно плакали и громко рыдали...» Въ самую эту минуту вошелъ отецъ... «Охота вамъ мучить себя понапрасну изъ пустяковъ, сказалъ онъ, и разстраивать свое здоровье. Ты еще ребенокъ, а матери это гръхъ». И отецъ несомнънно быль правъ. Но мать вслёдь затёмь наговорила много оскорбительнаго отду, а мальчикъ повърилъ, что у отда мало чувствъ. Сердце его затъмъ поутихло и опять раскрылось впечатлъніямъ природы, но горячность матери росла уже постоянно, «Несмотря на мой дътскій возрасть, вспоминаеть онь, я сділался ея другомь, ея повіреннымь и узналъ много такого, чего не могъ понять, что понималъ превратно и чего мнъ знать не слъдовало» (П, 43-44).

Это имъло на Сережу тъмъ болъе ръшительное вліяніе, что у него, за исключеніемъ сестры, вовсе не было сверстниковъ однолътокъ, не было товарищей. «Во все время моего дътства, припоминаетъ онъ, и въ первые года отрочества замътно было во мнъ странное свойство: я не дружился съ своими сверстниками и тяготился ихъ присутствіемъ даже тогда, когда оно не мѣппало моимъ охотничьимъ увлеченіямъ, которымъ и въ ребячествъ я страстно предавался. Это свойство называли во мнъ нелюдимствомъ, дикостью и робостью, говорили, что я боюсь чужихъ.... Это происходило, в вроятно, отъ долговременной болъзни, съ которою неразлучны отчуждение и уединение, заставляющія сосредоточиваться и малое дитя... Еще бол'те оно происходило отъ постояннаго, часто исключительнаго сообщества матери и постояннаго чтенія книгъ. Голова моя была старше моихъ лётъ и общество однолётнихъ со мною дътей не удовлетворяло меня, а для старшихъ я быль самь молодъ» (I, 347).

Этихъ старшихъ, къ сожальнію, было при немъ достаточно и притомъ такихъ, которые себъ на потъху позволяють себъ дразнить дътей. Такіе-то милые старшіе стали играть на струнъ того чувства собственности, раннее проявленіе котораго у Сережи являлось, конечно, также не особенно выгоднымъ признакомъ получаемаго имъ воспитанія. (Въдь и вообще въ этомъ чувствъ собственности мало возвышающаго въ насъ наше человъческое достоинство.) Они составили даже бумагу, подписавшись подъ руку его родителей, которою предназначавшаяся Сергъевка передавалась въ видъ приданаго за его сестрой одному изъ этихъ шутниковъ, --поплатившемуся за то тъмъ, что разъяренный мальчикъ пустилъ ему деревяннымъ молоткомъ въ голову, самъ же, послъ перенесеннаго наказанія, слегь въ постель. При этомъ бъдный Сережа дошель до самой бользненной экзальтаціи, вообразивь себя «какимъ-то героемъ, мученикомъ, о которыхъ читаль и слышаль, страдающимь за истину, за правду» (І. 321). Но здравыя стороны доброй природы мальчика, къ счастью, одерживають въ немъ верхъ. Пролежавъ два дня, онъ «вдругъ почувствовалъ сильное желаніе увидёть своихъ гонителей, выпросить у нихъ прощеніе и такъ примириться съ ними, чтобы никто на него не сердился». Мать обняла его и заплакала отъ радости, что у него такое доброе сердце (326). Но не слъдовало ли ей ограждать это сердце отъ такихъ легкомысленныхъ надъ нимъ опытовъ? Не дъльнъе ли бы это было, чъмъ оберегать его отъ всякихъ соприкосновеній съ крестьянскимъ міромъ? Разъ только мать почему-то измънила себъ въ этомъ послъднемъ отношеніи, послушавшись чьего-то совъта (исходившаго, конечно, со стороны какого-нибудь умнаго и образованнаго ея знакомаго). Она отправила Сережу съ мальчикомъ, и дома учившимся вмъстъ съ нимъ, (то же своего рода исключенье изъ общихъ правилъ) въ народное училище и онъ сдтлался свидътелемъ жестокой расправы учителя (и у нихъ на дому ставившаго Сережъ всегда однимъ балломъ больше, чъмъ Андрюшъ-при совершенно одинаковыхъ ихъ успъхахъ), жестокой его расправы въ классъ съ учениками. «Трудно было примириться дътскому уму и чувству, разсуждаетъ Багровъ, съ мыслью, что ... Матвъй Васильевичъ могъ браниться звърскимъ голосомъ, съчь своихъ учениковъ и оставаться въ то же время честнымъ, добрымъ и тихимъ человъкомъ (т.-е., прибавимъ мы, оставаться добрымъ и тихимъ, но, собственно тамъ, гдъ не позволили бы такого поведенія, т.-е., гдъ по-неволъ не будешь злымъ и буйнымъ). «Слишкомъ рано, говоритъ онъ, получилъ я это раздирающее впечатлъніе и этотъ страшный урокъ! онъ возмутилъ ясную тишину моей души» (I, 327).

Но въдь это бы не бъда. Съ одною ясною тишиною не проживешь: нъсколько ранъе нарушить ее значитъ въдь иногда—только заранъе закалить свою душу на предстоящую, неизбъжную для полнаго человъка, встръчу съ жизнью. Вредно дъйствуетъ собственно только одно преждевременное омраченье воображенія— или, лучше сказать, его загрязненіе раннимъ возбужденіемъ въ насъ извъстнаго рода любопытства и гадкимъ удовлетвореніемъ этого послъдняго.

Совершенно также случайно, какъ-бы по недосмотру, Сережъ пришлось ознакомиться и со старостой Миронычемъ, и мальчикъ «никакъ не могъ примириться съ мыслію, что Миронычь можеть драться, не переставая быть добрымъ человъкомъ». - «Житейская мудрость не можетъ быть цонимаема дитятей, поясняеть онъ; добровольныя уступки несовмъстны съ чистотой его души». Онъ сталъ по этому поводу приставать къ родителямъ съ вопросами и надоблъ имъ, такъ что ему приказали или читать книжку, или играть съ сестрицей (І, 201). Но въдь худо туть именно то, что онъ надопля своими вопросами, т.-е., на самомъ дълъ, что родителямъ нечего было ему отвътить. Въдь именно дътское-то чутье и оказывалось тутъ правымъ, потому что такъ называемая житейская мудрость должна же, наконецъ, быть упразднена настоящею высшею мудростью, должны же, наконецъ, быть откинуты, какъ во нючій хламъ, всякія уступки, т. е. всякія сдёлки съ совъстью, и долженъ же, наконецъ, восторжествовать сказочный идеалъ Иванушки! Брезгая всъмъ народнымъ, Софья Николаевна и не воображала, какая воспитательная сила заключается въ этомъ идеалъ, лелъющемъ и во взросломъ дътскую чистоту души, ту чистоту души, которая должна бы быть сохраняема, тогда какъ ея ясная тишина никакимъ образомъ несохранима.

Какъ ни старалась нѣжная, но далеко не всегда разумная мать, уберечь своего сынка отъ всякаго рода крестьянскихъ впечатлѣній, это рѣшительно не удавалось ей, а потому деревня должна была все болѣе и болѣе отталкивать ее отъ себя и въ воспитательномъ отношеніи. Хорошо, повидимому, зная мать, Сережа, однако, съ восторгомъ описывалъ ей крестьянскія работы и съ огорченіемъ видѣлъ, уже не въ первый разъ, что мать слупала его очень равнодушно, а его желаніе выучиться крестьянскимъ работамъ называла «ребячьими бреднями». Когда воротился отецъ, мальчикъ до-сыта наговорился съ нимъ о крестьянскихъ работахъ. Отецъ его уважалъ труды крестьянъ, онъ съ любовью говорилъ о нихъ, и Сережѣ было пріятно его слушать, а также высказывать свои собственныя чувства и дѣтскія мысли (І, 414).

Но мальчикъ не только заинтересовывался крестьянскими работами; имъ овладъвало также и «невыразимое чувство состраданія къ работающимъ съ такимъ напряженіемъ силъ, на солнечномъ знов, не мужчинамъ только, но и женщинамъ, притомъ же тутъ и кормившимъ своихъ грудныхъ дътей, которыхъ вынимали онъ на время изъ пристроенныхъ тутъ же, среди поля, люлекъ» (I, 273). Мальчикъ «сравнивалъ себя съ крестьянскими мальчиками, которые цълый день, отъ восхода до заката солнечнаго, бродили взадъ и впередъ, какъ по песку, по рыхлымъ десятинамъ, которые кушали хлъбъ да воду, и ему стало совъстно, стыдно, и онъ ръшился просить отца и мать, чтобы его заставили бороновать землю... Оказалось, что онъ никуда не годенъ: не умъетъ ходить по вспаханной землъ, не умъетъ держать возжи и править ло-

падью, не умѣетъ заставить ее слушаться. Ему было стыдно и досадно и онъ никогда уже не поминалъ объ этомъ» (II, 50—51). Мать, конечно, заранѣе на то и разсчитывала; у отца же не доставало ни крѣпости воли, ни болѣе глубокаго проникновенія въ воспитательное значеніе дѣла, чтобы не дать ему быть позабытымъ, чтобы вернуть къ нему сына—хотя бы позже. Будь отецъ и поглубже, и потверже волей,—и задолго до Л. Н. Толстого могло бы тутъ что нибудь выйдти—въ смыслѣ даже болѣе дѣльномъ, т.-е. дѣйствительно полезномъ и для барина и для мужика.

При своей любви къ матери, Сережа, инстинктивно любя и народъ. не хотълъ даже вполнъ повърить ея, обидной для его сердца, нелюбви къ народу. «Почему, маменька, вы не вышли къ нашимъ добрымъ крестьянамъ? спросилъ онъ ее. Они васъ такъ любятъ.—А потому—отвъчала она,—что бабушкъ и тетушкъ твоей стало бы еще грустнъе; къ тому же я терпъть не могу... ну, да ты еще малъ и понять меня не можешь»... Долго ломалъ я голову, поясняетъ онъ, чего мать терпъть не можетъ? Неужели добрыхъ крестьянъ, которые сами говорятъ, что насъ такъ любятъ!» (I, 405).

Эти «добрые крестьяне», въ сущности, составляють въ книгъ о «Дътскихъ годахъ Багрова» настоящую, въ самомъ дълъ, воспитательно дъйствующую на него силу— «камень, который отвергли зиждущіе», но который долженъ бы «лечь во главу угла». Недаромъ и покойный Добролюбовъ въ своей извъстной статьъ объ этой книгъ замътилъ: «тутъ, какъ вездъ, есть одна сторона отрадная, успокаивающая: это видъ бодраго свъжаго крестьянскаго населенія, твердо переносящаго всъ испытанія, безъ отчаяннаго унынія, но съ постоянной надеждой на милость Божію и царскую» *).

Между «не-народомъ» въ «Дѣтскихъ годахъ Багрова» встръчается, можетъ быть, только одно лицо, совершен-

^{*)} Соч. Добролюбова I, 385.

но, впрочемъ, эпизодическое, заслуживающее полнаго сочувствія и уваженія. Это тотъ самый С. И. Аничковъ, пріятель Н. И. Новикова, который подарилъ Сережѣ Новиковское «Дѣтское чтеніе». Багровъ мимоходомъ припоминаетъ, что Аничковъ «не могъ простить покойной Государынѣ (Екатеринѣ II), зачѣмъ она распустила депутатовъ, собранныхъ для совѣщанія о законахъ» (I, 358). Мальчикъ, конечно, могъ только запомнить его слова, но не могъ себѣ дать отчетъ въ ихъ глубокомъ смыслѣ. Не понимаютъ же ихъ и по сію пору многоученые Россійскіе мужи, такъ глубокомысленно разсуждающіе о томъ, что Екатерина не могла не распустить депутатовъ, такъ какъ «мы еще не созрѣли», и т. п.

Останавливаясь на этомъ, не можемъ ли мы заключить изъ своего обзора «Лътскихъ Годовъ», что они представляють не только внѣшнюю, но и несомнѣнную внутреннюю связь съ «Хроникой»?-Герой «Дътскихъ годовъ», Сережа, не является ли прямымъ внукомъ старика Вагрова — въ томъ смыслъ, что, при всей своей доброй природъ, отличается недостатками, которые поддержи ваются слабостью его отца, слишкомъ робкимъ отпоромъ, даннымъ съ его стороны матери; эта же слабость отца такъ же точно порождена грознымъ свычаемъ и обычаемъ Степана Михайловича, какъ городскіе вкусы, нервная страстность и эгоистическая подкладка самаго чувства любви у Софьи Николаевны тъсно связаны съ ея воспитаніемъ, ея судьбою и дальнъйшимъ ея положеніемъ у ея отца. Съ другой стороны, въ своемъ родъ играющій роль хора въ Греческой трагедіи, простой народъ не является ли въ той и въ другой книгъ, при всемъ своемъ нравственномъ въсъ, одинаково пребывающимъ на степени какого-то невъсомаго?

Но между «Хроникою» и «Дътскими Годами» существуетъ еще другая связь: по формъ, по литературнымъ пріемамъ. Въ этомъ отношеніи, какъ оно и замъчено было чуть ли не всъми нашими критиками, оба произведенія ръзко отличаются отъ «Воспоминаній». Эти послъднія—

въ самомъ дълъ только воспоминанія, т.-е. въ нихъ передается, что вспомнится и на сколько вспомнится изъ видъннаго и пережитаго. Правда, вступление къ «Дътскимъ Годамъ Багрова» сообщаеть намъ следующее: «Я самъ не знаю, можно ли вподнъ върить всему тому, что сохранила моя память? Если я помню дъйствительно случившіяся событія, то это можно назвать воспоминаніями не только дътства, но даже младенчества... Будучи лътъ трехъ или четырехъ, я разсказывалъ окружающимъ меня, что помню, какъ отнимали меня отъ кормилицы... Всъ смъялись моимъ разсказамъ и увъряли, что я наслушался ихъ отъ матери или няньки, и подумалъ, что это я самъ видълъ. Я спорилъ и въ доказательство приводилъ иногда такія обстоятельства, которыя не могли быть мнъ разсказаны и которыя могли знать только я, да моя кормилица или мать. Наводили справки, и часто оказывалось, что дъйствительно дъло было такъ и что разсказать мнъ о немъ никакъ не могли. Но не все, казавшееся мнъ видъннымъ, видълъ я въ самомъ дълъ; тъ же справки иногда доказывали, что многаго я не могъ видъть, а могъ только слышать» (I, 233). Но такая феноменальная память, даже при сдёланныхъ туть оговоркахъ, едва ли не является авторскою фикціею. А въдь только съ такою памятью и можно бы было написать «Детскіе годы Багрова внука» и «Семейную хронику», подъ условіемъ такой же феноменальной памяти и у тъхъ, чьими разсказами пользовался авторъ. На самомъ дёлё, конечно, въ книгахъ не обощлось безъ того, что выходитъ уже за предълы памяти, - въ чемъ уже сказывается дорисовывающее воображение, творчество. Словомъ, объ книги можно бы было озаглавить также, какъ Гёте озаглавилъ свою автобіографію: Wahrheit und Dichtung, т.-е. Правда и Вымысель (былины сего времени и былиновы замышленія, какъ выразился пъвецъ Игоря). Потому-то объ книги, при всемъ ихъ частномъ, фамильномъ характеръ, и являются чисто-художественными произведеніями.

Совствить не то уже «Воспоминанія», вполнт возможныя при очень, конечно, кртпкой, но вовсе однако же не феноменальной, т.-е. не баснословной, памяти. Тутъ, при всей подробности разсказа, во многихъ случаяхъ далеко уже нътъ той полноты образовъ, которая въ сущности и возможна только при участіи Баянова замышленія. Въ «Воспоминаніяхъ» оно вполнт отсутствуетъ, а потому они—тъже, хотя и очень живые, мемуары, передающіе намъ лишь былины своего времени.

Но у С. Т. Аксакова есть еще одно художественное произведеніе, оставшееся, къ сожальнію, неоконченнымъ вслъдствіе смерти автора. Это повъсть «Наташа», —новый отрывокъ изъ той же семейной хроники, заключающій въ себъ творчески возсозданную исторію замужества сестры автора, той самой, которая такъ часто упоминается въ «Дътскихъ годахъ Багрова». Образъ ея и тамъ уже очень симпатиченъ. Наташа полна самой беззавътной, самой неревнивой любви къ брату, не смотря на то, что онъ любимецъ матери, и что бабушка и тетки напъвають ей это въ уши. Такія вредныя внушенія не производять никакого впечатлёнія на любящее сердце дёвочки (II, 51). Она нъжно жалъетъ Сережу и ласкается къ нему, когда онъ лежитъ въ постели послъ вынесеннаго имъ наказанія изъ за раздразнившихъ его большихъ шутниковъ. - «Я живо помню, разсказываетъ Багровъвнукъ, какъ дъдушка любовался на нашу дружбу съ сестрицей, которая, сидя у него на колъняхъ и слушая мою болтовню или чтеніе, вдругъ безъ всякой причины спрыгивала на полъ, подбъгала ко мнъ, обнимала и цъловала, и потомъ возвращалась назадъ и опять всползала къ дъдушкъ на колъни; на вопросъ же его: «что ты, козулька, вскочила?» она отвъчала: «захотълось братца поцъловать» (I, 306).

Въ очеркъ «Наташа» мы еще ближе знакомимся съ ея, т.-е. и съ Сережиной, матерью, и знакомимся, надо сознаться, съ не особенно выгодной стороны. «Г-жа Болдухина (такъ замаскировываеть ее тутъ авторъ), сама не-

получившая никакого образованія, была женщина не глупая и горячая; но она держала Наташу до сихъ поръ въ совершенномъ отдаленіи и только недавно начала приближать къ себъ». Зато сама Наташа является туть, какъ дъвушка, прямымъ дальнъйшимъ развитіемъ того чуднаго ребенка, съ которымъ мы познакомились въ «Дътскихъ Годахъ» (Сережа въ нашемъ очеркъ не играетъ роли и авторъ видимо хотълъ придать этому очерку характеръ чего-то совершенно отдъльнаго, и только И. С. Аксаковъ въ своемъ предисловіи къ нему указаль на то, что передъ нами выступають туть подъ новой фамиліей тъже Багровы). «Наташа, говорится въ очеркъ, имъла глубоко-нъжное сердце, но безъ всякаго нѣжничанья, и сентиментальность по инстинкту ей была противна. Доброта ея была безпредъльна и вполнъ развита отт самыхъ дътскихъ лътъ. Много чужихъ винъ перебрала она на себя и нихъ вытерпъла отъ вспыльчивой и долго нелюбившей ее матери» (III, 16). Будучи нелюбимой дочерью, Наташа страстно любила мать, и хотя по добротъ своей не завидовала, но сердечно сгорчалась, видя, какъ маменька бывала иногда нъжна, заботлива и ласкова къ ея братьямъ и сестрамъ, особливо къ брату Петрушъ (въ немъ, должно быть, скрывается Сережа, но о немъ упоминается только мимоходомъ). Наташа (теперь уже, замътимъ мы отъ себя, дъвушка, а не ребенокъ, и все это очень уже хорошо понявшая) со слезами молилась Богу, чтобы мать ее также полюбила, и готова была на всякую жертву за одно нъжное слово своей матери (III, 23). И воть ей представляется наконецъ неожиданный случай для сближенія съ матерью. Въ молодомъ человъкъ, высоко ею цънимомъ, мать видитъ для Наташи самаго достойнаго, самаго желаннаго жениха. Мать утверждаеть, что такое счастіе дочери составить и ея собственное счастіе. «Наташа пришла въ безумный восторгъ отъ одной мысли, что отъ нея зависитъ счастіе матери, -- матери, для которой она была готова пожертвовать даже жизнью. Наташа мгновенно позабыла вст непріятныя впечатлівнія, произведенныя на нее молодымъ

Шатовымъ (даже смѣшное впечатлъніе его кутанья и затыканія имъ себъ ушей ватою въ теплый лотній вечерь); въ эту минуту она не понимала, не чувствовала ихъ и съ радостнымъ увлеченіемъ, осыпая поцелуями и обливая слезами руки своей матери, твердымъ голосомъ сказала: «я согласна, я желаю выйдти замужъ за Ардальона Семеновича» (32). Она въ самомъ дълъ вообразила, бить его, потому что кръпко любила мать. Ненадобно, разумъется, забывать, что, при тогдашнемъ воспитаніи, Наташа, какъ говорится, еще ничего тутъ не понямала, потому что оставалась ребенкомъ въ свои 16 лътъ. «Матьже отъ такого послушанья была въ восторгъ, разцъловала свою красавицу, перекрестила ее уже въ третій или четвертый разъ.... Полная радостнаго чувства дочерней любви, кромъ этого чувства все позабывшая, скоро уснула «счасливая дочь»... (33), «За нъсколько мъсяцевъ смъла ли она мечтать о такомъ сближени съ матерью, о такой ея любви, о возможности доказать ей свою детскую, безграничную любовь»... (34). Но между тъмъ, какъ Наташа, все далъе и далъе заходя въ своемъ увлечени, -- въ сущности, не женихомъ, а матерью, готова была хоть завтра же идти подъ вънецъ, мать напротивътого, «ежеминутно открывая въ своей дочери драгопъннъйшія качества и сердца, и нрава, и здраваго ума, котораго и не подозрѣвала, и видя въ тоже время ея дътскую невинность, ея совершенное непониманіе важности дела, къ которому готова была приступить, мать думала о другомъ: какъ бы оттянуть свадьбу на годъ, какъ-бы сдълать такъ, чтобы женихъ вполнъ узналъ и оцъниль, какое сокровище получаетъ» (36). Она почти въ ужасъ, когда узнаетъ, что дочь поспъшила уже дать слово и самому Шатову, темъ более, что послѣ этого замѣчается съ его стороны нѣсколько довольно странныхъ шаговъ. Но вотъ наконецъ какія-то сомнѣнія въ върности сдъланнаго шага стали закрадываться и въ душу Наташи. Теперь она уже «съ дътской наивностью говорила матери, что терпъть не можеть, когда кто-нибудь смотрить на нее такъ пристально, точно хочеть узнать, что происходить у нея въ сердцѣ, и что она особенно не любитъ такихъ взглядовъ Ардальона Семеныча. Но главное, что ей не нравилось и чего она не сказала Варварѣ Михайловнѣ, это была медленность и внлость всѣхъ движеній и словъ ея жениха»... (48). Тутъ вскорѣ и обрывается очеркъ, такъ и оставшійся неоконченнымъ, но прекраснымъ по замыслу, психологическимъ этюдомъ. Изъ предисловія И. С. Аксакова мы узнаемъ, что скороспѣлое дѣло должно было въ очеркѣ окончиться разрывомъ,—соотвѣтственно тому, что и въ дѣйствительности произошло съ сестрою Сергѣя Тимоееевича, которой исторію онъ и хотѣлъ тутъ воспроизвесть, на основаніи ея же воспоминаній, но съ примѣсью, разумѣется, творческаго начала.

«Воспоминанія», первоначально появившіяся вм'єсть съ «Семейной Хроникой», не только разсказываются въ первомъ лицѣ (подобно тому, какъ ведется разсказъ и въ «Дѣтскихъ годахъ Багрова»), но даже выставляють всѣхъ подъ ихъ настоящими именами. Въ сущности, они представляютъ драгоцѣнный матеріалъ собственно для біографіи автора, а также и для характеристики времени. Мы коснемся ихъ лишь настолько, насколько они находятся въ связи съ предшествующимъ, т.-е. окончательно объясняютъ намъ то или другое въ «Семейной Хроникѣ» и въ «Дѣтскихъ Годахъ».

Про мать свою (Софью Николаевну «Семейной Хроники») авторъ тутъ говоритъ: «Будучи необыкновенно умна, владъя ръдкимъ даромъ слова и страстнымъ, увлекательнымъ выраженіемъ мысли, она безгранично владъла моимъ существомъ и вдохнула въ меня такую бодрость, такое рвеніе скоръе исполнить ея желаніе, оправдать ея надежды, что я, наконецъ, съ нетерпъніемъ ожидалъ отъвзда въ Казань» (для поступленія въ гимназію) (ІІ, 154). Первая половина этой тирады свидътельствуетъ о томъ, что въ очеркъ «Наташа» мать автора замаскирована не только особою фамиліею Болдухиной, но даже особою и менъе выгодною характеристикою самаго ея ума и способностей. Вторая же половина тирады фактически

подтверждаеть то самообладаніе, на какое бывала способна Софья Николаевна, не смотря на всю свою страстность и порывистость. Умные и образованные знакомые сильно налегли на необходимость для нея разстаться съ сыномъ, ради того образованія, какое онъ можеть получить только въ отдаленномъ губернскомъ городъ, -и любящая мать, ръшившись принести такую жертву, заранбе приготовляетъ и располагаеть къ тому же и мальчика. Но разлука оказывается тёмъ болёе тяжелою, что, по гадкому обычаю тогдашнихъ учебныхъ заведеній, письма мальчика къ родителямъ должны были незапечатанными проходить черевъ руки начальства (П, 168) и такимъ образомъ не оказывалась впередъ возможною и вполнт задушевная, бевъ утайки, бесъда мальчика съ матерью. Но нъжное сердце матери вообще не выносить разлуки. Доходить до того, что въ первый разъ въ жизни она учить своего сына солгать--притвориться больнымъ по уговору съ докторомъ — чтобы такимъ образомъ получить возможность быть уволеннымъ къ ней на продолжительный срокъ въ деревню (II, 188). Этимъ подтверждается и дорисовывается опять та материнская слабость, о которой такъ много говорится уже въ «Дътскихъ Годахъ Багрова». Описывая свою долгую побывку, въ видъ отпуска, въ Аксаковъ (соотвътствующемъ Багрову), авторъ не только упоминаеть объ извъстной намъ нелюбви своей матери ко всему деревенскому, но и объясняеть намъ это такимъ образомъ: «она получила, такъ сказать, некоторое внешнее прикосновеніе цивилизаціи отъ чтенія книгъ и отъ знакомства съ погдашними умными и образованными людьми, - прикосновеніе, часто возбуждающее какую-то гордость и неуваженіе къ простонародному быту» (II, 209). Кое-что, и даже очень важное, при описаніи этой побывки въ Аксаковъ остается недоговореннымъ-потому, разумъется, что тутъ мы уже прямо находимся въ области личныхъ воспоминаній со всею ихъ щекотливостью. «Мать моя, говорить авторь, постоянно была чёмь-то озабочена и вообще разстроена; она нъсколько менье занималась мною, и я,

болье преданный спокойному размышленію, потрясенный въ моей дътской безпечности жизнью въ гимназіи.... уже не находиль въ себъ прежней беззаботности, прежняго увлеченія въ своихъ охотахъ, и съ большимъ вниманіемъ сталъ вглядываться во все, меня окружающее, сталъ понимать кое-что, до техъ поръ незамечаемое мною... Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ жизнь въ Аксаковъ уже не казалась мнъ прежнимъ свътлымъ раемъ, а вторичное поступленіе въ гимназію, особенно ученикомъ своекоштнымъ-не представлялось страшнымъ событіемъ» (II, 213). Этотъ легкій намекъ едва ли, однако же, не досказываетъ намъ того, что постепенно развивалось въ «Хроникъ» и въ «Иттекихъ Годахъ Багрова» - т.-е. продолжающихся неладовъ между отцомъ и матерью, зависъвшихъ отъ разницы ихъ темперамента, нрава, воспитанія и взглядовъ, и поддерживаемыхъ, можетъ быть, еще болъе прежняго тою болъзненною ревностью жены, на которую, въ свою очередь, уже и тамъ указывалось?

О самомъ Сергѣѣ Тимовеевичѣ узнаемъ мы изъ «Воспоминаній» (это находится въ связи съ тѣмъ, въ сущности совсѣмъ не мужскимъ, воспитаніемъ, какое дано было ему крайнимъ перевѣсомъ материнскаго вліянія), что онъ и въ старшихъ классахъ гимназіи продолжалъ бояться покойниковъ (II, 284).

По поведу этого и произошло одно изъ его столкновеній съ тѣмъ достойнѣйпимъ педагогомъ, у котораго онъ жилъ въ Казани и который послужилъ для него противовѣсомъ одностороннему материнскому вліянію, хотя, къ сожалѣнью, противовѣсомъ, въ свою очередь слишкомъ рѣшительнымъ, крайнимъ. Это одно изъ наиболѣе выдающихся въ «Воспоминаніяхъ» лицъ,—Гр. Ив. Карташевскій. Если мать, своею нѣжною, и въ то же время страстною привязанностью доводила и мальчика до нервной экзальтаціи и, забывая его ребяческій возрастъ, возводила его на степень своего друга, своего повѣреннаго, то наставникъ, кръпко его любя, считалъ нужнымъ его обдавать какимъ-то педагогическимъ холодомъ, постоянно держать его

отъ себя на почтительномъ разстояніи. По справедливому мнънію самого воспитанника, - мнънію, высказанному имъ уже подъ старость, это имъло свою положительно дурную сторону. «Я не могъ тогда оценить достоинства этого человъка. — говоритъ онъ. — и не могъ бы его полюбить, еслибы мать не увъдомляла меня потихоньку, что онъ меня очень любить и очень хвалить, а не показываеть этого только для того, чтобы я, по молодости своей, не избаловался отъ его похвалъ. Къ сожалѣнію, Григорій Ивановичь держался этого ошибочнаго правила во все продолжение своего полезнато долговременнаго и важнаго служебнаго поприща, габ приходилось имъть дъло не съ дътьми, а часто со стариками... Были хорошіе люди, которыхъ онъ оттолкнулъ отъ себя благонамфренною сухостью обращенія и которые сочли его за человъка гордаго и жосткаго, что было совершенно несправедливо» (231). «Онъ ни разу не приласкалъ меня, - продолжалъ Сергъй Тимовеевичъ, -- не польстилъ моему самолюбію какою нибудь похвалою, не ободрилъ моего прилежанія, и со всёмъ тёмъ я любилъ его такъ горячо, какъ не любилъ никого изъ постороннихъ. Я помню, какъ одинъ разъ услышаль я, что онъ смъется; я заглянуль въ его комнату и увидълъ, что мой строгій наставникъ, держа въ рукт какую-то математическую книгу, хохочеть, какъ дитя, смотря на играющихъ котятъ... Лицо у него въ то время было такое доброе, ласковое, даже нъжное, что я позавидоваль котятамь. Я вошель къ нему въ комнату съ своей тетрадкой-и прежняя спокойная холодность, даже какаято суровость, выразилась на его лицъ» (246). Не трудно, кажется, вывесть изъ этого разсказа, что, по мнѣнію автора «Воспоминаній», наставническій авторитеть Карташевскаго ни мало бы не понизился, еслибы его воспитаннику не пришлось завидовать котятамъ, а неръдко-бы приходилось видъть воспитателя веселымъ, готовымъ прутить и смъяться съ юношами, признавая права молодости и понимая, что чтмъ дольше она не проходитъ, ттмъ лучше. Но Григорій Ивановичь, сверхъ напускной холодности и серьёзности, отличался еще и излишнею требовательностью, неумѣньемъ прощать самые незначительные проступки и упрямымъ настаиваньемъ на своемъ,—что наконецъ и привело его къ разладу съ юнымъ Аксаковымъ, несмотря на всю силу взаимной привязанности между наставникомъ и воспитанникомъ (282—287).

Изъ «Воспоминаній» мы узнаемъ и то, что гимназіей быль пополнент въ жизни автора тотъ пробълъ его ранняго детства, который заключался въ отсутствіи у него товарищей. Что онъ гордился нъкоторыми изъ тъхъ, которые туть у него оказались, это видно изъ разсказа о произшествіи, такъ живо представлявшемся автору и подъ старость. Я разумъю расправу гимназистовъ старшаго класса съ лицомъ, называвшимся у нихъ квартирмистромъ, нещадно наказывавшимъ палками одного изъ служившихъ при гимназіи инвалидовъ. Гуманные юноши не только добились отъ этого, потъшавшагося своею властью, злодъя прекращенія жестокой расправы, но и вынудили у директора увольнение самого квартирмистра. Вслёдъ за тёмъ, вследствіе предательскаго образа действій директора, въ гимназію были однако-же введены солдаты съ ружьями, и такъ называемые зачиніцики (Дмитрій Княжевичь и др.), все самые лучшіе ученики, были исключены изъгимназіи безъ аттестація въ поведенія. Но Дмитрій Княжевичъ, опредълившись какъ-то на службу въ Петербургъ, чрезъ брата своего, оставшагося въ гимназіи, надолго сохранилъ близкую связь съ бывшими своими товарищами. Письма его къ брату читали торжественно во всеуслышаніе. Самого Аксакова во время этого произшествія не было на лицо въ гимназіи: онъ былъ умышленно задержанъ дома Г. И. Карташевскимъ. «Безъ всякаго сомнънія, —говоритъ онъ, я быль бы однимъ изъ самыхъ горячихъ участниковъ въ этомъ несчастномъ произшествіи» (289). Изъ разсказа ясно, какъ сильно дъйствовало на него тогда товарищество. Всякій разумный педагогь, разумбется, выведеть изъ этого только новое фактическое доказательство, какое громадное нравственное значение имъетъ вообще товарищество и какъ не дальновидна та педагогическая администрація, которая не считается съ этою несомнѣнно воспитательною силою или, что еще хуже, старается ее подорвать, задается гнусною цѣлью вытравить товарищескій духъ изъ учебнаго заведенія.

Чудная сила товарищеского авторитета засвидательствована Аксаковымъ также и въ одномъ изъ его отдъльныхъ воспоминаній, -- томъ, которое посвящено встрпит съ Мартинистами. Тутъ выступаетъ передъ нами Казанскій студентъ Балясниковъ, котораго нравственная власть надъ товарищами дъйствительно могла бы быть названа «сильною властью». — «Случилось однажды, - вспоминаетъ Аксаковъ, - что казенный студенть П. былъ сильно заподозрѣнъ, но не уличенъ, въ поступкъ весьма неблаговидномъ; а какъ онъ упорно запирался, то подозрѣніе падало другого студента, совершенно невиннаго по общему напему убъжденію. Балясникову это было досадно, и онъ сказалъ намъ: «пойдемте, господа, я при васъ допрошу П., онъ у меня признается во всемъ...» Такъ и сдълали. «Балясниковъ подошелъ къ нему одинъ, а мы стояли отдельною толпою вокругь нихъ; Балясниковъ принялъ величавое положеніе, сложиль на груди руки и молча нѣсколько времени смотрълъ на П.; взглядъ голубыхъ устремденныхъ глазъ Балясникова по-истинъ имълъ въ себъ что-то произительное. Я самъ видълъ, что П. и красиълъ и блёднёль, хотя, не поднимая глазь, повидимому, пристально занимался своей работой. Наконецъ Балясниковъ грозно и повелительно сказаль: «господинъ П., извольте бросить ваше занятіе, товарищи пришли судить васъ... Посмотрите-ка мнв въ глаза, - продолжалъ Балясниковъ тымь же грознымь голосомь. - Погляжуя, какъ вы запретесь? Сейчасъ извольте признаваться; вы сдёлали поступокъ, который мараетъ всъхъ насъ»? -- И П. едва взглянулъ на Балясникова, какъ въ туже минуту дрожащимъ голосомъ отвѣчалъ: «я». — Онъ самъ послѣ говорилъ, что далъ клятву себъ не признаваться, что онъ не понимаетъ, какая неведомая сила заставила его признаться». Тому

же Балясникову, поступивінему въ военную службу и раненному въ одну изъ Наполеоновскихъ войнъ, довелось одержать нравственную побъду надъ самимъ Аракчеевымъ. Долго непринимаемый имъ, онъ черезъ ординарца сказалъ этому грозному временщику, что онъ страдаетъ отъ раны и ждать не можеть, и не върить, чтобы Русскій военный министръ заставилъ дожидаться Русскаго военнаго офицера». Онъ былъ принятъ и, на вопросъ Аракчеева, что ему угодно, отвъчаль, что прежде всего ему «угодно състь, потому что онъ страдаеть отъ раны и стоять не можеть». Онъ прямо сказаль затымь Аракчееву, что ему нужны средства на лъченіе, нуженъ спокойный уголь, нужно тсть и пить, а что денегь у него теперь ни гроша. Озадаченный Аракчеевъ существеннымъ образомъ поддержаль его. Передавшій это Аксакову очевидець замътилъ при этомъ: «велика важность, что есть люди, которые заговаривають ядовитых змёй. Нёть, поди-ка, заговори Аракчеева» (III, 142-144). Хотя и нарисованный только въ общихъ чертахъ, образъ Балясникова, боготворимаго солдатами и преждевременно умирающаго имъ на горе, какъ въ древности Скопинъ Шуйскій или Скобелевъ въ горемычные наши дни, глубоко вразывается въ нашу память, какъ живое свидътельство о томъ, что значатъ въ обществъ люди, дъйствительно «власть имущіе». Всякая внъшняя сила невольно отступаетъ передъ ними, какъ стая разъяренныхъ псовъ передъ человъкомъ, смъло идущимъ на нихъ и озадачивающимъ ихъ и своимъ взглядомъ, и своею поступью. Про такихъ-то людей и сложилась пословица: «смълымъ Богъ владъетъ»; и горе обществу. въ которомъ ихъ вовсе не станетъ!

Воспоминанія о Мартинистахъ, какъ можно ожидать и по самому заглавію, заключаютъ въ себъ и очень любопытныя подробности объ этихъ мистикахъ, съ одной стороны доводившихъ религіозную экзальтацію до способности какъ бы не чувствовать самыхъ тяжелыхъ семейныхъ потерь, съ другой же стороны доводившихъ принципъ безгласнаго повиновенія до того, что, напримъръ, по тре-

бованію одного изъ нихъ, Лабзина, на домашнемъ у него спектаклѣ долженъ былъ волею-неволею играть человѣкъ, который только что потерялъ и не успѣлъ еще схоронить отца!

Много любопытнаго заключается, разумъется, и другихъ воспоминаніяхъ Аксакова — объ отдёльныхъ лицахъ или же группахъ лицъ. Наименте интересными слтдуеть, конечно, признать «Литературныя и театральныя воспоминанія» съ 1812 по 1830 г., вошедшія въ 3-й томъ «Полнаго собранія сочиненій», а первоначально изданныя самимъ авторомъ въ «Разныхъ сочиненіяхъ» 1858 г. хотя и нельзя согласиться съ категорическимъ приговоромъ Добролюбова (въ его особой стать в объ этой книг в *), будто бы этихъ «разныхъ сочиненій», по мелочности ихъ содержанія, вовсе даже не стоить читать. Въдь на повърку выходить, что эта «мелочность» есть только одинъ изъ признаковъ той литературной эпохи, которую въ лицъ ея второстепенныхъ представителей характеризуетъ авторъ воспоминаній. Эти последнія всегда останутся важнымъ матеріаломъ для характеристики эпохи, но мы не обязаны останавливаться на нихъ, такъ какъ наша задача — прослъдить собственно творческую струю въ сочиненіяхъ С. Т. Аксакова.

Сопоставляя то, что характеризуеть онь въ своихъ литературныхъ воспоминаніяхъ, съ тёмъ, чёмъ онъ сталъ подъ старость, мы должны изумляться той воспріимчивости, въ силу которой мы не можемъ не пом'єстить его въ число самыхъ крупныхъ представителей Гоголевской школы. Но, молод'єя духовно съ Гоголемъ, старикъ Аксаковъ посп'євалъ за молодымъ покол'єніемъ и подъ вліяніемъ собственныхъ своихъ сыновей, особенно Константина Серг'євича. Этимъ-то и объясняется его чуть не предсмертное стихотвореніе: «При в'єсти о грядущемъ освобожденіи крестьянъ», появившееся почти заодно со стихотвореніемъ на ту же тему его другого сына, Ивана Серг'євича. Отецъ

^{*)} Coq. T. I.

столь-же горячо, какъ и сыновья, привътствовалъ свободу, говоря родной своей Руси:

Съ плечъ твоихъ спадаетъ бремя; Докажи, что не рабой Прожила ты рабства время, А смярилась предъ судьбой...

Скинешь ты съ могучихъ ногь,
Какъ пойдешь ты въ путь свой новый,
Какъ шагнешь черезъ порогъ,
О который спотыкались
Люди тысячу вёковъ...

Но старикъ не даромъ уже стоялъ тогда у дверей гроба. Онъ глядълъ съ высоты своего, пріобрътеннаго за всю его долгую жизнь и подкръпленнаго неувлекающеюся наукою, строгаго опыта, а потому въ раздумьи и спрашивалъ:

Какъ проснется жизнь народа, Какъ прервется тяжкій сонъ? Тихая-ль взойдеть свобола И незыблемый законъ? Въ церковь ли пойдешь съ смиреньемъ, Иль, начанти кабакомъ, Всё свои недоумёнья Порёшить ты топоромъ? Какъ узнать? Судебъ народныхъ Не процякнуть въ мракъ и даль, Не постичь путей исходныхъ Богомъ вписанныхъ въ скрижаль *).

Такое раздумье, къ сожалѣнію, слишкомъ уже оправдалось многими грустными явленіями, послѣдовавшими за освобожденіемъ крестьянъ, но разумно объясняемыми, разумѣется, только тѣмъ, что освобожденіе слишкомъ запоздало, а вовсе не пришло преждевременно, какъ могутъ утверждать или очень недалекіе, или нравственно очень неказистые люди. Во всякомъ случаѣ въ раздумьи Сергѣя

^{*) &}quot;П. с. соч.", т. III, стр. 455—56.

Тимовеевича странно бы было видёть старческую привычку къ прежнему и затаенную жалость о немъ. Мы, впрочемъ, потому только и говоримъ объ этомъ, что въ одномъ совершенно новомъ трудъ насъ приглашаютъ вспомнить о томъ, «съ какимъ добродущіемъ относится Сергій Тимовеевичъ къ кръпостному праву». Мы желали бы полагать, что туть даже не недоразумение, а просто неточность или неясность выраженія. Совстив уже другое то, что говорится въ томъ же трудъ въ другомъ мъстъ: «описывая самодурство Степана Михайловича, внукъ-авторъ все-таки родственно и любовно къ нему относится; изображая непривлекательныя стороны старо-помъщичьей жизни. авторъ все-таки полонъ любви къ этому быту, какъ къ части самого себя, какъ къ обстановкъ, среди которой прошли дорогіе каждому человъку годы юности. Со всъми своими недостатками эта жизнь близка ему и люба... На читателя заразительно дъйствуетъ теплое отношение автора къ предмету повъствованія, ему сообщается его горячее участіе къ изображаемымъ лицамъ, и въ общемъ результат' этотъ личный элементъ значительно усиливаетъ непосредственно-литературное впечатление» *). У С. Т. Аксакова, -- можемъ мы, кажется, прибавить, -- замвчается, пожалуй, еще и намекъ на господствующее природное добродушіе Русскаго человъка, въ силу котораго до инкоторой степсни смягчались даже тв невозможныя отношенія, которыя заведены были крепостнымъ правомъ, и дело такимъ образомъ не доходило не только до Американскаго плантаторства (даже въ XVIII в., когда наши объевропеившіеся баре вообразили себя какою-то высшею расой сравнительно съ народомъ), но даже и до сплоиной Куролесовщины. Не забудемъ при этомъ, что даже про Куролесова «внукъ Степана Михайловича нашелъ въ крестьянахъ свъжую, благодарную память, потому что они чувствовали постоянную пользу многихъ его учрежденій, забыли его

^{*)} Краткій біографическій словарь Русскихъ писателей п ученыхъ С. А. Венгерова, стр. 242 и 199.

жестокость, отъ которой страдали преимущественно дворовые, но помнили умѣнье отличать праваго отъ виноватаго, работящаго отъ лъниваго, совершенное знаніе крестьянскихъ нуждъ и всегда готовую помощь» *). Вовсе и не думая «добродушно относиться къ крѣпостному праву», Аксаковъ во многомъ сочувственно рисовалъ намъ старый помъщичій быть и людей, въ немъ жившихъ, сочувственно рисоваль во многихъ отношеніяхъ нравственную природу Русскаго человька вообще, какъ и физическую природу Русской земли со всёмъ ея птичьимъ и звёринымъ міромъ. Воть въ какомъ смыслъ и находилъ Хомяковъ, вмъстъ съ критикомъ «Русской Бесъды», что «С. Т. Аксаковъ первый изъ нашихъ литераторовъ взглянулъ на Русскую жизнь съ положительной, а не съ отрицательной точки эртнія». А К. С. Аксаковъ, держась того-же возэртьнія, полагаль, что отепь его даже «стоить особнякомь въ Русской литературъ». Это мнение въ упомянутомъ уже нами новомъ трудъ не только признается «безусловно върнымъ», но и «объясняющимъ въ извъстной степени причины успъха «Семейной хроники». Издатель того же труда по этому поводу спрашиваетъ: «какъ же въ самомъ дълъ не особнякомъ стоитъ она въ литературъ, когда даже нътъ почти возможности подвести ее подъ какой нибудь опреділенный типъ литературныхъ произведеній. Что такое представляетъ собою «Семейная хроника» по формъ и содержанію? Романъ, пов'єсть, мемуары? Ни то, ни другое, ни третье. Въ романъ или повъсти даже самаго протокольнаго свойства, выражаясь современной терминологіей, нужна все-таки выдумка, нужна какая нибудь завязка и развязка. Но ничего подобнаго нътъ въ «Семейной хроникъ», гді все отъ первой строки до послідней есть правдивый разсказъ о событіяхъ, разыгравшихся въ нѣдрахъ Аксаковскаго семейства. Вмѣстѣ же съ тѣмъ, однако, «Семейная хроника» и не мемуары, потому что въ ней все-таки не строго историческая, а беллетристическая группировка событій, и

^{*) &}quot;II. c. coч." C. T. Arcakora, I, 69-70.

авторъ фактическую основу дополняетъ подробностями исключительно художественнаго свойства, — подробностями, впроятно имъвпими мъсто. И выходить слъдовательно въ общемъ итогъ, что уже по внъшнимъ качествамъ своимъ «Семейная хроника» — произведеніе въ высшей степени своеобразное, ни подъ одинъ изъ обычныхъ разрядовъ литературныхъ произведеній неподводимое и, значитъ, дъйствительно «особнякомъ стоящее». Между тъмъ, въдъ «Семейная хроника» (по нашему мнъню, однако же, купно съ «Дътскими годами Багрова», какъ вполнъ достойнымъ ея продолженіемъ) и является основою громкой извъстности С. Т. Аксакова, принадлежа «къ числу тъхъ, составляющихъ гордость Русскаго слова, литературныхъ произведеній, которыя должны быть знакомы каждому образованному Русскому» *).

^{*)} Словарь С. А. Венгерова, стр. 191-192.

Л. И. Мельниковъ (А. Лечерскій).



Разсказы и очерки.

Видное и во многомъ совершенно своеобразное положеніе занимаеть среди писателей, выступившихъ вслёдъ за Гоголемъ, и тотъ, кто такъ долго скрывался цодъ псевдонимомъ Андрел Печерскаго. Еще въ годъ смерти Гоголя изъ подъ цера его, въ формъ дорожных записокъ, вышелъ разсказъ «Красильникоси»--выставившій передъ нами два покольнія низовыхъ людей, также далеко разошедшіяся, также мало понимающія другь друга, какъ впоследствів выставленные Тургеневымъ верховые «отцы и дъти». Въ лицъ старика Красильникова выступаетъ передъ нами богатый заводчикъ, котораго, по собственнымъ его словамъ, «Господь привелъ смолоду, когда еще въ бъдности находился, и голодъ изжить: макуху, дуранду, мегзу сосновую ъли» (стр. 182). Подъ старость живеть онъ въ настоящихъ палатахъ съ цёльными зеркальными стеклами, а все «непривычно Корнилъ Егорычу ходить по мелкоштучному паркету, не умфеть онъ ни сфсть, ни стать въ комнатахъ, строенныхъ не на житье, а людямъ на показъ... Осторожно пробиралсь между затъйливыми диванами и креслами, ровно изгнанникъ бъжитъ Кирила Егорычъ изъ раззолоченныхъ палать въ укромный уголокъ, чужому человъку недоступный. Тамъ на теплой изразцовой лежанкъ ищеть онъ удобствъ, какихъ не сыскать въ разубранныхъ комнатахъ»

(стр. 176). Путешественникъ, описывающій намъ свою встрѣчу съ нимъ, вглядывается въ глаза этому самодѣльному богачу. «По суровому облику его видно было, говоритъ онъ, что это старикъ своеобычный, крутой; а розсыпью глядѣвшіе глаза обличали въ немъ человѣка, что всякаго проведетъ и выведетъ. Но въ этомъ хитромъ, бѣгающемъ взорѣ крылась какая-то грусть затаенная» (стр. 178). Отчего эта грусть—вотъ что и узнаемъ мы, со словъ самого старика, изъ этихъ дорожныхъ записокъ.

Эта грусть-отъ науки, которая у насъ наконецъ завелась и стала разводить отца съ сыномъ, брата съ братомъ, -- разводить во имя того міра мысленнаго, того «царства не отъ міра сего», относительно котораго и Христосъ говорилъ, что онъ «не миръ на землю принесъ, а мечъ». Вполнъ върно, во имя того здраваго смысла, котораго простому Русскому человъку не занимать-стать, указываетъ старикъ на прорухи того отвлеченнаго, да къ тому же еще и оказенившагося, знанія, которое только мудрить надъ жизнью. «Чтобъ дёло торговое шло, говорить онъ, надо, чтобы ему не дълали помъхи, а пуще того, чтобъ ему не помогали, на казенную бы форму не гнули... Перо скрыпитъ, бумага молчитъ да все терпитъ.... Не въ ту силу говорю, что наша промышленность тише идетъ супротивъ того, какъ про нее печатають; нътъ-съ, можеть она и попрытче того идетъ, -а про то я говорю, что пишутъ-то нескладно, неладно, ровно чортъ пестомъ по Неглинной» (стр. 180—181),» Но вастоящая причина ожесточенныхъ счетовъ старика съ наукою та, что она сманила - сгубила его сына Митю. Уговорили, казалось бы, и хорошіе люди пустить парня, по его же просьов, въ гимназію, а потомъ и въ университетъ. Самъ отецъ въ свое время тѣшился тъмъ, что онъ «не то что своего брата, - всъхъ барчатъ за поясъ заткнулъ» (стр. 191). Казалось бы, и за границей-то, куда сманили его родители одного изъ его университетскихъ товарищей, онъ отлично исполнилъ всъ торговыя отповскія порученія. Да воть біда: «двадцать девятый Митькъ пошелъ: давно пора, по соображеніямъ старика,

своихъ дътей наживать». Между тъмъ «за невъстами дъло не стало бы: ротъ разинь - изъ дюбого дома бери... Первостатейные, мильонщики, фабриканты сами съ дочками напрашивались». Ла Митька-то, воть въ чемъ бъда, ни на одну изъ нихъ не позарился, а приглянулась ему Нъмка «дѣвка безродная... въры ихней еретицкой»... за моремъ-де слюбился съ ней и окромя ея ни на комъ въ свътъ не женится» (стр. 195—197). Старикъ на дыбы, но въ одинъ прекрасный день оказалось, что Митька-то на ней уже и женился. «На другой день, разсказываетъ старикъ, иду отъ ранней объдни-Нъмка на-встръчу. Не стерпъло-зашибъ... Откуда ни взялся Митька-отнимать ее. Сердце меня и взяло: его въ сторону, Нъмку за косу, да оземь... Тяжела, видно, свекрова рука пришлась! Зачахла. Мфсяцевъ черезъ восемь померла». На другой же день послъ похоронъ съ Митькой случилось, чего никогда не случалось. Пропащій сталь. «Ученье всему виной» (стр. 199).

Старикъ Красильниковъ, сваливая все на науку, и не подозрѣваетъ, конечно, что это напоминаетъ знакомую ему, безъ сомнънія, пословицу: «съ больной головы на здоровую». Въ немъ незамътно даже и малъйшихъ признаковъ разчюхиванья и собственной своей вины. Совершенно напротивъ того умъньемъ въ себя заглянуть и себя осудить отличается Поярковъ, встръчу съ которымъ описываетъ намъ Печерскій въ особомъ, восящемъ его имя, очеркъ (1857 г.). Прослуживъ болъе десяти лътъ въ различныхъ полицейскихъ должностяхъ, онъ, наконецъ, попался, но попался не подъломъ, какъ могло бы оно не разъ быть прежде, а по кляузамъ, по наговору. И что же? именно тутъ, послъ несправедливаго осужденія, и возникаеть въ немъ глубокое сознаніе встать его прежнихъ, ущедшихъ отъ суда людского, вопіющихъ несправедливостей и онъ чувствуеть себя поисканнымъ Божьимъ неумытнымъ судомъ. Долго Поярковъ только религіозно обморачиваль свою совъсть: «со всякаго берешь, -- вспоминаетъ онъ, -- а себя праведникомъ ставишь. Что же? бывало, думаешь: -- по праздникамъ церковь Божью не объгаю, поповъ съ празднымъ

принимаю, говъю каждый годъ, въ большіе посты не скоромлюсь, нищимъ по силъ помощи подаю, въ тюремномъ комитетъ состою членомъ, ежегодныя пожертвованія на дътскіе пріюты, по письмамъ губернаторши, плачу исправно. Чего еще? Святымъ себя считалъ, а врага слушалъ. Шепчеть, бывало въ душу-то: «Карпушку-то Власьева прижми, денегъ у него, у шельмы, много, пущай не забываетъ, что ты его начальство». Да что Карпушка! И обднякомъ Васильемъ Сидоровымъ бывало не брезгаень». «Не думаень, вспоминаетъ Поярковъ, будетъ ли Сидоровъ съ семьей завтра ужинать, объ одномъ помышляемь, губа-де у меня, у барина, къ сладкому наважена, а мужицкое горло, что суконное бердо, проглотитъ и долото» (стр. 212-213). И воть вдругь, при этой-то барской повадкъ къ сладкому,-«денегъ ни копъйки, дъваться некуда». Остается только руки на себя наложить. «Но туть, -- разсказываеть Поярковъ, - Господь мнъ помощь явилъ... Встрътился я со старцемъ, сказывалъ, что идетъ онъ изъ Кіева въ Саровскую пустынь. Кто такой, не знаю, но человъкъ Божій и даръ прозорливости имълъ. Сталъ разговаривать, и всю-то мою жизнь ровно по книгъ вычиталъ...» (стр. 210). И обратился нашъ гръховодникъ въ своего рода подобіе Некрасовскаго Власа, съ тою великою разницею, что не страхъ адскихъ мукъ пробудился въ немъ, а въ душт наконецъто заговорила совъсть, уже не дающая себя провести ничъмъ. Обобщая свое положение, онъ говоритъ: «повърьте, что за каждымъ невинно осужденнымъ были другіе гръхи. до людей не дошедшіе, а къ Богу вопіявшіе... За эти-то тайные гръхи и осуждается человъкъ подъ предлогомъ такихъ, какимъ онъ не причастенъ... На человъческомъ судъ всего одинъ только разъ былъ осужденъ не имъвшій гръха. Судьей тогда быль Пилать» (стр. 206).

Изъ художественной мастерской А. Печерскаго въ томъ же 1857 г. вышло и еще нъсколько замъчательныхъ очерковъ. Прямымъ воплощениемъ народнаго здраваго смысла является тутъ «Дъдушка Поликарпъ», въ своей нелюбви къ отвлеченно-научному и казенному умничанью надъ

жизнію нъсколько напоминающій старика Красильникова, но съ тою большою разницею, что у дедушки Поликарпа не замъщано туть никакихъ личныхъ счетовъ. «Земля-то наша Свято-Русская, -- говоритъ онъ, -- больно ужь велика стала, кормилецъ; съ одного-то мъста ея не обозришь» (стр. 297). Онъ доказываетъ это примерами. Казалось бы, самое доброе дъло - надъление крестьянъ коровами отъ казны или даже запрещение отъ начальства лъсъ рубить. Но въдь если какой-нибудь лядащей коровенкъ и всякая дрянь будеть кормомъ, то совсёмъ вёдь другое дёло со здоровенною жалованною скотиною. «Принимай отъ начальства остуду, не умъль-де, мошенникъ, жалованной скотины соблюсти». А что до лъса, то въдь «губленье губленью рознь». «Самъ посуди, кормилецъ, продолжаеть старикъ, какое губленье лъсу отъ кулижки? Много ли мъста подъ нее надоть? — И то сказать — лъсъ-отъ на кулижки палять въдь не строевой, не дровяной, а больше все ваборникъ, да прясельникъ. А заборнику да прясельнику по нашимъ мъстамъ такое мъсто, что, какъ ты его ни руби, онъ изъ земли такъ и лъзеть, ровно претъ его оттуда кто» (стр. 299). Особый опять прамёръ у Поликарпа, -- какимъ образомъ лишенье правъ на самомъ дълъ можетъ иногда приниматься за надъленіе ими. Читаеть судья Прошкъ приговоръ: «не бывать тебъ сиротскимъ опекуномъ, не будуть тебя въ свидътели брать, не стануть на мірской сходъ пускать, ни въ головы, ни въ старшины, ни даже въ сотскіе аль десяткіе не стануть тебя выбирать во всю твою жизнь». А Прошка себъ на это: «отцы мои родные, благодътели вы мои, ужь если такія есть до меня ваши милости, нельзя ли приписать, чтобъ и подводъ-то съ меня не брали» (стр. 309). Но они отъ этой-то обузы, конечно, его не избавили.

Уже прямо отъ своего лица высказывается нашъ авторъ противъ казеннаго мудрованія надъ жизнью въ «Медвѣжьемъ Углу». Описывая тутъ уѣздный городъ Чубаровъ и разумѣя подъ нимъ цѣлую пропасть такихъ же жалкихъ Чубаровыхъ, онъ поясняетъ: «при учрежденіи губерній,

ткнули пальцемъ на картъ, сказали: «быть городу», и сталъ городъ. Оттого тъмъ городамъ и чужда городская жизнь. Сколько бы ни хлопотали о хозяйствъ медвъжьихъ угловъ..., «медвъжьи углы» на въки въчные останутся «медвъжьими углами» (стр. 319). Во всемъ остальномъэтоть очеркъ является прямымъ отголоскомъ Гоголевской сатиры. Она въдь такъ и звучитъ тутъ изъ устъ бесъдующаго съ Печерскимъ стараго подрядчика, «Казной корыствоваться, - говорить старикъ, не впримъръ способнъй, чъмъ взятки брать.... Съ кого взялъ, тотъ, пожалуй, в карауль закричить, а у матушки казны языка нёть... Зато ее и грабятъ». «Въ прежнее время, по увъренію старика, по этой части даже больше совъсти было». «Въ прежни-то годы, поясняеть онъ, на всю губернію алхитехтуръ одинъ, а нынче гляди-ко что ихъ развелось. А пръзжаетъ все голь и вся эта голь хочеть скоръй наживы. Анжинеръ хуже. Для того, что анжинеръ форсистве. Онъ, видишь ты, съ аполетами - значитъ, ему денегъ больше надо» (CTP. 323-24).

Чисто Гоголевскимъ пошибомъ отличаются также «Непремънный» (1857 г.) и «Именинный пирогь» (1859 г.). Сама попечительная судьба, еще и не такъ чудодъйствующая въ сказкахъ, проводитъ Андрея Тихоныча изъ писцовъ уфзднаго суда съ 45 к. въ мъсяцъ жалованья въ «непремънные». Воплощеньемъ судьбы «не мачихи» является тутъ его превосходительство Александръ Ивановичъ. «Еслибы колфнопреклоненное королевство, разсказываетъ Печерскій, со слезами и съ рыданьями сказало: «Андрей Тихонычъ, бери корону, царствуй надъ нами!», едва ли бы слова будущихъ върноподданныхъ настолько смутили его душу, на сколько смутили его слова Александра Ивановича (стр. 343)». А Александръ Ивановичъ изволили только предложить ему покурить. Дело въ томъ, что у нихъ были еще и другіе виды-пристроить за Андрея Тихоныча свою отставную Поленьку, а для того и провести Андрея Тихоныча въ-«непремънные». Андрей же Тихонычъ считаетъ своимъ долгомъ поздравлять благод теля съ каждымъ праздникомъ,

и приходить въ превеликій ужасъ, когда его письма за много лѣтъ, оказываются всѣ на лицо у почтмейстера подъ поломъ. «Пропадай они гривенники, — восклицаетъ злополучный отправитель, котораго почтмейстеръ не даромъ величалъ «оброчнымъ»; да «его-то превосходительство Александръ-отъ Иванычъ что могутъ про меня сказать» (стр. 356).

«Имениный пирогъ» заключаетъ въ себъ величественную картину чисто гомерической ъды у уъзднаго стряпчаго и замысловатую исторію пріобрътенія имъ губернаторскаго портрета. И всъ-то эти, возсъдающіе за пирогомъ, тузы уъздные — настоящіе Олимпійцы. Расходясь изъ церкви, они даже не удостоиваютъ отвътнаго поклона мъщанъ и различныхъ разночинцевъ. «Не гордость, не чванство причиной тому, говоритъ авторъ. Попадись благородный одинъ на одинъ любому мъщанину, непремънно бы отвътилъ ему поклономъ и дружелюбно поговорилъ бы. Но, шествуя въ сонмъ властей, какъ поклониться?... Нельзя!!!» (стр. 362).

Небольшой очеркъ «На станціи» (1859 г.) переводить насъ снова на почву крестьянскаго здраваго смысла, такъ живо умъющаго показать устами видавшаго виды старика, какъ солоно можетъ приходиться народу отъ буквальнаго исполненія закона, составлявшагося помимо какого-либо изученія крестьянскаго быта и крестьянскихъ нуждъ.

Не станемъ вовсе останавливаться на были «Въ Чудовъ» (1860 г.), такъ какъ это только литературно переданный анекдотъ о встръчъ съ неузнаннымъ Аракчеевымъ, которому приходится выслушать тутъ самую горькую о себт правду.

Къ особой исторической группъ должны быть отнесены больше очерки: «Старые годы» (1856 г.) и «Бабушкины розсказни» (1858). Въ нихъ оживаетъ передъ нами нашъ XVIII въкъ со всею его Европейски-азіятской двуличневостью. Мъсто дъйствія «Старыхъ годовъ»—на Волгъ, въсель Заборьъ съ его укръпленнымъ монастыремъ, съ его

барскими палатами, выстроенными по плану Растрелли и перешедшими въ наше время къ разбогатъвшему откупщику Кирдяпину. «Ведуть угрюмые старцы бесъды, говорить Печерскій про эти памятники старины, а сами будто сокрушаются, что минули старые годы, когда вверху было людно и шумно, а внизу говорить громко не смъли» (стр. 2). Войдите въ эти палаты, и вамъ невольно представится, что на васъ презрительно выглядывають изъсвоихъ рамъ потемнъвшіе лики старыхъ владъльцевъ Заборья. «Вонъ ступайте, жалкіе люди, какъ бы говорять они, мы васъ не знаемъ, да и вамъ никогда не извъдать нашей раздольной, веселой жизни, нашего буйнаго разгула, барскихъ затъй и ничъмъ неудержимыхъ порывовъ!». Это лики птенцовъ одного хищнаго гназда, ведущаго свой роль отъ Гелимина Литовскаго. Самый хищный межъ ними, но въ то же время не чуждый и лисьихъ пріемовъ, это князь Алексъй Юрьичъ Заборовскій. «При Петръ Великомъ ходу ему не было, потому что въ дъло не годился, зато ловкій князь посл'є ум'єль наверстать и взять свое: во-время подбился къ Меншикову, во-время вошелъ въ дружбу съ молодымъ Долгоруковымъ, во-время събздилъ въ Митаву на поклонение Бирону, во-время перекинулся къ Миниху, во-время сблизился съ Лестокомъ» (стр. 9). Могъ, значить, князь Алексей попридержаться и овладеть собою, когда это самому же ему было надобно. Этимъ-то и упрочиль онь за собою такое положение, при которомъ уже сдерживаться не приходилось. «Не только въ Заборьъ, — по всей губерніи все ему кланялось, все передъ раболъпствовало, а онъ съ каждымъ днемъ больше и больше предавался неудержимымъ порывамъ необузданнаго нрава и глубоко-испорченнаго сердца... Вскоръ для князя не стало иной законности, кромъ собственныхъ прихотей и самоуправства» (стр. 12). Да и какъ-же иначе, если его гости прикладывались къ его рукъ, если въ монастыръ встръчали его торжественною процессіею съ колокольнымъ звономъ, если не только его кръпостные, но даже мелкопомъстное шляхетство дълало по его требованію разака. «А

чтобъ сдёлать рёзака, надо подъ гору торчмя головой летёть, на яру закраину головой прошибить, да потомъ изъ подо льда и вынырнуть». Между тёмъ, не всякому-то изъ дворовыхъ давалась эта штука, а князь, серчая, кричалъ: «всёхъ запорю до смерти!». Дворяне оказывались, однако, и того плоше: «одинъ и прошибъ-было головой ледъ, да тоже (т.-е. какъ и многіе изъ дворовыхъ) къ осетрамъ въ гости поёхалъ» (стр. 28).

Случалось князю Алексъю Юрьевичу и исторію Давида съ Уріиной женой разыграть. Полюбилась ему капральская жена и примчалъ ее къ нему его върный стремянный, а капрала затемъ не стало. Былъ же тотъ верный рабъ сынъ Яшки Безухаго, прозваннаго такъ потому, что княжій медвёдь откусиль ему ухо, а князь, точно будто для симметріи, приказаль отръзать ему и другое-за то, что онъ осмълился пырнуть княжого медвъдя ножомъ. Яшкинаго же сына, за его безпримърную службу, князь порфиниль-было женить на барской барынф, когда же это рѣшенье, за молодостью его лѣть, было отмѣнено, то ему пожалована была въ вольныя подруги жизни девка Акулька. Послъ же достиженія имъ законнаго возраста, стремяннаго женили-таки на важнъйцей особъ — родной сестръ Бурылихи, разыгрывавшей при дворъ князя извъстную роль такой исторической особы, какъ Марья Саввишна Перекусихина.

Бывала у князя въ Заборьъ годичная ярмарка, а князь былъ надъ нею полновластнымъ пашею. Стоило кому-нибудь изъ торговцевъ продать слишкомъ дорого свой товаръ, и князь станетъ у него за прилавокъ и все распродастъ задаромъ. Но случался и такой купчина, который зналъ, должно быть, выраженіе: «коли правъ, такъ и баринъ». Не захотълъ онъ тъшиться, по княжескому приказу, съ деревенскими дъвками, да и не позволилъ также «добраться, какъ выражался князь, до своей морды». Далъ онъ отъ князя тягача въ озеро, а князь за нимъ, и гонялъ онъ за собой князя до тъхъ поръ, пока князь продрогъ; сдался его сіятельство и сталъ всъми святыми себя

заклинать, «что никакого дурна надъ купчиной не сдёлаеть». И въ самомъ деле-«не то, чтобы выдрать — пріятелемъ сдълаль его, домъ каменный въ Москвъ подарилъ» (стр. 44). Подвернулся разъ князю и такой изъ мелкопомъстныхъ, который служиль въ полкахъ и за ранами быль уволенъ отъ службы. Взялъ да и подвернуль онъ подъ себя князя за то, что тоть, въ споръ съ нимъ, обозваль его шельмецомъ-«да и ну валять князя на объ корки». Снова пришлось сдаваться Алексъю Юрьичу. «Я въдь пошутиль, ей Богу пошутилъ», заговорилъ онъ. «И съ той поры пріятели сдъланись. Водой не разольешь» (стр. 67-68). «И всегда и во всемъ такъ бывало, вспоминаетъ Прокофьичъ; кто удалую штуку удереть, либо тыкнеть князю прямо въ носъ, не боюсь-де тебя, того жаловалъ, да въ чести держалъ» (стр. 44). На повърку, стало быть, выходило, что князь Алексъй, какъ и другіе, подобные ему на разныхъ ступеняхъ, былъ не действительно «власть имеющій», а властный лишь отъ чужой податливости и подлости, какъ и отъ узаконенной потачки барскому самоуправству и озорничеству со стороны самой верховной власти.

И страшенъ, и жалокъ, и гадокъ князь Алексъй въ своей ночной бесъдъ съ архимандритомъ. Не спится князю; чудится ему, что гдъ-то воетъ и зоветь его къ себъ душа Палецкаго (кого-нибудь изъ отправленныхъ имъ на тотъ свъть въ какомъ-нибудь гитвномъ припадкъ). «Ужь если о смерти помышлять, рупается заикнуться архимандрить, такъ лучше бы вашему сіятельству о своихъ дёлахъ подумать». — «А что мои дъла? какія дъла?.. Украль ли я у кого? Позавидоваль кому?» А самъ, должно быть, внутренно чуеть, что не вмънятся ему въ заслугу такія отрицательныя добродътели-такъ какъ въдь что бы и сталъ онъ красть, или чему бы ему еще завидовать? Страшно, невыносимо страшно князю, и онъ хватается за другія свои заслуги: «аль мало вкладовъ даю я тебъ въ монастырь, говорить онъ архимандриту. величая его, однако-жь, при этомъ и «подлою душою», и «безстыжими поповскими глазами» (стр. 74). И тъмъ же «завидущимъ глазамъ»

и «загребущимъ рукамъ» сулитъ онъ еще новые вклады по своей духовной, поручая архимандриту четверть завъщанныхъ денегъ употребить на свои похороны. Только «покрова не покупай», говоритъ онъ ему, — «въ Парижъ къ двоюродному брату, князь Владиміру, посланы деньги— самой бы наилучшей Ліонской парчи тамъ купилъ», купилъ бы да выслалъ ему вмъстъ съ сочиненіями Вольтера да гобеленами — какими-нибудь такими, конечно, на которыхъ бы были изображены сюжеты въ родъ «похищенья Сабинокъ», неоднократно разыгрывавшагося княземъ въ дъйствительности со своими прихлебателями, при страдательномъ тутъ участіи крестьянскихъ дъвокъ.

Очень ужь страшна князю смерть, и не хотъль бы онъ, разумфется, вспоминать о смерти, а надо же, такъ какъ, раньше ли позже ли, а въдь она неизбъжна, позаботиться о томъ, чтобы и послъ смерти все происходило вполнъ соотвътственно его княжескому достоинству, а тамъ, въ той жизни (Вольтеръ тутъ въдь ни при чемъ, Вольтеръ-тъ же гобелены или та же мебель) не пришлось бы попасть въ лапы къ дьяволамъ, которые, пожалуй, и не станутъ очень чиниться съ его сіятельствомъ. И вотъ, Алексъй Юрьичъ кончаетъ тъмъ, что зоветъ архимандрита, которому подносиль уже свой кулачище къ носу, прівхать и причастить себя; когда же архимандрить напоминаетъ ему, что надо же примириться съ княгиней Мареой Петровной, съ которой онъ вогъ уже шестой годъ какъ не перемолвилъ слова, князь, выписывающій себъ Вольтера, хватается за «Домострой», го воря: «что княгиня? Баба!.. Бабъ плеть». Все наконецъ сводится на пресловутую не то похвальбу, не то угрозу царя Ивана Васильевича: «въ монахи пойду» (стр. 84). Тоже и намъ приходилось слышать своими ушами отъ нъкоего самодура изъ простыхъ смертныхъ, также думавшаго подобнымъ образомъ озадачить своихъ окружающихъ. Но неотвязчивый архимандрить спрашиваеть: «княгивю-то куда же?» — Ну ее къ бъсу, отвъчаетъ князь; мнъ бы свою только душу спасти».

Онъ окончательно уподобляется Грозному, послъ того какъ, подобно ему, доводитъ до могилы свою жену, становящуюся жертвой совершенно напрасной, нелъпъйшей ревности, ревности, на которую, повидимому, ужь онъ-то и ни въ какомъ бы случат не имълъ права, самъ себъ позволяя рѣшительно все. «Отцы преподобные, причитаетъ онъ, прискорбна душа моя даже до смерти! Не могу дольше жить въ семъ прелестномъ міръ, давно алчу тихаго пристанища отъ бурь житейскихъ», и т. д. Но тутъ же сейчасъ вспоминаетъ князь Алексъй о своемъ князъ Борисъ съ его неподходящей женитьбой; сваливая съ больной головы на здоровую, выставляеть его виновникомъ княгининой смерти, и громко, наварыдъ зарыдавъ, поникаетъ головой. «Въ несчастьи смиряться должно», желая воспользоваться доброй, повидимому, минутой, замъчаеть архимандрить. Но смиренье--не для тъхъ, кто способенъ подчасъ, струхнувъ, унижаться и пресмыскаться, но христіански себя умфрять, ограничивать никогда не способенъ. «Ты, кутейникъ, не можешь понять, что такое шляхетская честь, накидывается онъ на архимандрита; мы-Гедиминово рожденье!» (стр. 95).

А въдь настала, повидимому, минута, когда и это древне-княжеское отродье смирилось, любовно смирилось передъ тою же самою женщиной, которую сперва величало «Борькиной паскудной шляхтянкой». Разомъ быль побъждень обанныемь ен физической красоты, служившей только върнымъ зеркаломъ ея красоты-чистоты душевной. Она подъйствовала на него, какъ Дамаянти на того человъка, котораго назвала «святотатцемъ», или какъ Пушкинская Марія на властнаго и сладострастнаго Гирея. Точно сразу переродился старикъ, отмънилъ даже, подъ чистымъ ея обаяньемъ, свой «звъринскій» обычай, распустиль даже встхъ своихъ подневольныхъ нимфъ - за исключеньемъ одной. Но поворотъ совершился только стихійно, подъвліяніемъ внезапно нахлынувшей на него, до сихъ поръ неизвъданной имъ, волны какого-то душевнаго обаянія. Прошель этоть, казалось, живительный,

вполнъ возрождающій, «девятый валь», - и грязныя волны прежнихъ бурныхъ страстей снова залили и умчали книзя. Вотъ тутъ-то и сделалась его жертвою-последнею ужасающей жертвою, тоже обаятельная въ своей чистотъ и святости, княгиня Варвара Михайловна. Да, именно на нее-то и посягнуль подъ конецъ своей гнусной жизни неизглаголанный святотаець, захотъвшій разыграть съ нею роль снохача (вспомните «Батьку» Писемскаго). Заложиль онь ее, непокорную, глухою ствной въ своемъ «розовомъ павильонъ», распустивъ ватъмъ слухъ, что она побхала къ мужу, возвращающемуся съ войны, и умерла въ дорогъ; -- на самомъ же дълъ отправили вмъсто нея другую и велёли ее уморить вмёстё съ тёмъ, кто ее провожаль, чтобы и слёдь простыль, а сами отдались затъмъ даже и имъ еще неизвъстной оргіи. Но дъло, однако же, всплыле, и старый самоуправецъ напрасно вздумалъ было спросить нагрянувшаго на него представителя карающей власти: «не знаешь развъ, кто я?» Убълившись. что съ нимъ наконецъ не шутятъ, сталъ онъ валяться въ ногахъ у того же мајора и трусовски причитать: «холопъ я твой въковъчный» (стр. 106-108). Отъ страха его, наконецъ, хватилъ Кондрашка.

Такова эта страшная повъсть—вполнъ историческая по своему основному смыслу. Она представляется намъ ужаснъе, или, по крайней мъръ, гнуснъе исторіи Ивана Грознаго, этой «волчьей головы», какъ называлъ его Хомяковъ. Тамъ, по крайней мъръ, были воспоминанія прежней славы, были наконецъ и потомъ яркіе проблески государственнаго ума, невышедшаго окончательнаго изъ-подъвласти чего-то «идейнаго». Тамъ все же порою дъйствовала опоминающая и приводящая снова въ себя, сила сознанія своей міровой отвътственности — отвътственности передъ Богомъ, да передъ лътописью съ ея «Божьей правдой». А тутъ ничего, ръшительно ничего, кромъ совсъмъ безъидейной, вполнъ животной, «своей руки владыки».

Въ «Бабушкинныхъ Розсказняхъ» тотъ же нашъ

XVIII в. озаряется свътлымъ, но не во всемъ, какъ намъ кажется, върнымъ и не вполнъ выдержаннымъ образомъ Настеньки Боровковой. «То быль въкь богатырей, предупреждаеть насъ авторъ. Полтава, Берлинъ и Чесма, Минихъ въ Турціи, Суворовъ на Альпахъ, Орловъ въ Архипелагъ и геніальный, неподражаемый, великолъпный князь Таврилы, создающій новую Россію изъ ничего! Что за величавые образы, что за блескъ, что за слава! Но съ этимъ блескомъ, съ этой славой объ руку идутъ высокомърное полуобразованіе, раболъпство, слитое во-едино съ наглымъ чванствомъ, корыстныя заботы о карманъ, наглая неправда и грубое презрѣніе къ простонародію» (стр. 119). Но вотъ именно этому-то презрѣнію и оказывается вполнѣ непричастною идеальная Настенька Воровкова. Мы далеки отъ того, чтобы считать ее вполнт невозможною въ то время (были же тогда Новиковъ и Радищевъ, почему же не быть и женщинъ ихъ направленія?). Но мы не можемъ признать идеи ея происходящими по прямой линіи отъ Монтескьё, Дидро, да Жанъ-Жака. Отъ нихъ несомненно происходили идеи Екатерины II, Щербатова и Болтина, но легче ли было отъ того народу? Идеи Радищева, по върному замъчанію автора «Былого и Думъ», не столько происходять отъ Руссо, сколько отъ того ямщика, заунывную пъсню котораго онъ такъ глубоко понялъ. Потому-то и Настеньку Боровкову мы произвели бы скоръй отъ какого-нибудь непосредственнаго столкновенія съ народомъ, чёмъ отъ Вольтера съ энциклопедистами. Правда, о Настенькъ авторъ разсказываеть намъ устами бабушки, а не только бабушки, но и деды и отцы той поры, только «слышавшіе звонъ», утверждали нередко, будто бы всякая, сколько-нибудь свободная мысль непремённо занесена къ намъ изъ-чужа, а нашей жизни несвойственна. «Все философія да поганыя книги, утверждаеть бабушка; воть тебъ и Жанъ-Жакъ! Подлымъ вольности захотълъ! Да въдь вольность-то дана, mon pigeonnau, шляхетству, дворянскому корпусу, за службу дедовъ и прадедовъ, а Настасья Петровна моя Хамовой породъ захотъла вольности!» (стр. 154). Понятно, что всей породъ не Хамовой стала она поперект горла. Когда же Настенькъ наконецъ удалось, пробравшись къ самой Государынъ, добиться отъ нея правды для невинно-осужденнаго мужика, высшая порода придумываетъ ловкое средство устранить съ пути отважную дъвушку. Средство это —просватаніе Настеньки самою Государынею — за человъка значительнаго, но получающаго служебное назначеніе въ Сибирь. Намъ кажется только, что такія, какъ Настенька, не такъ-то легко дадутъ просватать себя—хотя бы и самой Государынъ.

Совершенно особое мъсто занимаетъ у нашего автора разсказъ: «Гриша» (1860 г.). Тутъ мы уже на той почвъ старообрядства, которую онъ впоследствій особенно облюбилъ и отмежевалъ себъ въ своихъ двухъ большихъ эпопеяхъ изъ Русскаго быта. Гриша-названный сынъ благочестивой вдовы Евпраксіи Михайловны. Возлюбиль этоть юноша «мать-пустыню», но «поднимала въ тайникъ его души змъиную свою голову гордость проклятая» (стр. 251), связанная съ тъмъ чувствомъ ненависти, по внушеньямъ котораго «Никоніанина пришибить—семь пятницъ молока не хлебать» (стр. 262). Не сдается его ожесточенное сердце на Христіанскія ув'вщанія кроткаго старца Досинея: «вс'в мы братья, вст единаго Христа исповъдуемъ. Не помнишь развѣ, что Господь, по землѣ ходивши, съ мытарями ѣлъ и съ язычниками, никого не гнушался. Какъ же мы-то дерзаемъ? Святъе, что ли, мы его?»—Да въдь они щепотники, въ три перста молятся, возражаетъ Гриппа. — «А сколькими перстами повелълъ Господь Самарянынъ молиться? Читаль ли ты, что Богу надобно кланяться духомъ и истиной? А два-ли, три-ли перста сложишь, — это ужь самое послъднее дъло» -- Уйди отъ меня, уйди, окаянный! отскакивая отъ старца, закричалъ Гриша. Изчезни!» Гриша прямо вообразиль, что въ старцъ-бъсъ. А не чуетъ онъ въ себъ того внутренняго, не съ хвостомъ, и не съ рогами, а безплотнаго духа зла, отъ котораго и предостерегалъ его старецъ. И вотъ при этомъ-то духъ злобы Гришъ вовсе не въ прокъ вся его борьба со страстями. Невольно

заслушавшись веселыхъ семицкихъ пъсенъ, Гриша не могь устоять передъ пъвуньей Дуняшей. Гордость его страшно этимъ уязвлена, но вотъ вдругъ является ему на выручку новый, иного покроя, старецъ. «Всякимъ людямъ, соблазнительно утъщаетъ онъ Гришу, уготована часть въ парствій небесномъ; внидуть въ селенія праведныя и тати, и разбойники, и блудники, и сластолюбцы, аще добрымъ покаяніемъ, постомъ и молитвою очистять грахи свои, не внидуть же токмо еретикъ и богатый». И не замъчаеть Гриша, какъ старецъ мало-по-малу забираетъ его въ свои руки, проповъдуя ему, поплатившемуся за гордость, послушаніе, безусловное послушаніе. Гриша доходить до того, что, въ какомъ-то чаду изувърства, сдается на ръчи старца: «велять человъка убить, твори волю пославшаго» (стр. 282). И вотъ, вмъстъ съ новымъ крещениемъ принявъ отъ старца новое имя: Геронтій, юноша, съ благословенія старца, приносить къ нему наполненный деньгами сундукъ, а владълицу того сундука Евпраксію Михайловну-его названную мать - приходится черезъ три дня хоронить.

Мы не останавливаемся долъе на этомъ очеркъ, такъ какъ онъ лишь этюдъ, предшествующій такимъ двумъ большимъ картинамъ изъ раскольничьяго быта, какъ: «Въ Лъсахъ» и «На Горахъ». Въ этихъ двухъ картинахъ, особенно въ первой, настоящая слава Мельникова.

II.

"Въ Лвсахъ".

Лучтее произведение Мельникова внушено ему продолжительнымъ и добросовъстнымъ изучениемъ нашего старообрядства, съ другой же стороны свидътельствуетъ и о его многостороннемъ и глубокомъ знании народной Русской жизни вообще со всею ея бытовою и обрядовою стариною, съ ея преданиями и повъриями, частию еще совершенно миоическими, частию уже христиански легендарными. Скопить и привести въ порядокъ такой богатый этнографическій матеріалъ могъ только настоящій ученый, а создать изъ него такую полную и стройную картину Русской жизни могъ только истинный художникъ. Своеобразное значеніе Мельникова именно и заключается въ такомъ сочетаніи двухъ стихій, рѣдко кому дающихся въ равной мѣрѣ. Обѣ онѣ, конечно, замѣтны и у старшаго пріятеля, а отчасти учителя Мельникова, В. И. Даля, — но Мельниковъ далеко превосходитъ его, какъ художникъ.

Вольшая Мельниковская эпопея съ продолженіемъ ея «На Горахъ» писалась и печаталась отдъльными главами въ продолженіи многихъ лѣтъ. Появленіе ея въ свѣтъ связано, какъ извѣстно, съ свѣтлою памятью царственнаго юноши, такъ преждевременно отнятаго у крѣпко имъ любимой Россіи въ 1865 году. Давъ слово покойному Наслѣднику, котораго сопровождалъ онъ во время его путемествія по Волгѣ, описать все то, что онъ ему о ней разсказывалъ, Мельниковъ вспомнилъ о своемъ «долгѣ» (какъ выразился Наслѣдникъ) во время его похоронъ, и закончилъ свой трудъ, самъ уже, можно сказать, находясь на смертномъ одрѣ. Это, такимъ образомъ, трудъ пѣлой жизни, такъ какъ и вся предшествовавшая дѣятельность автора, главнымъ образомъ, служила подготовленіемъ къ этому труду.

Время дъйствія двухъ эпопей Мельникова—время, непосредственно предшествующее закрытію раскольничьихъ
скитовъ въ 1853 г., послъднее время помъщиковъ кръпостной поры, Гоголевскихъ городничихъ и Держимордъ *),—
того, чъмъ все болъе и болъе переполнялась горькая чаша,
налитая Русскому народу причудливымъ ходомъ его исторіи, чаша, изъ которой было наконецъ выплеснуто такъ
много державнымъ отцомъ того, кто вдохновилъ Мельникова на его трудъ, чтобы вскоръ затъмъ почить и своею

^{*)} Прямыя указанія на это "Въ Лісахъ" І, 69; "На Горахъ", І, 390; ІІ, 318, 363; ІІІ, 34.

смертію открыть долгій, нескончаемый рядъ испытаній, выпавшихъ на долю его Отцу и имъ обновленной Россіи.

Передъ нами въ Волжскихъ разсказахъ Мельникова (онъ въдь скромно назвалъ свои поэмы разсказами), главнымъ образомъ, возстаетъ жизнь богатаго Волжскаго купечества, отчасти выбивіпагося изъ крестьянства, но, въ лицъ большинства своихъ представителей, совершенно о томъ позабывшаго, преспокойно прижимающаго того же крестьянина, образуя изъ себя новый, ужасный видъ барства, пережившаго барство крупостной поры и во многомъ ему не уступающаго. Нашъ авторъ, впрочемъ, замъчаетъ въ этомъ отношении значительную разницу между тъмъ, что происходить на лѣвомъ берегу Волги, «въ Лѣсахъ», отъ того, что происходить на правомъ-«на Горахъ». Вотъ что онъ говорить въ началѣ своей второй поэмы: «Въ лъсахъ за Волгой бъдняковъ, какіе живутъ на горахъ. наврядъ найти, зато и Заволожскимъ тысячникамъ далеко до нагорныхъ богачей Только эти богачи для бъднаго люда не въ примъръ тяжелъй, чъмъ Заволжскіе тысячники» *). Съ ихъ-то стороны главным в образомъ и раздаются тъ толки, къ которымъ прислушивается въ Нижнемъ Алексъй Лохматый: «вездъ однъ и тъже ръчи: деньги, барыши, выгодныя сдёлки. Всякъ хвалится прибылью, пуще смертнаго гръха боится убыли, а неправедной наживы ни единъ человъкъ въ гръхъ не ставитъ» **). Между тъмъ, это все въдь люди, ревностно держащіеся своей старой вёры, это все христолюбцы. Но вотъ какъ характеризуетъ ихъ авторъ: «Живетъ христолюбецъ, въкъ свой рабочихъ на пятаки, покупателей на рубли обсчитываетъ... Плачутся на христолюбца обиженные, - а ему и пъла мало... Приблизится смертный часъ, толстосумъ сробъетъ, проситъ, молить наслъдниковъ: устройте душу мою гръшную, не быть бы ей во тьмъ кромъшной... И начнуть поминать христолюбца наслёдники: сгромоздять коло-

^{*)} На Горахъ, І, 10.

^{**)} Въ Лѣсахъ, III, 82.

кольню въ семь ярусовъ, выльютъ въ тысячу пудовъ колоколь, чтобы до третіяго небеси слышно было, какъ тоть колоколь будеть вызванивать изъ ада душу христолюбца мошенника... Сотни рублей платять наслёдники христолюбца голосистому протодіакону, чтобъ такую «вічную память» съораль онъ по тятенькъ, оть какой бы и во адъ всъмъ чертямъ стало тошнехонько. И вызвонять, и выревуть такимъ способомъ грешную душу изъ вечныя муки» *). Это, стало быть, въра совершенно внъшняго покроя. Она сводится вся на то, чтобы соблюдена была малъйшая іота обряда, возводимаю на степень догмата, чтобы не было только и тъни того, что зовется Никоніанскою ересью. Но авторъ справедливо обобщаетъ такое воззрѣніе, указыван корни его у насъ въ томъ, что задолго предшествовало появленію такъ называемаго старообрядства. «И блудникъ, и тать, и убійца, говоритъ онъ, наслъдують жизнь въчную, еретика же и самая кровь мученическая очистить не можеть»... «Такія жестокія понятія, замъчаетъ Мельниковъ, казались бы несовиъстными съ добродушіем мягкосердаго, любвеобильнаго нашего народа. Откуда же взялась такая жестокость, столь обычная между старообрядцами?... Безсердечные Византійцы, суровые слагатели отшельническихъ уставовъ, дыпущіе злобой обличители еретичества древнихъ лътъ мертвящими буквами своихъ писаній навъяли на нашу добрую страну тлетворный духъ ненависти... Только за то и спасибо Византіи, что по ея милости Русская земля съ Римскимъ папой не зналась» **). Староообрядство такимъ образомъ является у насъ такимъ чадомъ, пожалуй изчадіемь, которое только не узнаетъ своего отца, подобно тому, какъ отецъ не узнаетъ въ немъ своего порожденія. Стало быть и читая «въ Лъсахъ» бесъду Англичанина съ Алексъемъ Лохматымъ, мы должны въ отвътахъ послъдняго разглядывать ту же основную Византійскую подкладку.

^{*)} Въ Лѣсахъ, I, 344.

^{**)} Въ Лѣсахъ, І. 384.

«Вы мнъ сказываете обряды—говорить Англичанинъ, но я желаю знать правила вашей Русской старой въры»... А Алексъй отвъчаетъ:

«Правила!... У мірскихъ правила не полагается... Это у старцевъ только да старицъ»...

— «Это вы также сказываете обряды старой вёры, а я желаю знать правила вёры, т.-е. ея каноны...

«А, значитт, насчетъ правильныхъ каноновъ... на канунъ большихъ праздниковъ да наканунъ воскресеньевъ послъ вечерень они бываютъ.... Всъ-то каноны развъ одна матушка Манееа по нашимъ мъстамъ знаетъ»...

Англичанинъ думаетъ приняться за дъло съ другого конпа.

«Между вашими върами споры бывають?

— Для-че спорить?

«Для того, чтобъ убъдить противника, чтобъ онъ свою въру оставилъ и къ вамъ превратился.

— Есть изъ чего хлопотать. Да это, по нашему разум'тнію, самое нестоющее д'тло... Каждый челов'ть долженъ родительскую в'тру по гробъ жизни сдержать... В'тра-то в'тдь не штаны. Штаны износятся, такъ на новы см'тнишь, а в'тру какъ м'тнять? Нельзя!» *).

Вѣдь это положительно отзывается духомъ того Новгородскаго Архіепископа Василія, который еще въ XIV в. спориль съ Тверскимъ епископомъ Өеодоромъ о томъ, сохранился ли «земной рай» со всѣми своими осязательными признаками, а на вызовъ со стороны Шведскаго короля Магнуса на споръ объ основныхъ отличіяхъ Русской вѣры отъ Западной отвѣчалъ отказомъ, основывающимся на томъ, что мы-де «приняли вѣру отъ Грековъ, а потому и слѣдуетъ обращаться къ нимъ, когда хочешь поспорить о вѣрѣ». Вся разница въ томъ, что старообрядцы перестали ссылаться на Грековъ, основываясь на томъ, что Греки сами измѣнили своей старой вѣрѣ, а только ссылались на то, что эта старая вѣра сохранилась у насъ и мы обязаны

[&]quot;) Въ Лѣсакъ, Ш, 94-96.

ее соблюсти, но большею частію также мало вникали въ самую сущность этой въры, также мало занимались ея нутром, сводя всъ заботы на внышность.

«Только и толковъ, только и споровъ, что можно ли квашню на хмѣльныхъ дрождяхъ поставить, съ кожаной аль съ холщевой лѣстовкой слѣдуетъ Богу молиться, нужно ли, ради души спасенья, гуменцо на макушкѣ выстритать»... А сколько иногда въ тѣхъ спорахъ, замѣчаетъ Мельниковъ, бываетъ ума, начитанности, ловкости въ словопреніяхъ, сколько искусства! И весь этотъ народный умъ дрождями, лѣстовками, да антихристами занятъ» *). Такъ оно, впрочемъ, стало въ расколѣ современемъ, а первоначально не ограничивалось въ немъ только этимъ.

Но въ чемъ же, однако, настоящіе нравственные устои народной жизни? Вѣдь есть же они, если авторъ выводитъ передъ нами не однихъ Алексвевъ Лохматыхъ, боящихся только нужды или гибели отъ властнаго человѣка, и вовсе не боящихся грѣха, или же Смолокуровыхъ, готовыхъ надуть своего же пріятеля, огорчающихся при вѣсти о томъ, что мнимопогибшій братъ живъ, но его надо выкупить изъ плѣна, ради наживы готовыхъ даже на уголовщину. Устои народные, кажется, коренятся вътѣхъ старыхъ бытовыхъ основахъ, которыя сквозять въразсказѣ артельщика Артемія:

«Вонъ теперь пароходы по Волгъ взадъ и впередъ снують, ладьи да барки ходятъ, плоты плывутъ... Чьи пароходы, чьи плоты да барки? Купецкіе все. Завладъла ваша братья, купцы, Волгой матушкой. А въ стары казачьи годы не купецкіе люди Волжскимъ раздольемъ владъли, а наша братья голытьба... Голытьба въ стары годы польсамъ жила, жила голытьба и промежъ полей... Кормиться стало не чъмъ: хлъба недороды, подати большія, отъ бояръ, отъ приказныхъ людей утъсненье И побъжала голытьба врозь, и стала она вольными казаками... Котора голытьба на Украйну пошла—та Ляховъ да бусур-

^{*)} На Горахъ, II, 276-277.

мановъ побивала, свою казацкую кровь за Христову въру проливала... Котора голытьба на Сибирь махнула—та Сибирскія мъста полонила и великому Государю Сибирскимъ царствомъ поклонилась» *).

Тѣ же основы, въ прошедшемъ выступающія передъ нами въ видѣ казацкаго братства, продолжаютъ сказываться и въ настоящемъ въ видѣ той артели рабочихъ, съ которою сталкивается въ лѣсу отправляющійся на золотой промыселъ Потапъ Максимычъ. Эти основы—въ народной общинъ, почему-то такъ не полюбившейся автору въ одномъ изъ своихъ проявленій—общинѣ поземельной. У него на это свои особыя, слишкомъ уже исключительно экономическія, соображенія, вполнѣ упускающія изъ виду, что «не о хлѣбѣ единомъ живъ будетъ человѣкъ».

«Чуть не каждый годь—говорить Мельниковь, мірь, община передъляеть поля, оттого землю никто не удобряеть, что-де за прибыль на чужихъ работать... И богатые, и бъдные въ одинъ голосъ жалобятся на тъ передълы, но подълать ничего не могутъ. Община!—Зато кому удастся выбиться изъ этой—прахъ ее возьми — общины, да завестись коть невеликимъ кускомъ земли собственной, тому житье не плохое: земля на горахъ родитъ хорошо > **).

«Какъ съ міромъ сладишь? спрашиваетъ авторъ въ другомъ мѣстѣ... Хоть міръ и первый въ свѣтѣ разбойникъ, а суда на него не сыщешь». Далѣе приводятся и примѣры мірского «разбойничества».—«Теперь у Чубаловыхъ мошна-то туга, разсуждаетъ крестьянская община про своихъ разбогатѣвшихъ участниковъ,— смогутъ и голый песокъ доброй пашней сдѣлать, потому и поступиться имъ допрежними ихъ (т.-е. хорошими) полосами міру будетъ за великую обиду».—«Такова правда въ пресловутой общинѣ, толкуетъ авторъ, такова справедливость у этого міра—народа, что изстари крѣпкими стопами на ведеркахъ водки стоитъ!» Не возражая противъ ведерокъ, относя-

^{*)} Въ Льсахъ, I, 308-309.

^{**)} На Горахъ, I, 10.

пихся къ области злоупотребленій, мы, никакъ не принаемъ за общенародный голосъ приводимаго авторомъ далье отвыва: «мужикъ умень, да мірь дуракъ». Все дъло въ томъ, какъ понимать умъ. Міръ во многихъ отношеніяхъ такой же «дуракъ», какъ и излюбленный сказками Иванушка-дурачокъ, по крайнему разумѣнію самого народ затыкающій за поясь своихь старшихь братьевь — «себъ на умъ» - тъмъ, что у него, если можно употребить туть выражение Достоевского, «главный умъ» тотъ, который имбетъ въ виду не личные интересы немногихъ, тучнъющихъ на счетъ остальныхъ, а возможное уравновъщение всъхъ путемъ взаимной уступчивости. «Ониста теперь стали купцы, разсуждаеть мірь про тёхь же Чубаловыхъ, и разсужденія міра, въ свою очередь, должны послужить у автора примъромъ мірского «дурачества» и «разбойничества». «Для чего же на нашей мірской земль сидять, продолжаеть разсуждать «мірь-дуракь», и темь крестьянскому обчеству чинять поружу... Въ городъ стунай, тамъ себъ хоромы ставь, а твой домъ на нашей мірской землъ ставленъ, значитъ его слъдуетъ въ обчество отдать» *). По нашему мнѣнію, міръ туть, какъ міръ. какъ община, и вполнъ логиченъ, и вполнъ правъ, сколько бы ни было это лично невыгодно разбогатъвшимъ, переродившимся въ купцовъ, Чубаловымъ. И если виновникъ разбогатьнія, долго скитавшійся по разнымъ върамъ, Родасимъ Чубаловъ, въ самомъ дёлё, наконецъ, убёдился въ помъ, что спасеніе не въ такъ называемомъ умъ, ковъ серти если имъ въ самомъ дълъ, наконецъ, понятъ вожій галев «милости хочу, а не жертвы» **), то онъ не можеть не отпаситься съ крестьянскимъ міромъ. Мы полагаемъ, что только благодаря міру — общини, Византійству съ его религіозна от эгоизмомъ, все-таки не удалось извратить вконецъ нашъ народный духъ, вполнъ заслонить него свътлое и паплое солнце Христіанской любви и

225 194

На Горахъ, II, 223—224.

^{💮 🏗} е. не жертвоприношенія.

правды. Мы полагаемъ, что самое сочувственное лицо у нашего автора, Потапъ Максимычъ Чапуринъ, всвиъ, что есть въ немъ дъйствительно Христіанскаго, т. е. въ настоящемъ смыслъ человъческого, обязанъ именно тому, что въ немъ, не смотря на его переходъ въ купечество, уцільти бытовыя основы той крестьянской среды, изъ которой онъ происходитъ. Въ этомъ и основное отличіе его отъ другого тысячника--Смолокурова. Правда, не одна Настасья Потаповна можетъ сказать про Чапурина: «въдь онъ добрый» *); то же могла бы повторить про своего отца и Дуня Смолокурова. Но дело въ томъ, что отецъ последней только для нея одной въ целомъ міре и добръ, а доброта отца Насти сказывается въ широкомъ кругъ. Онъ, напримъръ, способенъ полюбить совершенно ему чужую Груню, какъ родную дочь, да еще и не видъть въ этомъ никакой заслуги, увъряя себя и жену, что она зато принесла имъ счастье въ домъ и отстраняя ея благодарность словами: «не мы тебъ, ты добро намъ дълала» (I, 154), съ другой же стороны и наставляя ее при этомъ: «добрыми дълами, Груня, воздашь... Молись, трудись, паче всего-обдныхъ не забывай» (154). Онъ даже скорће позволить себъ круго поступить, употребить власть по отношенію къ родной дочери-его порожденію, его крови (въ стомъ еще сказывается у него, пожалуй, отголосокъ, предшествовавшаго общинъ, родового быта). «Будь Настасья постарше, да не крестная тебъ дочь, говорить онъ сватающемуся за Груню старику Ивану Григорьевичу, я бы разговаривать не сталъ, сейчасъ бы съ тобой по рукамъ, потому она дътище мое-куда хочу, туда и дъну. А съ Груней надо поговорить», --- поговорить, т.-е. узнать ея собственную волю, именно потому, что «хоша она мнъ, продолжаеть Чапуринъ, и дочка, а все же не родная». Относит льно родной дочери Смолокуровъ, пожалуй, даже вовсе не самодуръ. «Батюшка родитель, говоритъ про него Дуня, воли съ меня не снимаетъ... Кого по мысли найду,

^{*)} Въ Лѣсахъ I, 81.

за того и пойду» (IV, 205). Но если Смолокуровъ предоставляеть ей полную волю, то опять-таки ей одной въ пъломъ міръ Божіемъ. Но въдь и Потапъ Максимычъ только въ теоріи отецъ-самодуръ; знаемъ же мы, что онъ какъ бы уганавъ чувства дочери, самъ наконецъ съ любовью остановившись на Алексъъ, знаемъ и то, что онъ, только ради обряда похорохорился, а затёмъ сейчасъ же и простиль Прасковью Потаповну, когда она явилась къ нему съ обвънчавшимся съ нею «уходомъ» Васильемъ Борисычемъ. «Гнъвъ — дъло человъческое, злопамятство дьявольское» (II, 324), разсуждаеть Чапуринъ, и въ самомъ дълъ оказывается незлопамятнымъ даже относительно когда-то столь любимаго имъ, а потомъ такъ неожиданно «заклевавшаго» его любимую голубку Настю, Алексъя Лохматаго. «Не зломъ провожаю, говоритъ онъ ему, Господь вельть добромь за зло платить... Щедро надыливъ Алексъя при прощаньи, онъ еще прибавляетъ: «нужда придетъ, письмо пиши» *). И въ самомъ дълъ, далъе онъ спасаетъ отъ рекрутства даже всю семью Лохматаго (III, 134). Чапуринъ только требуетъ отъ Алексъя, чтобы тоть не показывался ему на глаза и молчаль о Настъ; онъ грозитъ ему лишь въ такомъ случать, если тотъ нарушить молчаніе. Гораздо снисходительное своей Аксиньи Захаровны относится Чапуринъ къ ея непутевому брату Никифору Захарычу, говоря: «великъ передъ Богомъ гръхъ -родного человъка изъ дома выгнать» (I, 24). «Право не ладно, продолжаетъ онъ, какъ Снѣжковы провѣдаютъ, что въ самое то время, какъ они у насъ пировали, родной дядя на запоръ въ подклътъ ровно какой арестантъ сидълъ» (I, 171). Какъ ни самолюбивъ Потапъ Максимычъ, какъ ни склоненъ онъ наградить хорошенько такую обитель, которая «умфеть людей отличать и почеть воздавать, кому следуетъ» (I, 354), но онъ не забываетъ своего происхожденія, не брезгаеть той бъднотой, изъ которой когда-то вышелъ. «Сами то мы какихъ великихъ

^{*)} III, 51-52.

боярскихъ родовъ? иронически спрашиваетъ онъ Алексъя; всъ одной глины горшки» (II, 188). Марыл Гавриловна разсуждаеть о немъ не даромъ: «если человъкъ гордится перелъ слабымъ да перелъ бъднымъ - не хорошо, не добрый тотъ челов'вкъ... А кто передъ сильнымъ да передъ богатымъ высоко голову несеть-добрая слава тому» (II. 338). Къ числу такихъ сильныхъ, а, пожалуй, и богатыхъ можетъ быть отнесена и сестра его, мать Манева, на которую онъ поглядываетъ свысока, зная ея замашку, при всей своей игуменской гордости, разсчитывать на его карманъ. «Не подъ силу ей противъ брата идти: таковъ уродился—чего ни захочеть, на своемъ поставить» (I, 218). И воть, Манева, по его требованію, должна у него остаться въ гостяхъ, какъ ни тяжела для нея нежданная встръча съ прежнимъ милымъ дружкомъ, Якимомъ Стуколовымъ. «Было бъ напраснымъ трудомъ, говорится про него въ другомъ случать, спорить съ нимъ. Не родился тотъ на свътъ, кто бы переспорилъ его» (III, 199). А между тъмъ этотъ упорный человъкъ способенъ отдаваться другимъ безъ оглядки, привязываясь къ нимъ, не смотря на свои льта, съ какою-то юношескою довърчивостью. Практикъ и дълецъ по своему образу жизни, онъ становится тутъ какимъ-то беззавѣтнымъ идеалистомъ-восторженникомъ. Иванъ Григорьевичъ очень ошибается, говоря про него Василію Борисычу: «онъ, братъ, маху не дастъ, каждаго человъка видитъ насквозь». Напротивъ, онъ склоненъ видъть въ человъкъ и то, чего въ немъ вовсе нътъ, а хорошо если бъ было! Онъ судить о другихъ по себъ, онъ представляеть себъ людей лучшими, чъмъ они есть. Вотъ такъ то «возлюбиль» онъ Алексъя Лохматаго, и, не смотря на горькое разочарованіе въ немъ, послёдовавшее такъ скоро, оказывается опять способнымъ, и даже вскорт послт того, съ такою же восторженностью отнестись къ Василію Борисычу: «утъшь старика! Возлюбиль я тебя» (III, 217). А утъшить старика значить пойти по той дорогь, которая представляется ему наилучшею. Не даромъ наслушался онъ отъ самого же Василія Борисыча такихъ хорошихъ ръчей:

«Побывайте въ степяхъ, посмотрите... Когда Христосъ сошель на землю и приняль на себя зракь рабій, восхотъль онъ, Владыка, бъдность и нищету освятить... И ролился Парь Небесный въ тесномъ, грязномъ вертепе среди скотовъ безсловесныхъ... Поди теперь въ наши степи что ни домъ, то вертепъ Виелеемскій... Промыслу нътъ никакого, одно хлъбопашество... Хлъба-то въ волю, а мужику однимъ хлъбомъ не изжить... Хлъбъ-отъ вези на базаръ верстъ за 20, за 30... Хорошо еще коли хлёбъ въ цёнё» (Ш. 206 -207). Потапъ Максимычъ и прими горячее слово старообрядческого начетчика за чистую монету. Вотъ и явилось у него непобъдимое желаніе сдълать изъ того же Василія Борисыча орудіе своей посильной помощи степному краю. «Теперь, говорить онь ему, по милости Божіей, по околотку сотня другая людей вокругъ меня кормится, и я возымъль такое желаніе, чтобы, нажитого трудами капитала не умаляя, сколь можно больше народу работой кормить, довольство бы по бёднымъ людямъ пошло и добрая жизнь» (Ш, 222). «Хочу промысла на Горахъ разводитьты только знаньемъ своимъ помогай... Все какъ родному сыну довърю» (218-219). Потапъ Максимычъ и во всемъ довъряеть ему, какъ родному сыну. На слова матери Маневы: «Василій Борисычъ со старицами въ лъса да на Китижъ располагалъ събздить» (а събздить со старицами значило събздить и съ сопровождавшими ихъ молодыми бълицами), старикъ съ полнъйшею увъренностью замъчаеть: «Василій Борисычь человѣкь иной стати. Его опасаться нечего» (Ш, 232). А на повърку оказывается, что именно его-то и надобно опасаться, потому что онъ человъкъ именно той стати, которая подлипаетъ къ дъвушкамъ и вертитъ имъ головы себъ на потъху. Напускаемый на себя Василіемъ Борисычемъ степенный видъ, разводимыя имъ умильныя ръчи о народной нуждъ и бъдъ, все это невольно подкупаетъ добръйщаго и въ истинномъ смыслъ слова дъльнаго Потапа Максимыча, а свойственное его выдающемуся положенію своего рода патріархасамоувъренное упрямство, заставляеть его настаивать на своемъ взглядъ, невольно устраняя все то, что подъ него не подходить. Онъ разсчитываль, опираясь на представляющуюся ему въ Васильъ Борисычъ дъльную основу, безъ особеннаго труда отвлечь его отъ непутнаго, по мненію старика, скитальчества по скитамъ съ различными порученіями отъ Московскихъ заправилъ раскола. Потапа Максимыча къ расколу вообще особенныя. «Онъ, поясняетъ авторъ, съ семьей старинки придерживался, раскольничаль, но закоснълымъ изувъромъ никогда не бываль. И раскольничаль-то Потапь Максимычь потому больше, что за Волгой издавна такой обычай велся, отъ людей отставать ему не приходилось» (I, 8-9). Самъ же онъ смотритъ широко на въру. «Захочешь спасаться, говорить онъ Василію Борисычу, и въ міру спасешься—живи только по добру да по правдъ (Ш, 185). Послушать тебя, умышленно трунитъ онъ надъ нимъ, все едино, что нашихъ Керженскихъ келейницъ: все бъсъ творитъ, а мы вишь святые, блаженные, завсегда не при чемъ. Вездъ одинъ онъ, окаянный, во всемъ виноватъ... Въдненькій»! (190 — 191). Дело въ томъ, что Потапъ Максимычъ человъкъ дъйствительно нравственный, все сводящій на твердую волю-владыку, умъющую совладать съ какими угодно «чертями». Онъ не изъ тъхъ легковъсныхъ святошъ, которые говорять: «не согръшишь, такъ и не покаешься; согрѣшимъ и покаемся». Онъ большой охотникъ подтрунивать надъ такимъ преудобнымъ святошествомъ своей же братьи старообрядцевъ, разсказывая про нихъ подъ-часъ очень пряные анекдоты. Онъ разсказываетъ ихъ при всъхъ вовсе не потому, чтобы самъ былъ циникомъ, а потому, что такимъ образомъ издъвается надъ тъмъ лицемъріемъ, которое пугается слова, а вовсе не пугается дала. «Потапъ Максимычь, поясняеть авторь, быль истый Великоруссь: набожный, ревностный къ въръ отцовъ богомольникъ, но великій суесловъ; а какъ расходится да разгуляется, и отъ кощунства не прочь» (Ш, 200). Но въдь это собственно не кощунство, т.-е. не издъвательство надъ святынею, а издъвательство надъ лицемърнымъ обращениемъ со святыней. Шутить, даже сквернословить въ такомъ особенномъ смыслѣ Чапуринъ, и вдругъ остановится—но не отъ того, что, вдругъ спохватившись, видить въ этомъ оскорбленіе самой религіозной святыни, а отъ того, что въ своей внезапной веселости видитъ оскорбленіе святыни своего горя—своего неутѣшнаго горя по голубкѣ Настѣ. «Вдругъ откуда ни возьмись— налетитъ хмара темная, потускнѣетъ ясный взоръ отца горемычнаго, замлѣетъ говорливый языкъ, и смолкнетъ Потапъ Максимычъ, вспоминая красотку свою ненаглядную, покойницу Настю голубушку, и слеза, что хрусталь, засверкаетъ на рѣсницахъ его» (Ш, 200).

«Яблочко падаеть не далеко оть яблони». - часто говорится въ нехорошемъ смыслъ. Можно бы сказать это про Настю и ея отца-въ хорошемъ. Мать тутъ почти ни причемъ, такъ какъ ей у Потапа Максимыча принадлежалъ только голосъ «на счетъ скитовъ да лѣсовъ и всего этакаго духовнаго». Только туть она была голова, такъ какъ «расколъ бабами держится» (I, 12). Но мы знаемъ уже, что все въ немъ сводится на одну внъшность. Душевный міръ Насти — прямое отраженіе душевнаго міра ея отца. «Годами молода, нравомъ стара», говоритъ про нее Алексъй; горда очень и власть любить паче мъры. А силы въ ней много» (11, 278). Да, въ ней много той силы, которая только прибываетъ послъ временного упадка. Ея гордость не мъщаетъ ей отдаться вполнъ Алексъю, потому что она въ такой же мъръ привязчива и также довърчива въ своей привязанности, какъ и отецъ. Но ей стоило только разочароваться, - и разомъ свалились съ нея оковы любви. «И узнала бы, что замыслиль отець, не больно-бъ тому возрадовалась»-т.-е. не возрадовалась бы его собственной сердечной ръшимости выдать ее за Алексъя. «Жалокъ ей сталь трусливый Алексъй»... Жалокъ потому, что слишкомъ ужь долго пришлось ей ему внушать: «повънчавшись, придемъ, да въ ноги отцу... въдь самъ онъ мамыньку-то уходомъ свелъ»... «Мало ли что старики смолоду творять, не даваль себя вразумить Алексей, гордъ и кичливъ По-

тапъ-отъ Максимычъ. Страшенъ! Не снести его душъ, чтобы дочь его за нищимъ голышомъ была. Быть мнъ отъ него убитому»... (П, 148—149) Въ Алексът нътъ тъхъ задатковъ добра, которые доводять до чуткаго ясновид внія добра и въ затаенныхъ складкахъ чужой души. Только про хорошихъ людей въдь сказано, что сердце сердцу въсть подаетъ. Алексъю и не снится, до чего можетъ размягчиться «возлюбившій его» старикь Чапуринь. Видя въ немъ только одного изъ тъхъ крупнъйшихъ отцовъсамодуровъ, которыхъ выставлено передъ нами не мало въ объихъ поэмахъ Мельникова, Алексъй является въ роли какого-то крестьянскаго Рудина или Гагина. Но Настя будеть покръпче Наташи или Аси, скоръе соотвътствуя Машъ въ «Затишьи» Тургенева. Она отличается отъ послъдней собственно тъмъ, что не лишаетъ себя жизни (этого не допускаеть ея религіозная обстановка), а просто не можетъ жить послъ своего неизбывнаго горя, естественною смертью умираеть отъ этого горя, какъ иногда случается это въ настоящихъ народныхъ пъсняхъ - напримъръ Сербскихъ. Горе Насти-самое ужасное горе, какое только можно себъ представить. Дъло не въ томъ только, что любимый человъкъ не отвъчаеть ей такою же любовью, а въ томъ, что онъ совершенно не достоинъ ея, не достоинъ и ничьей любви. «Не чаяла она, что въ возлюбленномъ ся нътъ ни удальства молодецкаго, ни смълой отваги. Гадала сокола поймать, поймала съру утицу... Онъ плачетъ, рыдаетъ и, еще ничего не видя, труситъ Потапа Максимыча, какъ старая баба домового... Видно, у него только обличье соколье, а душа-то воронья» (II, 157). Но Настя не уносить въ могилу никакой злобы противъ того, въ комъ она обманулась. Она какъ будто бы и не винить его въ томъ, что онъ оказался совствиъ не такимъ, какъ ей представлялось. Зато она вполнъ способна понять свою собственную вину. «Горько тебъ, обиду какую я сдёлала», трогательно кается она передъ отцомъ, прибавляя: «Прости его!»—Не сдълаю зла, зачъмъ?... I осподь съ нимъ», успокаиваетъ ее старикъ, не даромъ держащійся

правила, что «гнъвъ дъло человъческое, злопамятство дьявольское». «Ну, вотъ и хорошо», кротко отвъчаеть Умирая отъ горя, она не даетъ однакоже горю поглотить себя до того, чтобы позабыть о тъхъ, кто ее окружаеть. Замътивъ забившагося въ уголокъ моленной и почти не выходящаго изъ нея, съ тъхъ поръ какъ она забольла, непутеваго Никифора Захарыча, она такъ любовно ему говорить: «дядя, не пей, голубчикъ». И это, сказанное отъ всей души, простое слово окончательно его поднимаеть изъ того омута, въ которомъ онъ давно погрязъ, и только пуще погрязъ отъ всёхъ попрековъ и всего презрѣнія. «Ахъ, Настенька, говорить онъ ей, не знаешь, каково я любилъ тебя! А подойти близко боялся ... Боялся не потому, конечно, чтобы ждаль отъ нея, какъ отъ другихъ, того же презрѣнья и тѣхъ же попрековъ, а потому, что самъ считалъ себя, погрязшаго въ грязь, недостойнымъ подойти къ ней къ чистой... Она и теперь для него чиста, свята-не смотря на то, что сама оказалась причастною человъческой слабости; но она уходитъ изъ этого міра, и онъ спѣшить за нее ухватиться — не какъ за хрупкую соломенку, а какъ за твердую нравственную опору, моля ее: «благослови на хорошую жизнь» (П, 299-300).

Никифоръ Захарычъ, не смотря на всю, облѣпившую его, грязь, одно изъ самыхъ сочувственныхъ лицъ у Мельникова. И въ немъ, не смотря ни на что, уцѣлѣла та нравственная закваска міра-общины, которой обязанъ всѣмъ своимъ добромъ душевнымъ и Потапъ Максимычъ. Закваска эта уцѣлѣла въ Никифоръ, котя авторъ и сообщаетъ намъ про него: «Много мірскихъ побоевъ за воровскія дѣла принялъ Микешка, да мало, видно, бока у него болѣли: полежитъ недѣльку другую, поохаетъ, помается, да отправится опять за воровской промыслъ да за пьянство. Просто сказать — отятой человѣкъ» (I, 118). «А душа была у него предобрая, поясняетъ авторъ, кто не обижалъ, тому радъ былъ услужить всячески. Пожаръ ли слу-

чится, — Никифоръ первый на помощь... Бывало, только заслышить на ръкъ крики: тону! мигомъ въ воду» (120).

И воть, всё эти остатки добра окончательно всплыли у него на верхъ, сплотились въ немъ и окрепли подъ чудотворнымъ вліяньемъ Настинаго благословенья. Не даромъ же прибывшіе къ ней на сорочины видёли, какъ возлё ея могилки, понуривъ голову и роняя слезы сидитъ дядя Никифоръ. То былъ уже, замёчаетъ авторъ, не вёчно пьяный, буйный, оборванный Микешка Волкъ, но тихій, молчаливый горюнъ, каждый Божій день молившійся и плакавшій надъ племяннициной могилой» (ІІІ, 167). «Гдё твои буйные крики, спрашиваетъ авторъ, гдё твои безстыдныя пёсни, пьяный задоръ и наглая ругань? Тише воды, ниже травы сталъ Никифоръ» (ІІ, 170).

Возрождающее дъйствіе святого горя на этого, казалось, пропащаго человъка, даеть еще болъе выступить впередъ тому полному отсутствію горя, стыда и раскаянія, той замінь подобных чувствь однимь жалкимь страхомъ, которыя дёлають такимъ отвратительнымъ красиваго, умнаго и умълаго, даже начитаннаго, и не только по части церковныхъ старообрядческихъ книгъ, Алексия Лохматаго. Все пошло Алекстю не въ прокъ: слишкомъ ужь онъ «деньгу любилъ, а любилъ ее потому, что хотълось въ довольствъ, въ богатствъ, во всемъ изобильи пожить, славы, почести хотълось» (I, 33). Рано взманили парня такія мечты, «Бывало, стоя за токарнымъ станкомъ, либо крася олифой горянщину, представляеть онъ себя то сильнымъ могучимъ богатыремъ, то царемъ небывалаго царства, а чаще всего богачомъ... Попалъ въ домъ тысячника (Потапа Максимыча, который такъ его возлюбилъ чтобы такъ горько потомъ въ немъ разочароваться), увидълъ, какъ люди въ чести да въ холъ живутъ, узналъ. какъ богачи деньгами ворочаютъ... Тогда смутныя думы стали яснъе и понятнъе... И сотворилъ Алексъй въ душъ своей кумира... И поклонился онъ тельцу золотому... И тъсна и грязна показалась ему изба родительская» (когда пришлось въ нее возвратиться, распрощавшись съ Пота-

помъ Максимычемъ) (III, 48). Тъмъ-то и сдълался онъ постылымъ Настъ, что «ужь какъ разгорълись глаза у него, какъ зачалъ онъ сказывать про Ветлужское золото!.. Корыстенъ!.. (II, 188). Будь жена хоть коза, только бы съ золотыми рогами, да смирная, покладистая, чтобъ не смѣла выше мужа головы поднимать» (278-280). Не таковская, думается Алексъю, Настасья, а потому онъ и начинаетъ бояться ея, не менъе, чъмъ ея отца, прямо даже готоваго выдать ее за него, «И нало же было такъ случиться», говорить авторъ, что, когда «изстрадавшаяся Настя повъдала матери про свое неизбывное горе, про свой позоръ», Алексъй впервые свидълся съ молодою вдовушкой, Марьей Гавриловной, и приворожиль ее къ себъ тъмъ, что представился ей словно двойникомъ ея милаго, безъ въсти пропавшаго, Евграфа. Алексъю же и прежде особенно привлекательнымъ именно и представлялось «вдовушку подцепить, чтобъ у нея денежки водились свои, а не родительскія»—т.-е. чтобы ему не предстояло никакой зависимости отъ ея родителя. «Ну, тогда прости, Настасья Потаповна», говориль онъ себъ и прежде (I, 152-155). А что слишкомъ далеко у него зашло съ Настей, на то въдь есть про запасъ такая гнусная философія: «не мы первые, не мы и послъдніе... Кучился, мучился, доспълъ и бросилъ... Не нами заведено, таково дъло споконъ въка стоитъ. Дъвка-чужая добыча, не я - такъ другой бы (II, 281). Одна бъда — если узнаетъ Потапъ Максимычъ. «Отъ сего человъка погибель твоя», говорить что-то Алексъю. Неожиданно услыхавъ, по возвращении отъ Марьи Гавриловны, о смерти Насти, онъ спѣшитъ полюбопытствовать узнать, «отчего померла?» — «Безъ памяти, слышь лежала, безъ языка, говорять ему.—«Безъ языка?.. Коли такъ, все, какъ осенній слёдъ занесло» успокаиваетъ себя негодяй. Но выходить, что нъть-слъдъ не занесенъ, все извъстно старику Чапурину. И тотъ-же Алексъй валяется у него въ ногахъ, причитая: «не погубите!» - Даже кроткій отвъть несчастнаго отца: «губить тебя? не бойся... Я ли тебя не жалѣлъ, я ли не возлюбилъ тебя?» (II, 323-324),

даже и этотъ задушевный голось не пробуждаеть совъсти въ Алексъъ. Весь онъ во власти — одного только голаго, подлаго чувства самосохраненія-т.-е. сохраненія жизни, какъ онъ ее понимаетъ, съ возможностью всяческихъ наслажденій - если не теперь, то хотя бы со временемъ. Напрасно раздается надъ нимъ голосъ старика Пантелея, подобно хору въ древней трагедік служащій туть представителемъ міра—народа: «коли жить хочешь по Божьему, такъ бойся не богатаго грозы, а убогаго слезы» (II, 157). Если бы Алексъй быль на это способень, то прежде бы всего побоялся Настиной слезы: и она въдь убогая, лишившись ради его своей дъвичьей чести, чтобы потомъ его распознать во всемъ его безобразіи нравственномъ!! Но въдь уже давно, съ тъхъ поръ еще, какъ, за работой въ отцовскомъ дому, онъ мечталъ о разбогатъніи, «чорствое себялюбіе завладёло Алексеемъ: гнететь его забота объ одномъ себъ, до другихъ ему и нуждушки нътъ». — Началось съ того, что даже не смъли ему приходить на умъ погоръный отецъ и мать (ІІ, 136-137). А кончилось тъмъ, что, когда онъ въ самомъ дълъ разбогатълъ, да еще какъ, женившись на Марьф Гавриловнф, и пересталъ бояться Потапа Максимыча, на-готовъ у него для отца нътъ и какой нибудь чашки чая, а есть лишь пятирублевая, сунутая, какъ подаяніе, старику въ руку!

Разъ только, заслушавшись органа въ Нижегородской гостинницъ, какъ будто очнулся вдругъ Алексъй. «Въчно прекрасная музыка Глинки, поясняетъ авторъ, обаятельно дъйствуетъ на Русскаго человъка... Взгрустнулось отъ той музыки Алексъю... Настеньку вспомнилъ... Хоть бы въ Волгу головой, такъ въ ту же пору» (Ш, 81). Кончилось однакоже тъмъ, что онъ въ Волгу не кинулся, а окончательно погрязъ въ своемъ миломъ золотъ.

Воть туть-то и приходится снова имъть съ нимъ дъло Потапу Максимычу. Старикъ въдь долженъ по векселю Марьъ Гавриловнъ и ему надобно получить отъ нея непродолжительную отсрочку, — но и сама-то Марья Гавриловна со всъмъ своимъ добромъ теперь въдь въ рукахъ у

своего Алексъя. И не узнать ужь теперь Лохматаго-какой модный Европейскій нарядъ, какія цивилизованныя привычки! «Ты бы, Марья Гавриловна, амбреемъ велъла покурить, говорить онъ жент; не то кожей, не то дегтемъ воняеть» (IV, 336). Дело въ томъ, что, «отправляясь къ молодымъ, Потапъ Максимычъ надълъ новые сапоги. На нихъ-то теперь съ язвительной усмъщкой поглядываль Алексъй. Отъ нихъ пахло. Не будь послъ завтра срокъ векселю, съумъль бы отвътить Чапуринь, но теперь-дълать нечего — скръпя сердце молчаль» (336). Старикъ ссылается на объщание отсрочки, данное ему Марьей Гавриловной, тогда еще независимою вдовою. Но у Алексъя является особое объяснение подобнаго объщания. Онт. съ полною развязностью теперь говорить тому, въ чьихъ ногахъ еще такъ недавно валялся: «Можетъ статься Марья Гавриловна такое объщание вамъ только для того дала, чтобъ не оченно васъ разстраивать, потому, что въ печали тогда находились, схоронивши Настасью Потановну». Замъчая при этомъ на губахъ у Алексея даже нагло-насметливую улыбку, пламеннымъ взоромъ окинулъ его старикъ, сжаль кулаки, и чуть слышнымъ, задыхающимся голосомъ промолвиль: «не мнъ бы слушать таки ръчи, не тебъ бы ихъ говорить». Что-то такое заставило однако же Алексъя, надменно было взглянувшаго, смутиться и потупить глаза передъ гнъвнымъ взоромъ Чапурина; совъсть, что ли, опять шевельнулась, чтобы снова затъмъ улечься и уже на всегда? Старикъ Чапуринъ не возлагаетъ на такое минутное пробужденье совъсти ни малъйшей надежды. «Настина тайна въ рукахъ страдника -- вотъ что до самаго дна мутило душу его, вотъ что горемъ его сокрушало... Не пригрозишь теперь богачу, какъ грозилъ дотоль нищему» (342). Между тъмъ Алексъй не ждетъ-не даетъ отсрочки. Изъ бъды выручаетъ Потапа Максимыча примой и честный дёлецъ Колышкинъ, величающій старика «крестнымъ» и давно уже разглядъвшій насквозь Алексъя. Приносить деньги старикъ, просить Марью Гавриловну счесть ихъ. «Считать сталъ Алексъй. Каждую бумажку на свъть

разглядываль, «Можеть, оть отца Михаила которы получили», язвительно улыбнувшись, промолвиль онъ, намекая на поъздку Чапурина къ этому старообрядческому игумну, оказавшемуся потомъ фабрикантомъ фальшивыхъ ассигнацій (347). Впрочемъ, Алексей умудряется и на то, чтобы туть же прикинуться помнящимъ старыя услуги Потапа Максимыча. «Процентовъ на вексель мы не причли-съ, говорить онъ ему; а что отъ васъ я лишковъ получилълошаденокъ въ тотъ же счетъ ставлю — по моему счету ровно столько же стоитъ. Значитъ, мы съ вами въ полномъ разсчетъ». Гадко стало Потапу Максимычу,--напомниль онь наглецу старый уговорь: «Скажешь неподобное слово про покойницу, живу не быть тебъ». — Тутъ снова прозвучаль надъ Алекстемъ тотъ голосъ суевтрнаго страха, въ какой превратился для него голосъ совъсти: «Отъ сего человъка погибель твоя». Но этотъ голосъ звучалъ въ его душевномъ слухъ не долго. «Грозенъ сонъ, да милостивъ Богъ», сталъ онъ себя успокаивать. «И, завидя проходившую Таню (любимую горничную Марьи Гавриловны), шаловливо охватилъ гибкій, стройный станъ ея» (347 — 348). Почему же и не пошалить съ красоткой, благо она моложе Марыи Гавриловны, которой онъ даже теперь и не любить? Ла и развъ такіе, какъ онъ, способны кого нибудь полюбить по человъчески, т.-е. прочно, незыблемо? Развъ понять имъ слова поэта: «безъ въчности чувства смысла въ немъ нътъ»? *).

И такому-то человъку принесла себя въ жертву Настя! Но она тутъ жертва — не его одного, а также и разбитной пріятельницы своей скитской поры — Маневиной любимицыбаловня Фленушки; или, лучше сказать, она вмъстъ съ Фленушкой жертва скитскаго быта, скитскихъ понятій съ ихъ, если можно такъ выразиться, безвърной върой, ихъ безнравственною нравственностью, жертва съ другой стороны и того безшабашнаго самодурства, которое нагло царитъ среди окружающаго скиты и поддерживающаго ихъ

^{*)} Стихотворенія С. Я. Надсона, изданіе 6-ое, стр. 249.

своими щедрыми приношеніями міра тысячниковъ. Потапъ Максимычъ въдь между ними только какой-то выродокъ, причастный, правда, въ теоріи ихъ патріархальному самодурству, но на дълъ постоянно его смягчающій своимъ широкимъ сердцемъ-сердцемъ, носящимъ на себъ отпечатокъ бытового своего воспитанья не въ купеческой. а въ крестьянской средъ. Фленушка, если внимательно приглядъться, не только, какъ на повърку выходить, родная дочь, -- но и весь ея внутренній строй -- прямое порожденіе матери Маневы. А что же такое сама мать Манева? Вотъ, во-первыхъ, ея отдаленное прошлое. «Высокая, стройная, изъ себя красивая дъвушка цвътетъ молодостью. Много молодцевъ на ея красоту зарится, но гордая, спъсивая, ласково взглянуть ни на кого не хочетъ Матренушка» (I, 226). Напрасно подруженьки ей говорять: «оть любви, что отъ смерти, не отчураешься»... До той поры она подругамъ не върила, пока не спозналась съ Якимомъ Прохоровичемъ. Ну что же? повъривъ подругамъ, соединила бы съ нимъ судьбу-и зажили бы они въ томъ постоянномъ союзъ, который возможенъ только въ человъческомъ міръ, и который становится святым уже въ силу одного постоянства. Но вотъ тутъ-то и оказалось препятствіе въ непреклонной родительской волъ-владыкъ. «Не по себъ Якимъ дерево клонитъ, - отвъчалъ сватамъ Максимъ Чапуринъ (отецъ Потапа Максимыча и будущей матери Маневы), — Богъ дастъ сыщемъ зятя почище его (I, 223). Вотъ и вышло съ Матренунікой тоже, что впослъдствіи вышло съ ея племянницей Настей, не сразу повърившей, чтобы доброе сердце ея отца легко совладало съ привитою и къ нему самодурческою доктриной. Чтоже? провинилась Матрена; - на то есть скиты, у него же, Максима Чапурина, игуменьей кстати въ одномъ изъ нихъ двоюродная сестра, мать Платонида. Вотъ и отдаетъ туда дочь старикъ-на покаяніе да на прикрытіе слъдствій ея гръха. Страшно мучиться пришлось Матренушкъ, мучиться не только нравственно, но и физически-дорого досталось ей то существо, которое получило потомъ имя Фленушки.

А мать Платонида со всёмъ своимъ отшельническимъ безсердечіемъ только язвить ее, говоря: «что, тяжело?... на томъ свътъ не то еще будетъ. Напуганная раскрывавшеюся передъ нею въ такую минуту, когда жизнь висъла на волоскъ, картиною адскихъ мукъ, несчастная невольно проговорилась: «матушка, если Господь помилуетъ меня-я готова, отрекусь отъ міра» (228). Но Богъ спасъ, она осталась въ живыхъ, между тъмъ и слышать не захотълъ старикъ, чтобы дочь его стала монахиней. «Лучше за Якимку замужъ иди» — заговорилъ онъ. Чего же, казалось бы, лучше? «Зардълась Матрена, радостью блеснули глаза». Но уже было поздно. «Вспомнился обътъ, данный въ страшную минуту. вспомнились мученія ада»-ть мученія, которыя должны въдь удесятериться отъ нарушеннаго объта. Пересиленная религіей страха. Матрена приносить ей въ жертву свою любовь, т.-е. въ жертву приносить и любимаго человъка, губя не одно его счастье, но какъ на повърку выходитъ, и его душу. «Съ того дня за Волгой не стало ни слуху, ни духу про Якима Стуколова» (234). Только много, много лътъ спустя, уже строгой, величавой игуменьей, нежданно встръчается не Матрена уже теперь, а Манева у брата Максима Потапыча съ загалочнымъ странникомъ, въ которомъ вдругъ узнаетъ своего Якима. Но если она могла признать въ немъ его прежній физическій обликъ, то вскоръ ей приходится совсъмъ уже не узнать въ немъ его прежняго образа нравственнаго. Онъ не только въдь безъ въсти пропадалъ на разныхъ далекихъ путяхъ, но онъ на нихъ сбился съ пути, пропалъ нравственно. Изъ него мало-по-малу выработался лицемъръ, прикрывающій своимъ святошествомъ даже прямое мошенничество. Вотъ какимъ снова предсталъ передъ нею отецъ ея Фленушки; но Манева, повидимому, вовсе не додумывается до того, что дъло теперь не въ прежнемъ ея гръхъ, ради котораго она и постриглась, а въ томъ, что своею върностью вынужленному объту она загубила Якима нравственно и въ извъстномъ смыслъ уподобилась Ироду, также не захотъв**шему** нарушить своего необдуманнаго слова и ставшему вследствие того убійцею.

Но неужели же Стуколову не было никакой возможности устоять, лишившись личнаго счастья? О, мы вполнъ въримъ, что устоять тутъ можно, но мы знаемъ, что для этого нужно найти благодатный исходъ въ широкой общественной дъятельности, при которой вполнъ осуществимъ даже завътъ Зосимы: «въ міръ будь и въ міръ живи какъ инокъ», но легко ли найти подобный исходъ посреди небрезгающихъ никакими средствами тысячниковъ и изувърныхъ, а равно и корыстолюбивыхъ при своемъ изувърствъ, скитницъ?!

Манева, правда, выдержала послъ своей неожиданной встръчи тяжелую бользнь, -- но, очнувшись посль нея, она очнулась тою же строгою, кртпкою блюстительницею обрядовой буквы, какъ догмата, тою же ревностною монастырскою скопидомкою, - а не замътно въ ней и малъйшихъ признаковъ Христіанской жалости къ людямъ, сознанія Христіанской за нихъ отвътственности. «Кръпости прежней не стало, -- жалуется Манева, -- по Боз' в ревности нътъ». Оттого-то, по мненію ея, и хулять техъ, которые заживо себя сожигають на глазахъ у пересиливающаго Никоніанства. «Не читаль развъ, -- спрашиваеть она, -- что огненное страданіе угашаеть силу огня геенскаго?» (III, 14). Но вотъ ей приносятъ вкладъ на поминъ у нея чьейто души. «Тихо, не торопясь, пересчитала деньги игуменья, каждую бумажку посмотрела на светь, и, уверившись, что деньги настоящія, неподдёльныя, сунула ихъ въ карманъ и сказала: «завтра же каноны начнемъ» (III, 83).

Никого, рѣшительно никого не въ силахъ она пожалѣть настоящею Христіанскою жалостью, полюбить настоящею Христіанскою любовью. Даже свою Фленушку, которой она, повидимому, повинуясь чувству любви, открываетъ горькую для себя тайну ея происхожденія, даже и эту не только душевную, но и, какъ выходитъ на дѣлѣ, кровную дочь, любитъ она не самоотверженною, т.-е.

единою истинною, а какою-то религіозно себялюбивою любовью. Намъ думается прежде всего, что, при настоящей силъ душевной любви, не было даже и особенной надобности раскрывать передъ Фленушкой тайну ея происхожденія. Неужели же усыновленные по сердечному изволенію должны непременно думать, что все-таки ихъ любять менье, чымь родныхь дытей? Какь бы то ни было, дыйствительно любя свою дочь, Манева бы неизбъжно цънила ея нравственную свободу; она бы не стала желать, почти требовать, чтобы дочь непремённо пошла по ея стопамъ. «Для тебя же прошу, для твоей пользы, -увъряеть она Фленушку: -- исполнишь мое желанье (т.-е. пострижешься), до въку проживешь въ довольствъ и почетъ; не послушаешь, горька будетъ участь твоя». При этомъ, конечно, Манева очень хорошо понимаеть, что Фленушка, ей же самой подобно, можетъ и не устоять; но на это въ скитахъ есть, такъ сказать, свой особый фортель. «Не снесешь-говоритъ Манева... Что-жь изъ того? Тайно содъянное, тайно и судится; паденіе очищается слезами и покаяніемъ. Гласнаго соблазну только бы не было... Всъ мы люди, всъ человъки... одинъ Богъ безъ гръха» (IV, 233). Мы вполнъ готовы повърить, что Манева искренно разсчитываетъ подобнымъ взглядомъ спасти свою дочь отъ какихъ-либо мученій совъсти. Не даромъ же водворилось у насъ въ скитахъ ученіе: «Одинъ только грѣхъ не прощенъ у Создателя, -аще кто отступить отъ святыя и непорочныя въры отець нашихъ и отвергнеть древлее благочестіе» (IV, 82). Да и Фленушка въ самомъ дълъ усвоиваетъ себъ скитское преудобное ученье, когда говорить: «паденіе не гръхг, хоть матушку Таифу спроси. Сколько я книгъ ни читала, сколько отъ матерей ни слыхала - паденіе, а не гръхъ. И святые падали, да угодили же Богу. Безъ того никакому человъку не прожить» (II, 133). Но Манева все же въдь понимаеть, что падать и подниматься, гръшить и каяться, это однако такая жизнь, которой можеть быть предпочтена другая: «выйдешь замужъ по закону, говорить она дочери, то хоть я тебя и не увижу, но любовь моя навсегда пребудеть съ тобой». Ей однако же вовсе не хочется, чтобы дочь ея вышла замужъ, хотя она и увъряеть ее: «воли съ тебя не снимаю... Изъ любви къ тебъ, какой и понять ты не можешь, -буду, пожалуй, и на разлуку согласна... Иди... Но тогда уже намъ съ тобой въ здъшнемъ міръ не видъться» *). Манева слишкомъ хорошо знаеть, какое вліяніе эти последнія слова должны будуть имъть на Фленушку. Но въдь если всякій гръхъ, кромъ отпаденія отъ въры, можеть быть прощень, то могла же бы допустить Манева и этоть, по скитскимъ преданіямъ, гръхъ свиданія съ дъвушкой, вышедшей замужъ изъ скита. И она бы, конечно, допустила съ своей стороны этотъ гръхъ, если бы Фленушка, несмотря ни на что, вышла замужъ. Но ей надобно напугать свою дочь невозможностью свиданія съ матерью, чтобы только не допустить ее до замужства. Не такова настоящая любовь. Чтобы не липать милое намъ существо того, что должно составить его законное счастье на всю его остальную жизнь, мы должны позабыть себя — дожить свою жизнь хотя бы и безъ возможности свиданія съ нимъ, съ этимъ милымъ существомъ, дожить при одномъ сознаніи, что оно зато будеть счастливо. Манева же ведеть дело такъ, чтобы Фленушка принесла ей себя въ жертву.

Такъ ли оно однако? Сама Фленушка вполнъ увърена въ томъ и, заранъе ръшившись на то, запирается подчасъ на крюкъ и, кинувшись ничкомъ въ постель, горько рыдаетъ (IV, 294). Но только ли ради Манееы отказывается она отъ замужства? Въ самомъ ли дълъ она такъ любитъ свою мать, да и возможна ли вообще самоотверженная любовь при всей этой воспитательной обстановкъ скита? Когда, въ утъшенье себъ, Фленушка устраиваетъ чужую свадьбу, — свадьбу «уходомъ» изъ скита при содъйствіи того человъка, который на все для нея готовъ и отъ котораго отказаться она ръшилась, — то не обманываетъ ли она очень хитрымъ образомъ мать Манееу? Конечно,

^{*)} На Горахъ, II, 61-62.

для виду, сама же она, передъ сборами Маневы въ Шарпань, спрашиваетъ ее: «ладно ль будетъ, матушка, Василій Борисычъ безъ васъ одинъ съ нами останется... чего
не наплетутъ» (286). Но въдь она же увърена, что Манева этимъ предостереженіемъ не смутится, что Манева
какъ на каменную стъну полагается на Василья Борисыча,
сама же она знаетъ его вдоль и поперекъ въ иномъ совершенно смыслъ и его-то и разочла, совершенно върно,
заставить увезти изъ скита, во время отсутствія Маневы,
племянницу ея Прасковью Потаповну. Но въдь если бы
она въ самомъ дълъ любила мать, то она бы скоръе согласилась на въчную съ нею разлуку, чъмъ бы ръшилась
коть разъ ее обмануть.

«Повхала въ Шарпань Манева, -- разсказываетъ намъ однако же авторъ, -Фленушка такъ расплакалась -ровно не на три дня, а на тотъ свътъ провожала игуменью» (284). Да, расплакалась, и туть же, именно туть и обманула ее, да такъ ловко, что собственнаго ея въ томъ участья и следа туть не было! Дело въ томъ, что все въ этомъ, повидимому, чисто духовномъ міръ скитовъ, — на самомъ дёлё только какая-то фикція, какой-то подлогъ и подмънъ настоящей духовной жизни. Тутъ и Бога-то любять помимо мальйшей любви къ его дътямъ, нашимъ братьямъ людямъ, любятъ ради личной у него наживы или хоть ради спасенья отъ чертей; и къ матери-то тутъ привязываются какой-то влюбленной любовью, требующей постояннаго пребыванія съ глаза на глазъ, -- не понимая, что обмануть ту же самую, страстно любимую, мать, значитъ духовно съ ней разлучиться.

Но вѣдь жертва для той же матери все-таки тутъ приносится? «Живешь тутъ, живешь, жалуется на тягость своей жертвы Фленушка,—киснешь, что опара въ квашнѣ... Удали мѣста нѣтъ! Разгуляться не надъ чѣмъ! Самой счастья ввѣкъ не достанется, на чужое хочу поглядѣть». (IV, 106—107) Вдумайтесь однако внимательнѣе—не боится ли она того, что называетъ счастьемъ, и не потому ли, быть можетъ, устраиваетъ его только другимъ? «Захотѣлъ

бы кто взять меня, говорить дочь Маневы-иди, голубчикъ, подъ мой салтыкъ, свою волю подъ лавку брось, пляши дурень подъ мою дудочку. Власти надъ собой не потерплю, сама власти хочу. Такая ужь я на свъть уродилась... Такъ ужь лучше мет въ лъвкахъ свой въкъ въковать, лучше въ кельъ до гроба прожить, чъмъ чужую жизнь забдать и самой на мученье илти»... (IV. 221 -237) Изъ кельи въдь въ самомъ дълъ-по крайней мъръ для нея - навърное предстоить переходъ въ игуменьи, -- это ли не власть, настоящая власть? И воть она ограничивается тъмъ, что заставляетъ своего Петра Степаныча плясать по своей дудкъ-въ качествъ въчнаго жениха-послушника. «Передъ тъмъ какъ меня изъ обители красть, говорить она ему, надо тебъ поучиться... я бы поглядъла, сколь въ тебъ удали есть... И если возьметь удальствомъ, повънчаешь ихъ (Прасковью Потаповну съ Васильемъ Борисычемъ), бери меня тогда, хоть на другой же день бери (IV, 119-120)». Но говорится это только для того, чтобы также его провести, какъ проводитъ она мать Манееу.

Фленушка, конечно, спѣшитъ окрутить вторую дочь Потапа Максимыча, что-бы не вышло у нея съ Московскимъ посломъ, какъ у бѣдной Насти съ Алексѣемъ Лохматымъ. Василій Борисычъ оказывается податливѣе Алексѣя — свадьба навѣки связываетъ его съ Прасковьей, но увѣнчивается такимъ «счастьемъ», какого никогда бы не пожелала себѣ самой Фленушка. Зато Настя не дожила до своего «счастья», умерла, потому что заранѣе его разгадала. Но Фленушка такъ же мало печалится объ умершей, какъ, вѣроятно, мало бы печалилась о живой, если бы ей удалось окрутить ее съ Алексѣемъ. А если бы ей пришлось поглядѣть и на это «чужое счастье», она-бы, пожалуй, только тѣшилась тѣмъ, что сама отъ него отказалась, т.-е. была умнѣе.

Но въдь Петръ Степанычъ не чета ни Алексъю Лохматому, ни Василью Борисычу. Кръпко любя свою Фленушку и оставаясь одною ея потъхою, не рискуеть ли онъ пропасть съ горя—если и не такъ, какъ пропалъ Якимъ Стуколовъ, то все же быть обреченнымъ на пропащую жизнь? Впрочемъ Фленушка въ этомъ случат оказалась менте эгоисткою, чты ея мать: она позаботилась о Петрт Степанычт, сама намекая о немъ Дунт Смолокуровой: «Ты водой не замути, говорить она ей. Тому ли, другому ли будешь ты женой богоданною, сама будешь счастлива и мужъ твой счастливъ будетъ» (IV, 223—224).

Но дальнъйшія отношенія Петра Степаныча къ Дунъ, какъ и окончательная развязка отношеній его къ Фленушкъ, обозначаются уже «на Горахъ». Тамъ же и окончательная развязка отношеній Алексъя къ Марьъ Гавриловнъ, отношеній, развившихся какъ-то помимо Фленушки, но такихъ по своему существу, что она бы, конечно, не отказалась, если бы не прозъвала, содъйствовать и тутъ «чужому счастью», хотя и хорошо, разумъется, знала, что за птица этотъ красавецъ Лохматый.

Вся тайна его обаятельнаго вліянія на скитскую вдовушку—въ ея прежней испорченной жизни, да въ роковомъ его сходствъ съ тъмъ милымъ ея Евграфомъ, котораго подмънилъ въ качествъ ея суженаго его самодуръ отецъ. «Подчаль такого жениха, говорилъ ей про Евграфа ен родитель, узнавъ, какъ Маслянниковы богаты. Я тебъ, кажись, въ ноги поклонюсь, даромъ, что отецъ, а ты—мое рожденье. Чужихъ денегъ не бирывалъ, а отъ тебя, моего рожденья, всегда могу взять» (II, 81). Понятно, что когда позарился на ея красоту, устраняя своего сына, самъ старикъ Маслянниковъ, отецъ невъсты охотно пошелъ и на это, хотя новый женихъ и предлагалъ ему: «а то, пожалуй, отдавай свою дочь за Евграшку... только знай, что ему отъ меня мъднаго гроша не будетъ» (II, 92—94).

Что затёмъ сталось съ безъ вёсти пропавшимъ Евграфомъ, объ этомъ мы такъ и не узнаемъ не только «въ Лёсахъ», но и «на Горахъ». Но что сталось съ Марьей Гавриловной, это можно предвидёть еще въ первой поэмё и это становится окончательно яснымъ во второй. «Бываетъ, говоритъ авторъ, что женщина на переходё

отъ зрълаго возраста къ старости полюбитъ молодого. Тогла закипаетъ въ ней страсть безумная, нёть на свёть ничего мучительнъй, ничего неистовтй страсти той». (III, 278-279). Къ тому же въдь тутъ всегда неизбъжно присоединится и ревность. Такъ оно оказывается и въ настоящемъ случать, «Когда Алексти выходиль отъ Марън Гавриловны, въ съняхъ столкнулся съ Таней. Та отступила и раскраснёлась какъ маковъ цвёть. И Алексей на минуту остановился, жадно взглянулъ на пышущее красотой лицо дъвушки и, опустя голову, пошелъ со двора... «Экая девчонка-то, подумаль онъ... А Марья Гавриловна говоритъ: «состаръюсь, а ты еще въ поръ будешь».-А въдь оно и такъ! Пароходъ 50,000, домъ 40,000 (т.-е. все это онъ уже успълъ перевести на себя)-значить у насъ теперь собственнаго капиталу 90,000.... Важно!» (III, 302).

Но мы отчасти познакомились уже и съ тъмъ, что было даліе, касаясь отношеній Алексъя къ Потапу Максимычу. Остальное раскроется передъ нами уже «на Горахъ», какъ окончательно тамъ раскроется и основная сущность объихъ, неразрывно между собою связанныхъ, поэмъ Мельникова.

Ш.

"На Горахъ".

Вторая Мельниковская поэма переносить насъ на другой — правый берегъ Волги, но въ ней, вмъстъ съ нъкоторыми, совершенно новыми лицами, выступаютъ передъ нами многіе изъ старыхъ нашихъ знакомыхъ. Подчасъ насъ досадуетъ, что о новыхъ лицахъ разсказывается иногда слишкомъ много, съ какою-то, будто бы, старческою болтливостью, тогда какъ нъкоторыя изъ этихъ лицъ, напримъръ, молодые купчики, Веденъевъ и Меркуловъ, какъ и ихъ невъсты, Лиза и Наташа Доронины, не осо-

бенно даже интересны, какъ не интересны вообще и всѣ эти торговыя сдѣлки и взаимное подсиживанье купцовъ на Нижегородской ярмаркѣ. Мы невольно радуемся, возвращаясь ото всего этого къ старымъ своимъ знакомымъ, но опять досадуемъ, когда исторія Потапа Максимыча и Алексѣя къ концу поэмы оказывается какъ-то скомканною, недодѣланною. Но это объясняется тѣмъ, что авторъ не самъ писалъ, а диктовалъ эти послѣднія главы, находясь уже, можно сказать, на смертномъ одрѣ.

«Они въдь не нашего поля ягода. Стараго лъса кочерги, характеризуетъ Веденъевъ прінтелю своему Меркулову тъхъ ярмарочныхъ дъльцовъ, которые не получили, подобно имъ обоимъ, образованія въ высшемъ Коммерческомъ училищъ. По ихнему старому завъту на торгу ни отца съ матерью нъть, ни брата съ сестрой - родной сынъ подвернется, -и того объегорь! Намъ съ тобой ихъ не передълать». Но пріятель его того мнънія, что все перемънится, когда «пойдеть правильная торговля». Меркуловь не такой оптимисть: «изъ книжекъ ты знаешь ее, говорить онь, а мы своими глазами ее видали... Не мало покатался я за границей, всю Европу исколесилъ вдоль и поперекъ... И знаю ее, правильную торговлю». По его мнънію, это все одно. «И тамъ тъ же Смолокуровы да Орошины, только почище, да поглаже. И тамъ весь торгъ на обманъ стоитъ; гдъ деньги замъщаны, тамъ правды не жди»... «Знаеть, когда пойдеть честная, правильная торговля? поясняеть онъ. «Когда изъ десяти Господнихъ заповъдей пять только останется... когда люди до того доростутъ, что не будетъ ни кражи, ни прелюбодъйства, ни убійства, ни обидъ, ни лжи, ни клеветы, ни зависти... Однимъ словомъ, когда настанетъ Христово царство» (II, 17). Но когда же оно на землъ настанеть? Тогда что ли, когда ветхій деньми «міръ городовъ» сменится, по чаянью Л. Н. Толстого, и смънится на всегда и вездъ, «міромъ селъ и деревень»?

Самымъ выдающимся представителемъ городскаго торговаго міра является «на Горахъ» Марко Данилычъ Смолокуровъ, давно уже позабывшій о своемъ сельскомъ происхожденіи (тогда какъ на Чапуринъ, мы это видъли сохраняется отпечатокъ села). «Мраченъ, грозенъ, властенъ, вотъ какимъ рисуется Смолокуровъ—скупъ, суровъ, недоступенъ для всъхъ подначальныхъ» (I, 22).

Правда «Смолокуровъ платилъ хорошо, гораздо больше другихъ старыхъ рыбниковъ, разсчеты давалъ върные. безобидные и опричь того раза по три въ году награды и подарки жаловалъ, глядя по усердію». Но въдь за этимъ слёдуеть оговорка: «Мелкихъ людей-ловцовъ, бурлаковъ и другихъ временныхъ, каждый разъ обсчитать норовилъ жоть на малость, но съ приказчиками и съ годовыми рабочими дъла велъ на чистоту» (І, 317). Значитъ, былъ справедливъ лишь насколько это непосредственно входило въ его разсчеты, въ другихъ же случаяхъ способенъ былъ даже прямо не сдержать слова. «Кто по мъстамъ пойдетъ, увёряль онь возмутившихся противь него рабочихь, для тъхъ сію минуту за деньгами поъду. Первые, кто пойдуть, тъмъ до моего возврата Василій Өаддьевь деньги выдасть». А самъ, между тъмъ, «пользуясь сумятицей, перемахнуль за борть, спустился по канату въ косную и, немного отплывъ, крикнулъ на баржу: «Оаддъевъ, денегъ никому не давать!.. Сейчасъ же я привезу водянаго» (I, 111). Смолокуровъ-прямая противоположность Чапурину, про котораго всѣ говорятъ: «на правдѣ стоитъ, сроду никого не обидёль, а добра дёлаеть много» (III, 301).

Въ одномъ только отношеніи, какъ мы уже знаемъ, уцѣлѣлъ въ Смолокуровѣ человѣкъ. Это въ отношеніи къ дочери. Для нея онъ даже не хочеть опять жениться, въ этомъ отличалсь отъ множества очень недурныхъ людей и даже не совсѣмъ дурныхъ отцовъ. «Невѣсты на хаю, говорить онъ, а думаю такъ: нашелъ бы я въ ней жену добрую да разумную, да не сыскалъ бы родной матери Дунюшкѣ. До гробовой доски не возьму я дочкѣ мачихи». Благое, смягчающее вліяніе имѣла на него Дунюшка. «Съ утра до ночи черною хмарою тучей ходилъ, но какъ только взглянетъ на него веселыми синенькими глазками Дуня—

и онъ сейчасъ просіяетъ, а тутъ и проси у него, что хочешь» (I, 22—23). Выходитъ, что и его сердце, среди порочныхъ упоеній наживою, хранило, по выраженію поэта,

... одинъ святой залогъ, Одно божественное чувство.

Но, любя Дуню, онъ понималъ ее слишкомъ по своему. «Когда нежданно негаданно доходитъ до него въсть о томъ, что братъ его Мокей Данилычъ живъ, но въ плъну и ждетъ выкупа, встрепенулось было сердце радостью... мелькнула въ памяти и тъсная дружба, и беззавътная любовь къ нему во дни юности (когда, значитъ, и вообще говорило въ немъ чувство), но тотчасъ же налетъла хмарая, мрачная дума. «Половину достатковъ придется отдать! Дунюшку обездолить» (II, 360—361). А Дунюшка если бы знала, то конечно отказалась бы ото всего, только бы выкупить плънника — будь этотъ плънникъ даже и не родной дядя. Онъ же, вмъсто того, чтобы спъшить съ этимъ дъломъ, все откладываетъ, да откладываетъ, а потомъ торгуется на счетъ выкупа.

Съ другой стороны, чтобы только угодить Дунъ, онъ готовъ и на долгую съ нею разлуку, становясь въ этомъ смыслъ какъ бы живою уликою матери Манееъ съ ея эгоистическою любовью къ Фленушкъ. А отсутствіе Дуни для него прямо гибельно. Безъ нея онъ весь попадаетъ подъ власть своей гнѣвной страсти. «И рветъ, и мечетъ, на кого ни взглянеть, - всякъ виновать... Развоевался на работниковъ, будто они виноваты, что печи дымятъ... Но теперь не весна, работники окрысились... «Разсчеть давай, ни одного часа не хотимъ работать у облая». На пристань изъ работной избы пошель, а тамъ лесники, развалясь на плотахъ, спять себъ, пригрътые солнышкомъ... Кричить въ источный голось, задыхается, на каждомъ шагу спотыкается. Но добъжавъ до вънца горъ, грохнулся о земь Марко Данилычъ... Безгласенъ, ротъ на сторону, а самъ глухо хрипитъ... Не владъетъ рука» (III, 250-253). Свалился могучъ богатырь отъ безудержнаго своего гнъва,

а доконали его старые гръхи, какъ бы воплотившиеся передъ нимъ всъ раземъ въ ужасающемъ образъ Корнъя Евстигнъева.

«Я, ваше степенство, теперича за другимъ разсчетомъ къ тебъ пришелъ», говоритъ Корнъй... «Лучие меня самого знаешь дела мои. Дела, за какія въ Сибирь на каторгу ссылаютъ... Кто велълъ мнъ Орошинскаго приказчика избыть? Письмо-то вашей милости у меня цело... Утопиль я Волчанина, сдаль въ акуратъ, а особаго награжденья не получилъ. Забылъ видно? А какъ на Низу поддъльные документы мы съ тобой сбывали, -и это видно забыль?.. А какъ до смерти угоръло у тебя двое молодцовъ, чтобы только разстаться тебъ съ ними, и чтобы они дълъ твоихъ на судъ не показали? Печи-то въдь я по твоему приказу топилъ. Пропадать, такъ пропадать, зато ужь и ты, ежель выздоровъешь, пропадешь... Поняль дъло? Двъсти тысячъ подавай!» (IV, 39). Смолокуровъ этимъ убитъ. Многозначительно причитаетъ Потапъ Максимычъ надъ бездыханнымъ тъломъ: «Эхъ, Данилычъ, Марко Данилычъ! Много ты на свътъ жилъ, а, надо правду говорить, жить не гораздо умъль. Въ какомъ положении семью оставиль? Положиль капиталовь достаточно, да развѣ въ однъхъ деньгахъ счастье? Изжилъ ты, пріятель, свой въкъ въ этомъ городъ, а друзей не нажилъ ни одного» (46). «И еще бы ему нажить друзей, коли въкъ онъ держался правила: «купецъ, что стрелецъ; оплошнаго ждетъ.Сватъ сватомъ, братъ братомъ, а денежки не родня» (I, 183).

Принимается Потапъ Максимычъ за дѣла Смолокурова, хотя онъ ему ни братъ, ни сватъ; принимается просто по Христіанскому чувству, не вѣдан даже, что и въ судьбѣ Дуни Смолокуровой играетъ не маловажную роль все то же бѣдовое чадушко его сестры Манееы, Фленушка, зазагубившая безъ оглядки его голубку Настю.

Въдь Фленупка-то, частію жертвуя собой для Маневы, частію просто боясь замужества, и указала на Дуню Смолокурову своему Петру Степановичу. Указала-то она ему хорошо. Дуня въ самомъ дълъ не ей чета. «Кого по мысли

найду, върно опредъляетъ себя Дуня, за того и пойду и буду любить его до въку, до последняго вздоха - одна сыра земля остудить любовь мою. Гдв мужь да жена въ любви, да въ совътъ, по добру да по-правдъ живутъ, въ той семь в самъ Господь живетъ. Онъ и научить меня такъ поступать» *). Но. указавъ Самоквасову на Дуню, Фленушка въдь не сразу выпустила его изъ своихъ рукъ. «Матушка больнымъ больнешенька, говоритъ прівзжая монахиня про Маневу, а Фленушка и къ винцу возымъла пристрастіе. Свертить она, скрутить сердечнаго Петра Степаныча, безпремънно споитъ сердечнаго». А Дунюшка на бъду сидитъ и слушаетъ. «Зелень у Дуни въ глазахъ заходила, когда услышала она Таисеины ръчи... Не то, чтобы слово молвить, -- бровью не повела, пальчикомъ не двинула... Одна осталась, и тутъ не заплакала.... Стала ровно каменная» (П, 142). А между тъмъ-тутъ въдь и оказалось, почему и куда такъ внезапно скрымся Петръ Степавычъ. Дошелъ до него отъ другой монахини слухъ, что Манева уговариваетъ Фленушку постричься, а та и согласилась, и нъть, и къ синему кувшину прибъгать стала. Полетълъ къ ней на выручку Петръ Степанычъ, Меня-то жалъть некому, опричь развъ матушки, причитаетъ передъ нимъ Фленушка. Что я, что сорная трава въ огородъ, все едино. Полютъ ее, Петинька, понимаешь ли? полютъ! Съ корнечъ вонъ». Точно будто бы онъ-то и виновать, онъ, котораго она все водить да водить, заставляя его, такъ сказать, ревновать себя къ матери Манеев. — «Про меня-то видно забыла», съ нъжнымъ укоромъ замъчаетъ ей Самоквасовъ. - «Незнаешь ты, какъ надо любить, заигрываетъ она. Тебъ бы все мимоходомъ, только бы побаловать» (т.-е. это ужь прямо съ больной головы на здоровую). «Жиденекъ ты сердцемъ, Петинька, - отражаетъ она его напоминанья о томъ, что не онъ ли давно уже былъ готовъ обвънчаться съ ней. Любви такой дъвки, какъ я, тебъ не снести... По себъ поищи, потише да посмирнъе... Что съ Дуней-то

^{*) &}quot;Въ Лъсахъ", IV, 225.

Смолокуровой ладится ли, что ли, у тебя?» кокетливо ревнуетъ она его къ дъвушкъ, на которую сама же ему и указала, ревнуетъ съ тъмъ, чтобы завладъть имъ-не на всегда, но на этотъ разъ. «Чего жальть себя? кому блюсти? млъетъ она въ страстной истомъ. Охъ, эта страсть... Зачёмъ мнё девство мое? Къ чему оно? Бери его, мой желанный, бери...» А онъ въритъ ей, онъ увъренъ, что такъ оно уже навсегда, онъ послушно убажаетъ затъмъ всего на три дня, чтобы, вернувшись, увезти ее съ собою въ Казань и тамъ обвънчаться. Но, вернувшись, онъ попадаеть въ скитъ какъ разъ въ минуту ея постриженья. Онъ все-таки проникаетъ къ ней, но напрасно отчаяннымъ голосомъ по прежнему называетъ ее по имени: «Фленушка!». «Какъ ствна выпрямилась станомъ мать Филагрія. Сдвинулись соболиныя брови, искрометнымъ огнемъ сверкнули гивныя очи. Какъ есть Манева. Медленно протянула она впередъ руку и твердо, властно сказала: «отыди отъ мене, сатано!». Она обманула его, хотя и любила его по своему, подобно тому, какъ, по своему же любя, обманывала и свою мать.

Онъ для нея теперь — сатана, она должна только отъ него спасаться. А что же будетъ съ нимъ, съ этимъ искусителемъ, который на самомъ дѣлѣ былъ только искушеннымъ, —до этого ей уже дѣла нѣтъ. Какъ теперь появится онъ на глаза къ Дунѣ Смолокуровой? Но вѣдь онъ—человѣкъ торговый; можно отправиться въ Нижній. «А на ярмаркѣ гусли гудятъ, у Макарья наигрываютъ, развеселое тамъ житье, ни тоски нѣту, ни горюшка, и не знаютъ тамъ кручинушки»... «Туда, въ этотъ омутъ и ринулся съ отчаянья Петръ Степанычъ» (П, 124).

А что же Дуня? Она, между тёмъ, незамётнымъ образомъ втягивается въ другого рода омутъ. Какъ разъ въ то время, когда доходитъ до нея роковая вёсть про Петра Степаныча, завязывается у нея знакомство съ дамою въ черномъ, поднявшею на руки очутившуюся на мостовой меньшую дёвочку Дуниной подруги. «По душё пришлась скорбной Дунъ Марья Ивановна. Голосъ тихій и кроткій, ръчь задушевная, нъжная, добрая улыбка, скромные величавые пріемы и проницательные ясные взоры чуднымъ блескомъ сіявшихъ голубыхъ очей невольно безсознательно влекли къ ней разбитое сердце потерявшей земныя радости дъвушки» (П, 143). Дуня и прежде любила читать, а Марья Ивановна указала ей много новыхъ книгъ все съ такими особенными заглавіями, --книгъ, которыя и попадаются ей среди купленнаго отцомъ хлама. «Сначала эти книги покажутся вамъ непонятными, даже скучными, предупреждаеть ее Марья Ивановна, но вы этимъ не смущайтесь, не бросайте ихъ, а читайте, перечитывайте, вдумывайтесь въ каждое слово и понемногу вамъ станетъ все понятно и ясно»... Какъ нельзя болъе кстати въ ея положеніи Марья Ивановна ей говорить: «никогда не помышляйте о земной, страстной любви къ какому бы то ни было мужчинъ... Чтобы ея никогда даже въ воображеніи вашемъ не было... Эта страсть одно лишь горе, одно несчастіе приносить людямь... Счастья никогда въ той любви не бываеть». Все это такъ неожиданно, но, опять таки повторяемъ, такъ кстати. «Молча, въ какомъ-то полузабытьи, сидёла Дуня... Новыя мысли, новыя чувства! Властно овладели и умомъ и разбитымъ сердцемъ ея восторженныя, таинственныя слова Марыи Ивановны Алимовой» (П, 149 — 153). Все новые оттънки сказываются постепенно въ дальнъйшихъ ея внушеніяхъ, -- оттънки загадочные, страшные, чтобы не сказать болье; но этимъ только усиливается обаяніе той таинственности, которою все болъе и болъе увлекается Дуня.

«Надо претерпѣть всѣ бѣды, напѣваеть ей Марья Ивановна, всѣ напасти и скорби, надо все земное отвергнуть: и честь, и славу, и богатство, и самолюбіе, и обидчивость, самый стыдъ отвергнуть и всякое къ себѣ пристрастіе» (П, 155). Было одно существо, которое съ перваго же знакомства съ Алимовой не взлюбило ее. Это была добрая, незлобивая воспитательница Дуни, Дарья Сергѣевна... Не зависть, не досада сказывались въ ней, а какое-то темное, непонятное провидѣнье чего-то недобраго (П, 343),—прови́-

дънье, вытекавшее изъ ея чисто материнской привязанности къ Дунъ.

«Ежели кто проникнетъ въ сокровенную тайну, продолжала, между тъмъ, свои все болъе и болъе загадочныя внушенья Алимова, ежели кто всю ее познаетъ и будетъ къ ней «приведенъ», тотъ вступаетъ въ супружество съ тъмъ пророкомъ, который его привелъ, или съ тъмъ человъкомъ Божіимъ, на котораго ему укажетъ пророкъ.... Между людьми, познавшими «тайну», есть и мужчины, и женщины... Такіе мужчины приводятъ въ тайну женщинъ, женщины мужчинъ... Это и есть духовное супружество»... Тутъ однакоже Дуня окончательно озадачена и въ недоумъніи спрашиваетъ: «стало быть у духовнаго супруга бываетъ по нъскольку женъ»?

«Чтожь изъ того?» отвъчаетъ Марья Ивановна. «Въдь это не плотскіе мужъ съ женою»... (383).

Но вотъ Алимова приглашаетъ Дуню къ себъ, и она просится къ ней у отца, уступая приманкъ возможной тамъ встръчи съ какимъ-то «пророкомъ».

Смолокуровъ не въ силахъ ни въ чемъ отказать своей Дунъ и не обращаетъ вниманія на Дарью Сергьевну. Дуня уже тамъ, у Алимовой и родственника ея, генерала Луповицкаго-она въ деревнъ у богатыхъ и знатныхъ баръ. и это только тъшитъ старика Смолокурова, какъ ни тяжело ему было разстаться со своею Дуней. На нее же, съ ея любящею душою, и то уже должно было обаятельно дъйствовать, что «народъ въ имъніи Луповицкихъ былъ хотя не богать, но достаточень. Вст были богомольны, каждый праздникъ въ церкви яблоку было негдъ упасть... Луповицкіе считали кръпостныхъ своихъ за равныхъ себъ по человъчеству» (III, 34). Не всегда оно было такъ, но что было, то прошло, да и Дуня, конечно, не знала этого. «Во время оно у генерала Луповицкаго, до перемъны его, бывало туть безпросыпное пьянство, и туда по бурмистрову приказу десятками приводили разряженныхъ дъвокъ и молодицъ». Теперь на томъ же самомъ мъстъ, повидимому, не то, а «сокровенная Сіонская горница». Тутъ

бывають радёнья «Божьихъ людей», въ которыя быть посвященною предстоить и Дунь. Да, ей предстоить быть посвященною въ то, что на дълъ не чуждо своего рода оргіи. Ее вводять въ новую обстановку съ большою осторожностью, поручивъ ее особенному попеченію такой же молодой дъвушки, какъ она сама-племянницъ Луповицкихъ, Варенькъ. Отъ нея-то заранъе и узнаетъ Дуня о многомъ такомъ, къ чему тутъ ловкимъ образомъ примъняется текстъ: «Безумное Божіе премудръе человъческой мудрости» (III, 26). Дуня сперва озадачена представившимся ей обрядовымъ цълованьемъ съ мужчинами, но Варенька успокаиваетъ ее тъмъ, что су Божьихъ людей, какъ у ангеловъ, нътъ ни мужчинъ, ни женщинъ» (III, 26, 31). Дуня съ изумленіемъ замъчаетъ, что во время радъній «со всъхъ льетъ ручьемъ потъ, на всъхъ взмокли радельныя рубахи, а Божьи люди все радеють, лишь изръдка отирая лицо полотенцемъ». «Это духовная баня, поясняеть ей уже сама Марья Ивановна, это — истинное крещенье водою и духомъ» (III, 124). «Не того ждала Дуня отъ Божьихъ людей. Не такіе обряды, не такое моленіе духомъ она представляла себъ. Иного страстно желала, къ иному стремилась душа ея» (Ш, 135). И все-таки она идеть безь оглядки далье-вь надеждь, что наконець-то, подъ этими странными формами, раскроется передъ ней затаенная въ нихъ глубина - настоящее вознагражденье за все, что она потеряла. И вотъ-Дуня уже готова съ какимъ-то особеннымъ сладострастіемъ произнести ужасный обътъ. «Должна ты отречься отъ міра, внушаютъ ей, и ото всего, что въ немъ есть. Должна забыть отца и мать, братьевъ и сестеръ, весь родъ свой и племя. Должна отречься отъ своей воли, не должна имъть никакихъ желаній, должна все исполнять, что бы тебъ ни повельли, хотя бы и подумалось тебъ, что это зазорно или неправелно» (III, 158). Это, конечно, стоило ттхъ обътовъ, которые принесла въ своемъ скиту Фленушка, чтобы стать затъмъ матерью Филагріей. Но не даромъ «доходили слухи до Луповицъ, что тамъ гдъ-то у подножія Арарата явился царь-

пророкъ и первосвященникъ, что онъ торжественно короновался и, облачась въ порфиру, надъвъ корону съ другими отличіями царскаго сана, подражая Давиду съ гуслями въ рукахъ, радълъ среди многочисленной толпы» (III, 169). Дуня увлекалась этими слухами и съ нетерпъньемъ ждала посланника съ Арарата. Но, съ другой стороны, доходили до нея совстить уже безобразныя сказанія «про Саваова богатаго богатину и про Ивана Тимоөеевича, Христа его». Сказанія эти доходили до нея случайно, помимо Луповицкихъ. «Стало быть, не вся ихъ тайна открыта мнъ, грустно соображала она. Всего не хотъли сказать» (336-37). Напрасно Варенька успокаивала ее, что «все это вздоръ, пустяки», но что «для людей малаго въдънья они необходимы». «Тяжелъ былъ Дунъ этотъ разговоръ. Все видно у нихъ на обманъ стоитъ... Если меня не обманывають, то этихъ простыхъ людей обманываютъ... Для чего открывать однимъ больше, другимъ меньше?» (346). Но не въ такое еще недоумъніе приведена была Дуня, когда они подошли къ отвореннымъ окнамъ Хлыстовской богадёльни, «Скача и бёгая въ припрыжку, Хлысты съ ожесточеньемъ и дикой злобой немилосердно били самихъ себя... Струится кровь по плечамъ, кровенять на себъ бълын радъльныя рубахи. Иные головой о ствну колотятся, либо о печь, другіе горячей лучиной палять себъ тъло, иные до крови грызуть себъ руки и ноги, вырывають бороды и волосы. Умерщвленіе плоти! Вдругь затворились окна, вдругъ потухли огни. До поздняго утра мужчины и женщины оставались вмъстъ» (III, 357-363). Но въдь и туть опять — только люди «малаго въдънья», доводящіе до грубаго буквальнаго пониманія то, что имъетъ совершенно иное значение для проникшихъ въ самую тайну. Дуня, конечно, не въ состояніи даже вполнъ понять, до чего туть доходить «буквальное пониманіе». Но ей все-таки противно, тошно, и только ожиданіе таинственнаго посла съ его тайною «духовнаго супружества» еще поддерживаеть ее и удерживаеть отъ бъгства. «Когда прівдеть Егорушка, совъщаются между темь Луповицкіе,

мы съ нимъ потолкуемъ на счетъ этой Дуни... Тогда она наша, и мильоны (т.-е. Смолокуровскіе мильоны) наши». Бъдная Дуня! Не чуется ей, до чего доходить этотъ самый таинственный гость съ Арарата, говоря Луповицкому: «мы, люди Божіе, водимые духомъ, мы-Новый Израиль, а у Израиля было двъ жены, родные между собою сестры, и кромъ того двъ рабыни, и ото всъхъ четырехъ произошли равно благословенныя племена Израильскія... Недалеко то время, когда этотъ законъ будетъ общимъ» (III, 423). Ей предстоить идти къ этому человъку, который готова ей открыть такъ давно уже занимающую ее тайну «духовнаго супружества», но открыть не иначе, какъ наединъ. «Не всякому открою, говоритъ онъ, а на соборъ не скажу ни слова. Тамъ въдь бывають и люди малаго въдънія, для нихъ это было бы соблазномъ, навело бы на гръховныя мысли» (III, 433). И воть она входить къ нему, но, прежде, чъмъ удостоиться его бесъды, должна «исполнить святой обрядъ, установленный въ кораблъ людей Божіихъ». Обрядъ этотъ, впрочемъ, ужь для нея не новость. «Вся покраснъла Дуня, но любопытство было такъ сильно, что она ръшилась дать Денисову холодное лобзанье, какое дала бы каждому изъ сидъвшихъ въ Сіонской горницъ. Она протянула лицо, а онъ, цълуя ее серафимскимъ лобзаньемъ, вдругъ сжалъ ее въ объятіяхъ».

Тутъ только раскрылось передъ Дуней вполнъ грубое, вполнъ буквальное пониманіе заманчивой «тайны» этимъ «пророкомъ», пониманіе, въ силу котораго то, что завелось вмъсто прежнихъ отвратительныхъ оргій кръпостной поры, является, при всей своей мистической оболочкъ, лишь новою мерзостью запустънья на мъстъ, величаемомъ святою «Сіонскою горницею».

Только быстрый прыжокъ въ заранѣе замѣченное Дунею потайное окно съ изображеніемъ св. Амвросія спасаетъ ее, находящую за тѣмъ убѣжище у отца Прохора. Приходится не брезгать его защитой, хотя онъ и Никоніанецъ. Горькій опыть открываетъ Дунѣ глаза. «Не я была нужна имъ, сознаетъ она теперь, а тятенькинъ капи-

талъ. «Мы дескать ее опозоримъ, ей не за кого будеть замужъ идти, поневолъ у насъ останется и рано ли, поздно ли, достатки ея будутъ у насъ въ рукахъ» (IV, 35).

Но вотъ Дуня снова въ своей прежней средъ, въ своемъ домъ, гдъ ожидаетъ ее нежданное сиротство. На счастье ея, тотъ, о комъ она въ сущности не забывала, чьи черты ей напомниль при первомъ на него взглядь и ужасный Араратскій гость, онъ, ея Петръ Степановичь, не погибъ въ Нижегородскомъ развеселомъ омутъ, какъ не погибла и она у своихъ «Божьихъ людей». Онъ опять возлъ нея. онъ только и молитъ, чтобы она никогда не напоминала ему о последней его поездке въ скитъ. «Было у насъ съ ней, говорить онъ про бывшую Фленушку, одно баловство... по-правдѣ говорю, по совѣсти» (IV, 126). Съ перваго взгляда, конечно, онъ какъ будто бы только вывертывается, успокаивая ее. Но въдь и въ самомъ дълъ вся эта его исторія съ Фленушкой одно «баловство», по крайней мъръ со стороны Фленушки, раздълывающейся такимъ «баловствомъ» за принесенную ею Манеоъ, а также и своимъ опасеньямъ замужства-жертву.

Въ Дунъ, послъ смерти ея отца, Потапъ Максимычъ находитъ себъ новую названную дочку. Это вознагражденье ему не столько за нежданно быструю смерть и второй дочери, вышедшей за Василья Борисыча, сколько за его милую, незабвенную Настю.

Такъ внезапно умирающая отъ простуды Прасковья Потаповна никогда не была особенно любима отцомъ, какъ не можетъ пользоваться, конечно, и особою симпатіею читателей. Вся она такъ въдь и обрисовывается въ слъдующей неприглядной картинкъ: «очнулась Прасковья Потаповна, зъвнула во всю сласть, и въ просонкахъ тупымъ взглядомъ обвела всъхъ, бывшихъ въ комнатъ». Между тъмъ, ея единственное дитя, Захарушка, чуть было не скатился при этомъ съ ея колънъ. «Ахъ, ты, дурафья безумная, вскрикнулъ на нее Потапъ Максимычъ. Даже рожденья своего не жалъетъ... Эхъ, Настя, Настя! была бы

жива ты, прибавилъ онъ надорваннымъ отъ горя голосомъ. Все съ собой унесла, бълан моя ласточка» (IV, 172).

Прасковья Потаповна, можно сказать, проспала всю жизнь. Какъ то сонно, безъ увлеченія, отдалась она Василью Борисычу, сонно дала ему себя увезти и наконецъ сонно-взяла да и простудилась до смерти, развязавъ этимъ мужу руки. Въ числъ всякихъ жертвъ егозливой Фленушки (къ которымъ, конечно, относится и она сама) не послъднее мъсто, пожалуй, занимаеть и Василій Борисычь. Конечно, она могла бы ему сказать: «самъ на себя пеняй, посоль Московскій, въ грамоть поученный человъкъ», дающій себя сманить, подобно Алеш' Поповичу, на глупое поприще подлипалы, за которое приходится наконецъ поплатиться вольной птицъ всею своею волею. Далъ въдь себя знать Василью Борисычу очутившійся вдругт его тестемъ Потапъ Максимычъ, возлюбившій и его, какъ сперва Алексъя, съ тъмъ, чтобы также скоро въ немъ разочароваться. «Тесть изъ зятя только веревокъ не вилъ, былъ у него Василій Борисычь во всей власти и на всей его волъ... Уйти изъ тестева дома, все равно, что руки на себя наложить»... Еще бы! примуть его развъ тамъ, откуда послали его по скитамъ. А «давно ли старообрядство почитало его за великаго человъка... и вдругъ сталъ посмъщищемъ» (Ш. 284). Вольно же было, постоянно приговаривая: «искушеніе!», постоянно и подпадать каждому встръчному искушенію. «Изъ прежнихъ пріятелей никто къ дому его близко не подпуститъ... Давно клянеть себя Василій Борисычь за сладкую ночку въ лъсочкъ Улангерскомъ. Можно бы, конечно, сказать и потъшающемуся теперь надъ нимъ Чапурину: вольно жь тебъ было, старикъ, разъ уже такъ обманувшись въ Алексъъ, снова себъ создать какой-то кумирь изъ этого Василья Борисыча. Не его же вина, что онъ только пустая кукла, а ты его прочилъ въ боги. «На повърку вышло, сознается старикъ, что мой Василій Борисычъ никуда не годенъ - только и знаетъ, что съ девками петь, да по лесочкамъ межъ кусточковъ съ ними валандаться» (П, 276-77). Очутившись

привязаннымъ на всегда къ своей сонно безмолвной женъ, онъ пытается снова пуститься въ свою прежнюю жизнь, не смущаясь Прасковыной ревностью, но все-таки побаиваясь тестя. «Живеть онъ у тебя безо всякаго дела, думаетъ надоумить Чапурина Никифоръ Захарычъ; извъстно, что каждый человъкъ безъ дъла во всякое время можетъ съ ума спятить. По себъ сужу... Поъдешь куда, возьми, чтобъ онъ во всемъ изъ твоихъ рукъ смотрълъ» (IV, 184-185). Не даромъ въдь и Фленушкины продълки объясняетъ мать Иранда темъ, что «скука, тоска, дела никакого нътъ» (П, 56). Слушается Потапъ Максимычъ Никифора-береть за собою въ видъ опыта Василья Борисыча, но, когда онъ, вернувшись, застаетъ нежданно жену на смертномъ одръ, старикъ, схоронивъ, находитъ все-таки самымъ лучшимъ разстаться съ зятемъ. Овъ при этомъ не довъряетъ ему и Захарушку, оставляя его на хорошихъ женскихъ рукахъ. «Разойдемся-ко мирно по доброму, по хорошему, говорить онъ бывшему своему любимцу. О сынъ своемъ заботы не имъй, теперь онъ на рукахъ у Дарьи Сергъевны... Всъ мои добытки по поламъ съ Груней (названною дочерью) ему отдамъ... Дарю тебъ пару лошадей, да санки, — поъзжай, куда знаешь. А это возьми». И подаль ему увъсистый бумажникъ» (IV, 200). Также въдь щедро когда-то распрощался онъ съ Алексъемъ Лохматымъ.

А этотъ герой наживы и безстыднаго нахальства все далъе и далъе подвигается по своему побъдоносному пути. Не позабылъ даже и о томъ домикъ, въ которомъ проживала Марья Гавриловна въ скиту у Маневы: надо его или на свозъ продать, или чтобы мать игуменья деньги за него уплатила. А самъ между тъмъ, какъ разсказываетъ о немъ Чапурину С. А. Колышкивъ, «по 1-ой гильдіи торгуетъ, того и жди, что въ городскіе головы попадетъ... У Марьи Гавриловны за душой мъдной полушки не осталось... Въ горничныя попала къ мужниной полюбовницъ... Много у него ихъ... А набольшая одна... Въ приданство Марья Гавриловна принесла... молоденькая дъвчонка — Татьяной

Михайловной звать» (Ш, 269). Но существують про Алексъя еще и такіе слухи. «Сворованными у жены сотнями тысячь работаеть, а отцу съ матерью поъсть нечего. Не разъ Христомъ Богомъ старикъ Трифонъ просилъ сына о помощи. Отвъта даже не выслалъ. А семья въ разоръ разорилась, дъвка загуляла, сколько разъ ворота дегтемъ у нихъ мазали... Саввушка... меньшой сынъ—добрый паренекъ, смышленный—мертвую запилъ, а теперь, слышь, въ солдаты нанимается» (Ш, 272).

Но не даромъ, при видъ Чапурина, не разъ раздавалось въ ушахъ Алексъ́я: «отъ сего человъка погибель твоя». Пробилъ наконецъ Алексъ́ю часъ. Онъ пробилъ для него послъ́ того, какъ Алексъ́й, соскучившись, покинулъ и Таню, а та бросилась къ ногамъ Марьи Гавриловны, прося у нея прощенія; добрая же Марья Гавриловна и въ самомъ дълъ простила взрощенную ею дъвушку и стала съ тъхъ поръ по прежнему съ нею неразлучна.

Какое-то дъдо заставило Адексъя плыть на Низъ. Вышло такъ, что на томъ же пароходъ ъхали и Потацъ Максимычь съ Никифоромъ Захарычемъ... Алексъй не зналъ. что они помъстились въ каютъ какъ разъ рядомъ съ нимъ (IV, 226 — 227). «Что за господинъ такой? спросилъ у Алексъя одинъ изъ его Самарскихъ знакомыхъ. И вотъ Алексъй принялся разсказывать о томъ, какъ, находясь еще въ бъдности, поступилъ въ работники къ Потапу Максимычу и какъ его тогда возлюбилъ Чапуринъ. Признаемся, что этотъ разсказъ, находящійся въ самомъ концъ и написанный авторомъ уже во время бользни, представляется намъ мало естественнымъ. Такой человъкъ, какъ Алексъй, едва ли такъ откровенно сталъ бы вспоминать о поръ своей бъдности, а тъмъ менъе объ оказанныхъ ему когда-то благоденіяхъ. Между темь, Алексей говорить про Потапа Максимыча: «такъ разсчиталъ меня послъ похоронъ дочери, что проживи я у него два года и больше того, такъ по уговору и получать бы не пришлось... На этомъ я ему навсегда останусь благодаренъ». Этимъ, конечно, возбуждается со стороны его собесъдниковъ вопросъ:

«чего жь это онъ вдругъ послъ дочернихъ похоронъ спровадилъ васъ отъ себя изъ дома?» Вотъ тутъ Алексей и начинаетъ говорить полобающимъ ему захвастливымъ языкомъ: «Дочка была у него стариая, Настей звали. Ужь сколько времени прошло, какъ она въ могилъ лежитъ, а все-таки и до сихъ поръ вспомнить о ней пріятно... И гостила тогла у Чапурина послушница Комаровской обители, Фленушка... Она въ первый разъ и свела насъ... Тъмъ временемъ пріъзжали къ Чапурину гости изъ Самары, Снъжковы... и было у нихъ намърение Настю сватать; только она, зная за собой тайный гръхъ, не захотъла того... Во всемъ открылась матери... А какая была покойница, теперь и сказать нельзя... страстная, горячо увлекалась всёмъ, сама такая тихая, ровная и передо мной, бывало, никогда противнаго слова не молвить. Все съ покорствомъ, все съ подчинениемъ моей волъ»... (IV, 228 - 231).

Не снилось ему, кто тутъ сидитъ въ сосъдней каютъ и невольно подслушиваетъ.

«Однако жь, душно что-то здъсь, сказалъ Алексъй. Пойти бы на палубу, освъжиться немного»... Выходить, а Чапуринъ за нимъ въ догонку: «а кто объщалъ про это дъло никому не поминать?»

Ни шагу не отступалъ отъ него Потапъ Максимычъ «Подходили они къ пароходному трапу. Потапъ Максимычъ поднялъ увъсистый кулакъ, а изъ головы Алексъя не выходили слова: «отъ сего человъка погибель твон»... Пятится Алексъй отъ Чапурина, пятится. И дошелъ такимъ образомъ до самаго трапа... А на станціи позабыли укръпить трапъ, черезъ который дъвки да молодки дровъ натаскали. Дошли до этого трапа Алексъй задомъ, Потапъ Максимычъ напирая на него... Оперся Алексъй о трапъ, Потапъ Максимычъ былъ возлъ него. Трапъ растворился и оба упали въ воду... Не зная, кто упалъ, Никифоръ Захарычъ бросился въ Волгу... Первымъ увидълъ онъ Алексъя, тотъ даже схватилъ его, но Никифоръ Захарычъ оттолкнулся отъ него, увидъвъ невдалекъ Потапа Максимыча, подплылъ

къ нему, схвативъ его... и опять поплылъ къ кормъ парохода... Никифоръ Захарычъ упорно отказался отъ просыбы спасти другого утопленика»... (IV 232—33).

Такимъ образомъ окончательно отомстилъ Алексъю за Настю не Потапъ Максимычъ, а возрожденный ея предсмертнымъ благословеніемъ Никифоръ Захарычъ. На это, конечно, она ему не давала благословенія. Конецъ Алексъю пришелъ почти одновременно съ давно поджидавшимся концомъ скитовъ. Не мало оказывалось въ нихъ. какъ видно изъ разсказовъ Мельникова, признаковъ внутренней несостоятельности. Потапъ Максимычъ лучше всёхъ сознаваль это, хотя и поддерживаль скитскую «дурь» своими вкладами. «Каждый изъ вора кроёнъ, изъ плута шитъ», говорить старикъ Чапуринъ про свой же духовный чинъ. «Коли плуты, такъ не дураки», замъчаетъ ему Колышкинъ. «Этого не скажи, стоитъ за свое Потапъ Максимычь. Не мало есть ва свъть людей, что плутовства и обманства въ нихъ цёлыя горы, а ума и съ наперстокъ нътъ» (Ш, 288-289). Съ его точки зрѣнія это бы можно было сказать, напримъръ, про Смолокурова. Самъ Чапуринъ, конечно, совстиъ ужь не плутъ, а очень между тъмъ уменъ. «Хотя я и не богословъ, разсуждаетъ онъ съ Колышкинымъ, и во святомъ писаніи большой силы не имъю, однако же такъ думаю, что въра Христова и у насъ, и у вась одна». — А какъ по твоему, спрашиваетъ Колышкинъ, обрядъ-отъ гдъ правильнъе? — «Обрядъ-отъ, отвъчаетъ Чапуринъ. Да въдь обрядъ не въра». Онъ, значить, смотрить совсёмь не такь, какь Алексей, озадачившій, какъ мы видёли, Англичанина такимъ полнёйшимъ смъщеньемъ обряда съ върой. «Что человъку одёжа, сравниваетъ Чапуринъ, то въръ обрядъ... Кто къ какому обряду измальства обыкъ, того и держись» (Ш. 290 -291). Извъстно, что широкій взглядъ на свободу обряда именно и быль взглядомъ древней церкви. Если бы такою широтою взгляда обладало такъ называемое старообрядцами «Никоніанство», то и не было бы гоненій за старообрядство, тъхъ гоненій, которыя главнымъ образомъ и

породили расколь съ его фанатическою ненавистью къ «Никоніанамъ». Исключеніемъ стали Потапы Максимычи, чужлые такой ненависти. Мать Манева доводить ее до того, что попрекаетъ Петра Степаныча деньгами, пожертвованными имъ на «нечестіе»; -- а деньги-то пожертвованы имъ на дътскій «Никоніанскій» пріютъ. «Сиротки въдь они, матушка, оправдывается онъ, пить-йсть тоже хотятъ, однимъ подаяньемъ только и живутъ»... «То прежде всего помни, продолжаетъ свое Манева, что отъ нихъ благодать отнята... Развъ ты ихняго стада? Свою крышу, другъ мой, чини, а сквозь чужую тебя не промочить» (Π , 80 — 81. Фанатизмомъ, хотя и не такого эгоистическаго покроя, одержима даже кроткая Дуня Смолокурова, не желающая принять благословение отъ того православнаго священника, который ее спась изъ омута. Фанатизмъ этотъ питается другимъ фанатизмомъ-все еще продолжающимися преслъдованіями раскола, отъ которыхъ его богатые представители только до поры до времени откупаются. Но Манева жалуется на нихъ, что подчасъ они своимъ измъняють: «въ евангельскія времена, говорить она, Іуда за сребренники Христа продаль; Петербургскіе благодітели наши радехоньки въ карты его проиграть, только бы потъшиться съ министрами, да съ игемонами, сиръчь съ съ проконсулами да съ кајафами» (П, 76). Казалось бы, съ одной стороны не бояться раскола уже ради начавшагося въ немъ внутренняго разложенія; съ другой стороны возложить надежду на такихъ умныхъ и честныхъ его представителей, какт Потапъ Максимычъ, было бы гораздо умнъе, чъмъ по прежнему прибъгать противъ него къ полицейскимъ мърамъ...

Это, повидимому, не относится къ такимъ сектамъ, какъ Хлысты съ ихъ уже извъстными намъ радъніями. Но въдь и тутъ, если пораздумать, такіе пріемы, какъ испытанные было надъ Дунею ради ея капиталовъ, не вызваны ли тою потребностью владъть капиталами, которая вызывается необходимостью прибъгать къ подкупамъ? Разумъется, коль скоро уже завелись такіе пріемы,

ихъ терпъть нельзя и противъ нихъ приходится употребить силу.

Все дъло, однако же, въ томъ, отчего вообще зависить и чъмъ поддерживается выходъ изъ церкви, иногда даже какое-то повальное изъ нея бъгство съ такими его послъдствіями, какъ скитанье по разнымъ върамъ? Нашъ авторъ кидаетъ на это свътъ, выводя передъ нами характерный типъ Герасима Чубалова, исторія котораго является «на Горахъ» однимъ изъ любопытнъйшихъ зпизодовъ.

«Подростокъ, материнъ баловникъ, — начинаетъ эту исторію Мельниковъ. Къ полевой работѣ не прилагалъ старанья, люди пашню пахать, а онъ руками махать». Но въ немъ, между тѣмъ, что-то такое копилось и искало себѣ исхода. А тутъ какъ разъ «въ край Сосновки... жилъ старый книжникъ; Нефедычемъ звали его... Смолоду крестьянскимъ дѣломъ онъ брезговалъ, все бы ему на молитвѣ стоять, да надъ книжками сидѣть»... Понятно, что, провѣдавъ, наконецъ, про него, неизбѣжно направилъ къ нему стопы Гараня, отчасти напоминающій намъ (началомъ своей исторіи) Гришу въ извѣстномъ разсказѣ Мельникова.

«Только и отрады было у малаго, что къ Нефедычу за книгами бъгать, а учитель въ книгахъ ему никогда не отказывалъ!... Пустынное житье полюбилось юному грамотею, и подъ шумъ вътвистыхъ густозеленыхъ дубовъ, читая сказанія о Сирійскихъ и Өиваидскихъ отшельникахъ, онъ ревноваль ихъ житію и положилъ въ своемъ сердцъ завътъ провести свои дни до скончанія живота въ подвигахъ, плоть изнуряющихъ, духъ же возвышающихъ... На 15 году Герасимъ совсъмъ скрылся... Распалялся онъ необходимымъ стремленьемъ искать на землъ «малое стадо» Христово и, въ немъ пребывая, достигнуть въчнаго спасенія. Для того и оставиль онъ отца своего и матерь свою... Въ странство Герасимъ пошелъ»... (II, 160—167).

Авторъ обобщаетъ такое явленіе, обращая наше вниманіе на то, что во всѣ времена, во всѣхъ странахъ много

бывало на Руси такихъ искателей правой вѣры. Въ стремленіи къ вѣчному блаженству жадно, но тщетно ищутъ они разрѣшенія вопросовъ, возникающихъ въ пытливыхъ умахъ ихъ, и мятущихъ смущенную душу... Не кому научить, некому указать на путь правый. И пойдетъ пытливый умъ блуждать изъ стороны въ сторону а всетаки не найдетъ того, чего ищетъ, всетаки не услышитъ ни отъ кого раствореннаго любовью живого разумнаго слова. Отсюда наши расколы, отсюда и равнодушіе къ вѣрѣ высшихъ слоевъ Русскаго народа... Кто виноватъ?.. Діаволъ, конечно... А кромѣ его?..» Но вѣдь это: «кто виноватъ?» вполнѣ соотвѣтствуетъ по своей глубинѣ такому же вопросу въ «Мертвомъ домѣ» Достоевскаго.

«Странствовалъ Герасимъ по разнымъ странамъ ни мало, ни много, пятнадцать годовъ съ половиной. Въ десяти върахъ перебывалъ, и въ каждой въръ бывалъ не рядовымъ человъкомъ... За учительныя бесъды еще тогда звали его Златоустомъ, когда у него еще усъ едва пробивался. ...Самъ себя окрестилъ въ дождевой водъ, собранной въ купель, устроенную имъ самимъ изъ молодыхъ древесныхъ побъговъ и обмазанную глиной, вынутой изъ земли на трехъ саженяхъ глубины, да не осквернится та купель дыханіемъ вездъ присущаго антихриста... Перешелъ въ секту Петрова крещенія... Слезами крестилъ себя Герасимъ, въ умиленіи стоя передъ Спасовымъ образомъ. То былъ послъдній его переходъ изъ въры въ въру...» Но что же оказалось въ итогъ?

«Все изъ книгъ узналъ, и все во очію видълъ Герасимъ... а правой спасительной въры все-таки не нашелъ... «Нътъ видно больше истинной въры, все видно растлъно прелестью врага Божія...» И въ душевномъ отчаяніи, въ злобъ и ненависти, покинулъ онъ странство... И къ людямъ, и къ себъ самому та злоба была... Жилъ доселю однимъ умомъ, сердие у него молчало... Онъ искалъ истины ради удовлетворенія пытливости ума, но любви и добра, исходящихъ отъ сердца, не искалъ, даже и никогда и не думалъ о нихъ». Добиваясь удовлетворенія своей пытли-

вости, онъ не переставалъ въ то же время стремиться и къ земнымъ благамъ.

«Не пъшеходомъ съ котомкой за плечами онъ домой воротился—три подводы съ добромъ въ Сосновку привелъ. ... Что Герасимъ былъ опоясанъ чересомъ и что на гайтанъ вмъстъ съ тъльникомъ висълъ у него на шеъ туго набитый бумажникъ, того никто не видълъ» (II, 167—170).

Наживаясь, онъ не имѣлъ въ виду кому-нибудь тѣмъ помочь,—но вдругъ, неожиданно, по возвращеньи его домой, такая помощь оказалась нужною. Въ родной деревнѣ находитъ онъ раззорившуюся братнину семью.

«Взглянувъ на польнатих» и видимо солодных» детей. Герасимъ Силычъ ощутилъ въ себъ новое, до тъхъ поръ незнакомое еще ему, чувство... Чорствое сердце суроваго отреченника отъ людей и отъ міра дрогнуло при вид' нищеты и болъзненно заныло жалостью. Въ напыщенной духовною гордыней душт промелькнуло: «не напрасно ли я 15 годовъ провель въ странство? Не лучте ли бы провести эти годы на пользу ближнихъ, не бъгая міра, не проклиная суеть его?..» Туть впервые поняль онъ, что значать слова любимаго ученика Христова: «Богъ любы есть». — «Вотъ она гдъ, истина-то, подумалъ Герасимъ, воть она гдъ, правая-то въра, а въ странствъ да въ отреченьи отъ людей и отъ міра наврядъ ли есть спасенье. ...Вадоръ одинъ, ложь. А кто отецъ лжи? Діяволъ. Онъ это все выдумаль ради обольщенья людей... А они сдуруто върять ему, врагу Божью!» (II, 178-179). «Вонъ тогда въ Сызрани соборная бесъда у насъ была... Долгое шло разсужденье, въ какомъ разумъ надо понимать словеса Христовы: «милости хощу, а не жертвы!» Никто тъхъ словесъ не могъ смысломъ обнять... Насказалъ я собесъдникамъ и невъсть чего: и про жертву-то вътхозаконную говорилъ, и про милости то царя небеснаго къ върнымъ праведнымъ, а самъ ровнехонько не понималъ ничего... А теперь, только что поглядёль я на этихъ мальцевъ да поболълъ о нихъ душою, ровно меня осіяль свътъ Господень и дадеся мнѣ отъ Всевышняго сила разумѣнія... Милости, милости хощешь ты, Господи, а не черной рясы...» (II, 191—192). И зажилъ онъ съ той поры совершенно новою жизнью.

Иванушку (старшаго племянника) взяль въ дёти, обучиль его грамотъ, сталь и къ старымъ книгамъ его пріохочивать. Хотълось Герасиму, чтобъ изъ племянника вышель толковый, знающій старинщикъ, и быль бы онъ ему въ торговлъ за правую руку... «Не нарадовался Герасимъ на братанича, любилъ его пуще чъмъ отець съ матеръю; не могъ налюбоваться на своего выучка» (П. 216). И оставилъ онъ разъ на всегда свое прежнее поприще. «Звали его на праздное послъ смерти Нефедыча мъсто наставника... «Нъсть правыхъ путей на земли, самъ Ты, Спасе, спаси мя, ими же въси путями». Укръпясь въ такихъ мысляхъ, Герасимъ сталъ тайнымъ «нътовцемъ» *), и считалъ дъломъ постыднымъ, противнымъ и Богу, и совъсти, дълаться слъпымъ пастыремъ стада слъпыхъ» (218).

А въдь, казалось бы, та любовь, на которую вдругъ навели его обстоятельства жизни, давно уже была дана въ томъ ученіи церкви, которое, не будь оно всячески заслоняемо, сдѣлало бы совершенно для него излишнимъ скитальчество по върамъ и избавило бы его отъ перехода въ нътовщину—этотъ, такъ сказать, нигилизмъ религіозный. Но не видать подъ внѣшнимъ заслономъ живого духа любви,—все заполонила одна кидающаяся въ глаза, яко бы служащая личному спасенію каждаго, обрядовая буква. Совсѣмъ обособилась она и стала своего рода кумиромъ въ расколъ, — и несокрушимымъ останется онъ, пока не скажется снова въ церкви живое въяніе духа.....

Нашъ авторъ раскрылъ передъ нами, въ цѣломъ рядѣ явленій общественныхъ, роковыя послѣдствія его подавленія... Наше чувство отдыхаетъ лишь на немногихъ

^{*) &}quot;Нетовщина" отвергаеть и таинства, и освящение, и общую молитву... По ея убъжденію, теперь нёть ничего. Примъч. Мельникова.

образахъ, въ которыхъ не замеръ еще духъ жизни, истинный духъ любви и правды, потому что образы эти возникли на бытовой почвъ общины, этого единственнаго убъжища для дъятельной въры, единственной охраны ея у насъ отъ окончательнаго заполоненія безсердечною буквою.

Какъ художникъ, нашъ авторъ далъ намъ такимъ образомъ почувствовать то, что далеко не ясно ему самому, какъ мыслителю. По крайней мъръ, тъ слова осужденія, съ какими относится онъ къ одному изъ видовъ общины —поземельной общинъ—свидътельствуютъ о такомъ разладъ между двумя стихіями его духа. А. Н Островскій.



A. H. OCTPOBCKIЙ *).

Послъ цълаго ряда представителей нравоописательной повъсти и романа, появившихся у насъ вслъдъ за Гоголемъ, обращаемся къ тому изъ нашихъ писателей, кто является прямымъ преемникомъ Гоголевской славы на поприщъ драматическомъ. Кромъ небольшихъ очерковъ изъ «Замоскворъцкой жизни», относящихся къ самой ранней поръ его дъятельности, А. Н. Островскій, какъ извъстно, является плодовитымъ авторомъ исключительно драматическихъ произведеній всякаго рода-отъ большихъ комедій и отдёльныхъ нравоописательныхъ сценъ до историческихъ драмъ и трагедій. Тѣ и другія, не сходя съ нашей сцены, при разныхъ степеняхъ относительнаго достоинства, привлекають и, конечно, долго еще, а многія и всегда, будуть привлекать къ себъ вниманіе публики. Нъкоторыя изъ комедій Островскаго навсегда останутся въ исторіи Русской литературы наряду съ знаменитыми комедіями Фонъ-Визина, Гриботдева и Гоголя, а его историческія драмы, при всёхъ своихъ именно драматическихъ недостаткахъ, все же будутъ занимать первое мъсто послъ Пушкинскаго «Бориса Годунова».

^{*)} Воспроизведено на основаній лекцій, читанныхъ въ С.-Петербургскомъ университеть въ первой половинь 1887 г.

Если на встръчу Пушкину и Гоголю судьба послала такого критика, какъ Вълинскій, то первыя драматическія произведенія Островскаго вызвали у насъ блистательныя критическія статьи Добродюбова и Ап. Григорьева. Читавшимъ «Темное царство» — а кто не читалъ этого наиболъе выдержаннаго изъ Добролюбовскихъ этюдовъ? --- хорошо знакома и заключающаяся въ немъ оценка различныхъ и часто столь между собою противоположных ротзывовъ объ Островскомъ предшествовавшихъ Добролюбову критиковъ, къ которымъ принадлежалъ по первымъ своимъ статьямъ и Григорьевъ. Нельзя, мет кажется, не согласиться съ Добролюбовымъ, что, усматривая у Островскаго какое-то «новое слово», Ап. Григорьевъ не довольно точно опредълиль, въ чемъ же именно оно заключается? Нельзя не согласиться и съ Побролюбовскимъ объяснениемъ противоположныхъ отзывовъ нашей критики объ Островскомъ -тъмъ, что одни хотъли во что бы то ни стало видъть въ немъ обличителя, другіе же-восторженнаго защитника положительныхъ сторонъ Русской жизни и становились къ нему придирчивыми по мфрф того, какъ онъ уклонялся отъ требованій, предъявляемыхъ ему съ той или другой стороны. Самъ Добролюбовъ пытался отнестись къ Островскому съ точки зрвнія реальной критики, не требуя отъ автора ничего, но только выясняя и формулируя то, что даеть онь самъ. Вполнъ ли устоялъ Добролюбовъ на этой своей точкъ эрънія, это другой вопросъ. Мы попытаемся. внимательно остановившись на его критикъ, провърить ее на основаніи самыхъ произведеній Островскаго. При этомъ, быть можетъ, выяснится, чего не договориль Ап. Григорьевъ, и чего не разглядёль въ его, нёсколько, можеть быть, туманстатьяхъ Добролюбовъ. Перейдя затъмъ къ произведеніямъ нашего драматурга, появившимся послів смерти обоихъ даровитыхъ критиковъ, мы не будемъ уже обращать особеннаго вниманія на всякіе о нихъ отзывы, подобно тому, какъ не находили мы нужнымъ касаться и всего того, что писано было въ разное время о нашихъ представителяхъ нравоописательной повъсти и романа.

I.

Драматическія сцены первой поры.— "Свои люди — сочтемся".— "Вѣдная невѣста".

Еще при жизни Гоголя появились въ печати первыя сцены нашего автора и первая его большая комедія, сразу его такъ прославившая. Уже въ «Семейной картинъ» (какъ оваглавлены первыя «сцены» Островскаго) мы имъемъ дъло съ средою, которой почти не касался Гоголь и которую по преимуществу себъ отмежеваль Островскій. Это, какъ извъстно, среда купеческая, которую, однако же, какъ еще въ началъ своей дъятельности, такъ и потомъ, не разъ оставляль Островскій, чтобы переходить отъ нея къ той чиновничьей и барской, съ которою, по преимуществу, имълъ дъло Гоголь. «Комедія Островскаго, замътилъ Добролюбовъ, не проникаетъ въ высшіе слои нашего общества, а ограничивается только средними и потому не можеть дать ключа къ объясненію многихъ горькихъ явленій, въ ней изображаемыхъ. Но, тъмъ не менте, она легко можеть наводить на многія аналогическія соображенія, относящіяся и къ тому быту, котораго прямо не касается; это оттого, что типы комедій Островскаго неръдко заключаютъ въ себъ не только исключительно купеческія или чиновничьи, но и общенародныя черты» *).

Такая же точно обобщающая сторона есть, конечно, и въ Гоголевской постановкъ типовъ, какъ на то и указываль прямо самъ Гоголь. Мы думаемъ даже, что обобщеніе какъ Гоголевскихъ типовъ, такъ и типовъ Островскаго можетъ быть распространено и за предълы Русской народности. Многое въ нихъ отзывается изъянами человъческой природы и недугами человъческаго общества вообще. Мы проводили такую точку зрънія, разбирая Достоевскаго; думаемъ, что намъ придется подчасъ на нее становиться и при предстоящемъ разборъ Островскаго.

^{*)} Соч. Добролюбова, Ш, стр. 26.

Подъ названіемъ «Семейной Картины» Островскій уже намътиль намь въ общихъ чертахъ ту картину отсутствія семьи, которая дорисовывается имъ въ цёломъ рядё его дальнъйшихъ произведеній (Это отчасти напоминаетъ намъ Писемскаго). Да, семья туть отсутствуеть, потому что настоящей ея основой можеть служить только начало любви супружеской и взаимной любви между родителями и дътьми; туть же господствуеть одинь страх, не мъщающій прибъгать къ обманыванію того грознаго домовладыки, власть котораго въ его отсутствіе поддерживается его матерью, вышколенною въ свое время плеткою своего «покойника». Добролюбовъ справедливо называетъ руководящее начало такой семейной жизни религею лицемпрства. Жена Пузатова вмъстъ съ его сестрицей умудряются, при посредствъ кухарки, переговариваться съ какими-то молодцами, которые зовуть ихъ въ Останкино и просять захватить съ собою бутылку мадеры. Матрена Савишна такимъ образомъ вознаграждаетъ себя за свой, разумъется, подневольный, на всей на родительской воль, бракъ съ Пузатовымъ, а сестрица сего послъдняго спъшитъ натъшиться, прежде чъмъ будетъ пристроена братцемъ по его единоличному попечительному усмотрънію. Такимъ пристроеніемъ ея, т.-е. выгоднымъ сбываньемъ сестрицы съ рукъ, и заканчивается Пузатовская «Семейная картина». Антипъ Антипычъ только что выбранилъ старика Ширялова, котораго когда-то и самъ обманулъ, за его хватающее черезъ край мошенничество, и тутъ-же, застигнутый его приходомъ въ самый разгаръ брани, сострадательно слушаеть его разсказы о кутежъ его сына Сеньки и просватываеть за него самого свою Марью Антиповну, -- конечно, и не спросясь у нея.

По поводу взаимнаго другь друга обманыванья этихъ двухъ купцовъ, Добролюбовъ мѣтко замѣтилъ, что «обманъ тутъ—явленіе нормальное, необходимое, какъ убійство на войнѣ. Бытъ этого темнаго царства уже такъ сложился, что вѣчная вражда господствуетъ между его обитателями». Чтобы усмотрѣть тутъ возможность широкаго обобщенія,

вспомнимъ у Мельникова слова молодого купца Ведентева относительно такъ называемой «правильной торговли». — «Въдь и тамъ», говорить онъ, гдъ держатся уже издавна ея утонченныхъ способовъ, «весь торгъ на обмант стоитъ», — «тъ же Смолокуровы да Орошины, только почище да поглаже» *). Но не подчищены ли только да не подглажены ли тамъ и другія стороны, свойственныя нашему «Темному царству», начиная съ его патріархальной грозы родительской и приниженности въ немъ женщины?

Но Островскій рисуеть намъ это царство въ нашемъ его натуральномъ, совсъмъ уже не прикрашенномъ видъ. Кисть его становится яркою, наводящею даже ужасъ, въ его большой комедіи, появившейся вслёдь за «Семейной картиной». Мъстами комическое точно также тутъ переходить въ трагическое, какъ когда-то у Фонъ-Визина въ «Недорослъ». Одинъ изъ мало извъстныхъ критиковъ Островскаго замътилъ: «сфера средняя, купеческая, представленная въ комедіи Островскаго, въ наше время стала тъмъ, чъмъ была въ XVIII в. высшая общественная среда, сословіе дворянское, изображенное въ комедіи Фонъ-Визина» **). Только критикъ тутъ имълъ въ виду не «Недоросля», а «Бригадира». «Стремленіе автора комедіи: «Свои люди — сочтемся», продолжаеть онъ, то же самое, что и у Фонъ-Визина, - касается оно только другого сословнаго круга-отвлечь и освободить среднее Русское общество от предразсудков до-Петровской Руси и точно также двумя путями: осмъяніемъ тъхъ, которые, при старыхъ предразсудкахъ, остаются въ отжившихъ мертвыхъ формахъ, и тъхъ, которые переняли дурное иностранное изъ другихъ рукъ, или, лучше, у Русскихъ-Французовъ, и стараются походить на дворянь наружно, съ виду, но не усвоили сущности, внутренняго образовательнаго начала».

^{*)} См. выше стр. 108.

^{**)} Кіевскія "Университетскія Извѣстія" 1868 г., № 7 и 8. Двѣ Лекціи проф. Селина о "Бригадирѣ" Ф. Впзина и комедіи Островскаго "Свои люди – сочтемся".

Не приписывая Островскому этой дидактической цёли, усмотрённой у него Кіевскимъ профессоромъ гораздо позже, и Добролюбовъ въ своемъ разборт комедіи Островскаго возлагалъ всю надежду на усптии образованія, выводя самодурство во встите его видахъ собственно изъ одного невпжества. Но такъ ли это? Не имтеть ли оно болте глубокихъ корней въ извращенныхъ сторонахъ человтческой природы и можетъ ли одно образованіе служить отъ него такимъ всесильнымъ врачевствомъ, какъ это казалось даровитому критику?

Въдь «темное царство» той не купеческой, а барской среды, которую въ свое время выставлялъ Фонъ-Визинъ, стояло такою не сдающеюся твердыней передъ медленными, конечно, но все же несомнънными въ ней успъхами образованія. Что же касается собственно помъщичьяго самодурства, то тутъ всъ такіе успъхи, смъемъ сказать, оставались прямо ни причемъ, а самодурство это пошатнулось и затъмъ повалилось только послъ освобожденья крестьянъ, положившаго, между прочимъ, конецъ и воспитательно-развращающему дъйствію кръпостничества.

Но возвратимся къ тому самодурству, — по преимуществу купеческому, частію же еще и барскому, какое намърисуеть Островскій. У него же въ одномъ изъ болѣе позднихъ произведеній находимъ мы и точное опредѣленіе самодурства. Оно заключается въ отзывѣ квартирной хозяйки учителя Иванова о Титѣ Титычѣ Брусковѣ. «Самодуръ, говоритъ она, это называется, коли вотъ человѣкъ никого не слушаетъ, ты ему хоть колъ на головѣ теши, а онъ все свое. Топнетъ ногой, скажетъ: кто я? Тутъ ужь всѣ домашніе ему въ ноги должны, такъ и лежатъ, а то оѣда». Еще точнѣе, можетъ быть, опредѣляется самодурство въ слѣдующемъ обмѣнѣ словъ между самимъ Титомъ Титычемъ и его благовѣрной супругой.

«Настасья! Смъетъ меня кто обидъть?»

— Никто, батюшка Китъ Китычъ, не смъетъ васъ обидътъ. Вы сами всякаго обидите.

«Я обижу, я и помилую, а то деньгами заплачу. Я за это много денегъ заплатилъ на своемъ въку».

Упит другим меня обижать, лучше я обижу, — такова практическая философія этихъ людей, всячески ими видоизмѣняемая. Такъ для героя комедіи «Свои люди сочтемся», Самсона Силыча Большова, она обращается въ правило: «чъмъ другимъ красть, лучше я украду». «Правило это, говорить Добролюбовь, можеть быть, не имъеть драматическаго интереса, - это ужь какъ тамъ угодно критикамъ; но оно имъетъ чрезвычайно общирное приложение во всъхъ сферахъ нашей жизни... Куда ни обернитесь, вездъ вы встрътите людей, дъйствующихъ по этому правилу: тотъ принимаетъ у себя негодяя, другой обираетъ богатаго простяка, третій сочиняеть донось, четвертый соблазняеть девушку-все на основании того же милаго соображенія: «не я, такъ другой» (Соч. Добролюбова III, 48). Мы только что видъли приложение такой философіи именно въ этомъ послъднемъ смыслъ у Мельникова — въ лицъ Алексъя Лохматаго.

Но иной разъ выходитъ и такъ: сегодня я, завтра друюй, да еще такимъ манеромъ, что жертвою этого другого сдълаюсь именно я — по недосмотру, по недостатку осторожности или потому, что уже черезъ-чуръ зарвусь. Вотъ и придется тогда выводить для себя такую мораль: «не гонись за большимъ. будь доволенъ тъмъ, что есть, а за большимъ погонишься, и послёднее отнимутъ». Дальше подобной морали обыкновенно и не идутъ подобнаго рода люди; дальше ея ръшительно не идетъ Самсонъ Силычъ Большовъ, комедія о которомъ написалась у Островскаго точно будто бы на пословицу: «нашла коса на камень». Еще върнъе къ ней примънить слова изъ «Братьевъ Карамазовыхъ»: «одна гадина събла другую гадину». Міръ Карамазовщины съ ея безудержемъ--напоминаетъ міръ самодурства съ его рукою владыкою. Вся жизнь въ этомъ последнемъ идетъ на то, чтобы, поваливъ самодура, самимъ занять его мъсто, по замъчанію Добролюбова. И вотъ-«Больтовъ угодилъ въ яму, а вмёсто него явился Подхалюзинъ, —и благоденствуетъ на тёхъ же правахъ» (III, 66).

Большову въ одинъ прекрасный день забралась въ голову мысль, что не зачёмъ платить кредиторамъ, или же, по крайней мёрё, не зачёмъ имъ платить полностью. стоитъ только прибъгнуть къ тому, что называется «злостнымъ банкротствомъ». Извъстно, что комедія Островскаго первоначально и была озаглавлена: «банкротъ», а позлибишее свое название получила только ради тогдашняго ценвурнаго опасенія, какъ бы не раздразнить гусей торговаго міра. Мысль о банкротств' является у Большова точно будто бы по какому-то внезапному наитію. «Островскаго, говорить Добролюбовь, упрекали въ томъ, что онъ не довольно полно и ясно выразиль въ своей комедіи, какимъ образомъ, вслъдствіе какихъ особенныхъ вліяній, въ какой последовательности и въ какомъ соответствии съ общими чертами характера Большова явилось въ немъ намъреніе объявить себя банкротомъ.... У Островскаго не только ничего этого не показано, но даже выставлено банкротство Большова просто, какъ прихоть, состоящая въ томъ, что ему не хочется платить денегъ». Добролюбовъ совершенно втрно защищаль нашего писателя въ этомъ отношеніи. И въ самомъ дъль, на то въдь Большовъ и самодуръ, чтобы имъть прихоти всякаго рода, -- прихоти, разсчитанныя на то, что все ему сойдеть съ рукъ. Самодурство и есть въдь не что иное, какъ именно «выраженіе самаго грубаго и отвратительнаго эгоизма при совершенномъ отсутствіи какихъ-нибудь высшихъ нравственныхъ началъ... Следуя внушеніямъ этого эгоизма, и Большовъ задумываеть свое банкротство. И его эгоизмъ еще имъетъ для себя извинение въ этомъ случаъ: онъ не только видить, какъ другіе наживаются банкротствомъ, но и самъ потерпълъ нъкоторое разстройство въ дълахъ именно отъ несостоятельности многихъ должниковъ своихъ». Съ своей точки зрѣнія Большовъ дѣйствительно можетъ находить себъ въ этомъ извиненіе, но мы никакъ не можемъ согласиться съ критикомъ, будто онъ человъкъ не только

«очень обыкновенный», но даже и «добродушный» *). Перебирая комедію вдоль и поперекъ, мы едва ли найдемъ въ немъ хотя бы и малъйшіе признаки настоящаго добродушія. Скоръе бы можно сказать: наивности-въ смыслъ легкомысленнаго увлеченія своею затьею, въ своемь роль ребяческой выры въ свою, такъ сказать, звъзду, -- въры, соединяющейся съ крайнею довърчивостью къ человъку, котораго дълаетъ онъ повъреннымъ и участникомъ своей гадкой затъи. Легкомысліе этого комическаго лица напоминаеть, можно сказать, легкомысліе такого историческаго проходимца, какъ Григорій Отрепьевъ въ трагедін Пушкина. Но легкомысліе — психологически совершенно возможное на самыхъ различныхъ поприщахъ-отнюдь не есть добродушіе. Добролюбовъ очевидно налегалъ на отсутствие въ Большовъ чего либо исключительнаго, крупнаго, сколько нибудь идущаго въ ширь и глубь, - онъ хотълъ выставить заурядность Большова съ его преступленіемъ, какъ вполнъ понятнаго продукта своей среды. Но въдь не всъ же и въ этой средъ непремѣнно доходять до того, до чего доходить Большовъ, въдь въ темномъ царствъ самодуровъ есть даже личности, дъйствительно добродушныя, заражающіяся отъ среды исключительно только теоріею, а на дёл в сводищія ее, можно сказать, на нътъ (Таковъ, напримъръ, Русаковъ въ «Не въ свои сани не садись»). Дъло въ томъ, что во всякой средъ очень многое зависить, вопреки критику, отъ «натуры человъка», върнъе же сказать отъ того, насколько ему удастся не дать въ себъ загасить то, что называется «искрою Божіею». Въ Большовъ же мы именно и не ви-

^{*)} Добролюбовъ приводилъ слова Большова про своихъ кредиторовъ; "не возьмуть по двадцати пяти, такъ полтину возьмуть... всетаки барышъ... А у меня дочь невъста, хоть сейчасъ пзъ полы въ полу, да со двора долой. Да самому-то, братецъ ты мой, отдохнуть пора: прохлажались бы мы, лежа на боку, и торговлю всю эту къ чорту". И воть объ этихъ то словахъ онъ п говорилъ: "вы видите, что ръшеніе Большова очень добродушно и вовсе не обнаруживаетъ сильной злодъйской натуры: онъ кочетъ кое-что по силъ возможности вытяпуть изъ кредиторовъ, въ тъхъ видахъ, что у него дочь невъста да и самому покой нуженъ" (49).

димъ ръшительно ничего, хотя сколько нибудь о ней напоминающаго. Эта искра, казалось бы, вполнъ потухшая. часто вдругъ разгорается подъ вліяніемъ постигающей человъка бъды *). Между тъмъ, критикъ самъ же вполнъ справедливо замътилъ, что въ «послъднемъ актъ Большовъ нисколько не возвышается въ глазахъ читателя и нисколько не теряеть своего комическаго характера». И туть опятьтаки, по замъчанію самого критика, онъ «ни мало не сознаетъ гадости своего поступка, онъ не мучится внутреннимъ стыдомъ; его терзаетъ только стыдъ внъшній: кредиторы таскають его по судамь, и мальчишки на него показывають пальцами». Сама Иверская ни мало не возбуждаеть въ немъ совъсти, а развъ его конфузить тъмъ, что когда-то она видбла его толстосумомъ, становящимъ пудовыя свъчи, а теперь у него нъть и гроша за душой. Только при упоминаніи Іуды, который «тоже Христа за деньги продажь, какъ мы совъсть за деньги продаемъ», что-то какъ будто пошевельнулось въ Большовъ, но въдь и тутъ, обращаясь къ Подхалюзину, онъ скорте разумтеть его гръхъ передъ собою, чъмъ свой собственный гръхъ передъ другими. Далъе же — страхъ ссылки, да вымаливаніе себъ Христа ради денегь. Критикъ противопоставляль Большова, остающагося и въ трагическомъ своемъ положеніи вполет комическимъ, королю Лиру, обманутому старшими дочерями, подобно тому, какъ Большовъ обмануть своимъ Лазаремъ Подхалюзинымъ. «Сила характера Лира, по замъчанію критика, выражается не только въ проклятіяхъ дочерямъ, но и въ сознаніи своей вины передъ Корделіей, и въ сожальніи о своемъ крутомъ нравь, и въ раскаяніи, что онъ такъ мало думаль о несчастныхъ бъднякахъ, такъ мало любилъ истинную честность... Смотря на него, мы сначала чувствуемъ ненависть къ этому безпутному деспоту; но, слъдя за развитіемъ драмы, все болъе примиряемся съ нимъ, какъ съ человъкомъ, и оканчиваемъ тъмъ, что исполняемся негодованіемъ и жгучею

^{*)} Какъ, на примъръ, въ Поярковъ у Мельникова.

злобой уже не къ нему, а за него и за цѣлый міръ — къ тому дикому нечеловѣческому положенію, которое можетъ доводить до такого безпутства даже людей, подобныхъ Лиру» (III, 53). Да, но между тѣмъ, какъ другіе самодуры въ его санѣ доходили до перерожденія человѣчьей природы въ волчью (стоитъ вспомнить — ну хоть Людовика ХІ), онъ, т.-е. множество другихъ, типически въ немъ воспроизведенныхъ Шекспиромъ, все же сохранили въ себѣ свою человѣческую природу. Несомнѣнно сохраняютъ ее многіе и въ томъ «темномъ царствѣ», съ которымъ имѣетъ дѣло Островскій; другіе же, и прежде всѣхъ Большовъ, ея вовсе не сохраняютъ. Дѣло, стало быть, не въ одной средѣ.

Но не сохранилось ли нѣчто человѣческое въ избыткѣ у Большова довърія къ Подхалюзину? Другой критикъ комедін, покойный проф. Селинъ, по поводу этого заговорилъ-было даже о какомъ-то самоотвержении Большова. «Похищеніе чужого, разсуждаль онь, и въ то же время отречение не только отъ похищеннаго, но и отъ своего собственнаго. Человъкъ въ одно и то же-время поступаетъ грабительски и самоотверженно! Признаемся, мы желали бы лучшей, болье прочной закладки въ художественномъ зданій Островскаго, но вмість сь тімь беремся и оправдывать автора». Вслёдъ затёмъ критикъ спрашиваетъ: «на кого же Большовъ записалъ бы имущество, готовясь объявить себя несостоятельнымъ должникомъ? Не естественнъе ли всего ввъриться Лазарю, облагодътельствованному имъ съ дътства! Увъренность свою Большовъ думалъ несокрушимо утвердить родственнымъ союзомъ; а что онъ положился на совъсть и на благодарность прикащика, имъ обогащеннаго и возвеличеннаго до зятя, такъ это не только возможно, но и говорить весьма сильно въ пользу Большова, не совстмъ еще испорченнаго нравственно». Далъе критику пришлось, однако, замътить, что Большовъ «человъкъ съ неимовърно упорнымъ характеромъ, а Подхалюзинъ глубоко изучилъ его, и съ этой стороны знаетъ его вдоль и поперекъ: «у нихъ такое заведеніе, коли имъ что попало въ голову, ужь ничъмъ не выбьешь оттедова».

Воть въ этомъ-то все и дёло. Забралъ себё въ голову Большовъ, что на Подхалюзина, обязаннаго ему всёмъ, можно положиться, и этого ужь ничёмъ у него изъ головы не выбыешь. А вёдь эта, забранная имъ себё въ голову, мысль сводится на то, что не пойдетъ же, не посмёстъ же тварь пойти противъ своего творца. Въ этомъ только избытокъ властнаго самомнёнія, только претензія на какуюто монополію личной неприкосновенности, на то, чтобы, при безнаказанности обманыванія другихъ, самая мысль о чемъ либо подобномъ относительно его самого представлялась какимъ-то оскорбленіемъ величества (crimen laesae majestatis), — тутъ только подобное извращеніе понятій, а никакъ не проблескъ нравственнаго чувства!

Повърјемъ, настоящимъ довърјемъ къ людямъ, довърјемъ. опирающимся на въру въ человъка вообще, отличаются только такіе увъренные въ самихъ себъ, въ своихъ нравственныхъ качествахъ, какъ Потапъ Максимычъ Чапуринъ. Самъ Подхалюзинъ вовсе и не разсчитываетъ на довъріе со стороны Большова. Онъ просто ловитъ его на удочку того же, искусно разбереживаемаго самодурства. «Не употребляя долгихъ исканій, замічаеть Добролюбовь, и не дълая особенно злостныхъ плановъ, онъ только подбиваетъ сваху отговорить прежняго жениха Липочки изъ благородныхъ, а самъ поддълывается къ Большову раболъпнымъ тономъ и выражениемъ своего участия къ нему».--«Потрафь я по нихъ, говоритъ Подхалюзинъ, или такъ взойди имъ въ голову-завтра же подъ вънецъ, и баста, и разговаривать не смъй». И Подхалюзинъ не ошибается въ разсчетъ. «Мое дътище, говоритъ Большовъ, хочу, —съ кашей ъмъ, хочу-масло пахтаю.» «Оттого и выдача ея противъ воли замужть за Подхалюзина представляется ему не болъе какъ занимательнымъ опытомъ». «А вотъ ты заходи-ко ужо къ невъстъ, -- говоритъ онъ Лазарю, мы надъ ними шутку подшутимъ». Шутка эта и состоитъ въ томъ, что онъ внезапно объявляетъ жент и дочери, что Лазарь женихъ Липочки. При этомъ, конечно, есть еще и разсчетъ-повърнъе закръпить за собою Лазаря.

Разбереживаньемъ самодурства въ Большовѣ приходится, конечно, признать и слѣдующія слова Подхалюзина: «а ужъ по мнѣ, Самсонъ Силычъ, коли платить по двадцати-пяти, такъ пристойнѣе и совсѣмъ не платить». И Большовъ очень легко поддается и на эту удочку. «А что, говоритъ онъ, вѣдь и то правда, храбростью-то никого не удивишъ, а лучше тихимъ-то манеромъ дѣльце обдѣлать. Тамъ послѣ суди Владыка на второмъ пришествіи».

Разохотивъ и подзадоривъ своего принципала и тѣмъ самымъ обрекая его себъ на съъденіе, Подхалюзинъ, повидимому, далекъ отъ того, чтобы нагло призывать на себя Божій судъ въ отдаленномъ будущемъ. Онъ. напротивъ, думаетъ успокоить свою совъсть такими соображеніями: «противъ хорошаго человъка у всякаго есть совъсть, а коли онъ самъ другихъ обманываетъ, такъ какая же туть совъсть! Самсонь Силычь купець богатьйшій и теперича все это дъло, можно сказать, такъ, для препровожденія времени затъяль. А я человъкь бъдный! Если и попользуюсь въ этомъ дёлё чёмъ-нибудь лишнимъ, такъ и гръха нътъ никакого; потому онъ самъ несправедливо поступаетъ, противъ закона идетъ. А мнф что его жальть? Вышла линія—ну и не плошай! Онъ свою политику ведеть, а ты свою статью гони. Еще то ли бы я съ нимъ сдълалъ, да не приходится».

Въ этомъ, конечно, сильнъйшая улика Большову въ несостоятельности его претензіи на неприкосновенность его, яко бы священнаго для его креатуры, лица. Самъ попираешь ногами законъ, даешь полнъйшую волю своей рукъ владыкъ,—ну такъ не сътуй, если, не ровенъ часъ, тобою же беззаконно направляемая въ подневольномъ тебъ направленіи, чья нибудь чужая рука возьметъ да и поднимется наконецъ на тебя самого!

Но если Подхалюзинъ «сбитъ, по выраженію Добролюбова, съ толку военнымъ положеніемъ всего темнаго царства», то слёдуетъ ли однако же утверждать, что онъ «совёсть имёетъ, только понимаетъ ее по своему: « Прямой неправды онъ не любитъ, утверждаетъ критикъ: свахё

онъ объщаль двъ тысячи и даеть ей сто цълковыхъ, упираясь на то, что ей не за что давать болъе. Рисположенскому онъ отдаетъ деньги по мелочи, и только уже передавши ему нъсколько сотъ, отказывается отъ дальнъйшей уплаты, находя, что ему пора уже и честь знать. За самого Большова онъ не вовсе отказывается платить кредиторамъ, но только разсчитываеть, что 25 копъекъ много... «Зазнались больно, говорить онъ, а не хотять ли восемь копъекъ въ пять лътъ». Проникнутый этими мыслями, онъ радушно угощаетъ тестя, витстт съ нимъ ругаетъ кредиторовъ, выражаетъ надежду, что «какъ-нибудь отдёлаемся» ибо «Богъ милостивъ»; но заплатить требуемое кредиторами отказывается, потому что они «просять цену совсемь несообразную». Съ своей точки зрънія онъ поступаеть ничуть не безчестно и не жестоко, а только благоразумно и твердо. Онъ даже выказываеть значительную степень великодушія, соглашаясь платить за Большова 15 коптекъ вмъсто 10 и ръшаясь даже самъ ъхать къ кредиторамъ, чтобы ихъ упрашивать. Видно, что онъ не лишенъ даже чувства состраданія и ніжоторой сов'єстливости; но ему все хочется отжилить поболте и онъ надтется, что авось уладить дёло повыгоднёе. Здёсь-то всего болёе и выказывается въ Подхалюзинъ мелкій плуть, образовавшійся прямо всятиствіе деспотическаго гнета, тяготтвито надъ нимъ съ малолътства.... Такимъ образомъ, заключаетъ Добролюбовъ, и Подхалюзинъ не представляетъ собою изверга.... Всего гаже онъ въ той сценъ, гдъ онъ плачетъ передъ Большовымъ, увъряя его въ своей привязанности, и пр.» «Но туть онъ подмазывается къ Самсону Силычу не столько изъ корысти, сколько для того, чтобы выманить у старика объщанье выдать за него Липочку, которую, надо замътить, Подхалюзинъ любитъ сильно и искренно... Онъ это ясно доказываетъ своимъ обращениемъ съ ней въ 4-мъ актъ, т.-е. когда она уже сдълалась его женою». Признаемся, если мы никакъ не можемъ признать въ Большовъ хоть какого-нибудь добродушія, то еще менте въ состолній разглядёть, въ чемъ заключается эта сильная и

искренняя любовь Подхалюзина. Неужели въ томъ, что онъ красуется передъ женой въ своемъ новенькомъ сюртучкъ Европейскаго фасона и собирается, для ея же удовольствія, танцовать польку? Или въ томъ, что когда она. на его требованіе сказать что нибудь по-французски, говорить ему: «комъ ву зетъ жоли», переводя: «какъ вы милы»,—то онъ вскакиваетъ со стула и говорить: «вотъ она у насъ жена-то какая! Ай да Алимпіада Самсоновна! уважили! пожалуйте ручку!» Или, можетъ быть, въ томъ, что онъ обсчитываетъ ту, которая сосватала ему такую кралю?

Вся бъда оттого, что даровитовому критику хотълось во что бы ни стало вызвать своего рода сожалъние не только къ Большову, но и къ Подхалюзину-какъ кълюдямъ не по натуръ своей никуда негоднымъ, а нравственно заъденнымъ своею средой. Но въдь и тутъ опять можно замътить, что если въ этой средъ не всъ же однако становятся Большовыми, то не всъ же, съ другой стороны, окавываются и Подхалюзиными. Есть же, стало быть, извъстная возможность нравственнаго устоя во всякой средъ. Но критикъ доходилъ до того, что принималъ подъ свою защиту даже Олимпіаду Самсоновну. «Нечего распространяться о томъ, говорилъ онъ, что общему впечатленію пьесы ни мало не вредить и Липочка, при всей своей нравственной уродливости. Находять, что ея обращение съ матерью и потомъ сцена съ отцомъ въ последнемъ акте переходять предёлы комическаго, какъ слишкомъ омерзительныя. Намъ вовсе этого не кажется, потому что мы не можемъ признать святости кровныхъ отношеній въ такомъ семействъ, какъ у Большова» (III, 62-64).

«На Липочкътоже видна печать домашняго деспотизма: только при немъ образуются эти чорствыя, бездушныя натуры, эти холодныя, отталкивающія отношенія къ роднымъ; только при немъ возможно такое совершенное отсутствіе всякаго нравственнаго смысла, какое замъчается у Липочки. А за исключеніемъ того, что осталось въ Липочкъ, какъ слъдъ давившаго ее деспотизма, она ничуть

не хуже большей части нашихъ барышень, не только въ купеческомъ, но даже и въ дворянскомъ сословіи». Критикъ доводитъ свое снисхождение къ Липочкъ до того, что, приводя ея монологь о преимуществъ военныхъ передъ штатскими, замъчаеть: «какъ-же можно барышень, произносящихъ подобные монологи, серьезно обвинять за что нибудь? Не ясно ли, что Липочка все, что ни сдълаетъ, сдълаетъ по совершенной неразвитости нравственной и умственной, а никакъ не по злонамъренности или природному звърству? Чъмъ же возмущаться въ дичности этой несчастной?» (III, 64). Но въдь и туть опять можноотвътить вопросомъ: да развъ всъ дочери въ этой же самой средъ, у такихъ же точно отповъ, оказываются непремънно Липочками? Отвътомъ послужатъ намъ впереди многіе женскіе типы того же Островскаго. Но критикъ именно относительно ихъ-то и произноситъ совсъмъ уже не снисходительный, а очень суровый судъ. «Авдотья Максимовна, говорить онъ, Любовь Торцова, Даша, Надя все это безвинныя, безотвътныя жертвы самодурства, и то сглаженіе, отминеніе челов'яческой личности, какое въ нихъ произведено жизнью, едва ли не безотраднъе дъйствуетъ на душу, нежели самое искажение человъческой природы въ плутахъ, подобныхъ Подхалюзину?» (71). Но, если такъ, то пришлось бы, пожалуй, предпочесть другимъ и Липочку. Апол. Григорьевъ не даромъ же и замътиль про критика «Темнаго царства», что онъ «почти что стоитъ на сторонъ Липочки; по крайней-мъръ она у него включена въ число протестантокъ и протестантовъ въ быту, обуреваемомъ и подавляемомъ самодурвствомъ. Спрашиваю васъ, продолжалъ Григорьевъ, како масса отнесется къ протестанти Липочкъ?... Пойметь ли она Липочку какъ протестантку?»! (Соч. I 454) Конечно, нътъ, смъло отвътимъ мы. Масса скоръе посмотритъ на нее, какъ на самовольнаго палача, совершающаго, заодно съ Подхалюзинымъ, казнь надъ роднымъ отцомъ. Неужели, однако, роль палачаменте унижаетъ человтческое достоинство, чтмъ кроткая роль безотвътной жертвы? Мы, съ своей стороны, полатаемъ, что совершать насиліе несравненно позорнѣе, чѣмъ быть его жертвою. «Тамъ, продолжаетъ критикъ, т.-е. среди Подхалюзиныхъ (а, стало быть, и Липочекъ?) еще коегдѣ пробивается жизнь, самобытность, мерцаетъ минутами дучъ какой-то надежды». Но неужели же Подхалюзины съ Липочками—это, въ самомъ дѣлѣ, какіе-то первые «свѣтлые лучи въ темномъ царствѣ»?

Сама Липочка считаетъ себя своего рода лучомъ, потому что воображаетъ себя «образованною». «Она, говоритъ критикъ, мало обращаетъ вниманія на мать и въ распряхъ съ ней всегда остается побъдительницей: начнетъ ее попрекать, что она не такъ воспитана, да расплачется, матьто и струситъ и примется сама ублажать обиженную дочку». Критикъ, однакоже, признавая «наклонность къ самому грубому и возмутительному деспотизму» въ Липочкъ, ради нъсколькихъ грубо-сердитыхъ словъ, вырвавшихся у загнанной даже и ею матери, довольно-таки сурово отзывается о послъдней (59). Къ Липочкъ онъ положительно снисходительнъе, чъмъ къ Аграфенъ Кондратьевнъ, въ сущности только мнимо раздъляющей со своимъ мужемъ неограниченную власть надъ дочкой.

Другой критикъ, профессоръ Селинъ, сопоставляя Липочку съ сынкомъ Фонъ-Визинскаго бригадира, напротивъ того безпощадно относился къ первой. «Иванушка, говориль онь, смёшонь, жалокь и только возбуждаеть презрѣніе; Липочка кромѣ всего этого отвратительна и глубоко возмущаетъ нравственное чувство». Зато тотъ же критикъ положительно признавалъ сочувственныя черты въ Аграфенъ Кондратьевнъ. «За дочь не смолчитъ она, замътилъ онъ, и подчасъ возвыситъ голосъ передъ мужемъ... Когда же преступникъ Большовъ, несчастный отецъ, сидить между двухъ коршуновъ, между зятемъ и дочерью, тогда эта ограниченная женщина действуеть на васъ, какъ теплое дыханіе любви въ ледяной атмосферъ эгоизма. Безсердечіе дочери, возмутительная неблагодарность зятя въ этой кроткой душъ подняли страшную бурю.За кровную обиду мужа, безжалостно наносимую неблагодарными

дътьми, она снимаетъ материнское благословеніе съ зятя, и дочь, свою кровь, готова проклясть на всъхъ соборахъ... Самая простая, обыденная женщина внезапно передъ вами преображается горемъ, какъ ударомъ молніи. и васъ уже невольно поражаетъ величавый образъ матери, одушевленной праведнымъ гнъвомъ»... *) Думаемъ, что эти строки, схороненныя въ очень мало извъстномъ изданіи, вполнъ заслуживаютъ вниманія.

Собственно «образованія» Липочки (этого, ближайшаго къ намъ по времени. Иванушки въ юбкъ Добролюбовъ, конечно, цънить и не думаль. Но не слишкомъ ли ужь высоко цениль онъ настоящую образованность вообще, т. е. ея будущее спасительное вліяніе на «темное царство»? «Самодурство и образование, говориль онъ - вещи, сами по себъ противоположныя, и потому столкновение между ними, очевидно, должно кончиться подчинениемъ одного другому: или самодуръ проникнется началами образованности, и тогда перестанеть быть самодуромъ, или онъ образование сдълаетъ слугою своей прихоти, при чемъ, разумъется, останется прежнимъ невъждою» (91). Говорится это по отношенію къ Гордею Карпычу (ком. «Бедность не порокъ»), образование котораго равносильно образованию Липочки. Но вспомните кое-какія страницы Милля «о подчиненіи женщины». Онъ въдь относятся главнымъ образомъ къ нравамъ Англійскаго образованнаго общества, а Русскій переводчикъ справедливо воспользовался тутъ словомъ «самодурство». Не случалось-ли, наконецъ, и многимъ изъ насъ видъть своими глазами прямыхъ самодуровъ даже и среди ученаго люда? Гордъй Карпычъ и Титъ Титычъ основывають свои права на своихъ деньгахъ, а иной образованный самодуръ — не на чемъ другомъ, какъ именно на этомъ-то своемъ образовании. Посмотрите, какъ вокругъ него ходитъ на ципочкахъ, еле переводя духъ, пока онъ священнодфиствуеть въ своемъ кабинетъ. Посмотрите, какимъ свиръпымъ выбъгаетъ онъ подчасъ оттуда,

^{*)} Кіевскія университетскія изв'ястія 1868 г. Августь, стр. 11.

чтобы выместить на комъ ни удь изъ семьи то разстройство нервовъ, которое въдь и у образованныхъ людей часто происходитъ не столько отъ усиленной работы, сколько отъ шибкой жизни. Посмотрите, какъ какая нибудь старушка-мать выбивается изъ силъ, чтобы собственными руками приготовить ему какое - нибудь любимое его кушанье, — а онъ за объдомъ фыркаетъ или даже тарелку швыряетъ. Не встръчали вы, что ли, такихъ, читатель?

Нътъ, и образование еще не есть радикальное средство отъ самодурства. Чтобы совладать съ нимъ въ себъ мало еще ума, и даже ума просвъщеннаго; тутъ нужно еще и усиліе воли, направляемой чуткостью сердца. Такое же усиліе любящей воли нужно и для борьбы съ самодурствомъ въ другихъ. Борьба эта, конечно, не легкая, но для успъха въ ней нужны лишь дружныя усилія многихъ, хотя бы и весьма обыкновенныхъ, только добрыхъ людей, а вовсе не нужно непремънно имъть, какъ представлялось Добролюбову, «геніально свётлую голову, младенчески непорочное сердце и титанически могучую волю». Нътъ, можно обойтись и безъ такихъ исключительныхъ свойствъ духовныхъ, «чтобы имъть ръшимость выступить на практическую, действительную борьбу съ окружающею средою» (69). Мы полагаемъ, что крайнее преувеличеніе трудностей борьбы, долго у насъ проповъдывавшееся, только поддерживало въ насъ ту Обломовщину, на которую справедливо нападалъ тотъ же критикъ. «Конечно, говориль онь, и люди съ твердыми нравственными принципами, съ честными и святыми убъжденіями тоже есть въ этомъ (т.-е. «темномъ») царствъ; но, къ сожалънію, это все люди Обломовскаго типа. Они и убъжденія-то свои пріобрёли не въ практической деятельности, не въ борьбъ съ житейской неправдой, а въ чтеніи хорошихъ жекъ»... (44) Да, и они тъмъ ръшительнъе будутъ оставаться Обломовыми, чёмъ болёе въ этихъ хорошихъ книжкахъ будеть говориться о трудности борьбы, о забдающемъ значеніи среды и о полнъйшей невитняемости затдаемыхъ... Эти, конечно, умныя книжки, очень върно опредълилъ поэтъ, говоря, что

.....укажутъ онф Все недостойное, дикое, злое, Но не дадуть онф силъ на благое, Но не научатъ любить глубоко...... Дъло въковъ поправлять не легко! *)

Чтобы поправить его, мало образованія, мало и самыхъ даже рѣшительныхъ и гуманныхъ законодательныхъ мѣръ, мало коренныхъ преобразованій въ учрежденіяхъ; тутъ, при всемъ остальномъ, особенно нужна упорная нравственная борьба, нужна вѣра въ возможность не поддаваться средѣ, сознаніе своей отвѣтственности не только за собственную причастность ея мерзостямъ, но даже и просто за опускающіяся передъ нею руки. А какая тутъ нравственная борьба, когда съ глумленіемъ встрѣчается голосъ о верховномъ значеніи въ жизни «нравственной стихіи»?

Начитавшись хорошихъ книжекъ, мы цитовали изъ нихъ на память всякія хорошія слова о свободь, о прогрессъ, гуманности и т. п., подобно тому какъ наши предки цитовали на память всякіе тексты изъ св. писанія. Мы говорили такъ смъло о хорошихъ вещахъ, мы даже «горячились о добръ», - пока это было въ ходу, пока тутъ не только не представлялось особенныхъ неудобствъ, но этимъ путемъ иногда даже удавалось выходить въ люди; но подуль иной вътеръ, и мы, не запасшись настоящею силою устоя, силою нравственной, замолчали или даже дали въ себъ совершиться настоящему оборотничеству, развъ только не позволяя себъ теперь глумиться надъ тъми, которые, подъ своимъ старымъ знаменемъ, подъ охраняющимъ отъ малъйшихъ сдълокъ, знаменемъ «нравственной стихіи», едва ли не одни въ настоящее время не намърены ломать шапку передъ измънившимися обстоятельствами.

І'лубокое значеніе первой большой комедіи Островскаго,

[&]quot;) Некрасовъ въ "Сашѣ".

съ такимъ несомнъннымъ дарованіемъ разобранное Побролюбовымъ, заставило насъ подробно остановиться на его критикъ, имъвшей у насъ такое ръшительное значение, представивъ провърку ея, а равно и заключающагося въ ней вопроса о «самодурствъ», самою комедіею Островскаго. Следующія затемь по времени сцены нашего комика: «Утро молодого человъка» (1850 г.) и «Неожиданный случай» (1851 г.) не были разобраны знаменитымъ критикомъ, конечно, по той понятной причинъ, что онъ остаются совстмъ въ сторонт отъ красугольнаго для него самодурства. «Утро молодого человъка» -своего рода pendant къ Гоголевскому «Утру дёлового человёка». Если у Гоголя мы туть встречаемся съ темъ, что можно назвать деловымъ бездёльемъ служилыхъ баръ, то Островскій рисуеть намъ играющее въ цивилизацію и какъ будто бы даже литературничающее бездёлье богатыхъ купчиковъ, прожигающихъ свое состояніе на модномъ комфортъ, на угощеніи всяческихъ ами-кошоновъ, которыхъ они, соотвътственно такой кличкъ, держатъ такъ, чтобы свинка отнюдь не вздумала взять да и положить у нихъ ноги на столъ (вспомнимъ, какъ Недопекинъ поддразниваетъ Лисовскаго, что не дасть ему хорошаго вина, такъ какъ онъ такого «и съ роду не пивалъ»). Представитель не модничанщаго, не прогрессивнаго, а стараго консервативнаго купечества, дядя Недопекина. Смуровъ, является тутъ далеко не въ качествъ самодура, а въ качествъ представителя здраваго смысла и дъльности. «Какъ же ему не быть образованнымъ, говоритъ онъ про своего племянничка, изъ трактировъ не выходить, по рощамъ шампанское пьетъ». Обращаясь за тёмъ къ важничающему передъ нимъ, сиволапымъ купцомъ, лакею Ивану, онъ рисуетъ намъ въ заключение близкую развязку Недопекинскаго житья такими характерными словами: «Ты скажи ему, чтобъ онъ нынче же къ матери прівхаль, что дяденька, моль, нарочно за-***Бажалъ**. Да ты скажи ему, что я самъ старух*в-то скажу, чтобы она дов'тренность-то уничтожила, да въ газетахъ публикуемъ, что долговъ за него не платимъ, тогда и

живи, какъ онъ хочетъ; ужь я ему ни слова не скажу. Мы ему хвостъ-то прижмемъ».

Спены: «Неожиданный Случай», появившіяся въ Щепкинскомъ альманахъ «Комета», не были включены въ «Полное собраніе сочиненій Островскаго», потому, можеть быть, что критика, по свидътельству Ап. Григорьева, встрътила это небольшое произведение «насмъшками и пародіями за безпвътность, по ея мнънію, выведенныхъ характеровъ, за слабость пружинъ, двигающихъ ихъ отношенія между собою». По мнѣнію Григорьева, «въ переводѣ на прямой языкъ», критика «осердилась на то, что отношенія, сами по себъ легкія, поэтъ очеркнуль легко, характеры безосновные очертиль въ ихъ безосновности – не выдумаль гиперболического узла, не отнесся съ ядовитою насмъщкою къ такимъ беззлобнымъ и невиннымъ существамъ, какъ Розовый и Дружнинъ» *). Оба эти существа, какъ и третье дъйствующее лицо-Софья Антоновна принадлежатъ такъ называемому свътскому кругу. Сцены эти не лишены своего рода психологического значенія. Это опять нічто въ родъ маленькаго pendant (съ внутренней стороны) къ одному изъ Гоголевскихъ произведеній — къ «Женитьбъ». Тамъ черезъ-чуръ ръшительному пріятелю хочется, во что бы то ни стало, женить своего черезъ-чуръ нерѣшительнаго пріятеля, а тому удается самымъ простымъ, но вмѣстъ и оригинальнымъ, способомъ ускользнуть изъ его рукъ. Здёсь пріятелю болёе осмотрительному и сдержанному хотълось бы, напротивъ того, удержать отъ женитьбы такого пріятеля, которому, по его словамъ, «всѣ дороги; стулъ наряди въ женское платье, онъ и тутъ растаять готовъ». Выходить, однако же, такъ, что попечительный другъ, по слабодушію своему, сдается передъ простою неловкостью своего положенія у Софьи Антоновны (которой моментально становящійся женихомъ подлипала Розовый такъ-таки все и выдаетъ), а затъмъ даже фдетъ, по ея порученію, за зеркаломъ и самъ же напрашивается въ шафера къ

^{*)} Сочиненія Ап. Григорьева, т. 1, стр. 116.

Розовому. Изъ нашего очерка содержанія этихъ сценъ, кажется, ясно, что и тутъ самодурство опять ни причемъ.

Въ настоящемъ смыслъ слова, мы не находимъ его и во второй большой комедіи Островскаго — «Бъдной невъстъ» (1852), хотя Добролюбовъ и старался ее подвести подъ то же свое основное опредъление. Ап. Григорьевъ былъ другого мнвнія. «Воздухъ самодурства, по словамъ Добролюбова, повъялъ и на мать Марьи Андреевны (бъдной невысты), и она безъ пути, безъ разума распоряжается судьбою дочери, бранить, попрекаеть ее, напоминаеть ей долгъ послушанія матери и не выказываетъ никакихъ признаковъ того, что такое человъческое чувство и живая личность человъка. Все это-прямые и несомнънные признаки самодурной закалки, доказывающие только, какть она легко пристаеть даже къ самымъ неспособнымъ. Для самодурства, какъ видно, нътъ ни пола, ни возраста, ни званія»... «Ея отношенія къ дочери глубоко безнравственны, продолжаетъ Добролюбовъ описывать Анну Петровну; она каждую минуту пилитъ Машеньку и доводитъ ее до страшнаго нервическаго раздраженія, до истерики, своими безпрерывными жалобами и попреками: «я тебя ростила, я тебя холила, а ты вотъ чёмъ платишь!... Вёдь у насъ ничего нътъ: куда я на старости дънусь, — въ кухарки мнъ, что ли, идти?... Какова же эта мать, имъющая до такой степени барышническій взглядь на дочь!... Такая личность и такія отношенія должны возмущать душу»... «Но Анна Петровна, сознается критикъ, обезоруживаетъ насъ своимъ необычайнымъ добродущіемъ и недальностью» (Да, и ея добродушіе—не то, что «добродушіе» Большова!) Апполлону Григорьеву незачёмъ было и обезоруживать себя относительно Анны Петровны; онъ прямо утверждаль, что вы «ни разу не негодуете на Анну Петровну-даже тогда, когда она попрекаетъ дочь въ неблагодарности, когда она настоятельно требуеть, чтобы та шла замужь за Беневоленскаго; жаль вамъ Марью Андреевну, да что же и старухф-то дфлать? Женщина она слабая, сырая; кромф того, что ей втемяшилась въ голову idea fixa: какъ это

безъ мужчины въ домѣ?—и домъ-то еще у нея оттягиваютъ. Недалека она, это точно, что недалека, да вѣдь она любитъ свою Машеньку; вѣдь въ концѣ она сама чувствуетъ, что что-то неладно: «Признаться сказать, скоренько дѣло-то сдѣлали; кто его знаетъ, въ него не влѣзешь» *). Однимъ словомъ, нѣтъ возможности сердиться читателю на оѣдную старуху, когда ни авторъ, ни сама Марья Андреевна на нее не сердятся» **). Дѣйствительно, дочь даже сама говоритъ про нее: «мнѣ всегда тяжело, когда она сердится».—«Мнѣ кажется, что я буду счастлива», успокаиваетъ она мать.

Вся причина того, что одинъ критикъ возмущался Анной Петровной, а другой даже вовсе на нее не сердился—очевидно, въ томъ, что одному представлялось и въ ней ненавистное ему самодурство, другой же и вовсе его тутъ не видълъ.

Къ другу дома Анны Петровны, Платону Марковичу Добротворскому, и Добролюбовъ почему-то отнесся довольно снисходительно, называя его даже «добрымъ старичкомъ» (стр. 140). Что же касается Аполлона Григорьева, то онъ подробно разобралъ его типъ, говоря: «это ничего, что онъ поцелуетъ въ рукавъ Максима Дороееича Беневоленскаго; — это ничего, что онъ добродушно замътитъ, говоря о лошадкъ Максима Дороееича: «ахъ, проказникъ вы, проказникъ, Максимъ Доровенчъ! Да въдь чай, не куиленная» -- абсолютныхъ понятій о честности вы отъ него и не требуйте; — но въдь онъ трогательно привязанъ къ семь в своего благод втеля, онъ бъгаетъ по всъмъ присутственнымъ мъстамъ, отыскивая жениха Машъ, онъ скажеть ей отъ души по своему разумънію доброе слово («Свистуны въдь они, матупіка, никакой основательности нътъ. Не върьте вы имъ. Нынче любятъ, а завтра разлюбятъ»). Онъ прежде всего заботится о тишин и о миръ, но между тъмъ, когда дъло идетъ объ участи Маши, ко-

^{*)} Т.-е. въ жениха.

^{**)} Сочиненія Ап. Григорьева, І, 67.

торая устроилась, по его мнѣнію, благополучно, онъ даже Беневоленскому, къ которому относится съ уваженіемъ и съ нѣкоторою лестью, скажеть основательно, боясь за старыя его шашни: «что жь вы, отецъ мой, у меня съ Марьей-то Андреевной дѣлаете? Вы этакъ ее у меня уморите сердечную... А ужь вы, батюшка, эти глупости-то оставьте». Добрый, добрый старикъ, хоть и не далеко видитъ. Онъ совершенно подъ пару Аннѣ Петровнѣ, и правъ былъ авторъ, что къ нимъ обоимъ отнесся такъ человъчно» (Соч., т. I, 68).

А между тъмъ развъ не возмутителенъ этотъ «добрый старичокъ», когда пишетъ Машиной матери, развъ не возмутительна и эта мать, когда заставляеть дочь читать себъ вслухъ такое письмо: «Холостыхъ чиновниковъ для Марыи Андреевны достойныхъ нътъ; есть одинъ, но я сомнъваюсь, чтобы оный вамъ понравился, ибо очень великъ ростомъ-весьма много выше обыкновеннаго-и рябой. Но... оказался нравственности хорошей и непьющій, что, какъ извъстно, вамъ весьма желательно. Не прикажете ли посмотръть въ другихъ присутственныхъ мъстахъ что и будетъ мною исполнено съ величайшимъ удовольствіемъ». — Да, это возмутительно; только самодурство ли туть, т.-е. простое ли туть желаніе на своемъ поставить: «я тебя родила, я тебя и сватаю» - то ли, словомъ, чёмъ руководятся-Русаковъ на словахъ, а Гордъй Торцовъ и на дълъ?

Поищемъ отвъта въ замъчании самого Добролюбова о положении Марьи Андреевны, замъчании, подрывающемъ основу его собственнаго взгляда на комедію. «Она—бюдная невыста, ей некуда дъваться, нечего дълать, кромъ какъ ждать выгоднаго жениха. Замужество—это ея должность, работа, каррьера, назначеніе жизни. Какъ поденщикъ ищетъ работы, чиновникъ—мъста, нищій—подаянія, такъ дъвушка должна искать жениха... Надъ этимъ смъются современные либералы; но интересно бы знать—что же въ самомъ дълъ станетъ у насъ дълать дъвушка, не вышедшая замужъ?» Вопросъ этотъ относится еще къ поръ,

предшествующей тъмъ рьянымъ стремленіямъ къ женскому труду, къ женскому образованію, которыя стали было увънчиваться у насъ успъхомъ, пока не споткнулись о нъкоторыя препятствія. Но и при самомъ постоянномъ успъхъ этихъ стремленій упраздняется ли бъдность-«не порокъ», какъ говорять одни, но и «не добродътель», какъ прибавляють другіе? И при прекрасномъ образованіи, и при упорной привычкъ къ труду всегда ли оказывается достаточный заработокъ? Да и у наст ли только не умфютъ его добывать или же не находять его при всемъ умъніи? Не такъ ли оно везди при общихъ условіяхъ такъ туго поддающагося успъхамъ цивилизаціи, а иной разъ еще и ухудшающагося съ ними, экономического строя? Въдь Марья Андреевна, послъ долгой борьбы съ собой, ръшается выйти замужъ по той же самой причинъ, по которой сестра Родіона Романовича Раскольникова отдаеть свою руку г. Лужину, такъ какъ онъ, кажется, человъкъ хорошій. «И эта же Дунечка за это же кажется замужъ идетъ», говорить ея брать студенть «Не бывать тому», хорохорится онъ, но сейчасъ же себя и спрашиваетъ: «да что же ты-то сдълаешь, чтобы этому не бывать? Самъ же въдь пользуещься ихъ помощью (т. е. ея и матери, совстив ужь не отличающейся никакимъ самодурствомъ). Между тъмъ онъ очень хорошо понимаетъ, что этакъ и «до Сонечкина жребія не далеко». — «Сонечка, въчная Сонечка! восклицаетъ онъ; Сонечка, пока свътъ стоитъ». Да, Сонечка - и въ образъ Дунечки, и въ образъ Марьи Андреевны, словомъ въ безчисленныхъ лицахъ, отдающихъ себя безъ любви, отдающихъ себя изъ нужды? Какъ угодно, а «Вѣдная невъста» Островского переводить насъ изъ «темнаго царства» самодуровъ, въ то печальное царство «униженныхъ и оскорбленныхъ», область котораго ужь ръшительно распространяется на весь міръ.

Но въ «Въдной невъстъ» мы встръчаемъ еще и существо, окончательно приближающееся, по своему положенію, къ Сонечкъ. Это та Дуня, которую, ради брака съ Марьей Андреевной, бросаетъ г. Беневоленскій. Добролю-

бовъ отнесся къ этой Дунт со всею полнотою сочувствія. и вотъ едва-ли не самыя лучшія строки въ цъломъ его разборъ «Темнаго царства». По чудному замъчанію нашего критика, «эта дъвушка уже забрызгана грязью чужихъ пороковъ». Но подъ этою грязью, какъ онъ доказываеть, въ ней скрывается золотое сердце. Пользуясь свадебной суматохой, она пришла взглянуть изъ толпы на невъсту своего недавняго друга. «Хороша въдь, говорить она своей спутниць, ужь можно сказать, что хороma». Но эта красота разлучницы — хоть и невольной, а все же разлучницы—не разжигаеть въ ней ревности. Напротивъ, она о ней же думаетъ, ее же жалъя, говоритъ своему соколу: «только съумбешь ли ты съ этакой женой жить? Ты, смотри, не запуби чужого въку даромъ. Гръхъ тебъ будетъ. Остепенись, живи хорошенько. Это въдь не со мной: жили, жили, да и быль таковъ». Замъчая на глазахъ Дуни слезы, ея спутница Лаша напоминаетъ ей: «а ты говорила, что тебъ его жаль». — «Въдь я его любила когда-то, отвъчаетъ Дуня.... Что же, надо когда нибудь разставаться, не въкъ такъ жить? Еще хорошо, что женится; авось будеть жить порядочно». Заботясь о своей невольной разлучницъ, она такимъ образомъ заботится и о немъ, покидающемъ ее добровольно, послъ того, какъ она, по ея же признанію, «немного отъ него добра видъла, больше слезъ, а одного сраму что перенесла!» «Смотри же, живи хорошенько», -- продолжаетъ Дуня, обращаясь къ нему. Это выдь тебы на выкъ, не то, что я».

«Большей чистоты нравственных чувствъ, замѣтилъ Добролюбовъ, мы не видимъ ни въ одномъ лицѣ комедій Островскаго» (Ш, 148). На этотъ разъ мы вполнѣ согласны съ критикомъ. Но вѣдь въ Дунѣ и сказалась вся полнота любящаго самозабвенія и самоотверженія— словомъ, того, что на языкѣ шестидесятыхъ годовъ обзывалось нерѣдко «приниженіемъ личности». Тутъ выступила наружу собственная душа Добролюбова, заговорившая своимъ природнымъ голосомъ, не направляемымъ уже никакою кружковою диктовкою, тутъ сказалась душа идеалиста по при-

родѣ, т.-е. и исповѣдника той «нравственной стихіи», которую только въ силу различныхъ недоразумѣній приходилось ему подчасъ заподозрѣвать въ какомъ-то сообщничествѣ со стихіею полицейскою.

Въ оцѣнкѣ Дуни съ Добролюбовымъ сошелся и Ап. Григорьевъ, съ тою разницею, что послѣдній особенно налегаетъ на художественную полноту ея образа. «Не смотря на всю краткость двухъ сценъ, въ которыхъ она является, говорилъ Григорьевъ, къ ея личности нельзя прибавить ни одной черты; вся жизнь ея передъ вами, какъ на ладони. Напоминать черты Дуни, значитъ выписывать всѣ ея слова, всю сцену ея съ Беневоленскимъ, а равно и первую сцену съ Цашею, или по даннымъ, заключающимся въ этихъ сценахъ, писать исторію этой женщины.... Всякій, кто и не знаетъ этого типа женщинъ, почувствуетъ невольно, что это такъ именно и должне сказаться — равно какъ и «адье мусье», брошенное на прощанье въ порывѣ какой-то размашистой удали завитаго веревочкой горя».... (Соч. І, стр. 69—70).

Но едва ли не возможно дорисовать и дальнъйшую исторію этой женщины съ золотымъ сердцемъ... Ей вѣдь, по всей въроятности, придется понести на себъ еще новую, быть можеть, уже и невылазную грязь всякихъ чужихъ гръховъ, какъ ни много оказывается въ ней пока нравственнаго устоя.... Беневоленскіе разныхъ видовъ не составляють же въдь какого-нибудь особеннаго исключенія, въдь имя же имъ: «легіонъ». И не ищите ихъ только въ той низменной средъ чиновничества стараго покроя, которая способна и взятки брать. На взятки въ видъ живого товара, на взиманіе того челов вкоубійственнаго процента, который такъ ужасалъ Раскольникова, способны въдь, да еще и какъ способны, и самые культурные люди. Это въдь для того, чтобъ «себя освъжать», а потомъ съ обновленными силами еще върнъе служить различнымъ культурнымъ цълямъ! Многимъ изъ васъ, читатель, приходилось, быть можеть, присутствовать на такой свадьбъ, на которую глядёль изъ толпы какой нибудь мальчуганъ съ полными слезъ глазами: когда-то онъ былъ сыномъ въ домѣ, а теперь будетъ развѣ какимъ нибудь любимчикомъ на посылушкахъ, а мать его обратится въ служанку, и будетъ, пожалуй, стараться насолить новой барынѣ, ничего не знавшей и ни въ чемъ неповинной, если только сама барыня, заранѣе знавшая все, не станетъ ее держать въ черномъ тѣлѣ... А назовите такихъ, можетъ быть, и очень образованныхъ, двухсемейниковъ негодяями, и они обидятся, какъ другіе обижаются какимъ нибудь выраженіемъ въ родѣ: «сволочи, живущей въ комфортѣ». Но кто увѣренъ въ точности этихъ выраженій, тотъ всегда ихъ будетъ употреблять.

Говорить ли о молодыхъ поклонникахъ Марьи Андреевны, Меричт и Милашинт? Ап. Григорьевъ находилъ ихъ только намъченными, но не дорисованными Намъ кажется, что они выставлены достаточно полно и ясно. Впрочемъ и Григорьевъ признавалъ, что «общій психологическій процессъ такихъ натуръ, какъ натура Мерича и Милашина, представленъ до того осязательно, что вы, принимая участіе въ судьбъ Марыи Андреевны, негодуете на того и другого и презираете ихъ». Мы полагаемъ, что ихъ нельзя ставить на одну доску. Меричъ дъйствительно только пользуется случаемъ ухаживать за бъдною дъвушкой безъ всякаго серьезнаго намфренія на ней жениться. Но въдь Милашинъ совершенно искренно и тепло говорить ей въ ръшительную для нея минуту: «Вы меня гоните!... Ну, такъ я вамъ докажу, что я не заслуживаю этого. Я, Марья Андреевна, не Меричъ! Я очень хорошо ваше положение! Выйти за Беневоленскаго! Какому нибудь скоту придеть фантазія за васъ свататься, а вы должны идти за него! Нътъ, это невыносимо!.... Я человъкъ бъдный, я, можетъ быть, самъ не знаю, чъмъ содержать себя одного, не только съ женой; но я не сдълаль бы такъ, какъ Меричъ, не уступилъ бы васъ на жертву Беневоленскому. Марья Андреевна! Я предлагаю вамъ свою руку; мнъ хочется доказать вамъ, что я благородный человъкъ». Не его вина, какъ не вина и Марьи

Андреевны, если ей приходится отвъчать ему: «Беневоленскій человъкъ съ состояніемъ, да и маменька хочетъ, чтобы я за него вышла; вотъ почему я предпочту Беневоленскаго... Не замътно, что я плакала? Мнъ хочется показать маменькъ, что я безъ всякаго усилія ръшилась выйти замужъ. Пусть она будетъ весела и покойна, я возьму все на себя». Но въдь Милашинъ этимъ не успокаивается; онъ пристаетъ и къ Аннъ Петровнъ, спращивая ее: «за что же должна гибнуть Марья Андреевна?» За что же должна гибнуть? А за то, что она «бъдная невъста». Намъ окончательно кажется, что истинный смыслъ комедіи заключается въ самомъ ея заглавіи.

II.

"Не въ свои сани не садись". — "Бъдность не порокъ". — "Не такъ живи, какъ хочется".

Уже въ «Бъдной Невъстъ», появившейся въ годъ смерти Гоголя, Островскій выступиль на дорогу, независимую отъ его великаго учителя и сближавщую его съ такимъ, также вполнъ самостоятельнымъ преемникомъ Гоголя, какъ Достоевскій. Чёмъ далёе, тёмъ болёе оказывалось v An. Григорьера основаній для того, чтобы «и творчество, и строй отношеній къ жизни, и манеру изображенія, свойственные Островскому, считать совершенно различными отъ таковыхъ же Гоголя» (Соч. I, 475). Остальная критика, по его убъжденію, заблуждалась, считая дъятельность Островскаго только «логическимъ последствіемъ деятельности Гоголя» (460). «Бъдная критика!--восклицалъ Григорьевъ, вотъ именно въ этомъ-то, въ этой близости къ Гоголю, она тогда ошиблась и ошибается даже до сего дне; въ этомъ-то таился тогда и таится даже до сего дне источникъ всъхъ ея недоразумъній, натяжекъ и теорій» (472). Къ числу теоретическихъ натяжекъ относилъ онъ, и, по наспему, вполнъ справедливо, и подведение всего Островскаго сподъ формулу «темнаго царства».

Извъстно, что Добролюбовъ въ своей знаменитой статьъ всячески втягиваль въ это царство и комедію «Не въ свои сани не садись» (1853 г.). «Есть, говорилъ Добролюбовъ. на Руси купецъ-самодуръ, добрый, честный и даже по своему умный, -- но самодуръ. У него есть дочь, которая передъ нимъ безгласна и безправна, какъ всякая дочь передъ всякимъ самодуромъ. Не признавая ея правъ, какъ самостоятельной личности, ей и не дають ничего, что въ жизни можетъ ограждать личность; она необразована, у нея нътъ голоса даже въ домашнихъ дълахъ, нътъ привычки смотрёть на людей своими глазами, нётъ даже и мысли о прав'є свободнаго выбора въ дёл'є сердца» (Ш, 75). Правда, критикъ счелъ-таки нужнымъ прибавить про Русакова. «Онъ не говорить просто: «такъ должно быть потому, что я такъ хочу», -а старается отъискивать резоны для своихъ ръшеній. Но этимъ и ограничивается то, что могь онь сохранить изъ добрыхъ качествъ своей натуры, далее начинаются пріобретенія самодурства».

«Видно, что Русаковъ, поясняетъ критикъ, по мягкости своей природы, съ самаго начала кротко покорился существующему порядку, признавъ его законность; значитъ, не было нужды доказывать ему эту законность пинками и колотушками». Въ комедіи нѣтъ ничего, по чему бы могли мы судить о вѣрности или невѣрности этого заключенія о ходѣ развитія характера Русакова. Но типъ Русакова, въ его уже вполнѣ опредѣлившихся формахъ, такъ ясенъ и полонъ въ комедіи, что мы можемъ ею провѣрить его характеристику у Добролюбова.

Русаковъ говоритъ Маломальскому: «ты знаешь, Дуня у меня одна... Одно утъшение только и есть. Мнъ не надо ни знатнаго, ни богатаго, а чтобы былъ добрый человъкъ, да любилъ Дунюшку, а мнъ бы любоваться на ихъ житье». Есть ли въ этихъ словахъ хотя что нибудь, смахивающее на самодура? Мы насмотрълись на представителей этого типа у Мельникова и могли убъдиться въ томъ, какъ много

значить для нихъ именно выгодность свалебной слёдки. и до какой степени счастіе дочери р'вшительно тутъ ни причемъ. Правда, на замъчание Бородкина: «главная причина, какъ сама Авлотья Максимовна, это какъ имъ человъкъ понравится», Русаковъ замъчаетъ и даже съ сердцемъ: «врете вы оба! Статочное ли дело, чтобъ поверить девке. кто ей понравится!... Извъстно, дъло дъвичье-глупое.... Дъвку долго ли обмануть! Вътрогонъ какой нибудь, прости Господи, подвернется, подластится, ну, дъвка и полюбить; такъ ее отдавать безъ толку?... Нътъ, это не порядокъ: пусть мнъ человъкъ понравится. Я не за того отдамъ, кого она полюбить, а за того, кого я полюблю». Это, конечно, сказалось у Русакова на основаніи теоріи самодурства. Но побужденіе у него все-таки въдь не власть, не своя рука владыка, а опасеніе, что дівушка, по неопытности, можеть ошибиться. Добролюбовъ, признавая это, указывалъ на то, что вольно же было Русакову такъ вести свою дочь, что она выросла чуждою всякой самостоятельности, всякаго знанія жизни, а потому и способною на всякія увлеченія. «Дъвушка развитая, говориль Добролюбовь, и привыкшая къ обществу, не поддалась бы пошлой Аринъ Оедотовнъ и не плънилась бы пустоголовымъ Вихоревымъ» (86). Но развѣ и самостоятельности характера, при полной развитости умственной дъвушка не можетъ увлечься, вопреки всему, человъкомъ, вполнъ ея недостойнымъ? Какъ бы въ такомъ случат поступилъ самый образованный и въ тоже время самый гуманный отець? Не счель ли бы онъ своимъ долгомъ всячески предостеречь свою дочь и не могъ ли бы онъ при этомъ, какъ живой человъкъ, именно изъ любви къ ней, даже дойти до вспыльчивыхъ выходокъ? Конечно, истощивъ всъ свои убъжденія, онъ бы не ръшился поступить насильственно, т.-е. просто запретить. Но развъ и Русаковь, послъ всъхъ своихъ грозныхъ ръчей, окончательно запрещаеть? «Она будеть любить всякаго мужа, говорить онь; надо найти ей такого, чтобъ ее-то любиль, да могъ бы понять, что это за душа... Душа у нея Русская». Говоря это, онъ, въроятно припоминаетъ себъ ея мать, сь которою жиль, по его словамь, душа въ душу, и у которой, на его взглядъ, тоже, должно быть, душа была Русская». Мы удивляемся, какъ это критика не придралась и къ такому его выраженію, какъ она не попрекнула его кваснымъ патріотизмомъ, національной исключительностью и мало ли чъмъ еще. Придралась же она къ словамъ Русакова про свою дочь: «она будеть любить всякаго мужа», тогда какъ въ нихъ заключается только указаніе на ея любящую душу вообще, достойную такой же любящей души, а вовсе не на то, что она способна любить по командъ. Любящею душою представляется старику и Бородкинъ, и чуткое сердце старика не ошибается въ немъ, какъ не ошибается въ другомъ смыслъ и въ приглянувшемся дочкъ Вихоревъ. Русаковъ въ этомъ отношеніи гораздо проницательное Потапа Максимыча (у Мельникова), хотя оба они одинаково обладають любящею душою и только съ виду представляются самодурами. Сама Авдотья Максимовна такъ же увърена въ своемъ отцъ, какъ Настя въ Потапъ Максимычъ. «Въдь онъ добрый», говоритъ про него Настя. - «Я скажу ему, что не люблю Бородкина, говорить про отца Авдотья Максимовна; онъ насильно не заставитъ». Правда, на возражение Вихорева: «а какъ онъ этого не послушаетъ, что тогда?» она отвъчаетъ: «я ужъ право не знаю, что мнъ дълать съ этимъ пъломъ, такая-то напасть на меня!» Добролюбовъ считаетъ такой отвътъ съ ея стороны идіотским (81); намъ же думается, что онъ вытекаетъ изъ ея привязанности къ отцу, изъ опасенія огорчить того, кто такъ любить ее и въ кого она даже и въ чаду своей несчастной страсти не перестаетъ върить. «Онъ меня любитъ, онъ мнъ не откажетъ», повторяетъ Авдотья Максимовна при другомъ свиданіи съ Вихоревымъ. Только каково мнѣ просить его объ этомъ, какъ бы вы знали»!

Между тъмъ, старикъ изъ короткаго разговора съ Вихоревымъ окончательно убъждается въ томъ, что это за гусь. Разговоръ такъ и обрисовываетъ обоихъ. «Вы, въроятно, захотите дать ей нъкоторое образованіе, говоритъ Вихоревъ, показать ей людей.... наконецъ, найти хорошую партію. А гдё вы это здёсь найдете»?—«Да что жь? развё здёсь звёри живуть? въ свою очередь спрашиваетъ старикъ. Чай, тоже люди.

Вихоревъ. Да развъздъсь васъ могутъ опънить, Максимъ Оедотычъ, развъ могутъ! Что вы говорите!

Русаковъ. Да что насъ цънить-то! Намъ этого не нужно. Ну ихъ, совсъмъ, и съ оцънкой-то! Былъ бы самъ по себъ хорошъ, а то про меня что хошь говори».

Право, достаточно однихъ этихъ последнихъ словъ, чтобы ото всей души полюбить Русакова.

Свои продолжающіяся льстивыя выходки Вихоревъзаключаетъ словами: «мнѣ хочется породниться съ вами, Максимъ Өедотычъ.... Ну, и чинъ у меня....

Русаковъ. Полноте, ваше благородіе, мы люди простые, тамъ пряники не писанные, гдт намъ! Втдь насъ только за карманъ и уважаютъ.

Вихоревъ. Полноте, Максимъ Өедотычъ, что за идея! Русаковъ. Право такъ, а то за что насълюбить-то?

Вихоревъ. За добрую душу.

Русаковъ. Такъ ли полно?

Вихоревъ. Я не понимаю, Максимъ Өедотычъ, у насъкакой-то странный разговоръ происходитъ.

Русаковъ. Не дъло вы говорите. Вы люди благородные, ищите себъ барышень.... воспитанныхъ, а ужъ нашихъто дуръ оставьте намъ; мы своимъто найдемъ жениховъкакихъ нибудь дешевенькихъ».

И вотъ послѣ такого-то многозначительнаго разговораем отца съ этимъ яснымъ соколомъ, Дуня рѣшается наконецъ сказать отцу, что безъ Вихорева ей «немилъ бѣлый свѣтъ»! Тутъ же какъ нарочно подвертывается и глупая тетушка, которая-таки содѣйствоваласвоимъ вліяніемъ всему этому увлеченію. «У васъ вѣдьодна дочь-то, говоритъ она», и этимъ попрекомъ выводитъ старика изъ терпѣнія. «Ты, сестра, молчи,—это не твое дѣло, говоритъ онъ. Дуня, не дури! Не печаль отца на старости лѣтъ. Выкинь блажь-то изъ головы. Отецъ лучше:

тебя знаеть, что дълаеть. Ты думаешь, ему ты нужна? Ему деньги нужны, дура!» Это, конечно, не деликатно, какъ не деликатно и следующее за темъ обращение его опять къ сестрицъ-совътчицъ: «ты еще, дура, тутъ своими разговорами дъвку съ толку сбиваешь, изъ ума выводишь. Оть тебя-то вся и бъда. Что у тебя вмъсто головы-то надъто? Кабы не твоя болтовня, смъла-бъ она такъ съ отномъ разговаривать?» Въ этихъ послёднихъ словахъ именно въ словахъ- опять самодурство во всемъ своемъ блескъ. Но тоти же старикъ, не много спустя, разжалобленный тъмъ, что дочь не перестаетъ твердить: «онъ меня любить», совствит уже кротко ей возражаеть:» охъ, Дунюшка, не върится мнъ. Ну, да вотъ мы это дъло узнаемъ», надумывается онъ. «Дѣдо-то простое. Я ему скажу, что за тобой ничего не дамъ; если любитъ, пускай такъ беретъ. Коди любить, возьметь и такъ». — Въдь это совсъмъ не то, что у Мельникова старикъ Масленниковъ, предлагающій себя въ женихи вмъсто сына, но готовый и устраниться, только съ тъмъ, чтобъ не дать сыну ничего, и тъмъ самымъ рѣшающій дѣло въ свою пользу. Русаковъ заботится не о себъ, а о своей дочери, когда придумываетъ такой върный способъ испытанія чувствъ ся милаго дружка. Право, и самый образованный изъ добрыхъ отцовъ не поступиль бы иначе въ подобномъ случать.

Между тыть критикь отнесся къ этому поступку Русакова совсыть произвольно: «Русаковъ, разжалобившись, говорить онъ, соглашается выдать ее за Вихорева (развы просто соглашается?) Зачыть? Съ какой стати? Выдь онъ, повидимому, вполны убыждень, что замужество за Вихоревымы составить гибель его дочери.... За нысколько минуть раньше....- онъ выказываеть свою твердость (твердость? но выдь критикь ее находиль самодурствомы), угрожая лишить дочь своего благословенія.... А туть вдругы уступка? Чыть она вызвана? Отчасти добротою сердца и отцовской любовью; но всего болые совершеннымы отсутствіемы прочныхы основы для принятаго имы прежде рышенія» (?) (стр. 100).

Авдотья Максимовна, не смотря на то ,что придумаль отецъ, просто уходить отъ него съ Вихоревымъ, и потомъ уже передаеть ему отдовскія слова. «Да это онъ вреть. онъ и денегъ дастъ», увъряетъ Вихоревъ. «Ну нътъ, не знаю: онъ у насъ что сказаль, то и свято. Опять же онъ на меня теперь въ сердцахъ, что я его не послушала: онъ ни за что не дастъ», гоноритъ она и такимъ образомъ, повидимому, сама же и выставляеть отца настоящимъ самодуромъ. Но неужели же въ самомъ дълъ этотъ его отказъ въ деньгахъ объясняется самодурствомъ? -- Какъ предвидълъ старикъ, такъ оно и выходитъ: безъ денегъ она не нужна Вихореву. Узнавъ, что она ушла, не вникнувъ въ его совътъ, не воспользовавшись тъмъ способомъ испытанія, который въ немъ заключался, старикъ не только огорченъ, но и обиженъ. Чтожь, неужели и въ этомъ чувствъ обилы сказывается самодурь? Неужели намъ приходится негодовать на него, а не сострадать ему, когда онъ въ слезахъ причитаетъ: «Дочка! не въкъ тебъ будутъ радости. Вспомнишь ты и обо мнъ. Кто тебя такъ любить будеть, какъ я тебя любиль? Поживи въ чужихъ людяхъ, узнаешь, что такое отецъ!... Диви-бы я съ нею строгъ былъ, или жалълъ для нея что? Я ли ее не любилъ, я ли ее не голубиль?» Едва ли мы имъемъ право негодовать на него даже и въ ту минуту, когда, при ея возвращении, онъ на первыхъ порахъ отъ нея отказывается. Въдь тутъ же еще и подвертывается Маломальскій съ извъстіемъ, что онъ «остановилъ молодца». Русаковъ и не думаетъ даже воспользоваться мыслію Маломальскаго: «онъ примърно теперь осрамиль девушку.... ну, и женись, мы заставимъ». Такимъ способомъ прикрытія гръха, какъ извъстно, пользуютсябезъ малъйшей, конечно, заботы о томъ, какова-то предстоить впереди жизнь для той, чье положение этимъ способомъ поправляютъ *). Русаковъ далекъ отъ того, чтобы

^{*)} Этоть способъ употребляется у Островскаго Карпомъ Карпычемъ въ сценахъ "Не сошлись характерами". "Третью племянияцу такъ отдаю, говорить онъ. Я всей родић благодътель".

воспользоваться такимъ способомъ. «Да мнѣ его и даромъ не надо, говоритъ онъ, не то, что насильно заставить. Осрамилъ, ну что жь, нашъ грѣхъ!... Да меня золотомъ осыпь, я на него и глядѣть-то не хочу, не то, чтобъ въ зятья взять». На новые уговоры со стороны Маломальскаго, что «теперича.... слухъ этотъ пойдетъ», старикъ по прежнему отвѣчаетъ: «что же дѣлать-то, согрѣшили. На себя пеняй». Онъ винитъ не ее одну, онъ винитъ и себя, всѣхъ ее окружающихъ, и кто знаетъ, что только ни проходитъ въ эту минуту черезъ его сѣдую голову? Это его «согрѣшили» въ своемъ родѣ напоминаетъ тотъ мірской поклонъ на всѣ стороны, съ какимъ преступникъ на лобномъ мѣстѣ обращается ко всѣмъ, говоря: «простите, православные»! Да, видно и у самого Русакова «душа-то Русская»!

Правъ ли, послѣ всего этого, критикъ, когда толкуетъ по своему и самый последній поступокь Русакова, то, что онъ, узнавъ о долгъ въ гостинницу, оставшемся на Вихоревъ. говоритъ Маломальскому: «ужь я за него заплачу, только бы убирался поскорте». Правъ ли Добролюбовъ, когда говорить, что Русаковъ дълаеть это «на радостяхъ, что урокъ не пропалъ даромъ для дочери и еще болъе укръпилъ въ ней принципъ повиновенія старшимъ». Но критикъ еще прибавляетъ: «какъ видите, и тутъ сказывается самодурный обычай: на милость, дескать, нътъ образца; хочу-казню, хочу-милую... Никто мнё не указъ, ни даже самыя правила справедливости» (Ш, 84). Полагаемъ, что критикъ тутъ совсъмъ не правъ, а вполнъ правъ Ап. Григорьевъ, говоря: въ комедіи «Не въ свои сани не садись» — «никакими разсужденіями вы не добьетесь отъ массы ни пониманія вреда отъ самодурства почтеннаго Максима Өедотыча Русакова, ни сочувствія къ чему либо иному, кромъ какъ къ положенію того же Русакова, къ простой и глубокой любви Бородкина и къ жестокому положенію бъдной дъвушки, увлеченной простотой своей любящей души, да совътами протестантки тетупіки» (462). Протестанткою называетъ онъ эту послъднюю, пронически становясь на

точку зрѣнія критики «Темнаго царства» (съ тою же иронією называеть онъ «протестанткой» и Липочку въ комедіи «Свои люди сочтемся»). Мы совершенно согласны съ Григорьевымъ и въ томъ, что масса въ этомъ случаѣ будетъ совершенно права.

Между тъмъ, не менъе строго, чъмъ къ Русакову, критикъ «Темнаго царства» отнесся и къ его дочери, и къ върнолюбящему ее Бородкину. «Трудно представить болъе жалкую дъвушку, говорилъ Добролюбовъ. Въ сущности, она даже скорбе комична, нежели жалка, такъ, какъ комична Софья Павловна съ своей любовью къ Молчалину... Но надъ Авдотьей Максимовной нельзя смъяться: обстановка ея слишкомъ мрачна... Бъдная дъвушка, въ самомъ дълъ, не виновата, что ее лишили всякой нравственной опоры внутри себя и воспитали только къ тому, чтобы въкъ ходить ей на привязи... Къ довершенію горя оказывается, что она еще и Бородкина-то любитъ, что она съ нимъ бывало встретится, такъ не наговорится... Да и теперь его жалбеть, но въ тоже время не можеть никакъ оторваться отъ мысли о необычайной красотъ Вихорева. Впрочемъ, она очень недовольна собой, и говоритъ: «На гръхъ я его увидъла». — Если во всемъ этомъ какъ будто бы проглядываетъ и некоторая снисходительность къ Авдоть В Максимовн , то критикъ окончательно строгъ къ ней, когда говорить: «доброта, лишенная всякой способности возмущаться зломъ, и тупая покорность судьбъ выражаются въ этихъ словахъ несчастной дъвушки (сказанныхъ отказывающемуся отъ нея Вихореву): «Богъ васъ накажетъ за меня, а я вамъ зла не желаю. Найдите себъ жену богатую да такую, чтобъ любила васъ такъ, какъ я; живите съ нею въ радости, а я дъвушка простая, доживу какъ нибудь, скоротаю свой въкъ, въ четырехъ стънахъ сидя, проклинаючи свою жизнь». И эта гуманно-патетическая тирада обращена къ Вихореву!» (83-84) Но не порицалъ же критикъ Дуню (въ «Бъдной Невъстъ») за болъе или менъе сходное отношение ея къ Беневоленскому, который, конечно, не лучше Вихорева! Напротивъ критикъ даже сочувственно относился къ Дунъ. Откуда же такіе двойные въсы? Чего ради также критикъ называлъ Авдотью Максимовну опозоренною? (21, 27). Въдь это противоръчитъ прямымъ сен словамъ Бородкину, сказаннымъ уже послъ того, какъ она вернулась отъ Вихорева: «я честная дъвушка, Иванъ Петровичъ,—я васъ обманывать не стану. Скажите вы это всъмъ и тятенькъ». Слова эти, какъ извъстно, радостно поражаютъ ея отца и сразу заставляютъ его пожалъть о сорвавшемся въ гнъвъ словъ. Или критикъ имълъ какое-нибудь основаніе менъе довърять искренности Авдотьи Максимовны, чъмъ довъряетъ ея отецъ? Едва ли въ комедіи есть какое-нибудь основаніе для того, чтобы подозръвать ее во лжи.

Мы не видимъ также никакого основанія для того, чтобы видъть со стороны Островскаго натяжку, когда Бородкинъ v него «объявляетъ желаніе взять за себя опозоренную дочь Русакова»? Правда, онъ рѣшается на это еще прежде, чемь убедился изъ словъ Авдотьи Максимовны, что она «честная дъвушка». Но онъ руководится тъмъ, что «ее-жь обидъли, да ее же и бранить. По крайней мъръ она у насъ, говоритъ онъ, будеть ласку видъть, отъ меня и отъ маменьки. Что жь такое, со всякимъ гръхъ бываеть. Не намъ судить!»-Критикъ, въ объяснение своего взгляда, говорилъ: «во всей пьесъ Бородкинъ выставляется благороднымъ и добрымъ по старинному; послъдній же его поступокъ вовсе не въ духъ того разряда людей, которыхъ представителемъ служитъ Бородкинъ. Но авторъ хотълъ приписать этому лицу всевозможныя добрыя качества, и въ числѣ ихъ принисалъ даже такое, отъ котораго настоящіе Бородкины, въроятно, отреклись бы съ ужасомъ». Но почему же такъ непремънно? Самъ Бородкинъ не видитъ въ своемъ поступкъ ничего особеннаго, - конечно, подъ вліяніемъ того, что онъ ее кръпко любитъ. Онъ очень просто говорить о своемъ поступкъ: «помилуйте, есть же во мнъ какое-нибудь чувство; я въдь не звърь, и во мнъ есть искра Божія!» Или, быть можеть, подобной искры такъ ужь вовсе не полагается людямъ «добрымъ по старинному»? Мы съ своей стороны полагаемъ, что она вполнъ возможна и у людей «стараго покроя», какъ возможно съ другой стороны и ея отсутствіе у людей покроя новаго.

Добролюбовъ въ заключение своей критики замътилъ, что «Островскій, намъренно или не намъренно, или даже противъ воли, показалъ намъ, что, пока существуютъ самодурныя условія въ самой основъ жизни, до тъхъ поръ самыя добрыя и благородныя личности ничего хорошаго не въ состоявіи сдёлать» (89). Мы же напротивъ думаемъ, что комедія его, помимо какой-либо умышленной поучительности, силою заключающихся въ ней вещей свидътельствуеть, что «искра Божія» можеть разгораться въ человъкъ наперекоръ всякимъ самодурнымъ условіямъ жизни и доходить наконецъ до такой «смълости добра», которой критикъ совершенно напрасно не видить «даже въ лучшихъ натурахъ комедій Островскаго» (116). Мы положительно видимъ такую смилость добра въ Бородкинф. Надъемся ее показать и въ одномъ изъ дъйствующихъ липъ ком. «Бъдность не порокъ», какъ бы ни казалось это лицо непригляднымъ.

Что касается главнаго дъйствующаго лица этой комедін, Гордъя Карповича Торцова, то Добролюбовъ, конечно, имълъ несомнънное право сказать, что это «уже самодуръ въ полномъ смыслъ. Онъ и крутъ, и гордъ, и разсудка не имъетъ, по отзыву жены его, Палагеи Егоровны. Цълый домъ дрожитъ передъ нимъ. Особенно грозенъ сдълался онъ съ тъхъ поръ, какъ подружился съ Африканомъ Савичемъ Коршуновымъ и сталъ «перенимать новую моду». -Она, эта «новая мода», слышна и въ томъ, что сулитъ онъ дочери, выдавая ее за этого ненавистваго ей вдовца: «ты, дура, сама не понимаешь своего счастья. Въ Москвъ будешь по-барски жить, въ каретахъ будешь вздить. Одно дъло: ты будеть жить на виду, а не въ такой глуши; а другое дъло-я такъ приказываю». Желая показать себя передъ будущимъ зятемъ, Гордей Карпычъ ему говоритъ: «въ другомъ мфств за столомъ-то прислуживаетъ молодецъ въ поддевкъ, либо дъвка, а у меня фицыянтъ въ нитя-

ныхъ перчаткахъ. Этотъ фицыянть, онъ ученый, изъ Москвы, онъ всв порядки знаеть: гдв кому свсть, что дълать. А у другихъ что! Соберутся въ одну комнату. усядутся въ кружокъ, пъсни запоютъ мужицкія. Оно, конечно, и весело, да я считаю такъ, что это низко, никакого тону нътъ». Жена его, какъ извъстно, другого мевнія. «Люблю по старому, говорить она, да по нашему по Русскому. Вотъ мужъ у меня не любитъ, что дълать, характеромъ такой вышелъ. А я люблю, я веселая... да, чтобъ поподчивать, да чтобъ мнъ пъсни пъли... да, въ родню свою: у насъ весь родъ веселый... пъсельники...». «Теперь все ему наше Русское не мило, жалуется она Митъ на мужа еще въ самомъ началъ комедіи; ладить одно: хочу по нынъшнему... Надънь, говорить, ченчикъ... Модное-то ваше, да нынфшнее, говорю я ему, каждый день мёняется, а русскій-то нашь обычай испоконъ въка живетъ». По претензіямъ на образованіе Гордъй Карпычъ напоминаетъ Липочку Большову. Про нее, право, можно бы было сказать тоже, что говоритъ Добролюбовъ про Гордъя Карпыча: «умъетъ извлечь изъ претензій на образованность только увеличеніе требованій и правъ своихъ, но никакъ не разширение своихъ собственныхъ обязанностей» (94). Въ этомъ отношения Торцовъ отчасти напоминаетъ нашихъ баръ XVIII ст., которые, нарядившись во Французскій кафтанъ, сочли себя имъющими тъмъ болъе права выжимать сокъ изъ «подлаго» народа.

Обращаясь къ тъмъ, кому приходится терпъть отъ самодурства Гордъя Карпыча, Добролюбовъ справедливо, конечно, замътилъ: «и въдь если бы еще, въ самомъ дълъ, сила неодолимая, натура высшаго разряда тяготъла надъ этими несчастными! А то вовсе нътъ!... Гордъй Карпычъ не только крайне ограниченъ въ своихъ понятіяхъ, но еще и трусливъ, и слабодушенъ. Это опять-таки неотъемлемое, неизоъжное свойство самодурства. Самодуръ дуритъ, ломается, артачится, пока не встръчаетъ себъ противодъйствія, или пока противодъйствія, или пока противодъйствіе робко и неръщительно. Но

у него нътъ такой точки опоры, которая могла бы полдержать его въ сердечной и продолжительной борьбъ (97). Если вы хотите служить и вести дъла честно, не бойтесь вступить въ серьёзный ръпительный споръ съ самодурами, ръщитесь заранъе, что вы на полусловъ не остановитесь и пойдете до конца, хотя бы отъ того угрожала вамъ дъйствительная опасность-потерять мъсто или лишиться какихъ нибудь милостей» (98). Все это прекрасно сказано и этимъ только указывается вообще на возможность не поддаваться средъ. Но въдь и Митя не желалъ бы поддаться. Правда, Митъ приходится только задаромъ хвалиться: «посажу ее въ саночки-самокаточки да и быль таковъ! Не видать тогда ее старому, какъ ушей своихъ, а моей головъ за одно ужъ погибать»!... Но если его слова непереходять въ дёло, то едва ли это объясняется его смиреніеми, т.-е. уступчивою искательностью ради своихъ выгодъ. Вспомнимъ коротенькій, но содержательный разговоръ его съ Гордъемъ Карпычемъ. «Ты бы вотъ сертучишко новенькій сшиль, говорить ему Торцовь. Въдь, къ намънаверхъ ходишь, гости бываютъ.... Срамъ! Куда деньги-то дъваешь?»—Маменькъ посылаю, потому она въ старости, ей негдъ взять». --«Матери посылаеть! Ты себя-то бы образиль прежде; матери-то не Богъ знаетъ, что нужно, не въ роскоши воспитана; чай, сама хлъвы затворяла». — «Ужь пущай лучше я буду терпъть, да маменька, по крайности, въ чемъ не нуждается». - Вотъ почему Митя только говорить: «Эхъ, дайте душъ просторъ — разгуляться хочеть! По крайности, коли придется и въ отвътъ идти, такъ ужь то буду знать, что потъшился». Не одна своя голова у него на плечахъ, и вотъ онъ призадумывается надъ тъмъ, въ чемъ заключается его собственное счастье. Но въдь это же и счастье другого существа, Любови Гордъевны? Да, но онъ знаеть ее: и счастье ей будеть не въ счастье. если онъ увезетъ ее противъ отцовской воли. Она, въ самомъ дълъ, сдается передъ самодурствомъ, хотя, кто знаетъ, все ли высказываеть она на словахъ, не гнъздится ли въ ея душъ и затаенная мысль все о той же Митиной матери?

И ждала бы отъ нея, пожалуй, судя по своему Митъ, всего побраго, да не бросить же Мить свою старушку, а чъмъ-то имъ будетъ жить втроемъ? Старушка уже дряхла, какъ-то еще Митя себъ отыщеть новое мъсто при возможности стачки между купцами, а Люба-то въдь ничему не обучена; въ этомъ, разумъется, она безгласная жертва самодурства, и мысль о трудь, въроятно, даже не приходить ей въ голову. Какъ бы то ни было, не мало разныхъ побужденій должно шевелиться у нея въ душт, не мало разныхъ мыслей проходить черезъ ея голову. Ап. Григорьевъ, умъя глубоко заглядывать въ разнородный составъ человъческой души, имълъ право сказать: «Любовь Гордъевна — одинъ изъ прелестнъйшихъ, хотя и слегка очерченныхъ женскихъ образовъ Островскаго, — не забитая личность, возбуждающая только сожальніе, а высокая личность, привлекающая все наше сочувствіе, какъ не забитыя личности ни Марья Андреевна» въ «Бъдной Невъстъ», ни Пушкинская Татьяна, ни Лиза (въ Дворянскомъ гнъздъ» - «ваша Лиза», какъ выразился Григорьевъ, придавъ своей критикъ форму письма къ Тургеневу). Быть, составляющій фонь широкой картины, взять — на всякія глаза кром'в глазъ теоріи - не сатирически, а поэтически, съ любовью, съ симпатіею очевидными, скажу больше — съ религіознымъ культомъ существенно народнаго». Да, быть туть взять, точно такъ-же, какъ Пушкинымъ, какъ Тургеневымъ. Изъ этого, конечно, не сявдуеть, чтобы все въ этомъ быту представлялось поэту разумнымъ. Пушкинъ, конечно, былъ далекъ отъ того, чтобы проповъдывать Русскимъ дъвушкамъ необходимость, по просьбъ матери, выходить непремънно замужъ за старыхъ генераловъ. Тургеневъ былъ не менъе далекъ отъ того, чтобы указывать Русскимъ дъвушкамъ на тихое пристанище въ монастырскихъ стънахъ. Такъ и Островскій вов се не рекомендуетъ прелестей брака со старымъ вдовцомъ, а только не караетъ своей Любови Гордъевны за то, что она не бъжить съ Митей, а въ грустномъ раздумьи не знаетъ, что ей дълать? Какъ хорошъ, какъ много-содержателенъ ея короткій разговоръ съ Коршуновымъ.

«Вотъ что скажу вамъ, драгоцѣнная моя барышня: молодые-то загуливать любятъ, веселости, да развлеченія, да дебоши разные, а жена-то сиди дома, жди его до полуночи. А пріѣдетъ-то пьяненькій, заломается, заважничаетъ. А старикъ-то все подлѣ жены такъ и будетъ сидѣть; умирать будетъ — прочь не отойдетъ....

- А васъ-то жена покойная любила?
- «А вамъ сударыня на что это?
- Такъ, хотълось знать.

«Знать хотълось?... Нътъ, не любила, да и я не любилъ ее. Она и не стоила того, чтобъ ее любить-то. Я ее взялъ бъдную, нищую, за красоту только за одну; все семейство призрълъ; спасъ отца изъ ямы; она у меня въ золотъ ходила.

- Любви золотомъ не купипь.

«Люби не люби, да почаще взглядывай. Имъ, видишь ты, деньги нужны были, нечёмъ было жить. Я давалъ, не отказывая, а мнё вотъ нужно, чтобъ меня любили. Что-жъ, я воленъ этого требовать, или нётъ? Я вёдь за то деньги платилъ. На меня грёхъ пожаловаться: кого я полюблю, тому корошо жить на свёте, а ужь кого не полюблю, такъ не пеняй»!

Отъ грозящей бѣдняжкѣ Любови Гордѣевнѣ золотой клѣтки спасаетъ ее близкій ей человѣкъ, но такой, на котораго ни она, ни Митя ужь, конечно, не разсчитывали. У Мити, какъ у сказочнаго Иванушки, душа широкая. Мало у него за душой, а нѣтъ, нѣтъ да и дастъ гривенничекъ Любиму Карпычу Торцову, родному брату своего хозяина, который его не хочетъ и знать за пропащую его жизнь. Любимъ Карпычъ, не имѣющій даже своего угла, скажетъ Митъ: «я ночевать къ тебѣ приду», и въ самомъ дѣлѣ придетъ, и ночуетъ. И вдругъ, безъ малѣйшаго разсчета съ Митиной стороны, пригодился ему Любимъ Торцовъ, какъ Иванушкѣ пригодилась какая-то птица, которой птенчиковъ онъ пригрѣлъ.

А въдь безпутный человъкъ Любимъ Карпычъ. Да, но онъ самъ больше всъхъ и чувствуетъ свое безпутство, и вотъ этимъ-то въ самомъ корнъ и отличается онъ отъ Африкана Карпыча, который когда-то точно также гулялъ, но котораго вывезло то, что онъ и надуть умълъ, и на надувательствъ соорудилъ себъ спасительную пристань, чтобы затъмъ къ ней пристать и зажить уже степенно, но широко, зажить въ роскоши на томъ берегу, на который ему удалось-таки выплыть.

«Остался я послъ отца, видишь ты, маль-малехонекъ, съ Коломенскую версту, лътъ двадцати несмышленочекъ» самъ на свой счетъ прохаживается Любимъ Карпычъ, исповъдуясь Митъ. «Въ головъ-то, какъ въ пустомъ чердакъ, вътеръ такъ и ходитъ. Раздълились мы съ братомъ: Себъ онъ взялъ заведеніе, а мнъ далъ деньгами, да билетами, да векселями. Ну, ужь какъ онъ тамъ раздёлилъне наше дъло, Богъ ему судья». Не желая судачить, обвинять другихъ, когда и самъ виноватъ, Любимъ Торцовъ не думаеть о томъ, что у братца, когда онъ взяль себъ заведеніе, а ему отдаль деньги, быль, можеть-быть, и разсчеть на то, что деньги легче спустить, а что заведеніе устойчивъе. Есть въдь и такая черта въ людяхъ она подмъчена психологіею народныхъ сказокъ-что люди не терпять чужого счастья, чужого благосостоянія, что даже братъ способенъ бываетъ глядъть на братнино счастье, какъ на какую-то помъху своему собственному. «Вотъ я и побхаль въ Москву по билетамъ деньги получать, -- продолжаетъ Любимъ. Нельзя не ъхать. Надо людей посмотръть, себя показать, высокаго тону набраться... Надобно до всего дойти! Первое дъло, одълся франтомъ, знай, дескать, нашихъ! То-есть такого-то дурака разыгрываю, что на ръдкость. Сейчасъ, разумъется, по трактирамъ... «Шпиленъ зи полька, дайте еще бутылочку похолодите». У него, видно, какъ и у брата Гордъя, было своего рода тяготънье къ цивилизаціи. Но Гордъй, разумъется, оставался совершенно чуждъ той артистической жилки, которая сказывалась въ культурныхъ вождельныяхъ Любима. Вотъ

эта-то жилка, быть можеть, и содъйствовала тому, чтобы не въ конепъ заглохло въ Любимъ то, что называется «искрой Божіей». — «Я все трагедію ходиль смотрёть, говорить онь, хотя и прибавляеть, можеть быть, и преувеличивая, въ порывъ самоосужденія, будто «не помнитъ ничего, потому что больше все пьяный». «Такимъ-то побытомъ, доходитъ до развязки Любимъ, деньжонки всъ я ухнуль; что осталось, довъриль пріятелю Африкану Коршунову на божбу, да на честное слово; съ нимъ же я пилъ да гуляль, онъ же всему безпутству заводчикъ, главный заторшикъ изъ бражнаго, онъ же меня и надулъ, вывелъ на свъжую воду. И сълъ я, какъ ракъ на мели ... Дъло дошло до того, что хоть петлю на шею. «Есть ремесло хорошее, по прежнему издъвается надъ своимъ положеньемъ Любимъ, коммерція выгодная-воровать. Да не гожусь я на это дъло - совъсть есть, опять же и страшно: никто этой промышленности не одобряеть». Сказаль было словечко и въ свою пользу, да сейчасъ-же и оговаривается, будто скоръе его удержали практическія соображенія. А въдь дъло-то именно въ томъ, что совъсть въ немъ не заснула, тогда какъ она спитъ и въ Коршуновъ, и въ Африканъ Карпычъ. Не сдълавшись воромъ, сдълался бъдняга Любимъ скоморохомъ. «Какъ прівдеть, говорить онъ, особенно кто побогаче, выскочишь, сдёлаешь колёнце, ну и дасть, кто пятачекь, кто гривну». Стыдно, однако, такъ жить. Не лучше ли взяться за трудъ?» — «Такъ ужь рѣшился, продолжаеть онъ, сходить Богу помолиться да идти къ брату, пусть возьметъ хоть въ дворники. Такъ и сдълалъ. «Бухъ ему въ ноги! Будь, говорю, вмъсто отца! Жиль такъ и такъ, теперь хочу за умъ взяться. А ты знаешь, какъ братъ меня принялъ? Ему, видишь, стыдно, что у него братъ такой. А ты поддержи меня, говорю ему, оправь, обласкай, я человъкъ буду. Такъ нътъ, говорить, куда я тебя дену. Ко мне гости хорошіе ездять, купцы богатые, дворяне; ты, говорить, съ меня голову снимешь». Ну, совершенно, какъ въ народныхъ сказкахъ. Только у Гордъя проступаеть и туть незнакомый имъ оттънокъ культурности. «По моимъ чувствамъ и понятіямъ. мнъ бы совсъмъ, говоритъ, не въ этомъ роду родиться, Я видишь, говоритъ, какъ живу: кто можетъ замътить, что у насъ тятенька мужикъ былъ». Въ этомъ смыслъ Гордъй напоминаетъ Алексъя Лохматаго, только тотъ не сразу, а постепенно, все болъе и болъе скатываясь внизъ, по мъръ того, какъ думаетъ подняться вверхъ, доходитъ до подобнаго презрънія къ своимъ, къ своему происхожденію. «Сразилъ онъ меня, какъ громомъ, говоритъ о братъ Любимъ. Съ этихъ-то словъ я опять сталъ зашибаться пемного. Ну да, я думаю, Богъ съ нимъ, у него вотъ ота кость толста». Но дъло не столько тутъ въ мъднолобіи, сколько въ заспавшейся совъсти. Впрочемъ, одно съ другимъ граничитъ.

Но вотъ, должно быть, провъдалъ Любимъ, что у Гордъя Карпыча уже и сговоръ съ Коршуновымъ. Жалость. должно быть, его разобрала, жалость къ племянницъ, жалость къ Митъ, смиренному въ самомъ хорошемъ смыслъ, не важничающему съ бъдняками и даже съ несчастными гулящими, доброму Митъ. Впрочемъ, Любимъ еще заранъе сказалъ послъднему про Гордъя Карпыча: «ну, да я съ нимъ пітуку сделаю; дуракамъ богатство — зло». И Любимъ Карпычь, въ своемъ обычномъ забубенномъ костюмъ. является вдругъ въ гостиной брата, не стыдясь его новой «небели» и его фицыянтовъ, да еще протягиваетъ руку Коршунову. «Я тебя, братецъ, номню, говоритъ тотъ, ты по городу ходилъ, по копъечкъ сбиралъ». — «Ты помнишь, какъ я по копъечкъ сбиралъ, а помнишь ли ты, какъ мы съ тобой погуливали, осеннія темныя ночи просиживали, изъ трактира въ погребокъ перепархивали? А не знаешь ли ты, кто меня разориль, съ сумой по міру пустиль?» Но Любимъ Торцовъ на этомъ не останавливается. Когда Гордъй, увидавъ его у себя, кричитъ ему: «что ты со мной дълаешь? вонъ сейчасъ», Любимъ и не думаетъ уходить, а преспокойно задаетъ Коршунову задачу: «отчего у осла длинныя уши», самъ же и ръшая ее затьмъ: «для того, чтобы всв знали, что онъ осель». Милому же братцу

Гордъю Карпычу задаеть онъ вопросъ: «честный ты купепъ. или нътъ? Коли ты честный, не водись съ безчестнымъ, не трись подлъ сажи—самъ замараешься». Сколько ни уговаривають его, у Любима одинъ отвъть: «не замолчу, теперь кровь заговорила! > Обращаясь къ входящимъ гостямъ, онъ обращается къ нимъ точно къ мірународу: «послушайте, люди добрые! Обижають Любима Торцова, гонять вонь. А чёмь я не гость? За что меня гонять? (не даромъ онъ еще раньше спросиль брата: «ты думаешь, пьянъ Любимъ Торцовъ? сознавая себя теперь трезвымъ, онъ сознаетъ въ себъ человъческое достоинство). Я не чисто одътъ, такъ у меня на совъсти чисто. Я не Коршуновъ: я бъдныхъ не грабилъ, чужого въку не заъдалъ, жены ревностію не замучилъ... Меня гонятъ, а онъ первый гость, его въ передній уголь сажають. Что жь, ничего, ему другую жену дадуть: брать за него дочь отдаетъ!» И Любимъ вправъ говорить о своей чистой совъсти-по крайней мъръ, сравнительно съ братомъ и его нареченнымъ зятемъ; онъ вредилъ и вредить лишь себъ, онь чужого выку не заподаль. Напрасно Коршуновъ увърнеть: «это онъ по злобъ на меня говоритъ спьяну». — «Я тебъ давно простилъ, спокойно отвъчаетъ Любимъ Торцовъ. Я человъкъ маленькій, червякъ ползущій, ничтожество изъ ничтожествъ! Ты другимъ-то зла не дълай», заключаетъ онъ, считая себя даже слишкомъ ничтожнымъ, чтобъ стоять за себя и мстить, но чувствуя себя «власть имущимъ», если онъ заступается за другихъ, за безвинную жертву родного отца. Сознавая въ себъ эту власть, онъ вдругъ вырастеть, онъ повелительно нравственно говоритъ. когда брать приказываеть его вывесть: «не трогать!» — «Хорошо тому на свътъ жить, у кого нътъ стыда въ глазахъ!» И видя, что все кругомъ, недоумъвая, молчить, онь уже со всею полнотою своего человъческаго достоинства заключаеть: «о люди, люди! Любимъ Торцовъ пьяница, а лучше васъ! Вотъ теперь я самъ пойду: шире дорогу!» Если върно, что отъ высокаго до смъшного часто бываеть всего одинь шагь, то туть выходить наобороть

что отъ смѣшного до высокаго тоже одинъ шагъ. Съ какимъ-бы изумленіемъ ни восклицалъ про Островскаго покойный Щербина: «зовутъ тебя Шекспиромъ Русскимъ», но онъ не имѣлъ ни малѣйшаго права обозвать нашего драматурга «гостинодворнымъ Коцебу». Смѣшное и высокое также жизненно-пограничны подчасъ у Островскаго, какъ и у самого Шекспира.

У Любима Торцова, по его словамъ, заговорила кровь. Но у него также заговорило и прирожденное человъку чувство правды. Съ такою же смълостью далъ ему впослъдствіи зазвучать Островскій — только на поприщъ неизмъримо-расширенномъ—зазвучать устами Минина:

Не самъ я говорилъ, кровь говорила.

Когда же вздумали ему пригрозить:

А скажуть замодчать, такъ замодчишь.

Онъ съ невозмутимою увъренностью отвътилъ:

Не замолчу. На то мят данъ языкъ, Чтобъ говорить,...

Во имя тъхъ же державныхъ правъ человъческаго языка, какъ органа Божьей правды, заговорилъ и не позволилъ себя остановить и Любимъ Торцовъ.

Онъ заговориль безъ опредъленнаго плана, безъ върнаго разсчета на то, чтобы, разобидъвъ Коршунова, заставить его разобидъть Торцова и такимъ образомъ стравить и затъмъ развести двухъ стакнувшихся самодуровъ. Но такъ оно выходить на самомь дълъ—и въ этомъ глубокая психологія нашей драмы (тутъ ужь не скажешь: комедія). «Шалишь», говорить любезному тестюшкъ Коршуновъ, «я даромъ себя обидъть не позволю. Нътъ, ты теперь придика ко-мнъ, да мнъ покланяйся, чтобъ я дочь-то твою взялъ». Но вотъ тутъ-то коса и находитъ на камень. «Я къ тебъ пойду кланяться?» гордо спрашиваетъ Гордъй. «Пойдешь, я тебя знаю», отвъчаетъ Коршуновъ. «Тебъ нужно свадьбу сдълать, хоть въ петлю лъзть, да только бъ весь городъ

удивить, а жениховъ-то нѣтъ. Вотъ несчастье-то твое». Но это выходитъ уже черезъ край. «Опосля этого, когда ты такія слова говоришь» отрѣзаетъ Гордѣй Карповичъ, «я самъ тебя знать не хочу. Я отродясь никому не кланялся. Я, коли на то пошло, за кого вздумается, за того и отдамъ! Съ деньгами, что я за ней дамъ, всякій человѣкъ будетъ». Тутъ, какъ разъ, входитъ Митя, и Гордѣй, расходившись, приговариваетъ: «вотъ за Митьку отдамъ!... Завтра же, да такую свадьбу задамъ, что ты не видывалъ: изъ Москвы музыкантовъ выпишу, одинъ въ четырехъ каретахъ поѣду».

Разнаго рода критики, по замѣчанію Добролюбова, возстали на автора за произвольность развязки. «Внезапная перемѣна Гордѣя Карповича, его ссора съ Африканомъ Савичемъ и вниманіе къ требованіямъ Любима Торцова показались имъ неестественными.» Самъ Добролюбовъ справедливо выступилъ на защиту Островскому, замѣтивъ: «одинъ самодуръ говоритъ: ты не смѣешь этого сдѣлать!» а другой отвѣчаетъ: «нѣтъ смѣю». Тутъ споръ идетъ уже о томъ, кто кого передуритъ» (99, 101).

«За Митьку, да!» продолжаеть Гордей хорохориться. «На зло ему, за Митрія отдамъ». Напрасно однакожь Митя, подъ вліяніемъ внезапной радости, сейчась и приняль эти слова за чистую монету. Да, напрасно онъ разчувствовался, говоря: «за чъмъ же на зло, Гордъй Карпычъ? Со зломъ такого дъла не дълаютъ. Мнъ на зло не надобно-съ. Лучше ужь я всю жизнь буду мучиться. Коли ужь есть ваща такая милость, такъ ужь вы благословите насъ, какъ слѣдуетъ, по родительски, съ любовію.... Какъ любили мы другъ друга и даже до этого случаю хотъли вамъ повиниться... А ужь я вамъ вмъсто сына, то есть завсегда, всей душой-съ». Чуть было онъ этимъ не испортилъ всего дъла. «Что, что всей душой?» Говоритъ Гордъй Карпычъ. «Ты ужь и радъ случаю! Да какъ ты смёль подумать-то? Что она, ровня, что ль, тебъ? Съ къмъ ты говоришь, вспомни!» Но не даромъ же раздалось смълое слово Любима Торцова. Много значить смѣлое слово, и не пропадаетъ

оно даромъ. Даетъ оно знать и другимъ, что нельзя молчать, подсказываеть оно и другимъ, что грубая сила должна же сдаться передъ правдивымъ словомъ. Заговорила и безгласная, безпрекословная Любовь Гордевна: «я, тятенька, вашей волъ не перечила. Коли хотите моего счасты. отдайте меня за Митю». Заговорила и Пелагея Егоровна: «что ты, въ самомъ дълъ, Гордъй Карпычъ, капризничаешь, да!... Я было ужь обрадовалась, насилу-то отъ сердца отлегло, а ты опять за свое... То скажещь за одного, то за другого. Что она тебъ, на мытарство, что ли, посталась?» Снова заговорилъ, выдвигаясь изъ толпы, бывшей свидътельницей всего предыдущаго, и Любимъ Карпычъ, заговорилъ ровнымъ, но проникающимъ въ душу голосомъ: «брать, отдай Любушку за Митю». Ужь напрасно теперь Гордъй Карпычъ думаетъ защититься отъ пересиливающихъ его-тъмъ, что ссылается на конфузъ, до котораго его довель Любимъ. «А ты еще съ совътами лъзешь», пытается онъ еще разъ отпихнуть его. Ужь пускай бы говорилъ человъкъ, да не ты».--«Да ты поклонись Любиму Торцову въ ноги, что онъ тебя оконфузилъ-то», несдаваясь, по прежнему, властнымъ тономъ ему говоритъ Любимъ, а Пелагея Егоровна отъ всей полноты сердца подхватываетъ: «именно, Любимушка, надо тебъ въ ноги поклониться.... да.... именно. Снялъ ты съ нашей души гръхъ великій; не замолить бы намъ его». - «Что жь, я-извергъ, что ли какой въ своемъ семействъ», начинаетъ совсъмъ сдаваться Гордей Карпычъ. «Изъ этого вы ужь замъчаете, сказано и у Добролюбова, что его начинаетъ пробивать великодушіе. Разъ ужь поставиль на своемь, прогнавъ Коршунова, и следовательно самолюбіе его удовлетворено покамёсть. Къ тому же онъ уже и утомленъ напряжениемъ, которое сдълаль, и не въ состояніи теперь снова собрать ту-же энергію для другой борьбы. А туть вибсть съ кроткими мольбами жены допекають его разсужденія и назойливыя просьбы брата Любима, который говорить съ нимъ смело и ръшительно, безъ всякихъ умолчаній, подкръпляя просьбы свои доказательствами, взятыми изъ собственнаго опыта». (102). «Посмотри на меня» говорить онь, «воть тебъ примъръ-Любимъ Торцовъ передъ тобой живой стоитъ. Онъ по этой дорожкъ ходилъ, знаетъ какова она (т.-е. дорога богатства безъ руководящихъ правилъ.) И я былъ богать и славень, въ каретахъ такия славень, въ славень, кидываль, что тебъ и въ голову не придеть, а потомъ верхнимъ концомъ да внизъ». Но Гордъй Карпычъ дълаетъ послъднее усиліе, чтобы отпихнуть его, говоря: «Ты мет что ни говори, я тебя слушать не хочу, ты мнъ врагъ на всю жизнь».— «Человъкъ ты или звърь, окончательно напираеть на него брать; пожальй ты и Любима Торцова». Тутъ и колъни невольно подкашиваются у Любима: онъ уже не бичуетъ и требуетъ, а слезно молитъ. Поднявшись на ту высоту человъческаго достоинства, на которую вдругъ его подняло занятое имъ положение глашатая правды, онъ, оглядываясь на себя, въ ужасъ приходить отъ предстоящаго ему возврата на прежнюю низменную линію, и хватается за Митино счастье, какъ за единственный якорь и для своего спасенія. «Братъ, отдай Любушу за Митю», причитаетъ Любимъ, онъ мнъ уголъ дасть. Назябся ужь я, наголодался. Лета мои прошли, тяжело ужь мнъ паясничать на морозъ-то изъ-за куска хльба; хоть подъ старость-то да честно пожить. Въдь я народъ обманывалъ: просилъ милостыню, а самъ пропивалъ. Мнъ работишку дадутъ; у меня будетъ свой горшокъ щей». У меня, хочеть онъ сказать, будеть то, чего ты не захотёль мнё дать, какъ бы мало оно тебё ни стоило; такъ дай же хоть другому-то дать мет, чего самъ не даль. А въдь Митя дасть. «Что онь бъдень-то? Эхъ, кабы я бъденъ быль, я бы человъкъ быль. Бъдность не порокъ»! Туть только стоить еще подсказать Пелагев Егоровнь: «неужели въ тебь чувства ньть?», —и Гордъя уже прошибаетъ слеза. «А вы и въ самомъ дълъ думали, что нъть»? спрашиваеть онь, поднимая брата. Не знаю, какъ и въ голову вошла такая гнилая фантазія.» Благословляя дочь и Митю, онъ даже велить имъ сказать спасибо дядъ Любиму Карпычу.

Драма кончается переходомъ опять въ комедію, благодаря развеселой выходкъ Разлюляева, которою онъ какъ бы утѣшаеть себя за то, что приходится уступить Митѣ Любовь Гордъевну, любимую имъ въ тихомолку. «Это онъ правду говоритъ: пьянство не порокъ... то бишь бъдность не порокъ... Вотъ всегда проврусь!»

Но замѣчательно, что точно также провиралась и извѣстная часть публики. Раздавались въ ней и такіе голоса, будто бы Островскій въ своей комедіи представиль нѣчто въ родѣ аповеозы разгула. Такое милое пониманіе дѣла, какъ старался показать Добролюбовъ, было своего рода отпоромъ тому дивирамбу въ честь Любима Торцова, который напечатанъ былъ въ видѣ стиховъ въ «Москвитянинѣ» 1854 г.

Поэта образы живые Высокій комикь въ плоть облекъ... Вэть отчего теперь впервые По всёмъ бёжить единий токъ, Воть отчего театра зала Оть верху до низу однимъ Душевнымъ, искреннимъ, роднымъ Восторгомъ вся затрепетала. Любимъ Торцовъ предъ ней живой Стоитъ съ поднятой головой, Бурнусъ напяливъ обветшалый, Съ растрепанною бородой, Несчаствий, пъяный, исхудалый, Но съ Русской чистою душой.

Комедія ль въ немъ плачетъ передъ нами, Трагедія ль хохочетъ вмѣстѣ съ нимъ,— Не знаемъ мы, и вѣдать не хотимъ. Скорѣй въ театръ! Тамъ ломятся толпами....

Но если стихи эти (едва ли не Ап. Григорьева) нъсколько туманны и нъсколько странны, то скрывающаяся въ нихъ мысль уже совершенно ясно и отчетливо высказана въ слъдующихъ строкахъ—уже не стихотворца, а критика: «Любимъ Торцовъ взобуждаетъ глубокое сочувствіе не протестомъ своимъ, а могучестью натуры, соединенной съ высокимъ сознаніемъ долга, съ чувствомъ человъческаго достоинства, уцълъвшими и въ грязи, глубиною своего раскаянія, искреннею жаждою жить честно, по-божески, по-земски» *).

Да, отъ Любима Торцова, какъ и отъ Потапа Максимыча (у Мельникова), въетъ незаглушеннымъ торговой средой духомъ общины! Отсюда-то и возможность того сближенія съ Мининымъ, которое мы позволили себъ выше.

Любиму Торцову, если върить словамъ самого Гордъя Карпыча, удалось довести брата до того, что онъ, разръшая жениться и своему племяннику Гуслину и предлагая встить просить у него, что нужно, становится «совстить другимъ человъкомъ». Но Добролюбовъ не върилъ подобному превращенію «расквасившагося» Горд'я Карпыча. «Какой широкій размахъ великодушія, подумаешь! говориль онь. Такъ и чуешь какого то восточнаго султана, который говорить: все въ моей власти!.. Стоитъ мнв мигнуть, и съ тебя голову снимуть; стоить сказать слово, и неслыханно роскошные дворцы вырастуть для тебя изъ земли. Проси, чего хочешь. Полміра могу взять и подарить, кому хочу» (102-103). И Добролюбовъ, конечно, правъ въ своемъ недовъріи къ совершившемуся въ Гордът Карпычъ перевороту. Вообще, гдъ только дъло касается прямого заправскаго самодурства, тамъ критика Добролюбова остается во всей своей силъ.

Но онъ захотълъ подвести подъ ту же формулу самодурства и драму «Не такъ живи, какъ хочется» (1855 г.), — а съ этимъ едва ли опять можно согласиться. Передъ нами произведеніе, которое уже самъ авторъ назвалъ «народьой драмой», а не комедіей и время дъйствія котораго онъ отодвинуль въ конецъ XVIII столътія. Это не мъшаетъ, конечно, драмъ воспроизводить передъ нами и

^{*)} Соч. Ап. Григорьева, I, 462.

нынъшнія черты купеческаго быта. Самодурство, и теперь существующее, коренится въ прошломъ. Только хотълъ ли авторъ въ своей драмъ указать на чъ на исторические его корни? Въ главномъ дъйствующемъ лицъ комедія, Петръ Ильичъ, «мы видимъ, говорилъ Добролюбовъ, безотрадность и безвыходность того положенія, въ которое онъ самъ и всъ, близко съ нимъ связанные, ввергнуты самодурнымъ бытомъ» (120). Но начнемъ съ отца Петра Ильича, зажиточнаго купца Ильи Ивановича. Лаетъ ли намъ авторъ какое нибудь основаніе полагать, чтобы онъ, крутостію своего обращенія съ сыномъ сызмальства, довель его мало-по-малу до реакцій, сказавшейся въ бурномъ образъ жизни? Мы видимъ Илью Ивановича уже старикомъ, отказавшимся отъ міра и его суеты. Но въдь самодурство, не смотря на это, должно бы было въ чемъ нибудь у него проглянуть, если бъ оно въ самомъ дълъ за нимъ водилось. Когда сынъ съ женою перекоряются у него на глазахъ, онъ говоритъ имъ: «что вы, при мнъ-то? Молчать»!-Далъе, онъ заключаеть свои увъщанія Петру словами: «вотъ тебъ-мой приказъ, родительскій приказъ грозный: опомнись, взгляни на себя»! Но въдь это-жь не что иное какъ, если можно такъ выразиться, народно обрядовыя формы родителькой власти. Вообще старикъ говоритъ не о покорности себъ самому, а объ обязательности закона, руководящихъ правилъ въ жизни. «Нешто я его такъ воспитывалъ»? спрашиваетъ онъ. «Извъстно, по своей волъ легче жить, чъмъ по закону, говоритъ старикъ; да своя-то воля въ пропасть ведетъ. Доброму одна дорога, а развращенному десять. Узкій и прискорбный путь вводить въ животь, а широкій и пространный вводить въ пагубу».... «Нешто я такъ жилъ, спрашиваетъ онъ. Молодъ, такъ и распутничать! Не для веселья мы на свътъ-то живемъ. Не подъ старость, а съ молоду добрыми-то дълами запасаться. Ты оглянись на себя: дома ты не живешь, знаешься съ людьми нехорошими, жену обижаешь».... «Тебя нешто кто неволилъ ее брать?» еще раньше спрашиваль онь сына ради большаго вразумленія. «Самь взяль, не спросясь ни у кого, украдучи взяль, а теперь она виновата. Воть пословица-то сбывается: «Божье-то кртико, а вражье-то лтико».... «И говорить-то мит тяжело, замтчаеть старикь.... Кабы разумь быль, а безъ разуму и ученье не въ прокъ». На легкомысленное замтчание Петра, что «на нтъ и суда нтъ», Илья Ивановичъ говоритъ: «а нтъ , такъ наберись у добрыхъ людей, да проси Бога, чтобъ далъ, а то какъ червь погибнеть». «Прощайте! заключаетъ старикъ. Коли будете жить хорошо, такъ приду о праздникъ, а до ттъ поръ не ходите ко мит, мит и такъ суета надотла».... «Помни, Петръ! передъ твоими ногами бездна отверстая».... «Порадуй меня, Петръ!» — Это ли языкъ самодура?

Если въ чемъ и можно винить старика, то развъ въ томъ, что онъ уже слишкомъ сторонится отъ своихъ отеческихъ обязанностей; высказался, -- да и опять на покой. «Придешь къ вамъ на недълю-то, ровно въ омутъ», говорить снъ въ самомъ началъ. «Я старый человъкъ, мнъ покой нуженъ, пора и свою душу вспомнить. Будетъ, пожилъ въ міру, всего насмотрълся, только дурного-то больще видёль, чёмь хорошаго». Это отзывается какимъ-то религіознымъ покоелюбіемъ, заботливостью, главнымъ образомъ, о своей душъ, — словомъ, тъмъ византійствомъ, о которомъ такъ върно отзывался Мельниковъ, указывая на его формалистическое бездушіе, на отсутствіе въ немъ дъятельной любви. При подобномъ направлении въры, безжизненномъ и формальномъ, и не оказывается настоящаго противовъса страстямъ. Петръ Ильичъ вполнъ предоставленъ на всю на ихъ волю. И окружающіе видять въ немъ какую-то стихійную силу, распоряжающуюся имъ на просторъ. «За гръхъ за какой нибудь наказанье экое Петру Ильичу, да за наше неумоленіе», говорить тетка Афимья. Въ увлечени такимъ фатализмомъ она говоритъ и его несчастной жень: «ты, видно, Даша, уже такая горькая зародилась, да вотъ и къ намъ-то несчастье принесла». Когда самъ Петръ говорить, точно будто бы следуя какому-то дикому принципу: «мнв что за двло, какъ люди

живуть; я живу, какъ мнъ хочется», то это въ сущности означаеть, что живеть онь, какь живется его страстямь, куда онъ его тянутъ, въ томъ онъ и тонетъ, какъ омуть. Онъ-человъкъ безудержа, пугающійся подчась самого себя, хотя и храбрится передъ отцомъ: «проживемъ какъ нибудь своимъ умомъ-не чужимъ». Женъ онъ въдь самъ говоритъ: «не поминай лихомъ, добромъ нечъмъ». А женился-то онъ на ней въдь добромъ, а не силою, т. е. не по приказу, не по родительской воль, а по своей собственной. Онъ ръщился ее увезти въ порывъ страсти, и потомъ въ порывъ такой-же страсти, только разомъ направившейся въ другую сторону, говоритъ Грушъ: «скажи ты мнъ теперь: загуби свою душу за меня! Загублю-глазомъ не сморгну». Когда Груша узнаеть, что онъ женать п отталкиваеть его, онъ хочеть приворожить ее съ помощью Еремки, приворожить такъ, чтобъ «не она надъ нимъ, а онъ надъ нею куражился, какъ душт угодно». Но и въ этомъ не властолюбіе, а только безсиліе жить безъ той, къ кому его тянетъ страсть и кого онъ потому-то и рвется привязать къ себъ. Вернувшись домой и грозя теткъ убить, своими руками задушить жену, онъ вдругъ говорить: «Страшно мнъ, страшно»! плачеть и просить ту же тетку състь съ нимъ, жалуясь, что его обижаютъ. «Самъ всему причиной, не на кого пенять», замъчаеть она. Но онъ и не споритъ: «я пьяница, говоритъ, я безумный, ну, убейте меня... Ну, убейте же, мит легче будеть. Кто меня пожальеть, а въдь я человъкъ тоже». А тамъ опять переходъ къ прежнему. «Гдъ жена? подай, подай жену! она моя жена, она моя раба»! Но въ этомъ словъ раба опять-таки сказывается не самодуръ, жаждущій власти, ради власти, а страстный человъкъ, требующій того, чтобъ не стояла она ему поперекъ дороги, чтобъ сама же теперь пришла и подставила грудь подъ его ножъ. «Я ее по слъду найду, приходить онъ въ изступленіе. Теперь зима, снъть, по слъду все видно, мъсяць свътить все равно, что днемъ». Хочетъ бъжать за ней, а самъ, между тъмъ, садится. «Страшно мнъ, страшно! Вотъ мятель поднялась...

Ужь такъ и гудеть! Вонъ завыла... вонъ, вонъ собака завыла. Это онъ на мою голову воютъ, моей погибели ждутъ. Ну и что жь войте! Я проклятый человъкъ... Я окаянный человъкъ»! Онъ, яко бы жаждущій надъ другими власти, не имъетъ ея и тъни надъ самимъ собою; онъ—только боящійся самого себя и самъ себя презирающій, жалкій рабъ своей владычицы—страсти.

«Г. Эстровскій, -- справедливо замітиль критикь «Русской Бестды», -представиль въ своей драмт страстность, какъ зло, воюющее противъ законнаго семейнаго начала, въ совершенную противоположность тъмъ Западнымъ романамъ и повъстямъ, гдъ выводится, наоборотъ, законное начало, какъ зло, губящее свободу и красоту личной жизни». Критику въ свое время сильно досталось за это, особенно же за то, что говориль онъ въ своей стать в романахъ Жоржъ Зандъ, разсматривая ихъ именно со стороны такъ называемаго «женскаго вопроса». Между тъмъ, что касается собственно Островскаго, то критикъ, кажется. достаточно выясниль свою мысль въ дальнъйшемъ ея изложеніи. «Въ этой драмъ, — говориль онъ, — взяты мужъ съ женою, соединившіеся по страстной взаимной привязанности, которая заставила ихъ забыть важныя естественныя обязанности: они обвънчались тайкомъ отъ родителей, не испросивъ на то ихъ благословенія». Между тъмъ, замътимъ мы отъ себя, ни изъ чего въдь не видно, чтобы родители имъ противодъйствовали, самовластно распоряжались ихъ судьбою, словомъ самодурствовали и собственно этимъ и вызвали ихъ побъгъ и бракъ въ тихомолку, не на людяхъ, безъ принесенья взаимныхъ обътовъ передъ міромъ-народомъ. «Но и послѣ своего соединенія, - продолжаетъ критикъ, - они не умъли развить своихъ отношеній въ истинно супружескія, оставаясь и въ брак' в страстными любовниками: тъ же самыя побужденія, по которымъ они соединились, въ дальнъйшемъ своемъ естественномъ развитіи привели ихъ къ разладу, который и данъ въ драмъ исходною точкою дъйствія в *). Критику

^{*) &}quot;Русская Бесьда" 1856 г., І. Критика, стр. 93-94. Ст. Т. И. Филиппова.

хотълось, очевидно, указать на то, что настоящій бракъ долженъ основываться не на пылкомъ увлечении страстью, а на осмысленной, строго нравственной, глубокой и прочной взаимной привязанности. При такой-то привязанности, помимо всякихъ законовъ о нерасторжимости, бракъ и на самомъ дълъ будетъ нерасторжимъ. Вотъ такой-то глубокой привязанности и не было между Петромъ и Дашей (по крайней мъръ съ его стороны), а потому между ними и нътъ настоящаго брака. Такой привязанности, разумъется, не оказывается и между Петромъ и Грушей, а потому, если бы даже, послъ смерти жены, Петру и можно бы было обвънчаться съ Грушею, и между ними все-таки не было бы настоящаго брака-не было бы даже и въ случат такого отличія его отъ брака съ Дашей, какъ существованье при немъ дътей. Да, настоящаго брака не было бы и туть, а были бы только несчастныя дёти которымъ пришлось бы только проклинать сульбу, если бы смерть не прибрала ихъ заранъе. Да, но если настоящаго брака при страстно-быстромъ его происхождении существовать не можеть, то не установится же онъ и вследствіе того что Даша, сама рёшившаяся бёжать отъ мужа къ родителямъ, возвращается ими мужу, такъ сказать, по принадлежности. Но старикъ Агафонъ, отецъ Даши, не принимаетъ этого въ толкъ, когда говоритъ: «какъ я возьму тебя къ себъ? въдь онъ мужъ твой!... Ты думаешь, мнъ тебя не жаль? Ну, воть всв вмъсть и поплачемь о твоемь горъ-воть и вся наша помощь!». Что онъ дъйствительно съ мягкимъ сердцемъ, на это авторъ указываетъ и теплыми словами его о своей лошадкъ: «отпрегъ, поставилъ на мъсто, съща даль. Животинку-то жальть надо, въдь она не скажеть». Ему ли же не пожальть своего дътища, которое сказало ему всю свою бъду, чтобы дождаться отъ него подпоры. При своей доброть, онъ не отталкиваеть ее за то, что она покинула своихъ родителей. «Я любовь къ ней имъю, -говорить онь, -- потому одна, а кого любишь, того и простишь.... Я и врагу прощу, я никого не сужу. Да развъ я одинъ судья-то? Богъ-то простить ли? Можеть оттого и

съ мужемъ-то дурно живетъ, что родителей огорчила. Какъ знать?». -- Старикъ, конечно, понимаетъ это въ смыслъ религіознаго фатализма, но это можно бы понять и въ такомъ смыслъ: не хватило семейнаго чувства въ одномъ отношеніи, можеть и въ другомъ не хватить. И въдь тогла оно будеть върно. Но, какъ бы тамъ ни было, если ужь не хватило, то не заведется же вдругъ теперь отъ такихъ логическихъ доволовъ: «отцы наши такъ жили, не жаловались-не роптали. Ужели мы умнъе ихъ? Поъдемъ къ мужу». Правда, водворивъ ее опять у него, старикъ прибъгаетъ еще и къ такимъ доводамъ: «ну, ты его оставишь, бросишь, а онъ въ отчаяние придетъ - кто тогда виновать будеть, кто? Ну, а захвораеть онь, кто за нимъ уходить. А застанеть его смертный чась, захочеть онъ съ тобой проститься, а ты по гордости ушла отъ него». Старикъ, видимо, хочетъ возбудить въ ней сознанье обязанностей относительно мужа, каковъ бы онъ ни былъ, милъ онъ еще ей хоть немного, или ужь и совстмъ не милъ. Но на все это, конечно, отвъты не трудны. Въ отчаяніе придеть? да въдь онъ ужь въ отчаяніи, и именно оттого, что она тутъ. Захвораетъ? но въдь ея-то ухода за собою онъ и не захочетъ. Застигнетъ его смертный часъ?-можно простить его и заочно, можно молиться и за умершаго. Не скоръе ли, именно оставивъ его теперь, она и дастъ ему прійти въ себя, о ней же современемъ вспомнить, къ ней же прійти съ повинной? Лучше развъ, что онъ теперь гонится за ней съ ножомъ, и готовъ дойти до слёдняго отчаянія - стать убійцею? Мы думаемъ даже, что и въ простомъ народъ нашлись бы родители, способные взять это въ толкъ и принять къ себъ снова дочь-хотя бы на время. Конечно, вполнъ возможны въ народъ и такіе, какъ Агафонъ со своей Степанидой, и авторъ во всякомъ случат правъ. Только дело тутъ вовсе не въ самодурствъ: родители Даши совсъмъ не похожи на самодуровъ. Все дъло тутъ въ несообразительности этихъ добрыхъ людей, держащихся не за духъ, а за букву закона.

Драма однакожь кончается счастливо, но изъ этого

еще вовсе не следуеть, чтобы ею, -- какъ выразился критикъ «Русской Бестды», — оправдались совъты Дашина отпа. Самъ же онъ находить, что въ развязкъ «Островскій показаль свою обычную слабость; онь не умфеть никогла свести своего дъйствія къ круглому заключенію. которое удовлетворило бы чувство читателя. Такъ случилось и здёсь: доведя дёйствіе до самой крайней точки драматическаго возвышенія, онъ круто повернуль его въ противную сторону и привелъ читателя туда, куда тотъ и не думалъ попасть» *). Мы не можемъ признать, чтобы развязки и вообще не удавались Островскому, мы находимъ, напримъръ (вопреки критику «Русской Бесъды»), что въ комедіи «Бъдность не порокъ» развязка не случайна, а исполнена психологической правды. Но, что касается нашей драмы, то развязка въ ней совершенно случайная. «Взяль я туть, пьяный-то, ножикъ, да и иду будто за ней... Мерещатся мнъ разныя диковины да люди какіе-то незнакомые, я за ними.... я за ними.... Спрашиваю, гдъ жена? Они смъются, да куда-то показывають. Я все шелъ, шелъ... вдругъ гдъ-то въ колоколъ.... Я только что подняль руку, гляжу-я на самомъ-то юру Москвы ръки стою надъ прорубемъ». Мы далеки отъ того, чтобы принимать этотъ колокольный звонъ такъ непосредственно, въ смыслъ мъди звенящей, какъ выставляется онъ у Добролюбова (24, 120, 150). Мы помнимъ, что значить въ народной поэзіи звоны колокольные, отм'вненные въ Кіев' идолищемъ. Они служатъ символомъ Христіанства, той его внутренней силы, которая освобождаетъ человъка отъ ига страстей. Въ такомъ то смыслъ подъйствовалъ колокольный звонъ и на Петра Ильича-въ смыслъ уже не обрядоваго только, но и жизненнаго значенія христіанства. «Жизнь-то моя, говорить онъ, прошлая-то, распутная-то, вся вотъ какъ на ладонкъ предо мной. Вспомнилъ я тутъ и батюшкины слова, что хожу я, злодъй, надъ пропастью. Вотъ они — правдивыя-то слова. Такъ оно и

^{*) &}quot;Р. Беседа" 1856 г. І, критика, стр. 95.

вышло! Ужь не забыть мнѣ этой ночи, кажется, до самаго гроба.... Помогите мнѣ, добрые люди, замолить этотъ грѣхъ».

Благо, конечно, Петру, что звонъ этотъ раздался такъ кстати. Но въдь онъ могъ бы и не раздаться во время. Могъ бы въдь Петръ Ильичъ и оступиться въ пропасть, могъ бы очутиться въ ней и въ другомъ смыслъ,—настигнувъ жену и убивъ ее; а въдь, если бы родители взяли ее къ себъ, и Груша, узнавшая все про него, окончательно прогнала его отъ себя (въдь она же къ замужеству стремилась, а оно съ Петромъ невозможно), то онъ бы, въроятно, пришелъ наконецъ въ себя и не подвергаясь ужасному искушенію — стать убійцей жены. Агафонъ, стало быть, только пользуется счастливымъ случаемъ, чтобы получить право сказать: «что, дочка, говорилъ я тебъ?».

Но къ чему же драмъ дано заглавіе: «Не такъ живи какъ хочется»? Конечно къ тому, что бы напоминалась и вторая половина пословицы: «а какъ Богъ велитъ». Смыслъ драмы, разумъется, все-таки тотъ, что прямая жизнь—это жизнь не по произволу страстей, а подъ начитіемъ нравственнаго закона.

По выполненію драма эта слабъе предыдущихъ. Многое въ ней только намъчено, недодълано, и правъ былъ Ап. Григорьевъ, называя ее «набросаннымъ очеркомъ широкой народной драмы» (стр. 463).

III.

"Доходное мѣсто". — "Въ чужомъ пиру похмѣлье".— "Не сошлись характерами".— "Бальзаминовская трилогія".

«Бывають въ «темномъ царствъ» и такіе случаи, что неразумные бъдняки женятся на бъдныхъ дъвушкахъ, — говорилъ Добролюбовъ. И тутъ-то начинается адъ кромъшный! Адъ этотъ хорошо изображенъ Островскимъ въ

«Доходномъ мѣстѣ» (1857); (143). Что тутъ дѣйствительно своего рода адъ, объ этомъ мы спорить не будемъ. Но чтобы и тутъ мы имѣли дѣло собственно съ самодурствомъ, это другой вопросъ, хотя бы даже и Ап. Григорьевъ относилъ эту комедію къ тѣмъ произведеніямъ Островскаго, многими сторонами которыхъ онъ какъ будто вызвалъ теорію о «Темномъ царствѣ» (466).

«Читатели,--продолжалъ Добролюбовъ,-конечно, помнять исторію молодого Жадова, который, будучи племянникомъ важной особы, раздражаетъ дядю своимъ либерализмомъ и лишается его благосклонности, а потомъ, женившись на хорошенькой и доброй, но бъдной и глупой Полинъ, и потеривыми нъсколько времени нужду и упреки жены. приходить опять къ дядъ -уже просить доходнаго мъста. Изложение семейныхъ отношений и указание ихъ вліянія на общественную дёнтельность представляется намъ лучшею стороною этой комедіи». Мы съ этимъ вполнъ согласны; но въ чемъ же заключаются эти семейныя отношенія и ихъ вліяніе на общественную дъятельность? Дядя Жадова, Вышневскій, человъкъ, достигшій «степеней извъстныхъ», думалъ, женившись уже одряхлъвшимъ старикомъ, привязать къ себъ молодую жену великолъпною отдълкою дома, постройкою дачи и такимъ множествомъ брилліантовъ, которымъ она могла бы затмить любую купчиху. Онъ зашель такъ далеко, что, ради всего этого, «рискнуль, по его собственному выраженію, болье, нежели позволяло благоразуміе». Жена, въ отвътъ на его напоминанія о подобныхъ, принесенныхъ для нея, жертвахъ, просить его «не дёлать ея участницею его поступковъ, если они не совствить честны». Въ своемъ обращении съ нею онъ вовсе не самодурствуетъ, онъ готовъ даже за ней ухаживать, разсчитывая только на то, что «долгъ платежомъ красенъ». Онъ принадлежитъ къ тому великому множеству пріобрътателей любви за деньги всякими незаконными и законными средствами, во всякихъ незаконныхъ и законныхъ формахъ, которыми полнится не только невъжественный и грубый, но и просвъщенный и деликатный

міръ. Онъ-одинъ изъ представителей того «дряхлаго любодъйства» подъ фирмою брака, которое бичевалось когда-топоэтомъ Бенедиктовымъ, и не думавшимъ при этомъ о самодурствъ. «Оглянись вокругъ себя,-говоритъ Вышневскій Жадову:--какая умная дёвушка задумается выйти замужъ за богатаго старика, или урода? Какая мать усомнится выдать дочь такимъ образомъ, даже противъ ея воли, считая слезы своей дочери за глупость, за ребячество, и благодаря Бога, что онъ посладъ ея Машенькъ или Аннушкъ такое счастіе. Каждая мать напередъ увёрена, что дочь послё будетъ благодарить ее». Такая маменькина практическая философія, пожалуй, и отзывается «всею родительскою волею», но въдь въ основъ тутъ не самое удовольствіе отъ ея проявленія, а ложное понятіе о счастіи-счастіи той же самой дочери. Да и сколько наконецъ дочерей, которыя, даже и при образованіи, легко поддаются внушеніямъ маменьки, а подчась и по ственной волъ выходять за какую-нибудь руину, подталкиваемыя иногда нуждою, иногда же и безъ особенной нужды разсчетомъ на особенный комфортъ при надеждъ на скорую смерть супруга и близость полученія безъ него его хорошей пенсіи. Вышневская, правда, вышла за своего мужа не по собственной воль. «Вы видьли, — говорить она ему, -- мое отвращение къ вамъ, и, несмотря на это, вы, все-таки, купили меня за деньги у моихъ родственниковъ, какъ покупаютъ невольницъ въ Турція». «Вы,-продолжаетъ она, - свою покупку - не скажу: освятили, - нътъ, а закрыли, замаскировали бракомъ. Иначе нельзя было; мои родные не согласились бы, а для васъ все равно». Она, какъ выходитъ изъ этого, только при узаконенной формъ сожительства, таже Шиллеровская Леди Мильфордъ, которой пришлось выбирать одно изъ двухъ-или броситься въ воду, или сдаться на предложенія герцога. Это, говоря другими словами, все таже «Сонечка, въчная Сонечка. пока свъть стоить», Сонечка, положительно выходящая за предълы нашего «темнаго царства», возможная при всевозможныхъ усовершенствованныхъ формахъ быта и

при всякихъ степеняхъ образованія. Вышневской, совершенно подобной леди Мильфордъ, только поставленной въ менѣе важную сферу, приходится затѣмъ говорить своему щедрому обожателю: «что со мной было потомъ, когда я узнала, что даже деньги, которыя вы мнѣ дарите — не ваши, что онѣ пріобрѣтены не честно» (Шиллеровскій герцогъ пріобрѣталъ ихъ продажею рекрутовъ, Вышневскій менѣе человѣко-убійственнымъ, но также нечистымъ способомъ).

Ну, а каковы же тъ семейныя отношенія, въ какія вступаеть Жадовъ? Ужь съ его то стороны не имъется и малъйшаго стремленія къ подкупу, какъ и малъйшей на то возможности. Мать действительно желаетъ сбыть съ рукъ своихъ дочекъ, но онъ въдь и сами совершенно входять во вкусь ен родительскихъ наставленій: «мужьямъ потачки не давайте, такъ ихъ поминутно и точите, чтобы деньги добывали; а то облънятся, потомъ сами плакать будете... Вамъ теперь, дъвушкамъ, еще всего сказать нельзя; коли случится что, прівзжайте прямо ко мнв, у меня всегда для васъ пріемъ, никогда запрету нътъ». Она далека отъ того, чтобы, по самодурному обычаю «темнаго царства», проповъдывать полнъйшую подчиненность мужу. «Развъ онъ у меня такъ жили, --попрекаетъ она Жадова. У меня порядокъ, у меня чистота. Средства мои самыя ничтожныя, а все-таки онъ жили какъ герцогини, въ самомъ невинномъ состояніи; гдт ходъ въ кухню не знали... только и занимались, какъ следуетъ барышнямъ, разговоромъ объ чувствахъ и предметахъ самыхъ облагороженныхъ». «Плачь, плачь, несчастная жертва!» обращается она къ Полинъ, считая ее несчастною въ замужествъ съ Жадовымъ. Такъ ли говорять въ «темномъ царствъ»?-Все туть, пожалуй, и не менъе мерзко, не уже въ другомъ родъ.

Вліяніе такихъ семейныхъ отношеній на общественную д'вятельность, разум'вется, самое пагубное. Вышневская стала открещиваться оть щедрыхъ приношеній своего старика, но онъ уже усп'влъ приплатить за нихъ тою

цѣною, ради которой приходится ему наконецъ свалиться со своей высоты. Жадова требуетъ приношеній отъ своего молодого мужа, и онъ, уступая ей, идетъ искать себѣ доходнаго мѣста. Такъ ли, ради того-ли кривятъ совѣстью въ темномъ царствѣ? Вѣдь тамъ мошенничаютъ просто ради себя, ради набиванія своей мошны, а если иногда и ссылаются на выходъ замужъ какой нибудь дочки, то потому, что обрядъ, такъ сказать, требуетъ приданаго и на него по крайней мѣрѣ изыскиваются экстренныя средства.

«Любопытна-продолжаеть Добролюбовь, -внутренняя, душевная сторона жизни этихъ людей, которыхъ мы оффиціально такъ презираемъ и клеймимъ названіями крючкотворцевъ и взяточниковъ. Здесь въ полной силе выразилось одно изъ главныхъ свойствъ таланта Островскагоумънье заглянуть въ душу человъка и изобразить его человъческую сторону независимо отъ его оффиціальнаго положенія... Благодушіе и особаго рода совъстливость взяточниковъ рисуются нъсколькими бъглыми чертами еще въ «Бъдной Невъстъ» въ лицъ добряка Добротворскаго. Но въ «Доходномъ Мъстъ» черты эти гораздо ярче въ Юсовъ и Бълогубовъ. Лица эти прямо наводять насъ на мысль, что всв ихъ беззаконія — чисто-следствія ложнагоихъ положенія въ обществъ и ложныхъ понятій, пріобрътенныхъ вследствіе фальшивости положенія. А ложное положение ихъ есть опять-таки последствие одной общей причины всёхъ гадостей «темнаго царства» — самодурства». Что касается Юсова, то онъ дъйствительно даже добродушно наивенъ въ минуту своего маленькаго трактирнагоразгула съ Бълогубовымъ, когда пускается въ плясъ и говорить: «мнъ можно плясать. Я все въ жизни сдълаль. что предписано человъку. У меня душа спокойна, сзади ноша не тянетъ, семейство обеспечилъ-мет теперь можно плясать. Я теперь только радуюсь на Божій міръ! Птичку увижу, и на ту радуюсь, цвътокъ увижу, и на него радуюсь... Я хоть на площади передъ всёмъ народомъ буду плясать. Мимоходящіе скажуть: «сей человъкъ пляшеть, должно быть, душу имфеть чисту!» И пойдеть всякій по

своему дълу». Только не достаеть того, чтобы онъ уподобиль свою веселость библейскому плясанію перель ковчегомъ завъта. Но въдь черты такой же добродушной наивности можно бы отыскать и у Гоголевскихъ «крючкотворцевъ и взяточниковъ». Это объясняется узостью ихъ кругозора, тъмъ, что въ сознаніи своихъ обязанностей они ръшительно не идутъ далъе семьи, что общество для нихъ совершенно не существуетъ. Потому то мы и назвали (въ особой статьъ) міръ этихъ «крючкотворцевъ и взяточниковъ» міромъ «отрозненной личности». Но міръ этотъ все же отличень отъ міра самодуровь, въ которомъ власть становится пріятною уже сама по себъ, какъ власть. Для Гоголевскихъ героевъ, какъ и для тъхъ, которыхъ вывелъ Островскій въ «Лоходномъ М'єсть», она прежде всего «прикладная сила», надежное средство для доставленія имъ и ихъ близкимъ всякихъ жизненныхъ благъ.

«Гордости во мнѣ нѣтъ, — говоритъ Юсовъ, — гордость ослёпляеть. Мнё хоть мужикь, я съ нимь, какъ съ своимъ братомъ... все равно, ближній... По службъ нельзя... особенно верхоглядовъ не люблю, нынёшнихъ образованныхъ-то». Они не любы ему особенно потому, что скорже другихъ способны приглядываться къ дъламъ начальства и оцвнивать эти двла, что ихъ труднве привести къ той безгласной субординаціи, которая нужна туть не столько сама по себъ, ради доставляемаго начальству удовольствія, сколько ради удерживанія этимъ способомъ отъ всякаго разсужденія о начальствъ. Впрочемъ Юсовъ, если върить его словамъ, держитъ въ особаго рода субординаціи и своего генерала: «весь въ моихъ рукахъ, -- говоритъ онъ, -что я скажу, то и будетъ». Но и такая, такъ сказать, моральная власть надъ начальствомъ, мила ему не сама по себъ, а ради прикладныхъ цълей, опирается же эта власть, какъи у Гоголевскихъ героевъ, на томъ, что «рука руку моетъ», да еще и на томъ, что Юсовъ великій дълецъ, а его генералъ, при всей своей «геніальности». «въ законт не совствъ твердъ, изъ другого въдомства». Юсовъ, стало быть, много значить у Вышневскаго по той же самой причинъ, по какой Фамусовъ въ свое время нуждался въ Молчалинъ: и старый подчиненный Вышневскаго и молодой подчиненный Фамусова держатся тъмъ, что они «дъловые».

Добролюбовъ въ своемъ разборъ «Доходнаго мъста» такимъ образомъ опредъляетъ систему господствующаго, по его мнѣнію, и туть самодурства: «будь хоть семи пядей во лбу, но если вамъ не нравится, то останется въ ничтожествъ; и самъ виновать, зачъмъ не умълъ заслужить вашей милости» (146). На самомъ же дълъ, въ основаніи туть вовсе не голый произволь съ его причудами, съ возможностью безпричиннаго перехода отъ гнвва къ милости, какъ то бываетъ въ царствъ истаго самодурства. Тутъ въ основъ всего – прикладныя цъли. Нравится тотъ, кто не можеть мъшать ихъ осуществленію, кто напротивъ изъ кожи лѣзетъ, чтобы помочь начальству, и самъ, конечно, разсчитывая при этомъ на выгоду. Люди «семи пядей» не удобны тъмъ, что не ограничиваются одною «дъловитостью», а идуть гораздо дальше ея, что у нихъ есть тотъ «главный умъ», который не позволяетъ имъ потакать всякаго рода «дълишкамъ», что они обладаютъ нравственною чистоплотностью.

Но что же такое Жадовъ? въ самомъ ли дълъ онъ человъкъ «семи пядей», потому то и противный Вышневскимъ и Юсовымъ, своего рода Чацкій, потому то и объявляемый сумасшедшимъ, что слишкомъ въ немъ много того ума, который въ житейскихъ дълахъ причиняетъ горе? Мы ставимъ такой вопросъ, считая міръ Вишневскихъ и Юсовыхъ не чъмъ инымъ, какъ міромъ Фамусовыхъ и Молчалиныхъ. Жадовъ, какъ и Чацкій, является въ этомъ, конечно, «темномъ», но не прямо самодурномъ, міръ представителемъ образованія. Только Жадовъ уже черезъ-чуръ простодушный его представитель, это какаято наивная институтка во фракъ. Онъ точно будто затъмъ и выставленъ, что бы воздержать отъ тъхъ слишкомъ большихъ надеждъ собственно на образованіе, которыя сказывались, какъ мы видъли, и у Добролюбова. «Не

върю я вамъ», говорить онъ, наслушавшись дядюшкиныхъ ръчей о непрактичности тъхъ «завиральныхъ» идей, которыя вынесь Жадовъ изъ университета. «Не хочу върить тому, что общество такъ развратно». «Неужели это правда?» спрашиваетъ онъ дядю и во время его разсказа про людей практическихъ, пренебрегающихъ общественнымъ мнтніемъ, и получаетъ лаконическій отвъть: «поживи, такь узнаешь». «Для чего же насъ учили, -- спрашиваетъ онъ того же дядюшку, -- для чего же въ насъ развивали такія понятія, которыхъ нельзя выговорить вслухъ безъ того, чтобы вы не обвинили въ глупости или дерзости». Для чего же въ самомъ дълъ его учили, если онъ остался такимъ ребенкомъ, не въдающимъ общественнаго зла? Иля чего же его учили, если его все же смущають обвиненія въ глупости или дерзости со стороны такого лица, какъ Вышневскій? Другими словами: для чего же его учили, если онъ ищетъ себъ покровителя въ такомъ человъкъ, пользуясь близкимъ родствомъ съ нимъ и разсчитывая, стало быть, на предполагаемую въ немъ Фамусовскую готовность «порадъть родному человтчку». Въдь Жадовъ не въ силу только дальнъйшихъ тяжелыхъ обстоятельствъ видитъ себя вынужденнымъ обратиться къ дядюшкъ; въдь онъ уже въ самомъ началъ комедіи взываеть къ его протекціи: «Я получаю очень мало жалованья, мнф нечфмъ жить. Теперь есть ваканція; позвольте мнѣ занять ее, я женюсь». Вѣдь онъ темъ самымъ какъ бы прямо напрашивается на такой отвътъ, съ основательностью котораго долженъ бы сущности согласиться: «ты мой родственникъ, сочтуть лицепріятіемъ». Вышневскій, конечно, только замаскировываетъ этимъ тъ другіе резоны, по которымъ онъ не хочетъ пристроить къ себъ Жадова; но онъ замаскировываетъ ихъ очень ловко, такъ какъ Жадовъ, если бы онъ дъйствительно не даромъ учился университетской мудрости, не могъ бы, конечно, искать себъ мъста у дяди. Съ другой же стороны, одно то, что онъ сразу ръшился такой шагъ, давало бы дядюшкъ достаточное основание не считать племянничка такимъ опаснымъ человъкомъ.

«Ты во мнъ ищешь, значить рано или поздно ты совствиъ сдащься передъ требованіями жизни со всею своею отвлеченною университетскою мудростью», могъ бы тутъ же сообразить дядя. Онъ могъ бы въ самомъ дълъ не дожидаться пятаго акта, а въ самомъ началъ сказать про Жадова: «Вотъ они герои-то! Молодой человъкъ, который кричаль на встхъ перекресткахъ про взяточниковъ, -- говориль о какомъ-то новомъ поколеніи, идеть къ намъ же просить доходнаго мъста, чтобы брать взятки». Если подъ конецъ Жадовъ дълаетъ болъе ръшительный шагъ по практическому пути, говоря о мъстъ, гдъ бы онъ могъ «пріобръсть что нибудь» и разумъя подъ пріобрътеніемъ, пожалуй, и прямо взятки, то вёдь и въ самомъ началё онъ уже становится на тотъ же путь, не гнушаясь исканіемъ у взяточника мъста, хотя бы такое искание и не мъщало ему высоко держать годову и воображать себя непреклонно честнымъ. Вышло ли оно такъ невольно, безъ умысла автора, или же Островскій и хотёль намь выставить Жадова съ самаго начала уже сдающимся и затымь только воображающимъ себя жертвою обстоятельствъ, съ которыми онъ будто бы долго боролся? Трудно дать на это положительный отвътъ, и такая неясность составляетъ, конечно, слабую сторону комедіи. Въ жизни же, разумфется, вполнф возможно и, попытавшись въ самомъ дёлё постоять за принципъ, измънить ему при первой встръчъ съ враждебными обстоятельствами, и, только воображая себя последователемъ принципа, съ первыхъ же щаговъ на жизненномъ поприщъ дъйствовать ему вопреки. То и другое вполнъ возможно и при значительной степени образованія, но при недостаточномъ развитіи силы воли или же полномъ ея недостаткъ. Точно также возможно и при образованіи такое ребяческое увлечение страстью, какое мы видимъ у Жадова относительно его, въроятно, красивой, но препустъйшей Полины. И этимъ, замътимъ мы, обращаясь назадъ, кидается свъть и на то увлечение смазливымъ, но пустъйшимъ Вихоревымъ, какое видъли мы со стероны Авдотьи Максимовны. Въдь если можетъ ребячески увлекаться мо-

лодой человъкъ, вскормленный университетской наукой, то, чтобы объяснить ребяческое увлечение необразованной дъвушки, вовсе не приходится указывать на отсутствие самостоятельности, на неумънье собой владъть и върно судить о людяхъ, какъ на последствія самодурнаго гнета. Какъ бы то ни было, увлеченье Жадова, конечно, вполнъ возможно, но громко свидътельствуетъ о томъ, что подобныя увлеченія, не предотвращаемыя образованіемъ, прямо мъшаютъ общественному служенію. Въдь ради своей Полины Жадовъ и идетъ, еще будучи женихомъ, къ Вышневскому, чтобы указать ему на открывшуюся ваканпію, и даже не сознаеть, что туть уже становится искателемъ протекціи у вліятельнаго и далеко не безгрѣшнаго родственника, т.-е. туть уже делаеть подлость. Женитьба съ последовавними за нею попреками молодой жены, требующей того, чего не позволяють Жадову его средства, ваставляеть его опять пойти къ дядъ и уже прямо указать ему на такое мъсто, на которомъ можно бы было пріобръсть что нибудь, т.-е. женитьба доводить его до ръшительнаго паденія. Послъ этого по-неволь приходится согласиться со словами его пріятеля Мыкина: «и тебъ надобно было жениться! Нашему брату жениться не следь. Где ужь намъ, голякамъ! Сытъ, прикрытъ чъмъ нибудь отъ вліянія стихій, и довольно. Знаешь пословицу: одна голова не бъдна, а хоть и бъдна, такъ одна». Въ словахъ этихъ такой же точно смыслъ, какъ и въ обращении Пушкина къ придирчивому цензору, ссылающемуся на то, что у него семья:

> Жена и дётя, другь, большое зло, Оть нихъ все скверное у насъ произошло.

Да, но какъ же тутъ быть? Съ одной стороны, при необдуманномъ бракъ, перспектива если не непремънно разгула съ горя (не всъ же оказываются и до того ничтожными, подобно Жадову), то перехода на соблазнительную дорогу такъ называемой практичности;—съ другой, при отреченіи отъ брака, перспектива соблазновъ слу-

чайной, такъ сказать, воровской любви, перспектива слълаться причастнымъ той человъкоубійственной жертвъ, которая называется «Сонечкой, въчною Сонечкой»! Какъ же, въ самомъ дълъ, съумъвъ отказаться отъ одного, съумъть отказаться и отъ другого? Въдь и туть опять ръшительно не поможетъ никакое образование, Съумътъ это, въдь значить туть — совладать съ этимъ; туть нужна сила воли. А откуда набраться ея, если, во имя «последняго слова науки», насъ увъряють, что и воли то вовсе нътъ, т.-е. что воля вовсе не зависить отъ самого человъка? Но въдь при такомъ, пожалуй, и вполнъ логичномъ выводъ изъ всякихъ положительныхъ данныхъ, жить нельзя, т.-е. нельзя по-челов вчески жить, а остается только погрязнуть въ Обломовіцинъ, или въ Жадовщинъ, «Отъ равнодушія не далеко до порока», върно замъчаеть Жадовъ. Но равнодушіе неизбъжно, если никто изъ насъ не отвътственъ въ своихъ дъйствіяхъ. Да, и столько же неизовженъ и порокъ, если мы заранве будемъ увврены въ такой его неизбъжности. Вотъ такимъ-то образомъ и выходить, что Жадовь, говорившій съумъвшему отлично устроить себя передъ бракомъ съ Юлинькой Белогубову: «не пара мы», точно будто старается дать ему право сказать: «нъть, пара»! -- Вся разница между ними въ томъ, что Бълогубовъ и на словахъ исповъдуетъ то, что проявляеть на дёлё, а Жадовь уметь произносить такія громкія фразы: «борьба трудна и часто пагубна, но темъ больше славы для избранныхъ: на нихъ благословение потомства; безъ нихъ ложь, эло, насиліе выросли бы до того, что закрыли бы отъ людей свъть солнечный». — И онъ разсыпаеть этоть свой бисерт передъ Полиною, для того. чтобы она сказала ему: «ты, --сумасшедшій, право, сумасшедшій!»—Върнъе бы было, конечно, сказать ему: «ты болтунъ, право, болтунъ», сказать даже и послъ его заключительныхъ словъ: «я буду ждать того времени, когда взяточникъ будетъ бояться суда общественнаго больше, «отвнаоколу смар

Изъ міра «взяточниковъ и крючкотворцевъ», міра Гого-

девскаго, только освъщеннаго у Островскаго значительно иначе, чемъ у Гоголя, мы снова переходимъ въ міръ самодуровъ, касаясь небольшой комедіи: «Въ чужомъ пиру похмёлье». Нигдё, по мнёнію Добролюбова, «безсилье и внутреннее ничтожество самодурства не выдается съ такою поразительною яркостью», какъ именно туть. «Туть, по его же словамъ, есть все: и грубость, и отсутствіе честности, и трусость, и порывы великодущія—и все это покрыто тупоумною глупостью»... Такая глупость положительно невозможна въ мірѣ «крючкотворцевъ и взяточниковъ». Мы считаемъ ее, впрочемъ, не совсъмъ возможною и въ мірѣ самодуровъ, и полагаемъ, что Островскій дошель туть, какъ доходиль иногда и Гоголь, до каррикатуры. Обрисовавъ Тита Титыча Брускова, какъ грознаго владыку въ своей семьъ, Аграфена Платоновна, квартирная хозяйка учителя Иванова, дорисовываеть его такими чертами: «Насчеть плутовства-онь, точно, старикъ хитрый, но хоть и плутовать, а человъкъ темный. Онъ только въ своемъ семействъ свиръпъ, а то съ нимъ что кочешь дълай, -- дуракъ дуракомъ на пустомъ спугнуть можно»... «И дъйствительно, замътилъ Добролюбовъ, изъ пьесы оказывается, что всё слова Аграфены Платоновны справедливы. Она же сама, ни съ того, ни съ сего, беретъ съ Брускова, зашедшаго на квартиру Ивановыхъ, тысячу цълковыхъ за росписку, въ которой сынъ его, Андрей Титычъ, объщается жениться на дочери Иванова. Росписка эта и сама по себъ ничего не значить (хотя, прибавимъ мы, и писана на гербовой бумагь), да Ивановъ съ дочерью и не знають о ней и претензіи никакой не им'єють; все это сама хозяйка устраиваеть, желая ихъ облагодътельствовать... Но Брусковъ, какъ темный человъкъ, вполнъ освоившійся съ обычаями «темнаго царства», не входитъ ни въ какія спображенія. Во-первыхъ онъ всегда готовъ къ тому, что его обманутъ, такъ какъ онъ самъ готовъ обмануть всякаго. Поэтому, прочитавъ бумажку, показанную ему Аграфеной Платоновной, онъ преспокойно замъчаеть: «это, то есть, на счеть грабежу. Ну, народець!»

Затъмъ, какъ извъстно, онъ соглашается стать жертвою этого грабежа, повъривъ на слово Аграфенъ Платоновнъ, что ему-же тутъ можеть предстоять и судебная расправа, а онъ боится суда, зная за собою разнаго рода гръшки. Мы думаемъ однако, что, какъ онъ ни глупъ, а, по самой своей профессіи, заставлявшей его вести дъла, онъ никакъ не можеть повърить въ силу такой нелъпой росписки, хотя бы она и была написана на гербовой бумагъ, заплатить за нее деньги и затъмъ, въ утъщенье себъ, усъсться у Аграфены Платоновны, чтобы хоть «поругаться за свои деньги», да еще заявить и такую претензію: «вы меня хоть поподчуйте чёмъ за мои деньги». Но вёдь дёло и этимъ не ограничивается. Выпроваживаемый не одною Аграфеною Платоновной, но и самимъ расходившимся Ивановымъ, онъ унимаетъ его, говоря: «я въдь ничего, я такъ-тучу съ тобой... выпьемъ вмъстъ, пріятели будемъ, что ссориться-то». Когда же Ивановъ не унимается, а входить только въ пущій азарть, Тить Титычь и самь опять начинаетъ ругаться, замътивъ Иванову: «ишь ты какой сердитый». Все это, по нашему мнънію, совершенно неправдоподобно, хотя и можетъ смъшить такихъ зрителей, которые ходять въ театръ собственно ради смъха. Совсъмъ другое дёло, когда онъ, придя въ себя, велитъ Захару Захарычу, пьянчужкъ приказному, «писать такое прошеніе, что-бы троихъ человъкъ въ Сибирь сослать по этому прошенію» (т. е. Иванова съ дочерью и квартирную ихъ хозяйку). «Я, говоритъ, такъ хочу и никакихъ денегъ для этого не пожалью». Туть передь нами дъйствительный самодуръ, самоувъренно сознающій ту власть, которая заключается въ его деньгахъ. Но вотъ приходитъ къ нему самъ Ивановъ, узнавшій между тъмъ все дъло, приносить деньги, взятыя Аграфеной Платоновной, и просить назадъ росписку. «Деньги! ты деньги принесъ? вопрошаетъ въ недоумъньи Титъ Титычъ. Что за диковина такая. Деньги назадъ принесъ!» И, мъря чужіе поступки на свой аршинъ. обращается къ своему приказному: «Захарычь, какъ ты думаешь, взять деньги, али нътъ? Обману нътъ-ли?» За-

харычъ находитъ возможнымъ взять деньги, но не совбтуетъ отдавать росписку, и Тить Титычъ отказывается это сдълать. «Онъ, должно быть, для того деньги-то и принесъ, разсуждаетъ нашъ самодуръ, чтобы росписку выручить, а потомъ за нее вдвое заломить. Ему мало показалось. Надувательная система». Но несчастный Ивановъ. которому и въ самомъ деле тутъ вышло «похмелье въ чужомъ пиру», совсёмъ растерявшись послё того, какъ отдалъ деньги впередъ, объясняется совершенно чистосердечно: «нътъ, я потому деньги принесъ, что намъ чужихъ не надобно... мы живемъ бъдно, мы живемъ своими трудами... мы смирно живемъ. Я вамъ еще денегъ принесу. сколько у меня есть... Я достану, заработаю». То бросаясь на Тита Титыча, то становясь передъ нимъ на колъни, добрый отецъ, готовый на все, чтобы спасти только доброе имя своей дочери, жалобно причитаеть: «отдайте, отдайте! Я не выйду безъ этого! Какъ мнъ показать глаза дочери! Это сдълала глупая хозяйка. Развъ моя Лиза можеть? Она плачеть теперь... Да что я говорю! Гдв я говорю объ ней! Я съ ума сойду»! Кого не разжалобитъ, кого наконецъ и не вразумить такой голост? Имъ разжалоблены не только причастный этому дёлу молодой Брусковъ, но и его мать. Этимъ голосомъ наконецъ вразумленъ и старикъ Брусковъ. Онъ догадывается наконецъ, что «это хозяйка обработала.» Но, вразумленный, онъ и разжалобленъ въ свою очередь, только, какъ и подобаетъ въ подобныхъ случаяхъ истому самодуру, пытается щегольнуть способностью и свеликодушничать, говоря: «я не въ тебя», отдавая наконецъ росписку. Тутъ опять, оставляя каррикатуру, Островскій переходить въ такой драматизмъ, которымъ искупаются недостатки комедіи. Намъ кажется, что Добролюбовъ совершенно напрасно пытался подвести подъ огульную глупость этой исторіи и самого Иванова. Если только допустить, что такая росписка могла быть взята (а Добролюбовъ допускаетъ это), то Ивановъ могъ поступить только такъ, какъ въ самомъ дёлё и поступилъ. Добролюбовъ же удивлялся тому, что Ивановъ,

убиваясь, «требоваль даже не уничтоженія росписки, а ея возвращенія, что ему вовсе не нужно, и только возбужлаеть справедливыя подозрѣнія въ Брусковъ». Между тѣмъ Иванову именно и нужно возвращение росписки, нужно для того, чтобы самому ее разорвать и имъть возможность сказать дочери, что онъ разорваль ее своими руками. Даже самъ Титъ Титычъ къ концу этой сцены, (а ею кончается и комедія), подъ вліяніемъ охватившей его жалости, до извъстной степени просвътляется и смысломъ, говоря: «деньги и все это-тлѣнъ, металлъ звенящій! Помремъ-все останется». Ставъ-же на дорогу великодушничанья, онъ, въ силу косности, и далъе идеть по ней, давая сыну 150.000 и приказывая ему: «поважай къ учителю, проси, чтобъ дочь отдаль за теби. Онъ человъкъ хорошій». Оставаясь однако же истымъ самодуромъ, старикъ не можетъ при этомъ не выразиться и такъ: «мое слово законъ». Онъ не можеть не думать, что слово его -- законъ, не только для его сына, но и для учителя, «Какъ онъ смъетъ не отдать, когда я этого желаю», говоритъ Брусковъ, впрочемъ, какъ будто одумавшись, сейчасъ-же и прибавляетъ: «если онъ отдасть за тебя, ты лучше мнъ и на глаза не вайся». Въ этомъ, конечно, опять нътъ догики-но въдь онъ-же и остается самодуромъ.

Нъсколько лътъ спустя (1863) Островскій вернулся къ тъмъ же Брусковымъ — отцу и сыну—въ сценахъ изъ Московской жизни, озаглавленныхъ «Тяжелые дни». Андрей Титычъ является тутъ передъ нами все еще холостымъ, изъ чего и можно заключить (что, впрочемъ, и безъ того было ясно), что у Ивановыхъ онъ получилъ отказъ. «Тяжелые дни» выпадаютъ тутъ на долю самого Тита Титыча. Сынъ его Андрей Титычъ разсказываетъ занимающемуся частными дълами чиновнику Досужеву: «маменька послали къ тятенькъ, они теперь въ судъ по дълу, такъ чтобъ домой "вмъстъ. А то, пожалуй, уъдутъ куда съ судейскимъ да и загуляютъ... Къ тому же ныньче маменька не пускали тятеньку въ судъ, потому ныньче понедъльникъ — тяжелый день, а маменька этому очень

въруютъ; ну, а тятенька-то не послушались, такъ маменька еще больше боятся». На повърку выходить, что маменька боялась не даромъ. Тятенька не только загуляли, но еще и барина прибили-барина, по выраженію Андрея Титыча, настоящаго. Дело въ томъ, что «тятенька въ Марьиной рощъ встрътили знакомую компанію, человъка четыре подрядчиковъ: какіе то могарычи запивають Тутъ ужь и пошло! Шенпанскаго сразу ящикъ потребовали; цыганокъ пъть заставили». И это бы еще ничего, только вздумалось кому-то изъ судейскихъ предложить качать титеньку. «Качали, качали, да и уронили... Ушибить-то не ушибли, только ужь очень тятенька въ сердце вошли»... Вотъ тутъ какой-то, втершійся въ компанію, баринъ и наскочилъ на тятеньку подъ пьяную руку, «а тятенька, ужь извъстно, много разговаривать не станутъ; должно быть, его раза два и ударили». Въ результатъ оказалось, что обиженный запросиль за безчестье ни больше, ни меньше, какъ триста тысячъ. Конечно, почему и не запросить, сътхать въдь можно всегда и на малое. Все зависить отъ того человъка, который поведеть дъло. Только Тить Титычъ, не сдержавъ своего сердца ретиваго, прогналь отъ себя преемника Захара Захарыча, новаго своего приказнаго, Мудрова, за то, что тотъ запросилъ за веденіе діла пять тысячь. Воть туть и пригодился знакомый его сынку Досужевъ. Сцена переговоровъ съ нимъ выставляеть намъ самодурство уже во всей его несомнънной, неописанной красотъ. «Зачъмъ же ты и стряпчій, говорить ему Тить Титычь, колиты не можешь оправить человека? А ты такую кляузу напиши, чтобъ я быль не виновать ни въ чемъ». А Досужевъ все-таки указываеть ему на необходимость помириться. «Да ты съ къмъ говоришь, возражаетъ Титъ Титычъ. Учить, что ли, ты меня пришель у меня-то въ домъ? Хочу буянить, и буяню; нешто ты мнъ заказать смъешь? Вотъ я ужь Андрюшкъ задамъ, чтобъ онъ этакихъ стрекулистовъ ко мнъ не водилъ». Но сколько ни хорохорься Титъ Титычъ: «я тебя и знать не хочу», Досужевъ преспокойно ему отвъчаетъ: «радъ бы не хотъть, да нельзя. . Перцовъ далъ подписку, что діло съ тобой прекращаеть и подписку эту отдаль мнъ. Теперь я, что хочу, то съ тобой и сдълаю. Захочу, отдамъ ее тебъ, и дъло кончено; а не захочу, подадимъ на тебя завтра прошеніе и упрячемъ тебя въ смирительный». Дѣлать нечего, приходится—ладить «А ты имъй сколько нибудь совъсти, говорить Досужеву старый самодурь, не грабь меня. Грабить-то не хорошо». Но выходить, что Досужевь вовсе и не намфренъего грабить. «Во первыхъ, говорить онъ, сто цфлковыхъ Перцову за обиду». — «Это ничего. Это по чести, недорого! сознается Тить Титычь и даже съ удовольствіемъ замічаетъ»: «Это и въ другой разъ, коли случится». Но что же потребуеть Досужевь самому себъ? «Мнъ много надобно» пугаеть онъ Тита Титыча, а съъзжаеть на то, чтобы онъ поскоръе женилъ сына на Кругловой. Тить Титычь опять за свое-какъ это смёють ему указывать? Но и Досужевъ въдь за свое же: «надо сейчасъ къ полицмейстеру ъхать». Приходится самодуру сдаваться — сдаваться, да не сознаваться. «Ты не подумай, говорить онь, что это я тебя послупаль! Это я самь. А если бъ не самъ, и никто бъ меня на свътъ... Слышишь ты, я самъ... Я хочу, чтобъ Андрюшка женился на Кругловой, такъ тому и быть. Никто мев ни указывать, ни приказывать не смъеть. Что хочу, то у себя дома и дѣлаю».

А Андрюшка тому и радъ. Наконецъ-то послалъ ему Богъ такого радътеля. А было въдь такъ, что отецъ то велить ему жениться на Кругловой, котя она и совсъмъ не богата, то опять развелитъ, говоря: «этакое несчастіе въ домъ, а ты женишься». Только при помощи Досужева и вышли наконецъ для Андрюши легкими тяжелые отцовскіе дни.

Едва ли въ какой другой изъ своихъ комедій Островскій до такой степени уличилъ во всей его безшабашной пошлости настоящее самодурство.

Но вотъ передъ нами тѣ картины Московской жизни, которыя озаглавлены: «Не сошлись характерами» (1858).

Тутъ мы видимъ уже столкновеніе купеческаго и чиновничьяго міровъ, столкновеніе, развязывающееся далеко не къ выгодъ послъдняго — при всей его относительной цивилизованности. Сыну прожившагося старика въ большихъ чинахъ, благовоспитанному и безупречно одъвающемуся Полю, нужно жениться, для поправленія своихъ дълъ, на богатой вдовъ-купчихъ. И онъ благополучно женится. Зато, когда онъ въ первый разъ просить у жены, для поправланія своихъ дёлъ, пять тысячь, то выходить у него по пословиць: первый блинь да комомъ. увзжаеть къ папенькв, а ему оставляеть письмо съ отказомъ и съ такой философіей: «что я буду значить, когда у меня не будеть денегь?-тогда я ничего не буду значить. Когда у меня не будеть денегь-я кого полюблю, а меня, напротивъ того, не будутъ любить. А когда у меня будутъ деньги, - я кого полюблю, и меня будутъ любить, и мы будемъ счастливы». Такая философія уже заранъе сложилась въ головъ у Серафимы Карповны и удостоилась одобренія ея родителя, который, каковъ онъ тамъ ни будь, а все же гораздо путнъе Поля. Этотъ последній весь выражается въ обращеніи къ своей мамаіпе: «позвольте, татап, поблагодарить васъ за двѣ вещи: вопервыхъ, за то, что вы промогалимое состояніе, а во-вторыхъ, за то, что воспитали меня такъ, что я никуда не гожусь».

Съ Полемъ же, только самаго мелкаго сорта, встръчаемся мы и въ лицъ Бальзаминова, жизнь котораго воспроизведена Островскимъ въ цълой комической трилогіи: «Свадебный сонъ до объда» (1857), «Свои собаки грызутся, чужая не приставай» (1860) и «За чъмъ пойдешь, то и найдешь» (1860).

Бальзаминовъ, какъ тотъ же Поль, только совсѣмъ уже безъ изящества, весь вылился въ своихъ словахъ: «не отъ зависти я хочу жениться на богатой, а отъ того, что у меня благородныя чувства. Развѣ можно съ облагороженными понятіями въ бѣдности жить? А коли я не могу никакими средствами достать себѣ денегъ, значитъ, я дол-

жанъ жениться на богатой». Онъ даже придаетъ своимъ вождельніямь видь какой-то не то общественной, не то государственной философіи: «какая это обида, что все на свъть такъ не хорошо заведено! Богатый женится на богатой, бъдный-на бъдной. Есть ли въ этомъ какая справедливость? Одно только притъснение для бъдныхъ людей. Еслибъ бъ я былъ царь, я бы издалъ такой законъ, чтобъ богатый женился на бъдной, а бъдный на богатой: а кто не послушается, тому смертная казнь»*). Между тъмъ, онъ непроходимо глупъ, гораздо глупъе Андрюши Брускова, который, конечно, тоже не изъ умныхъ, если подписывается подъ извъстною намъ подсунутою ему роспискою, не понимая, что этимъ ставить въ ложное положение любимую имъ дъвушку. Если Андрюша, при всей своей недальности, жалуется: «учиться захотёль, такъ и то не велёли», то въдь и Бальзаминовъ жалуется на «недостатки въ себъ, въ образованіи». Съ Полемъ сближаетъ Бальзаминова ихъ принадлежность не къ купеческому міру, а къ міру такъ называемыхъ господъ (хотя Бальзаминовъ если и господинъ, то очень ужь мелкой сошки). Оба же они сближаются съ Андрюшей Брусковымъ общимъ положениемъ сватающихся горе-богатырей. Но Бальзаминовъ богатырь изъ наиболъе трусоватыхъ. Онъ боится какъ задорной ладони, такъ и цепныхъ собакъ на невестивыхъ дворахъ. Чтобы себе придать куражу, онъ готовъ бы, однако, поступить въ военную службу, говоря: «сколько бы я ни прослужиль, въдь у меня такъ же время-то идетъ, зато офицеръ. А теперь что я? Чинъ у меня маленькій, притомъ же я человъкъ робкій, живемъ мы въ сторонъ необразованной, шутки з дъсь все такія неприличныя, да и насмъшки.... А вы только представьте, маменька: вдругь я офицерь, иду по улицѣ смѣло; ужь тогда смѣло буду ходить; вдругъ вижу-сидить барышня у окна, я поправляю усы»....

Первый романъ Бальзаминова, чиновника 25 лѣтъ, разыгрывается въ домѣ купеческой вдовы Ничкиной, за

^{*) &}quot;Зачемъ пойдешь, то и найдешь", картина 1, явл. 4-ое.

семнадцатильтнею дочкой которой, Капочкой, онъ ухаживаеть, при содъйствіи свахи Красавиной, проходящей черезъ всю трилогію. Красавина умфеть занимать Ничкину слухами о царъ Фараонъ, который «сталъ по ночамъ изъ моря выходить, и съ войскомъ покажется, и опять уйдеть», а равно и о той «кометъ-ли, планидъ-ли», про которую «ученые разсчитали по пифрамъ, въ какой день и въ какомъ часу она на землю сядеть». Между такими то разговорами, она нътъ, нътъ да и завернетъ словцо про Бальзаминова. И романъ увънчался бы счастлиной развязкой, если бы не принесло невъстина дядю, Неубденова. Не даромъ уже при одномъ его появленіи Капочка говорить: «теперь все въ дом'т на Русскій манеръ пойдеть. Ахъ, я чувствую свою судьбу; разстроить онъ маменьку. Ну, какъ да онъ научить маменьку отдать меня за купца съ бородой! Тогда я умру отъ любви». (Видно, Капочка такая же пивилизованная, какъ Липочка Большова). Неубденовъ-это такой же представитель совствит ужь не самодурства, а дильности, какъ Смуровъ въ «Утрі молодого человіка». Онъ великолітнъйшимъ образомъ отбояриваетъ глупаго жениха съ его карманными вождельніями. Когда Бальзаминовъ говорить о людяхъ, которымъ «въ мечтахъ все представляется богатство, и даже во сит снится», Неутденовъ замъчаетъ: «а по моему-такому человъку, который не умъетъ достать ничего, не то, что въ богатствъ жить, а и вовсе жить незачьмъ». — «Куда же ихъ двить-то?» простодушно спрашиваеть маменька Бальзаминова. -- «Въ черную работу, землю копать, отвъчаеть Неуъденовъ. Это дъло всякій умъетъ. Сколько выработалъ, столько и денегъ бери». — «Я воть за сестру теперь очень опасаюсь, начинаеть онъ уже отъ себя; -- подвернется ей фертикъ въ фрачкъ съ пуговками, или какой съ эполетками, а она съ дуру-то и обрадуется, какъ ни въсть какому счастью. Дочь-то отдастънужды нътъ, а вогъ денегъ-то жалко», заключаетъ онъ,повидимому, совстмъ безсердечно. Но приглядитесь внимательнее, и Неуеденовь окажется правъ. «Коли счесть, говорить онь, сколько наша братія, по своей глупости,

денегъ раздала за дочерьми разнымъ аферистамъ, такъ право сердце повернется. Что добра-то бы можно на эти деньги сдёлать. Боже мой! Эти деньги, я такъ считаю. у общества украдены». Дядюшкины выходки приводять наконецъ въ негодование Капочку: «вы, дяденька, оттого такъ разсуждаете, говорить она, что вы необразованы». «Именно, мой другъ, необразованы, преспокойно отвъчаетъ дяля. Не одна ты это говоришь. Вотъ и тъ голые-то, которыхъ мы од вали, да обували, да на безпутную ихъ жизнь деньги даемъ, тоже насъ необразованными зовутъ. Имъ бы только отъ насъ деньги-то взять, а родни-то хоть въкъ не видать». Туть даже и г-жа Бальзаминова видить, что имъ остается только поворотить оглобли. «Послъ такихъ словъ, говорить она, намъ съ тобой, Миша, кажется, здёсь нечего дълать». — «Да, похоже на то, подтверждаеть Неуъденовъ. На воръ-то, въдь, шапка горитъ». — «Я этихъ словъ, маменька, на свой счетъ не принимаю», замъчаетъ Миша, и напрашивается на прямое уже пояснение со стороны Неуфденова: «нътъ, я на вашъ счетъ. Вотъ маменька-то ваша поумење-сейчасъ поняла». Такимъ-то образомъ все это сватовство и оказывается только «Свадебнымъ сномъ дообъда».

Но Миша не унываетъ. Въ новой комедіи («Свои собаки грызутся»), онъ начинаетъ ухаживать за 30-ти лѣтнею купеческою вдовою, Антрыгиною, которую сваха Красавина обрисовываетъ такимъ образомъ: «ходитъ это по комнатамъ, размахиваетъ руками. Никого, говоритъ, я не боюсь, что хочу, то и творю; нѣтъ, говоритъ, надо мной старшихъ»!—«Да и точно, поясняетъ сваха, кого ей бояться? Ни мужа у нея, ни отца; одна какъ есть. Да и сторонаже у нихъ такая глухая. — Можно самодурствовать вволю, благо мошна туга, а мужчины надъ нею нѣтъ. Бальзаминовъ какъ разъ іпо ней: будетъ, въ качествѣ мужа, тише воды, ниже травы. Одна оѣда—ей приглянулся уже сослуживецъ его, Устрашимовъ. Но онъ человѣкъ фатальный.—«Во вторникъ, разсказываетъ Антрыгина своей пріятельницѣ Піоновой; ѣду это я мимо Чистыхъ Прудовъ, вдругъ вижу—этотъ господинъ идетъ подъ ручку съ какой-то дамой, садятся на лавочку и такъ это горячо
разговариваютъ.... Во всѣхъ членахъ трясеніе сдѣлалось.... Сейчасъ же не велѣла его пускать и писемъ отъ
него принимать». Вотъ тутъ-то она и поваживаетъ посѣщать себя Бальзаминова и тѣмъ самымъ надоумливаетъ
Устрашимова: что какъ да вдругъ прозѣваешь такой лакомый кусочекъ? А Бальзаминовъ увѣренъ, между тѣмъ,
въ успѣхѣ вплоть до того злополучнаго дня, когда, приходя, по обыкновенію, къ Антрыгиной, находитъ у нея
Устрашимова. «Какъ же-съ, вѣдь вы поссорились, недоумѣваетъ онъ». «Они поссорились, они и помирились, поясняетъ Піонова.... свои собаки грызутся, чужая не приставай».

Но въдь существуетъ и такая пословица: «за чъмъ пойдешь, то и найдешь», и мораль ея точнтишимъ образомъ оправдывается, на счастіе Бальзаминову. Повадился онъ, было, ходить опять въ купеческій домъ, гдъ, по словамъ кухарки Матрены, «живутъ двъ сестры-объ дъвки, ужь въ лътахъ. Только выходу имъ никакого нътъ; сидять на верху у себя взаперти, все одно подъ замкомъ».... «Такой приказъ отъ братьевъ, поясняетъ она, -очень на мужчинъ безстыжи». Бальзаминовъ посъщаетъ ихъ домъ не одинъ, а подъ охраною своего новаго пріятеля, Чебакова, офицера въ отставкъ. По порученію Чебакова, онъ даже переодъвается башмачникомъ и передаеть записочки отъ него одной изъ сестеръ - въ надеждъ, что другая достанется ужь ему самому (а которую ни взять, ему все равно). «Онъ мев что-то, Анфиса, гнуспенекъ кажется, говорить про него сестра Раиса. — «Зачёмь же ты съ нимъ кокетничаеть?» — Отъ тоски. Все-таки развлечение».—Это «развлеченіе» окончилось бы тъмъ, что Бальзаминовъ остался бы опять въ дуракахъ. Къ счастію, сваха Красавина, такъ неудачно служившая ему до сихъ поръ, подыскала для Бальзаминова купеческую вдову Бълотълову, не особенно молодую, лътъ такъ 36-ти, зато очень полную, и съ большимъ капиталомъ. Какъ разъ кстати Бальзаминовъ, испугавинись, какъ бы не накрыли его въ своемъ саду Раисины и Анфисины суровые братцы, перелъзаетъ черезъ заборъ и нежданно негаданно попадаетъ въ сосъщній сапъ Бълотьловой. Новый романъ завязывается самымъ непринужденнымъ способомъ. «Скучно одной-то ничего не дълать, а вмъстъ веселъе», говоритъ Бълотълова. - «Какъ же можно, гораздо веселье, отвъчаетъ Бальзаминовъ». - Вы хотите вмъстъ? - «Даже за счастіе почту-съ». -«Я очень добрая, я всему върю, такъ ужь вы меня не обманите».—Какъ же это можно-съ, я за низость считаю обманывать. - «Ну, хорошо, вы меня любите, и я васъ буду»... — Покорнъйше благодарю-съ. Познольте ручку поцаловать!» Къ обоюдному удовольствію ничте не мѣшаеть и благополучной развязкъ. «Пословица-то говорить, что дуракамъ счастье, замъчаетъ Бальзаминова. Ну, вотъ намъ счастье и вышло. За умомъ не гонись, лишь бы счастье было. Съ деньгами-то мы и безъ ума проживемъ». И Миша вполнъ согласенъ съ такой философіей. «На что мнъ теперь умъ? поддакиваетъ онъ мамашъ. А давеча, маменька, обидно было, какъ денегъ-то вътъ, да и ума то нътъ, говорятъ. А теперь пускай говорятъ, что дуракъ: мнъ все одно».

Такъ-то, наконецъ, и увънчались успъхомъ Бальзаминовскія похожденія. Умълъ не унывать добрый молодецъ, проявилъ замъчательное упорство въ достиженіи своей цъли, и, наконецъ, достигъ. Всъмъ бы и во всякомъ бы дълъ проявлять такую настойчивость!

Согласитесь, читатель, что туть передъ нами не самодурство, ца и не просто глупость; въдь мать не умъетъ цънить Бальзаминова. Онъ не дуракъ, а своего рода герой—герой идеальной, торжествующей пошлости. Мы переносимся туть съ Островскимъ въ тотъ спеціально-Гоголевскій міръ, на который указывалъ Пушкинъ.

IV.

"Воспитанница". — "Гроза".

«Между этими произведеніями, появившимися одно за другимъ (1859 и 1860 г.г.) существуеть и внутренняя связь. Она сказывается въ нѣкоторомъ сходствѣ главныхъ женскихъ характеровъ: Нади—въ первомъ наброскѣ, не названномъ у Островскаго не только комедіей или драмой, но даже сценами *), и Катерины—во второмъ произведеніи, относящемся у нашего автора къ самымъ глубоко обдуманнымъ и художественно-обработаннымъ драмамъ. Какъ Надя, такъ и Катерина—несомнѣнныя жертвы прямого, настоящаго самодурства, связаннаго въ «Воспитанницѣ» съ крѣпостнымъ барствомъ, а въ «Грозѣ» опять съ купеческимъ бытомъ, этою излюбленною областію Островскаго.

«Надя-говориль Добролюбовь-живеть въ дом'в Улабенковой, этого безобразнаго самодура въ женскомъ платьт, -и все должно пропасть для нея. Лицо Улабенковой замвчательно, какъ примфръ того, что значитъ самодурство, перенесенное изъ купеческаго дома въ другую сферу. Здітсь оно могучье, влінніе его обширнье, и потому оно еще отвратительнъе. Купецъ ограничиваетъ свое самодурство упражненіями надъ домашними да надъ близкими людьми; но въ обществъ онъ не можетъ дурить, потому что, какъ мы видъли, онъ, въ качествъ самодура, трусливъ и слабодущенъ передъ всякимъ независимымъ человъкомъ. Ужь на что Титъ Титычъ Брусковъ-и тотъ не посмълъ очень вольничать надъ Ивановымъ... Кругъ действія Улабенковой довольно великъ. Во-первыхъ-у нея домашнихъ очень много-воспитанницы, приживалки, ключницы, горничныя, служители... Потомъ у ней есть крестьяне. Кромъ

^{*)} Такъ оно въ полномъ собраніи сочиненіи. Но въ "Библіотевѣ для чгенія, гдѣ первоначально появилась "Воспитанница" произведеніе это назвапо: "сцены изъ деревенской жизни", па обложкѣ-же журнала даже: "комедія".

того, она представляетъ сильное лицо въ целомъ околотке и имфетъ вліяніе. Она и чужія свадьбы насильно устраиваетъ, и на мъста опредъляетъ, и отъ суда спасаетъ». На то она и барыня стараго покроя, пользующаяся, по своему независимому положенію, по своимъ средствамъ и, наконець, по своей властной смёлости большимъ вёсомъ среди окружающихъ ее своихъ же братьевъ дворянъ и потакающихъ имъ всякаго рода служилыхъ людей. Она въдь одна изъ тъхъ маленькихъ государынь, какими воображали себя въ свое золотое время богатыя помъщицы, подобно тому, какъ помъщики воображали себя своего рода сказочными царьками-т.-е. тъми вольными, для себя существующими, человъками, какими являются сказочные цари. «Всъ это знають, благодътельница, не даромъ говоритъ Улабенковой льстивая и въ то же время ехидная приживалка Василиса Перегриновна, - что вы, если захотите, можете изъ грязи человъка сдълать; а не захотите, такъ будь хоть семь пядей во лбу, -такъ въ ничтожествъ и пропадетъ. Самъ виноватъ, отчего не умълъ заслужить». «Весь цинизмъ самодурной морали и логики, по справедливому замъчанію Добролюбова, выраженъ здъсь очень рельефно». Да въдь именно на почвъ кръпостного барства и достигалъ этотъ цинизмъ до своего настоящаго апогея. «Нътъ никакихъ правъ, кром в милости самодура, -продолжаль характеризовать этоть цинизмъ Добролюбовъ. никакихъ нравственныхъ правилъ, кромъ угожденія его волъ... Такимъ образомъ вопросы о законности ставятся туть съ безстыдною прямотою: законъ есть не что иное, какъ воля самодура, и всё должны ей подчиняться, а онъ не долженъ стъсняться ничъмъ». Все это совершенно върно. Но весь этотъ барскій цинизмъ самодурства кръпостной поры отошель уже, слава Богу, въ область прошлаго, и «Воспитанница» является въ своемъ родъ историческою картинкою.

«Вы, — говоритъ Улабенкова своимъ воспитанницамъ жили у меня въ богатствъ и роскоши и ничего не дълали; теперь ты выходишь за бъднаго, и живи всю жизнь въ бѣдности, и работай, и свой долгъ исполняй. И позабудь, говоритъ, какъ ты у меня жила, потому что не для тебя я это дълала, я себя только тъшила, а ты не смѣй никогда о такой жизни и думать, и всегда ты помни свое ничтожество и изъ какого ты званія». И не подумайте, замѣтилъ по этому поводу Добролюбовъ,—что это говорится со злобою или съ сарказмомъ; вовсе нѣтъ—это отъ полноты души, отъ искренняго убѣжденія Улабенковой» (стр. 124—127). Но вѣдь, можно сказать, это стало и искреннимъ убѣжденіемъ ея дворовыхъ людей. Вспомните съ 'какимъ, чуть ли не увлеченіемъ разсказываетъ объ этомъ Потапычъ. Но вѣдь съ такимъ же точно увлеченіемъ относится онъ и къ безграничнымъ правамъ своего барчука, молокососа Леонида.

«Да чтожь, сударь, говорить онъ ему, маменька ваша обыкновенно должны строгость соблюдать, потому какъ онъ дамы. А вамъ что на нихъ смотръть (т.-е. не на маменьку, а на оберегаемыхъ ек до замужества воспитанницъ)! Вы сами по себъ должны поступать, какъ всъ молодые господа поступають. Ужь вамъ порядку этого терять не должно. Что жь вамъ отъ другихъ-то отставать! Это будеть къ стыду вашему». Но вёдь точно такою же вёрнопреданною потакательницею оказывается относительно этого восемьнациатилътняго шалопая и ключнипа Гавриловна. Ему, видите, скучно, потому, что и доучиться-то чему-нибудь было л'внь, потому что никакое дёло и никакая умственная пища для него не существуеть. «Ну ужь какъ, чай, не скучать? -- холопски поддакиваетъ Гавриловна. Ишь въдь у насъ точно монастырь. Ну, а вы, извъстное дъло, молодой человъкъ, и позабавились бы чемъ-нибудь, да нельзя. Не велико веселье-то утокъ стрълять». И въдь Гавриловна, если угодно, говорить это тоже отъ «полноты души, отъ искренняго убъжденія». Она становится даже въ своемъ родъ права, когда замъчаетъ, что «гдъ больше строгости, тамъ и гръха больше». Строгостью, т.-е. постояннымъ надсматриваньемъ, конечно, ничего не возьмешь. Улабенкова думаетъ охранить своихъ воспитанницъ,

этоть, если такъ можно выразиться, свадебный товаръ, отъ своего Леонида, этого «ангельчика», этой «невинности», по льстиво-ехидному выраженію Василисы Перегриновны, а также, быть можеть, и своего Леонида отъ этихъ воспитанницъ, но ни то, ни другое не удается. Она и не думаеть о томъ, чтобы доставить имъ и ему такое содержание для жизни, такую опору въ дфятельности, въ опредъленномъ и удовлетворяющемъ лучшія стороны человъка призваніи, которая спасала бы отъ случайныхъ и прежлевременныхъ увлеченій. Къ тому же сама она подаетъ имъ собою, т.-е. безцъльностью и безсмысленностью своей собственной жизни, самый ненаставительный примъръ, и доходить въ своей барской безсознательной скукъ и въ своемъ барскомъ «все позволено» до того, что на глазахъ у своего восемьнадцатилътняго юнца держитъ другого юнца - слугу-любимца, котораго рядитъ и всячески балуеть на потёху своей отвратительной старческой страстности. Вотъ сынокъ у нея и выходитъ такимъ, что всего върнъе самъ опредъляетъ себя, говоря: «какой я дрянной, не годный мальчишка». Добролюбовъ былъ къ нему всеже поснисхолительнъе.

«Леонидъ, говорилъ онъ, мальчикъ 18 лѣтъ, не злой и не совстви глупый; характерь его еще не сложился (мы, съ своей стороны, думаемъ, что онъ и никогда не сложится). Но посмотрите, какія у него замашки, какъ онъ уже испорченъ въ корнъ, и какъ все окружающее способствуеть его дальнъйшему развращенію, какъ все вырабатываеть изъ него отвратительнъйшаго самодура. Одни разговоры съ Потапычемъ чего стоятъ! Онъ замъчаетъ Потапычу, озирая имънье: «въдь это все мое будетъ» И Потапычъ отвъчаетъ: «все, сударь, ваше, и мы ваши будемъ... Какъ, значитъ, при баринъ, при покойникъ, такъ все равно и вамъ должны...» Затъмъ Леонидъ объясняетъ, что онъ служить не намфрень, потому что тамъ еще писать заставить. Потапычь и на это свою речь держить: «и неть, сударь, зачёмъ же вамъ самимъ дёло делать! Ужь не порядокъ! Вамъ такую службу найдутъ, самую барственную, великатную; работать будуть приказные, а вы будете надъ ними надо всёми начальникомъ. А чины уже сами собой пойдутъ» (130). И тутъ опять передъ нами картинка историческаго содержанія.

Улабенкова и Леонидъ-это Простакова и Митрофанъ последнихъ временъ крепостного права, Простакова и Митрофанъ уже значительно полированные, но въ нъкоторыхъ отношеніяхъ еще болье отвратительные *). Ни за Простаковой, ни за Митрофаномъ не водится амуровъ Улабенкова, пользуясь своею властью, выбрала себъ смавливаго мальчишку изъ своихъ крепостныхъ, обязанныхъ удовлетворять всему, даже и старческому сладострастію барыни. Леонидъ, очевидно, на дорогъ къ тому, чтобы въ самомъ непродолжительномъ времени создать себъ цълый маленькій гаремъ изъ дворовыхъ дъвушекъ, благо и онъ обязаны удовлетворять всему, даже и султанскимъ наклонностямъ мальчишки, вовсе не заботящагося о своемъ развитии умственномъ, зато обладающаго полнымъ досугомъ, чтобы потакать своему преждевременному, бездъліемъ ускоряемому. физическому развитію. Онъ смазливый мальчишка, и это, конечно, содъйствуеть его успъху, но будь онъ хоть уродъ, хоть жалкій наследникъ ужасныхъ недуговъ цёлаго развратного поколёнія, нашатавшагося разнымъ Парижамъ, онъ могъ бы разсчитывать на такое же безпрекословное повиновение своей волъ. На то въдь и существовало помъщичье, не ограничиваемое даже никакими опасеніями огласки-современной или историчекой —вполнъ уже безшабашное «le roi s'amuse».

Но мы далеки отъ того, чтобы считать Леонида только жертвой среды, жертвой вполнъ безсильной противъ ея вліянія. Если мы говорили выше, что не всъ же въ средъ иной, все же менъе гнусной, но тоже очень отталкивающей, средъ самодурства купеческаго, становятся Большовыми,

^{*)} Что Леонидъ сильно напоминаеть Митрофана, это замѣтиль уже г. Ахшарумовъ въ своей статью о "Воспитаниицъ" (въ сборнивъ "Весна" 1859 г.). Онъ же называетъ Леонида "дурачкомъ".

Подхалюзиными и Липочками, то такъ же точно не всѣ же и подъ вліяніемъ помѣщичьяго самодурства становились непремѣнно Леонидами. Были же и такіе, которые, не обладая никакими геніальными способностями, ни даже особенною силою воли, просто вслѣдствіе добрыхъ инстинктовъ своей природы, подъ впечатлѣніями своей среды все болѣе и болѣе исполнялись отвращенія къ ея мерзостямъ. Островскій вполнѣ сознавалъ это, а потому и осудилъ Леонида его же собственными словами: «какой я дрянной, негодный мальчишка».

Общею жертвой Улабенковой и ея сынка является Надя. По справедливому замъчанію Добролюбова», она не пріучена къ тому, чтобы сохранять власть надъ собою и остаться вфрною своимъ понятіямъ изъ внутренняго убфжденія въ ихъ правотъ и силь; у нея скромность и честность имъютъ прямую цъль — сохранить себя для замужества... Но естественное чувство ея внезапно оскороляется приказаніемъ илти за пьянаго и грязнаго негодяя... Прежде она мечтала, какъ будетъ сидъть съ учениками,словно княжна какая, словно у ней каждый день праздникъ; - какъ она будетъ жить замужемъ, словно въ раю, словно гордясь чёмъ-то... А теперь у нея другія мысли; она подавлена самодурствомъ, да и впереди ничего не видить, кром' того же самодурства: «какъ подумаеть-говоритъ она, — что станетъ этотъ безобразный человъкъ издъваться надъ тобой, да ломаться, да свою власть показывать, загубить онъ твой въкъ ни за что... Не живя, ты съ нимъ состаришься... Такъ уже право молодой баринъ лучше»...

Этотъ молодой баринъ на первыхъ порахъ какъ будто спасаетъ ее отъ безобразнаго Неглигентова, который самъ, въ пьяномъ видъ, проболтался ему о будущемъ бракъ съ нею. «Мнъ, мамаша, жалко ее», говоритъ онъ Улабенковой, — и Улабенкова прогоняетъ Неглигентова — не потому, чтобы и ей было жалко Надю, а потому, что Неглигентовъ осмълился пьяный появиться у нея въ саду да еще плясать. Онъ, стало быть, зазнался, оказался не толь-

ко посаженнымъ за столъ, но и положившимъ ноги на столъ, неблагодарнымъ животнымъ, - вотъ за это и гонять его со двора, но гонять только до поры до времени. Леониду жаль Надю, но не по безкорыстному чувству человъколюбія; она приглянулась ему самому, хотя онъ, конечно, далекъ отъ какихъ-либо серьёзныхъ намфреній въ будущемъ. Онъ не даромъ полюбопытствовалъ узнать, влюблена ли она въ кого нибудь. На ея отвътъ: «ни въ кого я не влюблена-съ», онъ съ большою радостью (какъ значится въ скобкахъ) ей говоритъ: «полюби меня»! Ея вторичный отвъть: «насильно сердце заставить нельзя-съ» его, конечно, не останавливаетъ. И онъ въдь достигаетъ своей цёли. Съ перваго взгляда можетъ, пожалуй, показаться страннымъ, что онъ достигаетъ цёли вслёдъ за тёмъ. какъ прогнали съ двора Неглигентова. Но не можетъ же Надя думать, что, избавивъ ее почти-что случайно отъ безобразнаго жениха, самъ онъ имъетъ на нее серьёзные виды: она же, наконецъ, считаетъ его мальчикомъ. Да, но въдь Надя не можетъ же также быть увърена въ томъ, что вмъсто прогнаннаго Неглигентова не явится вдругъ какой нибудь другой Неглигентовъ, который будеть уже осторожнъе и котораго не прогонять. Рано или поздно, ей все-таки придется выйти замужъ, потому что «холостая жизнь ужасно портить молодыхъ людей» и что барынъ захочется, посредствомъ своей воспитанницы, спасти отъ такой порчи какого-нибудь молодого челов вка. А не то, пожалуй, ее упекутъ и за дряхлаго старика, потому что барынь, изъ человъколюбія, захочется приставить къ нему нянькою Надю. И туть въдь Надъ напрасно пришлось-бы спрашивать свою благод тельницу: «чтых же я вамъ теперь, сударыня, не угодила, что вы меня хотите за старика отдать»? У Улабенковой, разумъется, будетъ все тотъ же отвътъ: «я съ молоду привыкла, чтобъ каждаго моего слова слушались» *). Впереди все равно не предстоитъ ни-

^{*)} Γ . Ахшарумовь въ своей стать заметиль, что у Улабенковой просто празвята страсть къ сводничеству".

чего хорошаго. Вотъ Надя и приходить къ тому, что говорить Лизъ: «куда страхъ, куда стыдъ дъвался, не знаю. Хоть день, да мой, думаю, а тамъ что будеть, то будеть, ничего я и знать не хочу»! Отдавшись съ отчаянья хорошенькому барчуку, она доходить затъмъ до какого-то упоенія имъ, говоря: «я не тужу, а вы тужите, какой добренькій!.. Не ушла бы я отъ васъ, да нечего дълать: не своя воля». Но слишкомъ ужь поздно она отъ него уходитъ. Все подглядъла ехидная Перегриновна, и все-то она передала, да еще съ такими видоизмѣненіями: «и какъ это видно было, что онъ, по своей непорочности, старается ее оттолкнуть отъ себя, а она все хватаетъ его за шею, лобзаетъ и соблазняетъ». Дорого обходится Надъ вечерокъ въ саду съ этимъ добренькимо бариномъ. Ставъ, безъ строго опредъленнаго умысла, виновникомъ избавленія ея отъ Неглигентова, онъ же и становится теперь, опять безъ опредъленнаго умысла, причиной того, что Улабенкова говорить Надъ: «я должна тебя отдать замужъ. Послать въ городъ и сказать Неглигентову, что я отдаю Надежду за него и чтобы свадьба была скорте, какъ можно». Что же добренькій баринь? Ему и хотълось бы уговорить маменьку, да и сама Василиса Перегриновна, которую, должно быть, отчасти пробрала и жалость, подаеть ему такой совъть: «благодътельница наша обидълись очень на Гришку, что онъ не ночевалъ дома, пришелъ пьяный, да еще и прощенья не попросиль, ручку не поцъловаль. Отъ этого огорченія онъ и больны-то сдълались. Ужь Надеждъ-то такъ подъ сердитую руку попалось (Этимъ, можеть быть, Перегриновна убаюкиваеть свою пробудившуюся совъсть). Теперь наша благодътельница и изъ комнаты не выйдеть и никого къ себъ не пустить, пока этотъ противный Гришка прощенія просить не будеть... Вотъ теперь, баринъ нашъ хорошій, не угодно ли вамъ будеть поклониться (въ этомъ выраженіи сказалось опять обычное въ ней ехидство), чтобы онъ поскоръе шелъ у маменьки прощенья просить». Не скажи она-«не угодно ли вамъ поклониться», а скажи: «не угодно ли вамъ приказать» или что нибудь подобное, и Леонидъ бы, можеть быть, подался на это. Но Перегриновна—умышленно, или неумышленно—затронула въ немъ барчука — и дѣлу конецъ! «Ну ужь это ему много чести будетъ», прямо отдѣлывается Леонидъ, хотя ему все еще жаль Надю. «Что же теперь дѣлать-то?», спрашиваетъ онъ безпомощно и растерянно, и вызываетъ убійственную отповѣдь Нади: «да что вы хлопочете-то! Ничего вѣдь вы сдѣлать не можете: ужь оставьте лучше! Вы же теперь скоро уѣдете въ Петербургъ; веселитесь себѣ; что вамъ о такихъ пустякахъ думать, себя безпокоить»! Страшнымъ трагизмомъ звучитъ дальнѣйшій непродолжительный ихъ разговоръ, трагизмомъ, тѣмъ болѣе пронимающимъ, что все тутъ такъ просто, такъ естественно!

«Да въдь мнъ тебн жалко», какъ-то по попугайски твердить свое Леонидъ.—«Не жалъйте, пожалуйста! Я сама, какъ сумасшедшая, на бъду лъзла, не спросясь умаразума».—Какъ же ты теперь думаешь?—«А ужь это мое дъло».—Да въдь тебъ будеть очень тяжело—«Вамъ-то что за дъло! Вамъ зато весело будетъ».—«Да зачъмъ же ты такъ говоришь?»—«Затъмъ, что вымальчикъ еще. Оставьте!»—Да въдь онъ пьяный, скверный такой! — «Ахъ, Боже мой! Ужь уъхали бы вы лучше куда нибудь съ глазъ долой».—А въ самомъ дълъ, я лучше уъду къ сосъдямъ на недълю».—

Но онъ всетаки продолжаетъ увърять, что ему ее жалко. И все-таки уъзжаетъ, не смотря на ея послъднія слова: «не хватитъ моего терпънья, такъ прудъ-то у насъ недалеко!»

Авторъ, какъ извѣстно, опустилъ занавѣсъ, не давъ намъ узнать, въ самомъ ли дѣлѣ она кончитъ съ собою такимъ образомъ, или же, покорившись своей судьбѣ, погрязнетъ въ такомъ омутѣ, какъ бракъ съ Неглигентовымъ.

Не такъ оно въ «Грозъ». Тамъ все досказывается до конца, до конца трагическаго.—Разборъ «Грозы», какъ извъстно, особенно удался Добролюбову, вызвавъ у него

пълую большую статью подъ заглавіемъ: «Лучъ свъта въ темномъ царствъ». Критикъ тутъ оказался въ своей сферъ. такъ какъ нигдъ, можетъ быть, темное царство со своимъ самодурствомъ не выставлено въ такомъ ужасающемъ и отталкивающемъ видъ, какъ именно въ этомъ произведеніи Островскаго. «Люди, которыхъ вы здёсь видите, говорилъ Добролюбовъ, живутъ въ благословенныхъ мъстахъ: городъ стоитъ на берегу Волги, весь въ зелени; съ крутыхъ береговъ видны далекія пространства, покрытыя селеньями и нивами»... Но какъ же живуть эти люди? «Ихъ жизнь, прододжаль онь, течеть такъ ровно и мирно, никакіе интересы міра ихъ не тревожать, потому что не доходять до нихь; царства могуть рушиться, новыя страны открываться, лицо земли можеть измёняться, какъ ему угодно, міръ можетъ начать новую жизнь на новыхъ началахъ, --обитатели города Калинова будутъ себъ существовать по прежнему въ поднъйшемъ невъдъніи объ остальномъ мірѣ» (III, 523).-- Да, они совершенно отрѣзанный ломоть, -- отръзанный ломоть въпространствъ, отръзанный ломоть и во времени. Они, повидимому, въ самомъ дълъ не ощущають никакой связи даже съ остальною землею Русскою, какъ не ощущають и малъйпией связи съ ея прошлымъ, съ ея исторіей. Они живутъ по старинному, косно, но старина въ ихъ сознании не существуетъ, она не существуетъ въ немъ, какъ исторія, какъ завътъ и преданіе всей земли. Да и въ настоящемъ-то, въ неподвижномъ ихъ настоящемъ, они и въ своемъ-то городъ совершенно между собою разъединены, разрознены. Они сходятся по торговымъ дёламъ, сходятся на гуляньи, но у нихъ нътъ ничего общаго, они разсыпаются, какъ песчинки въ кучъ. Таково торговое население города, соблюдающее только свои личные интересы, т.-е. каждый свои по пословицъ: «каждый для себя, а Богъ за всъхъ». Впрочемъ они и Бога-то воображають себъ по своему же образу и подобію. Онъ, по ихъ понятію, за того, кто лучше съумъетъ его замолить, склонить къ себъ пудовыми свъчами да вкладами. Передъ нами въдь городъ еще той поры, ко-

торую живописаль Гоголь, городь съ городничимъ, только съ такимъ, который весь въ рукахъ у какого нибудь богатъйшаго купца-самодура. Заикнулся, было, городничій Дикому: «разсчитывай ты мужиковъ хорошенько! Кажлый день ко мнъ съ жалобой ходять!» А тотъ себъ и въ усъ не дуеть. Треплеть городничаго по плечу. да говорить: «стоить ли, ваше высокоблагородіе, намъ съ вами о такихъ пустякахъ разговаривать! Много у меня въ годъ-то мужиковъ перебываетъ; вы то поймите, недоплачу я имъ по какой нибудь копъйкъ на человъка, а у меня изъ этого тысячи составляются, такъ оно мив и хорошо». Попробуй заикнуться о томъ же самомъ батюшка на духу, -и ему будеть такой же, только видоизмъненный, отвъть: «изъ тъхъ тысячь, батюшка, я въдь малую-то толику вамъ-же въ храмъ принесу». Вспомнимъ разсказъ Дикого про его говънье, соблюдаемое имъ изъ года въ годъ съ величайшею обрядовою точностію и при настоящемъ, хотя, в роятно, и не очень-то голодномъ постъ. «А тутъ налегкая, сознается онъ Кабанихъ, и подсунь мужичонка: за деньгами пришелъ, дрова возилъ. И принесло же его на гръхъ-то въ такое время. Согръщиль-таки; изругаль, такъ изругаль, что лучше требовать нельзя, чуть не прибиль. Вотъ оно какое сердце-то у меня!» Правда, спохватился Дикой-не такая пора, въдь передъ исповъдью, Божій страхъ пробралъ. «Истинно тебъ говорю, сознается онъ, мужику въ ноги кланяяся. Вотъ до чего меня сердце доводитъ: тутъ на дворъ, въ грязи, ему и кланялся; при всъхъ ему кланялся». Ну, точно такъ, какъ Владиміръ въ былинахъ, когда подошла бъда неминучая, бъетъ челомъ до сырой земли мужику Иль в Муромцу. Но что же? отъиспов вдается Дикой, причастится, и перестанеть опять, впредь до слёдующаго говънья, хотя сколько нибудь сдерживать свое сердце ретивое. Да онъ, въроятно, и на духу будетъ говорить тоже самое, что говорить Кабанихъ. «Что жь ты мнъ прикажешь съ собой дълать?.. Въдь ужь знаю я, что надо отдать, а все добромъ не могу. Другь ты мнт, и я тебт долженъ отдать, а приди ты у меня просить-обругаю. Я

отдамъ, отдамъ, а обругаю. Потому только и заикнись мнъ о деньгахъ, у меня всю нутренную разжигать станетъ; всю нутренную вотъ разжигаетъ, да и только; ну и въ тъ поры ни за что обругаю человъка». Ради той же своей «разжигаемой нутренной» обрываеть онъ и мъщанина Кулигина, честнаго и добраго человъка, потому, что онъ заводить съ нимъ рѣчь о томъ, какъ бы хорошо было солнечные часы устроить «на пользу общую», -- да и стоило бы не дорого: какихъ нибудь рублей десять. «А, можетъ, ты украсть хочешь, кто тебя знаетъ», обръзываетъ Дикой, да еще и сердитея, что Кулигинъ этимъ обиженъ. «Хочу такъ думать о тебъ, такъ и думаю. Для другихъ ты честный человъкъ, а я думаю, что ты разбойникъ, воть и все... Говорю, что разбойникь, и конецъ! Что-жь ты, судиться, что ли, со мной будешь! Такъ ты знай, что ты червякъ. Захочу-помилую, захочу-раздавлю». Но Кулигинъ и не отрицаетъ его силы, онъ только, что ей надо бы поискать хорошаго примъненія. Онъ готовъ, пожалуй, признать за Дикимъ и власть, новъдь власть то, по мнънью Кулигина, есть прикладная сила. «Была бъ только воля на доброе дёло» говорить онъ Дикому. Вотъ хоть бы теперь то возьмемъ: у насъ грозы частыя, а не заводимъ мы громовыхъ отводовъ». Но на это у Дикого отвътъ короткій: «все суета»! А 'суета потому, что «гроза-то намъ въ наказаніе посылается, чтобы мы чувствовали, а ты хочень шестами, да рожнами какимито, прости Господи, обороняться». Напрасно Кулигинъссылается на Державина:

> Я тёломъ въ прахѣ истлѣваю, Умомъ громамъ повелѣваю!

За эти слова, по митнію Дикого, надо Кулигина къгородничему, и тотъ ему задасть! Городничій, видите, самому-то Дикому задать не можеть, за то, что онъ обсчитываеть рабочихъ, а можеть задать «червяку», позволяющему себть отъ грозы защититься, кары Божьей «нечувствовать». Вотъ Дикой такъ чувствуеть—это, должно быть, видно по его образу дъйствій....

Такому «червяку», какъ Кулигинъ, Дикіе проповъдують всегдашнее смиреніе, сами же они развъ разъ въ годъ соблюдають его, да и то чисто обрядовымъ образомъ. Но случается и такъ, что находить у нихъ коса на камень. Вспомнимъ встръчу Дикого съ Кабанихой, спрашивающей кума, отчего онъ такъ поздно бродитъ? «А кто-жь мнъ запретитъ»!—Кто запретитъ? вопрошаеть она въ отвътъ. Кому нужно.—«Ну, и значитъ, нечего разговаривать. Что я, подъ началомъ, что ль, у кого? Ты еще что тутъ! Какого еще тутъ чорта водянаго!»—Ну, ты не очень горлото распускай, огрызается Кабанова. Ты найди подешевле меня. А я тебъ—дорога».

И подумаешь, на чемъ опирается сила и власть этихъ, точно будто державныхъ, то ссорящихся, то дружелюбствующихъ, сосъдей?—На ихъ деньгахъ!

Кабанова, замъчая, что Дикой хмъленъ, совътуетъ ему идти домой. «А коли я не хочу домой-то», спрашиваетъ онъ. — Отчего же это? въ свою очередь спрашиваетъ она. «А потому, что у меня тамъ война идетъ». — Да кому-жь тамъ воевать-то? Въдь ты одинъ только тамъ воинъ-то и есть. — «Ну такъ что же, что я воинъ? Ну, что жь изъ этого»? — Что? Ничего. А и честь-то не велика, потому что воюешь-то ты всю жизнь съ бабами. (Кабаниха отзывается такъ о своихъ же сестрахъ, не считая себя, въ качествъ матерой вдовы, «государыни матушки», въ числъ бабъ). «Ну, значитъ, онъ и должны мнъ покориться, отвъчаетъ Дикой. А то я, что ли, покоряться стану»! — Ужь не мало я дивлюсь на тебя: сколько у тебя народу въ домъ, а на тебя на одного угодить не могутъ».

А между тъмъ и на нее самое никто точно такъ же угодить не можеть. И она точно такъ же воюеть съ безоружными или, лучше сказать, поъдомъ ъсть всъхъ въ домъ (на то въдь она и баба, хотя и не сознаетъ себя ею). Кабаниха, какъ и всъ люди такого покроя, отлично видитъ въ другихъ то, чего не видитъ въ самой себъ. Въ этомъ въдь тоже одинъ изъ признаковъ самодурства.

Въ томъ, что темное царство тутъ раздъляется, что

одинъ самодуръ идетъ иногда на другого, конечно, еще мало спасенія. Признаки спасенія скорте туть въ томъ, что гроза начинаетъ собираться на самодуровъ со стороны. снизу. Важны въ этомъ отношеніи слова Кудряша, конторщика у Дикого, мъщанину Шапкину: «вчетверомъ этакъ, впятеромъ въ переулкъ гдъ нибудь поговорили бы съ нимъ съ глазу на глазъ, такъ онъ бы шелковый сдёлался. А про нашу науку-то и не пикнулъ бы никому, только бы ходиль, да оглядывался». А Кудряшь такъ смъль, потому что чувствуетъ свою силу. На слова Шапкина: «не даромъ онъ хотълъ тебя въ солдаты-то отдать», Кудряшъзамѣчаетъ: «хотѣлъ, да не отдалъ.... Не отдастъ онъ меня: онъ чуетъ носомъ-то своимъ, что я свою голову дешево не продамъ. Это онъ вамъ страшенъ-то, а я съ нимъ разговаривать умфю.... Я грубіянь считаюсь, за что жь онь меня держить? Стало быть, я ему нужень. Ну, значить, я его и не боюсь, а пущай же онъ меня боится». Впрочемъ, и Кудряши еще не тъ люди, которые бы служили провозвъстниками новой, дъйствительно человъческой жизни. Они могуть задать острастку самодурамъ, осрастку, важную тёмъ, что она идетъ не отъ равныхъ имъ, а отъ стоящихъ подъ ними; но и въ немъ нътъ единственной настоящей и силы и власти-силы и власти нравственной. И онъ не держить себя самъ въ уздъ, да и не хочеть держать, точно такъже, какъони, если хвалится; «жаль, что дочери-то у него (т.-е. у Дикого) подростки, болышихъто ни одной нътъ». — А то что бы? спрашиваетъ его Шапкинъ. — «Я-бъ его уважилъ. Больно лихъ я на дѣвокъ-то»! Но въдь это та же лихость, что и у Дикихъ. Нътъ, не людямъ такой похвальбы, не потакателямъ своихъ стихійныхъ страстей, совладать съ насиліемъ! Они совладаютъ съ его прежними представителями, но въ лицъ своемъ явять свъту новыхъ.

Настоящіе признаки будущей, въ самомъ дёл'є человіческой жизни, скор'є въ Кулигиныхъ. Они не только «поначитались Ломоносова», знаютъ, что онъ «былъ мудрецъ, испытатель природы», они знаютъ и то, что онъ

«тоже изъ нашего изъпростого званія», т.-е. они знають, что можеть же проложить себъ путь, несмотря ни на что, настоящая духовная сила. Упорно, настойчиво, порываются они къ свъту, они жаждутъ его нетолько для себя. но и для другихъ. Взглядъ ихъ на природу и ея явленія свътлый, «Каждая теперь травка, говорить онъ, каждый двътокъ радуется, а мы прячемся... Гроза убъетъ! Не гроза это, а благодать!... Съверное сіяніе загорится, любоваться бы надо, да дивиться премудрости.... А вы ужасаетесь, да придумываете: къ войнъ это, или къ мору.... Изо всего-то вы себъ пугалъ надълали». Онъ жаждеть освободить людей отъ пугалъ. Въ его душт пробудилось нетолько сознаніе своихъ личныхъ правъ, но и сознаніе общей пользы. Онъ способенъ даже сдержанно относиться къ Дикому, чтобы добиться отъ него хоть чего нибудь на общую пользу. Вспомнимъ, какъ сочувственно коснулся Кулигина Ап. Григорьевъ. Добролюбовъ почти вовсе его не коснулся.

Онъ замътилъ, впрочемъ, что «не даромъ Кабанова замъчаеть о Кулигинъ»: вотъ времена-то пришли, какіе учителя проявились. Коли старикъ такъ разсуждаетъ, чего ужь отъ молодыхъ-то требоваты!» И Кабанова, продолжаль онь, очень серьёзно огорчается будущностью старыхъ порядковъ, съ которыми она въкъ изжила.... Точно послъдніе язычники передъ силою Христіанства, поникають и стираются похожденія Самодуровь, застигнутыя ходомъ новой жизни....» (530). «Оттого-то такъ и печальна Кабанова, отъ того-то такъ и бъщенъ Дикой: они до послъдняго момента не хотъли укоротить своихъ широкихъ замашекъ, и теперь находятся въ положеніи богатаго купца наканунъ банкротства.... Поправить свои дъла они ужь и не разсчитывають; но они знають, что ихъ своевольство будетъ имъть еще довольно простора до твхъ поръ, пока всв будутъ робвть передъ ними; и вотъ почему они такъ упорны, такъ высокомфрны, такъ грозны даже въ последнія минуты, которыхъ уже немного осталось имъ, какъ они сами чувствуютъ. Чемъ менъе чувствуютъ они дъйствительной силы, тъмъ сильнъе поражаетъ ихъ вліяніе свободнаго здраваго смысла, доказывающее имъ, что они лишены всякой разумной опоры, тъмъ наглъе и безумнъе отрицаютъ они всякія требованія разума, ставя себя и свой произволь на ихъ мъсто». (532—533). Это такъ же прекрасно и такъ же върно замъчено, какъ и то, что «если въ темномъ царствъ заявляются преспокойно самые нелогичные взгляды и понятія, то секретъ подобнаго равнодушія къ логикъ заключается, прежде всего, въ отсутствіи всякой логичности въ жизненныхъ отношеніяхъ» (526).

Мы согласны съ знаменитымъ критикомъ и въ томъ, что, если «Гроза» «есть самое рѣшительное произведеніе Островскаго», если «взаимныя отношенія самодурства и безгласности доведены въ ней до самыхъ трагическихъ послѣдствій», то есть въ ней съ другой стороны даже чтото освѣжающее и ободряющее, «т.-е. фонъ пьесы, обнаруживающій шаткость и близкій конецъ самодурства» (мы бы прибавили отъ себя: самодурства того стараго покроя, съ какимъ и имѣетъ тутъ дѣло Островскій). Но мы не можемъ согласиться съ критикомъ въ одномъ,—будто «самый характеръ Катерины, рисующійся на этомъ фонѣ, тоже вѣетъ на насъ новою жизнью, которая открывается намъ въ самой ея гибели» *). (536).

Какъ ни сочувственна, какъ ни поэтична, какъ ни глубока и прекрасна, по основамъ своей дупи, Катерина, мы не видимъ въ ней никакихъ признаковъ новой жизни, ничего возрождающаго и освободительнаго въ ея гибели. На нашъ взглядъ она въ своей трагической смерти вовсе не побъдительница этого темнаго царства, а только одна изъ наиболъ трогающихъ, наиболъ привлекающихъ наше сочувствіе, жертвъ его **).

^{*)} Съ этимъ взглядомъ въ сущности не соглашается и г. Скабичевскій въ своей статьъ: "Женщины въ пьесахъ А. Н. Островскаго" (Съв. Въстникъ 1887 г. Августъ, стр. 175).

^{**)} Подъ сизывымъ обанніемъ Катерины находился въ Добролюбовскія времена и покойный С. С. Дудышкинъ. "На самой, говорилъ онъ, безплод-

Добролюбовъ съ видимою любовью проследилъ развитіе характера Катерины, начиная съ ея собственнаго разсказа о своемъ дътствъ: «въ домъ ел матери, поясняль онъ, было тоже, что у Кабановыхъ-ходили въ церковь, шили золотомъ по бархату, слушали разсказы странницъ, объдали, гуляли по саду, опять бесёдовали съ богомолками и сами молились... Выслушавъ разсказъ Катерины, Варвара, сестра ея мужа, съ удивленіемъ замічаеть: «да відь и у насъ то же самое». Но разница опредъляется Катериною очень быстро въ пяти словахъ: «да здёсь все какъ будто изъ подъ неволи»! И дальнъйшій ея характеръ показываеть, что во всей этой внъшности, которая такъ обыденна у насъ повсюду, Катерина умъла находить свой особенный смысль, примънять ее къ своимъ потребностямъ и стремленіямъ, пока не налегла на нее тяжелая рука Кабанихи. Катерина вовсе не принадлежить къ буйнымъ характерамъ, никогда не довольнымъ, любящимъ разрушать, во что бы то ни стало. Напротивъ, это характеръ по преимуществу созидающій, любящій, идеальный..... Грубые суевърные разсказы и безмысленныя бредни странницъ превращаются у нея въ золотые, поэтическіе сны воображенія, не устрашающіе, а ясные, добрые.» Но ей въдь, быть можетъ, приходилось слушать не только такихъ странницъ, какъ выведенная въ «Грозъ» Өеклуша; дома ей, можетъ быть, приходилось сталкиваться и съ такими, какія выведены у Тургенева въ «Живыхъ Мощахъ», гдъ имъ приписывается такое возбудительное вліяніе на широкое сердце Лукерьи. «Иной разъ, бывало, —цитуетъ Катерину нашъ критикъ, -- рано утромъ въ садъ уйду, еще только солнышко восходить, - упаду на колъни, молюсь и плачу, и сама

ной, казалось бы, для поэзія почвѣ выросла самая прекрасная сторона души человѣческой; мизернѣйшій изъ мизерныхъ городковъ Русскихъ, въ которомъ мы съ вами не искали ничего, кромѣ плохихъ баранокъ и загнанныхъ почтовыхъ лошадей, нашли ыы городомъ полнымъ жизни и страсти; на сухой почвѣ старинныхъ преданій, изъѣденныхъ формалисткой, мы нашли полные жизни побѣги в чувства и страсти". ("Отеч. Записки" 1860 г. Январь).

не знаю, о чемъ молюсь и о чемъ плачу; такъ меня и найдуть. И объ чемъ я молилась тогда, чего прошу, - не знаю; ничего мив не надобно, всего у меня было довольно». То, что выслушивала она, можеть быть, отъ странницъ не такого безтолковаго покроя, какъ Өеклуша, выслушивала о чужой бъдъ и нуждъ, о бъдъ и нуждъ отдаленной, но человъчески близкой, должно быть, не такъ глубоко западало ей въ душу, какъ такіе разсказы западали въ душу Лукерьи, которая въ своей крестьянской долъ неимъла основанія сказать про себя, что ей ничего ненадобно, всего у нея довольно. По всей в роятности, въ истинный смыслъ того, что долетало до Катерины и сказывалось, при ея бывшемъ довольствъ, только въ безсознательной молитвъ о чемъ-то еще иномъ, она вникла только тогла. когда довольство для нея кончилось, когда она очутилась въ чужой семьъ, у неласковой, въчно ворчливой свекрови, вникла и стала наконецъ сознательно чутка и къ чужому горю. Но и тутъ она откликается него не безъ примъси того эгоизма, который, при всей ея добротъ, остается ей присущимъ. «Вотъ что сдълаю, говорить она уже у Кабанихи, уже наиспытавшись своей новой горемычной доли и вызваннаго ею соблазна: - я начну работу какую нибудь по объщанію; пойду въ гостиный дворъ, куплю холста, да и буду шить бълье, а потомъ раздамъ бъднымъ. Они за меня Богу помолять». И позже. въ самую роковую минуту жизни, въ заботъ ея о чужомъ горъ слышится все та же утилитарная складка. «Поъдешь ты дорогой, -- говорить она Борису, -- ни одного ты нищаго такъ не пропускай, всякому подай, да прикажи, чтобъ молились за мою гръшную душу». Вотъ въ томъ-то, можеть быть, и одна изъ главныхъ бедъ Катерины, что, при своей любящей душъ, она неспособна найти для нея широкаго простора, который открывается только въ кой отзывчивости на все человъческое, какая сказывается у Тургеневской Лукерьи, находящей себъ въ этой отзывчивости изцъленіе и отъ душевной утраты, и отъ медленнаго убійственнаго недуга. Послѣ такого довольства

въ своей семьъ (при той нъгъ и холъ, которая заставляеть предполагать въ ея родителяхъ людей добрыхъ) въ силу, надо думать, просватанія на всей на родительской водь, безъ всякаго спроса у нея самой, по тому заведенному обычаю, въ которомъ тъ же родители, надо думать, не выглядёли никакого противорёчія съ тёмъ, какъ относились они до такъ поръ къ своей дочери, - Катерина, вдругъ попадаетъ подъ гнетъ свекрови, -- гнетъ, подъ которымъ изнываетъ и ея слабодушный и недалекій мужъ. «Въ прежнее время, — замътилъ Добрюбовъ, ея сердце было слишкомъ полно мечтами, она не обращала вниманія на молодыхъ людей, которые на нее заглядывались, а только смъялась. Выходя замужъ за Тихона Кабанова, она и его не любила, она еще и не понимала этого чувства; сказали ей, что всякой дъвушкъ надо замужъ выходить, показали Тихона, какъ будущаго мужа, она и пошла за него, оставаясь совершенно индифферентною къ этому шагу... Ей нъть особенной охоты выходить замужь, но нъть и отвращенія оть замужества; нъть въ ней любви къ Тихону, но нътъ любви и ни къ кому другому. Ей все равно покамъсть, вотъ почему она и позволяетъ дълать съ собою, что угодно»... Но, и очутившиськакимъ-то неожиданнымъ образомъ замужемъ. Катерина могла бы найтись въ своемъ положени, въ ней бы могло пробудиться и дъйствительно уже пробуждалось чувство привязанности къ мужу. Но вотъ туть то и стала между ними злая свекровь, въ своихъ бездушныхъ заботахъ о соблюденіи ими формальных обязанностей, становящаяся настоящею ихъ разлучницею. «Еще въ первой сценъ появленія семейства Кабановыхъ на бульваръ, говорить Добролюбовъ, мы видимъ, каково положение Катерины между мужемъ и свекровью. Кабаниха ругаетъ сына, что жена его не боится; онъ ръшается возразить:» да зачъмъ же ей бояться? - Съ меня и того довольно, что она меня любить». Старуха тотчась же вскидывается на «Какъ, зачъмъ бояться?.. Да ты рехнулся, что ли? Тебя не станетъ бояться, меня и подавно: какой же это поря-

докъ-то въ домъ будетъ! Въдь ты, чай, съ ней въ законъ живешь»... «Подъ такими началами, разумъется, чувство любви въ Катеринъ не находитъ простора и прячется внутрь ея, сказываясь только по временамъ супорожными порывами. Но и этими порывами мужъ не умъетъ пользоваться: онъ слишкомъ забитъ, чтобы понять ея страстнаго томленія. «Не разберу я тебя, Катя, говорить онь ей, то отъ тебя слова не добьешься, не то, что ласки, а то сама лъзешь». - Еще хуже, прибавимъ мы отъ себя, если въ минуту такого порыва придется Катеринъ попасть на глаза свекрови. «Что на шею виснешь, безстыдница? закричить она: въ ноги кланяйся»!--Когла Тихонъ собирается вхать въ Москву, Катерина Христомъ Богомъ умоляеть его не утвжать, чуя въ себт всю неотразимость чувства, которое, не находя себт исхода въ ту сторону. которая представляется законною и ей самой, неминуемо готова направиться въ другую, хотя бы и по собственному ея пониманію незаконную. А онъ, въ отвътъ на этотъ жалобный кличъ утопающаго, хватающагося и соломинку, холодно отвъчаетъ: «Нельзя, Катя. Коли маменька посылаеть, какъ же я не потду». На самомъ дълъ имъ управляетъ еще и другое. Въдь онъ, по върному замъчанію Добролюбова, «съ безстыднъйшимъ цинизмомъ» говоритъ женъ, когда она упрашиваетъ его взять и ее съ собою: «съ этакой-то неволи отъ какой хочешь красавицы жены убъжишь! Ты подумай то, какой ни на есть, а я все-таки мужчина, - всю жизнь вотъ этакъ жить, какъ ты видишь, такъ убъжишь и отъ жены»!--Какъ же мнъ любить-то тебя», невольно вырывается туть у жены, когда ты такія слова говоришь». Но онъ все-таки убажаетъ, а по возвращеньи своемъ все съ тъмъ же цинизмомъ сознается Кулигину: «ужь очень радь, что на волю то вырвался. И всю дорогу пиль, и въ Москвъ все пиль; такъ это кучу, что на-поди! Такъ, чтобъ ужь на цёлый годъ отгуляться». А между теми, чуть успель онь убхать, свекровь ужь накидывается на нее: «ты вотъ похвалялялась. что мужа очень любишь; вижу я теперь твою любовь то.

Пругая хорошая жена, проводивши мужа-то, часа полтора воеть, лежить на крыльцъ; а тебт видно ничего».- Не къ чему! Да и не умъю, въ цъломудріи своего оскорбленнаго чувства отвъчаеть она. Что народъ-то смъщить! — «Хитрость-то невеликая, продолжаетъ свое Кабанова. Кабы любила, такъ бы выучилась. Коли порядкомъ не умфешь, ты хоть бы примфръ-то этотъ сдфлала; все-таки пристойнъе, а то, видно, на словахъ-то только. Ну, я Вогу молиться пойду, не мъшайте мнъ». - Этимъ дается Катеринъ уже самый ръшительный толчокъ въ ту сторону, куда ее давно уже тянетъ неудовлетворенное чувство. А тутъ еще золовка Варвара объявляетъ матери: «я со двора пойду», и та же мамаща ей отвъчаеть: «а мнъ что! Поди! Гуляй, пока твоя пора придетъ. Еще насидишься». Но Катерина уже слишкомъ хорошо знаетъ, что у Варвары значить гулять, и въ словахъ Кабанихи ей, надо думать, слышится своего рода цинизмъ-все при томъ же обрядовомъ формализмъ, въ настоящемъ случаъ раздъляющемъ жизнь на веселую и не веселую половины.

Оставшись одна, Катерина задумчиво говорить: «ну, теперь тишина у насъ въ домъ воцарится! Ахъ, какая скука! Хоть бы дъти чьи нибудь! Эко горе! Дътокъ-то у меня нътъ: все бы я сидъла сь ними да забавляла ихъ. Люблю очень съ дътьми разговаривать - ангелы въдь это». Да, если бы у нея быль ребенокъ, она бы, быть можетъ, и не ръшилась на роковой шагъ. «Хоть бы чьи нибудь дъти» говоритъ она, готовая, надо думать, взять какого нибудь чужого ребенка и способная, разумфется, всею дутою привязаться къ нему. Но развъ Кабаниха это позволить? — Вмъсто дътей, этихъ «ангеловъ», возлъ нея искусительница-эта Варвара, сестра Тихона, которой сама маменька разрѣшаетъ гулять, пока ея пора не пришла. И гуляеть же Варвара, пользуясь темь, что Кудряшь, по его выраженію, «лихъ на девокъ». Варваре и жаль Катерину, и, надо думать, хотълось бы ее сманить на свой разухабистый путь, по другому, менте благородному по-

бужденію. Видя со стороны ея жалость. Катерина тепло и довърчиво относится къ ней (надо же кому нибудь довърять, передъ къмъ нибудь изливать свое чувство), «Отчего люди не летають!» вырывается у Катерины въ разговоръ съ ней, а Варвара недоумъваетъ: «я не понимаю, что ты говоришь».-«Я говорю, отчего люди не летають такъ, какъ птицы? Знаешь, мнъ иногда кажется, что я птица. Когда стоишь на горъ, такъ тебя и тянетъ летать. Вотъ такъ бы разбъжалась, подняла руки и полетъла. Попробовать нешто теперь». И при этомъ она хочеть бъжать. Да и слово полеть туть на самомь дълъ только отзвукъ той мечтательности, которая водилась за нею въ родительскомъ домъ. Теперь для Катерины это выражение уже вовсе не означаеть того, что означаеть оно на устахъ у Тургеневской Аси. Катеринъ на самомъ дълъ просто хочется теперь именно ублжать, убъжать отъ того, что ее окружаетъ. Варвара не понимаетъ ее сначала только ради непозабытыхъ особенностей ея прежняго языка. Все становится туть же яснымъ Варварћ, когда Катерина начинаеть говорить съ ней такимъ образомъ: «ночью, Варя, не спится мнъ, все мерещится шепотъ какой-то: кто-то такъ ласково говоритъ со мной, точно голубитъ меня, точно голубь воркуетъ. Ужь не снятся мнъ, Варя, какъ прежде, райскія деревья да горы, а точно меня кто-то обнимаеть такъ горячо, горячо, и ведеть меня куда-то, и я иду за нимъ, иду...» Но въдь этотъ образъ, представляющійся ей въ сновидініи, уже приняль для нея опредъленныя очертанія въ живомъ лицъ. Ей на самомъ дёлъ было бы съ къмъ бъжать, — тъмъ болье, что и того препятствія нёть, какимъ въ подобномъ случаё являются дети... А бежать такъ хочется, бежать отъ этихъ обидъ, отъ этого пиленья свекровью, отъ попрековъ мужа, что мать «за нее его поъдомъ ъстъ». А Катерина въдь исповъдуется той же Варваръ: «такая ужь я зародилась горячая! Я еще лъть шести была, не больше, такъ что сделала! Обидели меня чемъ-то дома, а дело было къ вечеру, ужь темно, я выбъжала на Волгу, съла

въ лодку, да и отпихнула ее отъ берега. На другое утро ужь нашли, верстъ за десять»!

«Какова въ колыбелку, такова и въ могилку», могла бы она сказать про себя, она, готовая даже до срока, по собственной воль, въ могилку лечь, только бы не жить въ неволь. Да она выдь туть же и говорить Варь: «ужь коли очень мнв здвсь опостынеть, такъ не удержать меня никакою силой. Въ окно брошусь, въ Волгу кинусь. Не хочу здёсь жить, такъ не стану, хоть ты меня рёжь»! Варваръ дъло представляется просто, она мъритъ на свой аршинъ. Узнавъ отъ Катерины про Бориса, она совътуеть ей только «не проговориться какъ-нибудь». «Обманывать-то я не умъю; скрыть-то ничего не могу».- «И я не обманщица была, поучаетъ ее своимъ примъромъ Варвара, да выучилась, когда нужно стало... По моему, дълай, что хочешь, только бы шито да крыто было». — Не хочу я такъ, стоитъ еще на своемъ Катерина. Да и что хорошаго! Ужь я лучше буду терпъть, пока терпится». Но ей въ сущности уже совсъмъ не терпится, ей здъсь совствить уже опостыло. И вотъ при всей своей правдивости, послъ того, какъ мужъ, несмотря на всъ ея просыбы, самъ уъзжаетъ, а ее не беретъ съ собой, она уже не думаеть отказываться отъ того ключа, который ей подложила Варвара, утащивъ его у Кабанихи. «Въ неволъ-то кому весело» -- вотъ что пересиливаетъ въ ея душт всякія встръчныя колебанія и сомньнія. Добролюбовь видьль въ ней «возмужалое, изъ глубины всего организма возникающее требование права и простора жизни». А между тъмъ сама Катерина, выйдя на свиданье съ Борисомъ, говорить ему: «нъть у меня воли. Кабы была у меня своя воля, не пошла бы я къ тебъ». Она называетъ его своимъ врагомь, она говорить ему: «поди прочь, окаянный человъкъ»! Въдь для него, потому что теперь «вся его воля надъ ней», она и обычной своей прямотъ, своей правдивости измѣнила, она вышла къ нему тайкомъ, съ украденнымъ ключомъ, съ тъмъ, чтобы и потомъ нъсколько дней таиться и скрытничать, пока опять не возьметь въ ней верхъ ея обычная прямота и она во всемъ не сознается. Теперь «его воля наль ней». И воть она говорить въ какомъ-то неодолимомъ чаду: «погуляемъ, а тамъ»... А тамъ оказывается, что и онъ отъ нея убзжаетъ. Напрасно она молитъ его. какъ модила мужа: «возьми меня съ собой отсюда!» И у него такой же отвътъ: «нельзя мнъ, Катя, не по своей воль я вду: дяля посылаеть, ужь и лошади готовы»... Дядя посылаеть, а отъ дяди зависить лишить и его, и его сестру наслъдства... Въдь это, пожалуй, будеть еще покрасивъе тъхъ резоновъ, какіе приводиль ей мужъ. «Тяжело тебъ. Катя?» спрашиваеть онъ, прямо напоминая Леонида съ его безплодною жалостью къ Надъ. Разница въ томъ, что Надя пронически относится къ своему мальчишкъ, совътуя ему поскоръе уъхать, чтобы развлечься, а катерина до конца остается въ такомъ чаду, что и на безплодное восклидание Бориса: «Эхъ, кабы сила»! отвъчаетъ страстнымъ воплемъ: «дай поглядъть на тебя въ послъдній разъ». Она совсъмъ даже его не винитъ, не намекаеть ему на то, что Волга близко, а онъ уже самъ говорить себъ: «только одного и надо у Бога просить, чтобы она умерла поскоръе, чтобы ей не мучиться долros!

Добролюбовъ упоминаетъ о томъ, что даже Кудряшъ, этотъ еsprit fort своей среды, говоритъ про отношенія Бориса къ Катеринъ: «это дѣло бросить надо», и говоритъ, надо замѣтить, еще во-время. Критикъ къ этому прибавляетъ: «все противъ Катерины». Мы же думаемъ въ этомъ случаѣ, что Кудряшъ, несмотря «на свое удальство и нѣкоторое безчинство», скорѣе былъ за нее. Критикъ впрочемъ и самъ былъ очень невыгоднаго мнѣнія о Борисѣ, когда замѣтилъ: «надо отказаться отъ излишнихъ надеждъ на племянниковъ, ожидающихъ наслѣдства, хотя бы они и были образованы до нельзя». И такому-то племяннику, приносящему свое чувство въ жертву наслѣдству, отдаетъ себя Катерина, да еще винитъ не его, а себя, говоря: «Э, что меня жалѣть, никто не виноватъ, — сама на то пошла. (Тоже говорила и Надя своему Лео-

ниду). Не жалъй, губи меня! Пусть всъ знають, пусть всъ видять, что я дълаю... Коли я для тебя гръха не побоялась, побоюсь ли я людского суда?»

«Все противъ Катерины, говорилъ Добролюбовъ, даже ея собственныя понятія о добръ и злъ». Да, и въ этихъ ея понятіяхъ-тъмъ оно ужаснье для нея-не одна только дань предразсудкамъ, но и добрыя стороны ея души. Въ душт ея-не одно сознание своихъ попираемыхъ правъ. но и сознание свой отпътственности, то сознанье своей отвътственности, безъ котораго нельзя быть человъкома (самодуры его не знають). Знакомые съ судьбой Катерины, мы не можемъ ее винить, но мы тъмъ болъе должны сострадать ей, чувствуя весь ужасъ ея внутренней раздвоенности. При живомъ сознаньи грпха, она, подобно Надъ, идетъ туда, гдъ написано: «хоть день, да мой», идетъ, чтобы затемъ привести въ исполнение то, о чемъ, можетъ быть, только поговорила Надя. Ея религіозность, не удержавшая ее отъ того, въ чемъ она видитъ, и справедливо, полнъйшую утрату собственной воли, не удерживаеть ее и отъ самоубійства; да, потому, что это религія страха, поддерживаемая картиною страшнаго суда и вцечатлъніями грозы. Для Катерины, при всёхъ ея добрыхъ качествахъ, какъ и для встхъ, выведенныхъ въ драмт, за исключеніемъ одного Кулигина, не существуеть та религія любви, которая поддерживаеть насъ во всякомъ положеніи-тъмъ, что указываетъ намъ исходъ въ братскомъ общени съ той великой Божьей семьей, которая называется человъчествомъ. Мы видели, что порывъ къ такому общенію проглядываеть въ Катеринъ, но принимаеть себялюбивый оттънокъ, лишающій его всей его прелести. Будь въ ней въра иного закала, настоящая, дъятельная, растворенная любовью, въра, и она бы бъжала отъ своей обстановки, бъжала бы точно такъ-же, но не для того, чтобы броситься въ объятія какому нибудь Борису, а чтобы отдать себя, такъ или иначе, братьямъ-людямъ. Но еслибы это было невозможно, если бы ее силой вернули въ эту семью, которая, на самомъ дёлё, не есть семья, она бы

пожалуй, бросилась прямо въ Волгу, но всетаки избъжала бы того омута, который открылся ей въ объятіяхъ человъка, сейчасъ-же ее и бросающаго. Въдь въ этихъ-то объятіяхъ, именно въ нихъ-то, совстить нттъ той освободительной силы, какою обладаеть туть Волга, освобождающая, по крайней мъръ, отъ самой жизни; въ объятіяхъ Бориса, этого племянника, ищущаго наслъдства, какъ то ясно понимаетъ и сама Катерина, -- только неволя, только заполоненье стихійною страстью. Отдаться во власть этой страсти можно было только съ отчаянья, и Катерина могла бы повторить слова Нади: «будь жизнь получше, не пошла бы я ночью въ салъ». Но странное дъло: наша критика, покаравшая Татьяну за то, что она въ Москвъ не пошла за Онъгинымъ (хотя она тутъ уже совсъмъ не въритъ Онъгину), превознесла Катерину за то, что она пошла за Борисомъ (хотя сама же критика объявила его «ищущимъ наслъдства племянникомъ»). Если бы такія возэрвнія проводились какимъ нибудь Русскимъ Жоржъ Зандомъ, т-е., хотя и подъ мужскимъ псевдонимомъ, но писательницей, то это все же не получило бы того подозрительнаго оттънка, какой получають подобные взгляды подъ перомъ писателей. Въдь по-неволъ покажется, что это oratio pro domo sua-заинтересованная защита своихъ мужскихъ выгодъ и преимуществъ. Но въдь Добролюбовъ-то, какъ извъстно, въ жизни своей былъ далекъ отъ того, чтобы вызывать подобныя подозрѣнія. Не даромъ же сказано надъ его могилой Некрасовымъ:

> Сознательно мірскія наслажденья Ты отвергаль, ты чистоту храниль, Ты жаждѣ сердца не даль утоленья, Какъ женщину, ты родину любиль...

Для Добролюбова, стало быть, апочеозъ страсти могъ быть только теоріей. А между тъмъ, до какого пачоса дошель онъ у него въ словахъ: «Островскій почувствовалъ, что не отвлеченныя върованія, а жизненные факты управляютъ человъкомъ, что не образъ мыслей, не принципы, а натура нужна для проявленія сильнаго и крѣпкаго характера, и онъ умѣлъ создать такое лицо, которое служить представителемъ великой народной идеи, не нося великихъ идей ни на языкѣ, ни въ головѣ, самоотверженно идетъ до конца въ неравной борьбѣ и гибнетъ, вовсе не обрекая себя на высокое самоотверженіе». (556—557).

Но есть ли на самомъ дълъ самомвержение въ томъ. что она отказывается отъ жизни, когда жизнь ей вполнъ опостыла? Мы понимаемь, что вь самоубійств возможно и самоотверженіе-если мы лишаемъ себя жизни, ради другихъ, ради общества. Но думала ли, могла ли даже Катерина думать, что она своимъ поступкомъ подъйствуетъ на темное царство, заставивь его содрогнуться и хоть въ чемъ нибудь измѣниться? Если бы оно могло быть такъ, то мы бы въ самомъ дёлё признали Катерину свётлымъ лучомъ, провозвъстницею новаго, возрождающиго начала. Но оно въдь не такъ. Споконъ въка существовали Катерины, кидающіяся съ отчаннія въ омуть страсти, а затвмъ и въ воду, а темное царство стоить себъ да стоить на своихъ отвратительныхъ и нелъпыхъ, но страшно живучихъ основахъ. Чтобы подкопаться подъ эти основы, нужны ть въ самомъ дъль кръпкіе люди, которыми управляеть не одна натура, хотя бы и добрая, а именно образъ мыслей, принципы, люди, которымъ бы эти принципы и образъ мыслей, конечно, живительные, возрождающие по своимъ основамъ, давали силу на настоящее самоотверженіе, состоящее въ томъ, чтобы жертвовать жизнью не только тогда, когда она опостыла, но и тогда, когда она намъ мила, кромъ того-жертвовать ею и не переставая жить, но живя «не какъ хочется, а какъ Богъ велить».

Добролюбовъ превозносиль въ «Грозъ» то, что «натура замъняетъ здъсь и соображенія разсудка, и требованія чувства и воображенія: все это сливается въ общемъ чувствъ организма, требующаго себъ воздуха, пищи, свободы» (544). Въ такомъ «чувствъ организма», доводящемъ Катерину до самоубійства, онъ видълъ «страшный вызовъ

самодурной силъ (567). Въ тоже время онъ иронически: относился къ «высокимъ ораторамъ правды, претендующимъ на отречение отъ себя для великой идеи», весьма часто оканчивающимъ полнымъ отступленіемъ отъ своего служенія, говоря, что борьба со зломъ еще слишкомъ безнадежна, что она повела бы только къ напрасной гибели и проч. Мы вполнъ согласны на пронію по адресу таких ораторовъ. Мы даже совстви несогласны съ снисходительною оговоркою о нихъ Добролюбова: «они справедливы и нельзя ихъ упрекать въ малодушій (по нашемуи можно, и должно). Но, во всякомъ случать, совершенновърно опять прибавилъ Добролюбовъ, нельзя не видъть въ этомъ, что «идея», которой они хотятъ служить, составляетъ для нихъ что-то внъшнее, безъ чего они могутъ обойтись, что они умфють очень хорошо отделить отъ своихъ дичныхъ, прямыхъ потребностей». Вотъ въ томъ-то и дъло, и потому-то эти люди и малодушны, что они нехотять вполнъ отдаться никакой великой идеъ (нашъ критикъ сказалъ бы: не могута, мы умышленно говоримъ: не хотять). А между тымь, для того, чтобы совладать съ окружающимъ зломъ, мало отдаться своей, хотя бы и доброй, натуръ, а надо всецъло отдаться идел, или, пожалуй, надо, чтобы идея стала для нась натурою, чтобы вся сила нашей страсти всецъло поглощена была ею одною, что-бы все личное, стремящееся только къ нашему счастью, нашему наслажденью, для насъ совершенно не существовало. Если такъ, то свътлымъ лучомъ въ «Грозъ» могъ бы представиться развъ Кулигинъ. Есть въ немъ, хотя бы и въ слабой степени, что то въ самомъ дёлё не унывающее и не сдающееся совершенно, не въ личнома, а въ болъе широкомъ смыслъ, что то не останавливающееся и передъ тъмъ, что «одинъ въ полъ не воинъ». И что же? Заведись только не въ одномъ, а въ нъсколькихъ «богоспасаемыхъ градахъ» точно также только по одному неунывающему, не сдающемуся человъку, и вотъ ужь въ итогъ оказалось бы цёлыхъ десять библейскихъ праведниковъ на «темное царство». И это, разумъется, не особенноугрожающій вызовъ ему, но все же болье угрожающій чьть увлеченіе Борисомъ и гибель въ Волгь Катерины, милой, несчастной, мы готовы даже сказать, неповинной, но все же далекой отъ того, чтобы быть провозвъстницею освобожденья и возрождающей правды!

V.

"Старый другъ лучше новыхъ двухъ".—"Грвхъ да бвда, на кого не живетъ".—"Шутники".—На бойкомъ мвств".—"Пучина".

Передъ нами цълый рядъ произведеній Островскаго, въ которыхъ, если и замѣщано самодурство, то уже совершенно эпизодически. Въ картинъ Московской жизни, озаглавленной «Старый другь лучше новыхъ двухъ» (1860), мы снова встръчаемся съ брачнымъ вопросомъ, ръшаемымъ тугъ такъ же пошло и низменно, какъ въ Гоголевской «Женитьбъ». Мъщанка по сословію, портника по профессіи, напъвающая, сидя за работой, какіе-то допотопные романсы, Олинька спить и видить, какъ бы ей выйти замужъ, да непремънно за благороднаго. «А то такъ и не надо», отръзываеть она. «Въдь я, маменька, буду барыня хоть куда!» мечтаетъ Олинька. Мать согласна, но замъчаетъ насчетъ приглянувшагося ей, служащаго въ судь. Васютина: «охъ какъ пустъ малой-то!» А Олинька, не смотря на это, утверждаетъ: «все-таки лучие мастерового». Это не мъщаетъ ей, конечно, имъть виды и на доходы своего будущаго муженька. Яблочко не далеко откатывается отъ яблоньки, а житейская мудрость Оленькиной мамаши вся такъ и выкладывается на видъ въ замъчани ея дворянкъ-сплетницъ, Пульхеріи Андреевнъ: «вамъ гръхъ на мужа жаловаться, онъ у васъ добычникъ хорошій». Бізда въ томъ, что будущій Олинькинъ «добычникъ» готовъ улизнуть изъ ея рукъ, не смотря на свои отношенія къ ней, завязавшіяся не со вчерашняго дня.

Онъ чувствуетъ себя виноватымъ передъ своею мамашей въ томъ, что становится уже на дорожку своего отцапо временамъ запиваетъ, не выдерживая того соблазна, какой представляется ему со стороны его мелкихъ кліентовъ-купцовъ съ деньжонками, обращающихся къ нему по своимъ делишкамъ. Мамаша разсчитываетъ на исправительное действіе брачных узъ, завизываемыхъ съ «порядочнымъ семействомъ». Ей, по замъчанью Пульхеріи Андреевны, таксе счастье, что «сыну невъсту нашла, и съ крестьянами, видите ли, и образованную», хотя «крестьянъ-то и всего тринадцать душъ» (картина написана ваканунт отмъны кртпостного права). Чтобы успокоить мамашу, Прохоръ Гаврилычъ Васютинъ решается жениться-если не на тысячъ (какъ Калиновичъ у Писемскаго), то хоть на тринадцати душахъ, и въ жертву этому браку принести свою Олиньку. Къ счастью послъдней. въ «порядочномъ» домъ обратили вниманіе на не совсъмъ то порядочное поведение жениха, а тутъ еще и подслуживающаяся Олинькиной матери, Пульхерія Андреевна (въ сущности ей бы только посплетничать) умфетъ нфсколькими ръшительными штрихами дорисовать картину образа жизни Васютина. Такимъ-то вотъ образомъ онъ и возвращается къ своей Олинькъ, умъющей, купно съ мамашей, окончательно упрочить его теперь за собой выдумкой, будто у нея есть въ виду другой женихъ, а нотому Васютинъ и долженъ поспъшить со своимъ окончательнымъ ръшеніемъ. Онъ бъжить къ мамашъ, получаетъея согласіе, и Олинькино дело увенчивается успехомъ. По пятамъ за Васютинымъ является и его кліентъ-купецъ съ объщаніями: «мы здъсь гнъздышко совьемъ! Только вы, хозяюшка, на счеть провіанта не безпокойтесь на будущее время — это ужь моя забота. Я къ вамъ завтрашняго числа за разъ побольше привезу, чтобъ надолго хватило». Чего же еще? Олинька и считаеть себя вполнъ счастливою, прочитывая своему суженому такую мораль: «положимъ, что ты женился бы на ней, чтожь бы вышло изъ этого хорошаго? Если у нея вольный духъ, такъ она

смітялась бы надъ тобой, да любовника завела, а если смирная, такъ изсохла бы, глядя на тебя. А відь ужь я-то тебя знаю; жизнью своей безобразной ты меня не удивишь! Я тебя остановить умітю, и гостей твоихъ знаю, какъ принимать, да еще и вкусу тебя научу, какъ одівваться и какъ вести себя благородніти. А ты было меня совсіть бросить хотіть! Ну, какой же ты человіть послітого». Самой себіт Олинька никакой морали не читаеть. Ждеть, надо думать, чтобъ жизнь ей мораль прочла.

Драма «Гръхъ да бъда», -- одно изъ крупныхъ произведеній Островскаго, хотя замысель туть, какъ и въ «Не такъ живи какъ хочется», выше выполненія. Кромъ такого случайнаго сходства, есть между объими драмами и другое соотношеніе. Петру, изміняющему жені, соотвітствуетъ Татьяна Краснова, измъняющая мужу. Но Петръ чуть было не дошелъ до трагической развязки, чтобы только освободиться отъ стоящей поперекъ дороги жены. Красновъ же до такой развязки доходить, совершая свой самосудъ надъ тою, кого онъ страстно любить, но кто не въренъ ему. Еще болъе существенная разница въ томъ, что бракъ Петра произошель по взаимной страсти между нимъ и женой, тогда какъ Красновъ, влюбившись, не встрътилъ отказа собственно потому, что Татьянъ хотълось, такъ или иначе, пристроиться. Зналъ ли онъ, что она идетъ за него только по разсудку, или она умъла такъ притвориться, что онъ повърилъ ея любви, это остается не совсъмъ яснымъ должно быть отнесено къ недостаткамъ драмы. По общимъ чертамъ своего характера, Татьяна вполнъ способна на притворство, особенно при сильномъ вліяній на нее сестры, старой дъвы себъ на умъ. Объимъ жилось хорошо, пока въ живыхъ оставалась ихъ благод втельница, мать того молодого Бабаева, который интересовался Татьяной и готовъ завести съ ней «легонькую интрижку», несмотря на ея замужество, просто потому, что въ убзномъ городишкъ, въ которомъ онъ остановился, скука, а онъ позабыль взять съ собою книжекъ,т.-е. какихъ нибудь легкихъ романовъ. Къ иному чтенію онъ едва ли иривыкъ,

осли върно то, о чемъ напоминаеть ему дъвица Жмигулина: «ваша мамаша бывало даже не любила, когда кто вадумается, или книжку читаеть». Эта его мамаша, должно быть, оказывала свои благод внія такъ-же безсмысленно и себъ на потъху, какъ и Улабенкова. Она развивала въ сблагодътельствованныхъ барскіе вкусы заботилась о соотвътствующемъ устройствъ Яθ будущности. Оставшись, послъ смерти благодътельницы, на рукахъ у папаши съ его тридцатирублевою пенсіей, пришлось поскорте пристроиться, не очень-то вдаваясь въ разборъ какъ своихъ собственныхъ чувствъ, такъ и свойствъ и положенія жениха. «Совстмъ, совстмъ не такого я Танъ счастья ожидала, говорить про сестру дъвица Жмигулина. Судя по красотъ ея, да по тому, какіе люди на нее заглядывались, ей бы въ каретъ ъздить. А теперь вогъ пришлось чуть не изъ-за куска хлеба за мужика идти, да передъ людьми за него стыдъ терпъть». Дъвица Жмигулина говоритъ такъ не кому другому, какъ Бабаеву, очевидно, разсчитывая разжечь въ немъ воспоминанья о Татьянъ и достигнуть «ъзды въ каретъ», хотя бы и не законнымъ образомъ. При этомъ она, должно быть, разсчитываеть на простоту «мужика», какъ называеть она своего зятя лавочника. Онъ и въ самомъ дёлё человёкъ простой, т.-е. безъ всякихъ хитростей, человъкъ очень добрый. прямой и въ то же время, несмотря на то, что «мужикъ», даже очень деликатный въ обращении съ женою, терпъливый и уступчивый, благодаря той своего рода тонкости, которая заставляеть его вникнуть въ положение жены. До чего онъ не самодуръ, это видно изъ его словъ сестръ своей, Курициной: «я должень быть имь, супругь моей, благодаренъ, что онъ при всей своей красотъ и образованіи, полюбили меня, мужика. Допрежъ того, я васъ быль работникъ, а теперь на нихъ въчный работникъ. Околъю на работъ, а для нихъ всякое удовольствіе сдёлаю. Я должонь у нихъ ножки цаловать». Онъ совстмъ не то, что женатый на сестръ его Курицынъ, хвастающійся передъ нимъ вотъ чёмъ: «слушай, до чего

я Ульяну доводиль, до какой точки. Бывало у насъ промежъ себя, промежъ знакомыхъ, или сродственниковъ, за споромъ дъло станетъ, чья жена обходительнъе. Я всъхъ къ себъ на домъ велу, сялу на лавку, вотъ такъ-то ногу выставлю и сейчасъ говорю женъ: «чего моя нога хочетъ»? А она понимаетъ, потому обучена этому: ну, и значитъ сейчасъ въ ноги мнъ». Не смотря на такіе уроки, Красновъ становится крутъ только послѣ того, какъ жена, подстрекаемая сестрой, стала просто его дразнить Бабаевымъ: «мы съ сестрой объщали бывать у него и даже сегодня хотъли идти». Да и туть-то крутость является у него не сразу. Онъ и тутъ начинаетъ довольно мягко, спрашивая жену: «должны вы меня уважить, или нътъ?»-Что это вы какую власть вдругъ забрали, отвъчаеть она, думая его этимъ сконфузить. Да вы и не воображайте, чтобы мы васъ послушались—этому не бывать!» Въ сущности туть ему-то и приходится освобождаться изъ-подъ ея ферулы, говоря ей наконецъ настойчиво: «какъ такъ не бывать? Нётъ, ужь коли я что говорю, такъ это такъ точно и будеть. Я говорю дёло и вамъ на пользу-съ, по тому самому я вамъ строго и приказываю». Онъ такимъ образомъ даже считаетъ нужнымъ прямо указать на что тутъ не его произволъ или прихоть, а ея же льза, — и онъ, въдь, правъ, потому что «взда въ каретахъ» по милости г. Бабаева, - всего на какихъ нибудь четыре дня, пока у этого яснаго сокола нътъ съ собою романовъ, и онъ отъ скуки самъ непрочь сотворить романъ. Расходившись, Красновъ даже два раза стучить по столу кулакомъ. Когда же Татьяна, опять желая его сконфузить, замъчаетъ ему, что этакъ онъ, пожалуй, и драться начнетъ, Красновъ, снова овладъвая собой, сдержанно говорить ей: «Ошиблись. Никогда вы отъ меня не дождетесь! Я васъ столько люблю, что на нынъшній разъ даже вашъ капризъ уважу»... «Кажется, у насъ дёло на ладъ пойдетъ, говоритъ онъ, оставшись одинъ. Онъ были маленько избалованы, въ такомъ случат для нихъ строгость не мъшаетъ. Стерпится, слюбится. А тамъ, какъ баринъ убдеть, можно и опять лаской; такъ наша размолвка и забудется. Оно точно, что я за эти полчаса, когда онъ у барина булуть, кажется, ничего бы на свътъ не взяль: да что-жь дълать, сразу круто нельзя-вовсе отъ себя оттолкнешь»... «Ну да чтожь въдь, давно знакомы, можеть такъ что»! старается онъ окончательно себя успокоить. А въ сердиъ что-то такъ и бунтуетъ. «Татьяна Даниловна, обращается къ ней заглазно Красновъ; сохнулъ я по тебъ, пока не взялъ за себя; вотъ и взялъ, да все сердце не на мѣстъ. Не загуби ты парня! Грѣхъ тебѣ будетъ»! Дѣло въ томъ, что онъ, по его собственнымъ словамъ, человъкъ горячій. Когда жена возразила ему на это: «отчего же вы мнъ прежде не сказали о своемъ характеръ, я бы за васъ и не пошла», то онъ оправдывается очень просто и искренно: «коли горячій человъкъ, такъ въ этомъ ничего худого нетъ-съ. Стало быть, онъ до всякаго дела горячь, и до работы, и любить можеть лучше, потому больше другихъ чувства имфетъ». Вся вина его въ томъ, что онъ въ свое время не попытался измърить степень того чувства, какое есть въ ней, и убъдиться въ томъ, дъйствительно ли оно существуеть въ ней, въ какой бы то ни было степени, по отношенію къ нему. На сколько Татьяна обрисована у Островскаго, а обрисована-то она, по нашему мнѣнію, не достаточно полно, у нея и вообще глубокаго чувства нътъ; ей не то, чтобы ужъ очень былъ милъ Бабаевъ, а ей скучно, не по себъ, не достаточно комфортабельно въ новой ея обстановкъ, хотя, по собственному ея признанію Бабаеву, она «сама замужъ шла, никто не неволилъ». Все дело въ томъ, что мужъ, по ея словамъ, «грубый, неотесанный, ласки медвъжьи! Сидитъ, ломается, какъ мужикъ. А тутъ еще притворяйся передъ нимъ, потрафляй ему; противность какая»! На самомъ же дълъ, ей не въ диковину притворяться, а онъ, по своей прямотъ, не замъчаетъ притворства. Когда сестрица-наставница увърнеть его: «она бы и хотъла вамъ свою любовь высказать, да отъ робости не можетъ», онъ чистосердечнъйшимъ образомъ говоритъ: «чего меня робъть-съ, я такой же человъкъ, какъ и всъ... Ужь вы сдълайте такое ваше одолжение, вы впередъ меня не бойтесь. Меня совъсть зазрить. Что я за пугало»? Онъ, очевидно, неизмъримо выше г. Бабаева, и только неразвитость самой Тани (при всемъ ея, такъ называемомъ, «образованіи») мѣшаетъ ей оцтнить въ немъ именно тонкость его чувствъ, при всей, можеть быть, внёшней грубости, или, лучше сказать, невоздъланности его натуры. Взаимныя ихъ отношенія отлично понимаетъ Авоня, братъ Краснова, болъзненный, но серлечный юноша, «Брать нешто слыпь? говорить онъ. Такъ ли она его любитъ, какъ онъ ее? Стоитъ ли она его? Зачімъ же онъ передъ ними рабствуетъ? Мнт обидно, что онъ рабствуетъ. Хуже, что ли, онъ ихъ съ сестрой? Жену-то въ домъ приводятъ работницу, а она сидитъ, сложа руки, братъ одинъ работаетъ да ухаживаетъ за ними. Мнъ его жаль».

На замъчание добраго дъдушки Архипа: «по чемъ ты знаешь, можеть, брать самъ не хочеть, чтобъ она работала». Аеоня очень здраво отвѣчаетъ: «а коль не работаетъ, такъ и не величайся. Вышла замужъ за мъщанина, такая же мъщанка стала, какъ и мы. Что-жь мы, проклятые, что ли, какіе, прости Господи? У насъ тоже и общество есть, подати платимъ, повинности всякія несемъ. Братъ потомъ да горбомъ деньги-то достаетъ, да въ общество несеть. Сидъла бы дома въ дъвкахъ, да и барствовала... Братъ ей платки да платья шолковые даритъ, а онъ съ сестрой промежъ себя смъются, дуракомъ его называють». Авоня положительно правъ. Танъ съ сестрой противно, что онъ попали въ такую среду, по грубымъ понятіямъ которой не полагается барствовать, вотъ ихъ и тянетъ къ Бабаеву, въ замужествъ съ которымъ, если бы оно состоялось, Танъ можно бы было жить не по-мъщански. Ей, какъ и Олинькъ, въ недавно нами разобранной картинъ Московской жизни, хотълось бы непремънно за благороднаго, а не за мастерового, -- между тъмъ, суженымъ ея, какъ на гръхъ, оказался лавочникъ. Самъ Красновъ, сколько бы ни защищалъ онъ жену отъ родныхъ, въ сущности понимаетъ, что они правы, но хотълъ бы увърить себя, что оно не такъ. Онъ видитъ, что жена пренебрегаетъ его «мужицкимъ» бытомъ и предпочитаетъ ему утонченный Бабаевскій свычай-обычай! Этимъ только усиливается въ немъ то чувство ревности, котораго онъ и совъстится, и боится, но подъ власть котораго все болъе и болъе попадаетъ. Когда сестра указываетъ ему на отношенія Тани къ Бабаеву, онъ восклицаеть: «ты какое слово сказала-то! Коли повърить тебъ, что-жь тогда дълать? Ну, скажи! Одна у меня радость, одно утъшеніе, и я его долженъ ръшиться. Легко это, а? легко? Я не какакой, чтобъ на такія женины діла сквозь пальцы смотрълъ! Меня слово-то твое дурацкое только за ухо задёло, и то во мнъ все сердце перевернулось. А повърь я тебъ, такъ въдь, чего Боже сохрани, долго ли до гръха-то! За себя поручиться нельзя: каковъ часъ выдетъ. Пожалуй. дьяволъ подъ руку-то толкнетъ». За «дурацкое» слово сестры онъ выгоняеть ее отъ себя вмъстъ съ ея мужемъ; за такія же «дурацкія» сужденія брата Авони не разъ давно уже отъ него доставалось этому преданному ему всею душою, горячему юношть. И вотъ, на повтрку выходить, что слова ихъ совствиь не «дурацкія». Такъ выходить оно, совстмъ уже для него неожиданно, послъ того, какъ онъ, повидимому, навсегда объяснился и помирился съ женой при посредствъ самого, сдавшагося передъ ея хитростью, дёдушки Архипа. Она сама увёряла мужа, что любитъ его, сама къ нему ластилась, -- и тотчасъ же послъ этого, воспользовавшись его отлучкою, спять ушла отъ него къ Бабаеву. Онъ для нея съ ближайщими родными поссорился, онъ стоялъ за нее горою, а она надъ нимъ такъ натъшилась, такъ его провела и оставила въ дуракахъ передъ тъми, кого онъ винилъ за ихъ, по его словамъ, дурацкія подозрѣнія и предостереженія.

А они тутъ всѣ на лицо, они неотразимо доказываютъ ему, что были правы, и ей остается только при всѣхъ сознаться: «не любила я васъ никогда и теперь не люблю». «Ты говоришь, отвѣчаетъ онъ, что не любишь меня и не

любила, а я, видишь ты, по городу ходиль да ломался, что меня барышня любить распрекрасная!» Воть слова, по которымъ можно догадываться, что она и передъ бракомъ его обманула, притворилась къ нему привязанною. «На комъ мнъ этотъ стыдъ теперь взять?» спрашиваетъ несчастный, разумья туть стыдь обманутыхъ стыдъ очевидной несправедливости къ другимъ, -- все изъза нея же, обманщицы, стыдъ предпочтенья ему, сиволапому мужику, потвшающагося надъ нимъ, да и надъ нею, барина. А тутъ еще подъ руку подвертывается ему ножъ, да Авоня, оказавшійся во всемъ правымъ, ему наговариваетъ: «Къ барину уйдетъ. Я слышалъ, какъ они сговоривались убхать въ деревню». На бъду же туть надъ нимъ такъ и не раздается того колокольнаго звона, который на краю подобной же пропасти удержаль Петра. Но въдь Петръ собирался поръшить съженою, повинною только въ томъ, что она являлась помъхой ему при его новой страсти, а Красновъ глядитъ на себя, какъ на законнаго судью жены, которая его обманула? Да, положенія ихъ разныя, убійство-всегда убійство-по крайней мъръ съ той точки эрънія, съ которой сказано: «ни права, ни крива, не убивайте и не повелъвайте убити». Совершить убійство, хотя бы и надъ виновнымъ, хотя бы и не самосудомъ, а законнымъ судомъ, - значитъ свадиться въ ту нравственную пропасть, отъ которой удерживаетъ человъка Христіанская правда. Никто не напомниль о ней Краснову, пока еще было время, и слишкомъ поздно раздается надъ нимъ не колокольный звонъ, но слова старика Архипа: «что ты сдълаль, кто тебъ волю даль? Нешто она передъ тобой однимъ виновата? Она прежде всего передъ Богомъ виновата, а ты гордый, самовольный человъкъ, ты самъ своимъ судомъ судить захотёлъ. Не захотёлъ ты подождать милосерднаго суда Божьяго, такъ и самъ ступай теперь на судъ человъческій! Вяжите его»!--Но Красновъ въдь и самъ уже закричалъ: «Вяжите меня! Я ее убилъ». — Но какъ бы ни былъ верховенъ тотъ человъческій судъ, на который готовъ идти самъ Борисъ, предупреждая дъда

Архипа, поднялась ли бы у насъ рука на этотъ самый человъческій судъ, если бы онъ, устами еще не существовавшихъ у насъ тогда присяжныхъ, вынесъ въ такомъ случаъ оправдательный приговоръ? Или, по крайней мъръ, ръшились ли бы мы видъть въ такой мягкости приговора не что иное, какъ стачку какихъ-нибудь самодуровъ? Полагаемъ, что нътъ, и что и Божескій судъ оказался бы снисходительнымъ къ такой человъческой снисходительности. Въдь для такихъ, какъ Красновъ — въ сознаньи того, до чего онъ дошелъ, и заключается казнь, ужаснъйшая изъказней!

Изъ городка, въ которомъ разыгралась передъ нами такая трагедія, Островскій снова переносить насъ въ свою излюбленную бълокаменную--въ тъхъ «картинахъ изъ Московской жизни», которымъ заглавіе «Шутники» (1864 г.). Тутъ мы возвращаемся на почву «Бъдной Невъсты», снова попадаемъ въ міръ маленькихъ людей, унижаемыхъ и оскорбляемыхъ суровою своею долею. Какихъ-только шутокъ ни приходилось выносить на своемъ въку старику Оброшенову, чтобы какъ-нибудь пробиться съ своими двумя дочерьми. Давно онъ привыкъ къ тому, чтобы не обижаться ничемъ, потому что ведь у «благодетелей» такой нравъ: они «не любять, когда обижаются». И вотъ доходить, наконець, до того, что «шутять» со старикомъ и такіе дрянные мальчишки, одётые по послёдней модё, какъ Недоносковъ и Недоростковъ. Чтобы отбить, просто ради потъхи, у Върочки Оброшеновой бъднаго, но милаго ей жениха, они, подпоивъ, везутъ его къ болъе подходящей невъстъ, оказывающейся на повърку переодътою горничной. Мало того: издъвлясь надъ старикомъ Оброшеновымъ, ищущимъ денегъ, чтобы выручить изъ бѣды того же бъдняка-женика Върочки, спустившаго съ рукъ чужія деньги, они подбрасывають старику денежное письмо на 60,000. Оброшеновъ, поднявъ его на улицъ, приходить въ восторгъ, воображая, что ему, какъ нашедшему и объявившему о находкъ, достанется третья часть, -- приходить въ восторгъ, чтобъ найти въ конвертъ ни больше, ни меньше, какъ безграмотную записку: «не ганись за чужимъ дабромъ». Но такая ли еще *шутка* предстоитъ старику! «Что за безчестье, говоритъ ему купецъ Хрюковъ, что дочь твоя будетъ жить въ моемъ домъ». (Онъ подразумъваетъ старшую Анну Павловну). Развъ только скажутъ, что она любовница моя. Такъ и то не бъда. Всякій умный человъкъ разсудитъ, что она это отъ бъдности».

Заговорило отцовское сердце. «Молчи! залушу! закричалъ онъ. Ты думалъ, что я шутъ! Ну да, я шутъ и есть, только за дочерей убью, всякаго убью»! Старикъ даже хватается при этомъ за стулъ и только по уходъ Хрюкова вспоминаетъ, сколько денегъ онъ ему долженъ. «Пугнулъ я его, а теперь ужь и самому страшно, сознается Оброшеновъ. Кругомъ я обязанъ человъку, пропасть должень, и вдругь выгналь изъ дому, убить хотъль. Кого? благодътеля своего». — «Онъ, папенька стоилъ этого». оправдываетъ отца Анна Павловна». «Стоилъ-то стоилъ, соглашается старикъ. Его-бъ отсюда не въ дверь, а въ окно надо было проводить! Да вотъ то-то, Аннушка, душа-то у меня коротка. Давеча погорячился, поступиль съ нимъ, какъ слъдуетъ благородному человъку, а теперь вотъ и струсилъ. Бъдность-то насъ изуродовала». А на повърку выходить, что Хрюковъ-все же лучше, чъмъ можно было подумать. Онъ только придалъ делу игривый оборотъ, а намфренія у него, какъ оказывается, были серьезныя. «Будь тверже, Аннушка, будь таерже! говоритъ Оброшеновъ. Хрюковъ проситъ руки твоей и двадцать тысячъ на приданое даетъ. Падайте! обращается онъ къ меньшой дочери и къ ея элосчастному женику. Аннушка! Падаемъ, падаемъ къ ногамъ твоимъ». И онъ, въ самомъ дълъ, готовъ упасть передъ дочерью на колъни. «И вы думаете, что я откажусь? говорить она, удерживая его. Вы боитесь, папенька? Нътъ. Вы больны, вы стары: вамъ нуженъ покой. А вы для насъ работаете, убиваете послъднія силы... Я буду имъть возможность ходить за вами, покоить васъ, баловать, какъ малаго ребенка... И вы подумали, что я откажусь отъ этого. И ее, мою куклу, продолжаеть она, обнимая сестру Върочку, я могу рядить, во что мнъ захочется, доставлять ей удовольствія... И я откажусь! Папенька, что вы! Я умереть для васъ готова, только бы вы были счастливы». Да въдь умереть было бы едва ли не легче, чтмъ выйти замужъ за 60-дътняго скомидома, думавшаго сперва заманить ее къ себъ въ «экономки». Но въдь смертью своею она бы не достигла для отца и для сестры того, чего достигаетъ такою жизнью. «А что-жь онъ давеча-то говориль: въ экономки»? простодушно спрашиваетъ Върочка. «Да, да, отвъчаетъ старикъ. Я его бранилъ за это. Ужасъ, какъ бранилъ! А онъ говоритъ: я шутилъ, я только испытать хотель. Я, говорить, уже давно жениться задумаль непочтеніе дітей. И много невість смотрівль, да все не по сердцу; а твоя по сердцу пришла». У Хрюкова, такимъ образомъ, оказывается еще и особый фортель: возводя Анну Павловну въ санъ жены, онъ еще и дътямъ задаеть острастку. Этимъ, конечно, дорисовывается картина семейнаго счастья, предстоящаго Аннъ Павловнъ. «Пусть не сердится; я шутилъ», сказалъ о ней Хрюковъ, а Върочка спрашиваетъ: «что это съ нами все шутятъ?» Анна Павловна сейчасъ же находится: «а вотъ, Върочка, будемъ жить богато, да весело, а главное, не будемъ ни въ комъ нуждаться, такъ перестанутъ надъ нами шутить». Къ ней присоединяется и умиленный отецъ, потверждая: «перестанутъ, милыя мои, родныя мои, перестанутъ!» Но Върочкинъ вопросъ, разумъется, сохраняеть свою силу -уже отъ того, что счастье «ни въ комъ не нуждаться», повидимому, улыбающееся самоотверженной Аннъ Павловић, достается ужь слишкомъ дорогою ценою. Найдись у нея брать, въ родъ Родіона Романовича Раскольникова -онъ бы непременно заметиль: «ведь этакъ и отъ Сонечкина жребія не далеко»! Но многіе зрители, надо думать, расходятся изъ театра послѣ «Шутниковъ» въ самомъ легкомъ и благодушномъ настроеніи, думая: вотъ и спасибо автору, -- такъ хорошо все устроилъ, -- не то, что въ какихъ нибудь раздирательныхъ трагедіяхъ!

Вовсе не «раздирательнымъ» образомъ оканчивается у Островскаго и «Пучина» (1865 г.), въ свою очередь очень скромно отнесенная нашимъ драматургомъ просто къ «спенамъ изъ Московской жизни». А въдь тутъ передъ нами проходить цёлый человъческій віжь. Въ первой спені застаемъ мы главныхъ дъйствующихъ лицъ юношами. только что сошедшими съ учебной скамьи; въ последнейзрёлыхъ лётъ людьми, прошколенными опытомъ жизни. Время дъйствія—«около 30 лътъ назадъ», т.-е. въ совстиъ еще дореформенную пору, ту пору, когда на Московской сценъ давалась «Жизнь игрока» съ Мочаловымъ, о которомъ и говорится въ первомъ явленіи. Да и «Пучина» есть своего рода «жизнь игрока», только выставленная безъ мелодраматизма. Игрокъ туть-Кисельниковъ, студентъ не изъ «кончалыхъ» (выражение чиновника Переяркова). т.е. не изъ окончившихъ курсъ, а изъ отставшихъ отъ университета, отставшихъ ради того, чтобы пуститься въ ту азартную игру, которая называется семейнымъ счастьемъ. Встръчающіеся ему товарищи только что не напоминають ему пословицу: «не хочу учиться, хочу жениться». Прежде же всего, говорять они ему, нужны средства. Но онъ своего рода идеалистъ: есть свой домикъ. есть своихъ тысячъ семь, да тестевыхъ тысячъ шесть объщано; а главное, что ему нравится въ семействъ тестя. это «патріархальность». Напрасно его «кончалой» товарищъ Погуляевъ, узнавъ, что Кисельниковъ еще имъетъ въ виду дать всв деньжонки въ оборотъ тестю, а самъ будетъ трудиться, служить, покачиваеть головой: «а много ли получишь-то, не конча курса, не имъя чина... Выведутся дъти, будетъ нужда-то подталкивать, сдълаешься неразборчивъ въ средствахъ, руку крючкомъ согнешь. Ахъ, скверно». Самъ Погуляевъ собирается идти по стопамъ своего отца, быть учителемъ, т.-е., какъ это представляется чиновнику Переяркову, «ребятишекъ съчь». По мнънію Турунтаева, отставного военнаго, лучше поступить военную службу, получить роту, нажить денегь, да крестьянъ купить -- «свои рабы будутъ». Познакомившись съ

этими пріятелями той «патріархальной семьи», въ которую вступаетъ Кисельниковъ, мы тутъ-же знакомимся и съ его невъстою, и ея мамашей. Онъ какъ на ладони въ тъхъ словахъ, которыми дается отвътъ на вопросъ Погуляева Глафиръ: «вы очень любите своего жениха?» «А ты скажи, диктуетъ ей мамаша: «столько молъ люблю, сколько мнъ слъдоваетъ». «Вы про любовь-то напрасно, поясняетъ мамаша уже отъ себя. Она этого ничего понимать не можетъ, потому что было мое такое воспитаніе». -- «А какъ же замужъ выходить безъ любви? Развѣ можно?» спрашиваетъ Погуляевъ. «Такъ было согласіе мое и родителя ея, вотъ и выходитъ», отръзаетъ Боровцова. А Кисельниковъ туть же еще и мечтаеть о «тихихъ семейныхъ удовольствіяхъ».--«Да какая-жь это семейная жизнь, думается Погуляеву. Это невъжество -- и больше ничего... Загуляй лучше... это еще можеть тебя спасти. Напьешься, проспишься, а женишься, ужь не воротишь»! Но Кисельниковъ не следуетъ такому совету.

Во второй сценъ открывается передъ нами картина его семейнаго счастья (семь лътъ спустя). Мы на именинахъ у его благовърной супруги. «Лизанька, плюнь на отца, - говоритъ она своей дочкъ. Скажи: «папка дуракъ». И Лизанька въ точности выполняеть то и другое. «Заплачь, Лизанька, заплачь, продолжаетъ милая маменька. Громче плачь, душенька! Пусть всв услышать, какъ отепъ надъ вами тиранствуетъ». Но тутъ же, ни съ того, ни съ сего, принимается она муштровать туже самую дочку. «Да что же ты нейдешь, мервкая дъвчонка! Какъ примусь я тебя колотить». — Это ангельскую-то душку, замъчаетъ Кисельниковъ. - «А тебъ что за дъло, продолжаетъ свое мамаша. Моя дочь, я ее выходила, а не ты. Вотъ на зло же тебъ прибью въ дътской. Вотъ ты и знай». А все дёло въ томъ, что «зачёмъ же онъ ее бралъ изъ богатаго дома, коли у него денегъ нътъ», она «къ такой жизни не привыкла». Вотъ картина семьи, срисованная съ той поры, когда еще и не особенно заботитились о женскомъ образованіи, которое, говорять, подор-

вало у насъ семью. Но вотъ и теша съ тестюшкой. «Ужь ты до женнинаго приданаго добрался, жалуется теща, намекая на золоженныя имъ серьги и не заикаясь о томъ, что тесть такъ хорошо пустиль въ обороть его деньги, что ничего другого и не остается дёлать. А тесть еще приступаеть къ нему съ вопросами»: Ты въ какомъ судъ служищь? Кто у васъ просители?... Заломиль ты много съ купца, поясняеть онъ, купецъ упирается; ты его къ себъ позови, да угости хорошенько; выйдеть жена твоя въ шелку да въ бархатъ, такъ онъ сейчасъ и догадается, что тебъ мало взять нельзя». Напрасно Кисельниковъ отвъчаетъ на это: «грабителемъ будутъ звать». - «А тебѣ что за дѣло; пущай зовуть! и не думаеть смущаться тестюшка. Ты живи для семьи — вотъ здёсь ты будь хорошъ и честенъ, а съ другими прочими воюй, какъ на войнъ. Что удалось схватить, и тащи домой, наполняй и укрывай свою хижину». Боровцовъ однакожь не прочь позволить ему подумать и не объ одной семьъ. «У тебя семья сыта, ты бъдному можешь помочь отъ своихъ до ходовъ; онъ за тебя Бога умолитъ». Тутъ, впрочемъ, то-же «христіанское милосердіе», та-же «религіозность», дальше которой, какъ видъли мы, не идетъ и столь симпатичная, во многомъ, Катерина (въ «Грозъ»): такова уже себялюбивая закваска въ этомъ патріархальномъ быту-съ его «святыней семьи», которой, говорять, такъ угрожаеть женское образованіе. Это въдь-картинка изъ той поры, когда ради жены и дътей, ради ихъ довольства позволяли себъ всевозможныя скверны въ гражданскомъ смыслъ, и Боровцовъ не безъ основанія замітаеть: «я, можеть быть, не одинъ разъ видълъ такихъ-то людей, что не берутъ взятокъ... такъ ужь они и живутъ, какъ монахи».

Сюда же, на этотъ «семейный праздникъ» къ Кисельникову, неожиданно попадаетъ и вернувшійся изъ за границы (куда онъ тідить со своимъ воспитанникомъ), когда-то предостерегавшій его отъ «семьи», Погуляевъ. Видя, какъ Глафира пристаетъ къ мужу съ ромомъ, который необходимъ для ея папаши и котораго ей купить не на

что, Погуляевъ отдаетъ старому товарищу послъднія свои деньги: «я-то какъ-нибудь добуду».

Следующая сцена разыгрывается передъ нами пять лёть спустя. Туть, такь сказать, въ уменьшономъ видё повторяется вълицъ Боровцова Большовъ съ его банкрутствомъ, «Что у васъ за несчастье! Ни пожара, ни пропажи не было. Зажали деньги-то, папенька», говоритъ ему, не смотря на свою смирность, Кисельниковъ. «Пожалъйте хоть внучать-то, въдь больные лежать» (жена уже померла--тятенька пожалбать денегь на доктора). А самъ между тъмъ подписываетъ бумажку, поданную ему тестемъ: «признаю его невинно упадшимъ и искъ свей по роспискъ въ 5000 ассигнаціями и претензію о домъ симъ совершенно и навсегда прекращаю». — «Молодецъ, похваливаетъ его Боровдовъ, видно, что-любишь тестя. Я думаль, что и ты тоже заломишь (т.е. какъ другіе кредиторы), такъ приготовиль было тысчонки двъ и съ собой захватиль: «заткнуть моль ему роть-то, чтобь не шибко кричалъ». Теперь тестюшка ограничивается тъмъ, что оставляеть зятю немного мелочи — дъткамъ налакомство, азять хватается за голову, причитая: «меть бы самому дюдей грабить, да васъ, дътки, кормить-меня бы и люди простили, и Богъ простилъ; а я вмъстъ, за-одно съ грабителями, васъ же ограбилъ». Изъ словъ этихъ видно, что тестюшка, хотя и раззорился, но зато возъимълъ на зятя «нравственное вліяніе». А туть еще подвертывается и родная его мать съ такою же моралью: «бери взятки... я за тебя, Кирюша, Бога умолю». Мораль туть немедленно действуеть. Взявь съ какого-то господина три тысячи, Кисельниковъ «портитъ» для него, подъ его непосредственнымъ руководствомъ, какой-то документъ, а господинъ этотъ говоритъ ему: «ты мнъ за три тысячи полтораста тысячь продаль... Пойдеть слёдствіе о подлогь... Въ Сибирь-то пойдешь все-таки ты, а не мы».

Последняя сцена—еще пять леть спустя. И зять, и тесть разворены до тла. У зятя въ 39 леть что-то въ роде разжиженія мозга. Лиза, когда-то, по требованію мамаши,

плевавшая на отца, теперь барышня 17 леть. Она — изъ тъхъ добрыхъ натуръ, которыхъ окончателно неиспортишь дурнымъ воспитаніемъ. Но маменькина закваска все-таки въ ней слышна. «Я дъвушка молодая, говорить она, а взгляните, что на мнъ! Мнъ стыдно на улицу выйти. Я не хочу рядиться, мнъ хоть бъдное платье, да чтобъ оно было чисто, ново, по мнъ сшито. Я хороша собой, молода, это ужь, въдь, мое; мнъ хочется, чтобъ и дюди видъли, что я хорошенькая; а у меня сердце замираеть, какъ я начну надћвать эти лохмотья; я только себя уродую». Понятно, чъмъ она рискуетъ. «Вотъ нынче, сейчасъ, какіе-то господа подхватили ее на бульваръ подъ руки: она такъ испугалась, что и слова не вымолвить, а они идуть, пъсенки распъвають, да на всъхъ посматривають. Хорошо, что я подъбхаль». Такъ разсказываеть выручившій ее изъ біды Погулневь, не воображавшій, что это дочь его бывшаго товарища. Но въдь самъ, обратившійся въ идіотизмъ, папаша готовить для Лизы другую «встрьчу».--«Ты, говорить, въ кануръ живешь, передаеть онъ слова богатаго сосъда, и дочь, говоритъ, держинь въ собачьей кануръ... Вотъ, говоритъ, ей флигель — хорошій, хорошій....» Лиза, недавно ув'тряла, что она не боится работы, но тутъ же и оговорилась, что если работа ей опостылъеть, то она ее бросить. Выслушавь отца, она говоритъ бабушкъ про сосъда съ флигелемъ: «я ему давно нравлюсь». «Ца въдь онъ женатый, у него жена въ Петербургъ», поясняеть Анна Устиновна. «Ну, такъ чтожь, что женатый, говорить Лиза. Эхъ, бабушка! Ужь не пришло ли вамъ въ голову-то, что онъ жениться на мнъ хочетъ! У него, говорять, сто тысячь дохода. При такихъ деньгахъ все купить можно». И Лиза уже почти готова илти. идти вследъ за отцомъ, и не понимающимъ хорошенько, что такое онъ дълаеть. А бабушка и удерживаеть, и говорить: «стара я, кости мои покоя хотять; теплую бы мнъ комнату, да уходъ бы за мной. Да на тебя-то бы поглядъла, на нарядную, да на богатую. Охъ, да не слушай ты меня, старую, не слушай». Что же дълать Лизъ? «Стою я

надъ пропастью, говорить она, удержаться мнв не зач то. Охъ, спасите меня, люди добрые». Спасителемъ отъ прямо уже Сонечкина жребія, является опять тотъ же Погуляевъ. «Что лучше, стыдъ, или нужда? спрашиваетъ его Лиза. «Не думайте ни о томъ, ни о другомъ, отвъчаетъ онъ, а пойдите замужъ за меня». Онъ не видитъ въ этомъ. конечно, никакого подвига съ своей стороны, и слишкомъ хорошо понимаетъ, что о любви ея къ нему не можетъ еще быть и ръчи. «Сдълайте такъ, чтобъ я васъ полюбила», говорить она ему, соглашаясь. «Любите бабушку, прололжаеть она, да не попрекайте насъ бъдностью».... Онъ на ходить, что это не трудно. Но она ждеть отъ него и большаго, она хочетъ, чтобъ онъ ее «выучилъ такой работь, за которую много денегь дають». - «Да зачьмь вамь теперь?» спрашиваеть Погуляевь. «А затъмъ, чтобъ помогать бъднымъ дъвушкамъ, отвъчаетъ Лиза. Много ихъ въ такомъ положеній, въ какомъ я была». Одинъ изъ послёднихъ критиковъ Островскаго заметиль: «выше, святе этихъ словъ вы не услышите во всехъ десяти томахъ сочиненій Островскаго ни отъ одной изъ 44 героинь его»*). Слова Лизы дъйствительно прекрасны.

Замыселъ «Пучины» глубокъ. Жаль, что она осталась только наброскомъ (эскизомъ). Эту «Пучину» можно бы также назвать «Семьею», такъ какъ тутъ передъ нами, въ самомъ дълъ семъя той благословенной поры, когда нашему благосостоянію еще не угрожали ни какія-нибудь женскія гимназів, ни, тъмъ еще менъе, высшіе курсы.

Комедія: «На бойкомъ мѣстѣ» опять насъ отодвигаетъ назадъ—лѣтъ за сорокъ. Мы тутъ на постояломъ дворѣ, котораго хозяинъ не по имени только, но и въ самомъ дѣлѣ Безсудный. Ради наживы онъ и отъ прямого грабежа не прочь, и сестру готовъ въ оборотъ пустить, и женѣ позволяетъ любезничать съ проѣзжающими (хотя и ревнивъ при этомъ). Къ числу его завсегдателей принадлежитъ купеческій сынокъ Непутевый, требующій отъ своего при-

^{*)} Г. Скабичевскій въ Сѣверномъ Вѣстникѣ за Августъ 1887 г.

кащика Сени, чтобы онъ становился передъ нимъ во фрунть, и кричащій на постояломъ дворъ: «кто здъсь смъетъ важничать, окромъ меня! Я деньги плачу». Тотъ же милый юноша, подъбзжая къ сестръ Безсуднаго, Аннушкъ, говоритъ: «тъшь мой обычай. Аль ты моего ндраву не знаещь! Я въ Курчавинъ, бывало, запрягу дъвокъ въ сани лътомъ, да и взжу по деревнъ. Ты знай обхождение купеческое». Вотъ въ какой средъ вращается Аннушка. Но она уже совстмъ изъ тъхъ, которыхъ никакая среда не испортить. Островскій и любить, и умфеть выставлять силу нравственнаго устоя. Аннушка уже въ самомъ началъ коротко и ясно говоритъ брату: «у тебя стыда нътъ, а у меня есть». - «Анна!! Ты смотри, не разбуди во мнъ бъса! отвъчаетъ братъ. Во мнъ ихъ сотня сидитъ; какъ начнутъ по моимъ жиламъ ходить, въ тъ поры у меня расправа ножевая». Ответь Аннушки очять-таки коротокъ и ясенъ: «такъ ужь убилъ бы ты меня скоре, коли тебъ кровь-то человъческую все равно, что воду лить».

Живя въ настоящемъ омутъ, она устояла. Не только по-человъчески полюбивъ молодого помъщика, Миловидова, она и въ немъ, и въ кръпостномъ баринъ, съумъла пробудить къ себъ, мужичкъ, настоящую человъческую любовь. «Ужь ты знаешь, какой я ходокъ, говорить онъ своему пріятелю. А туть вдругь остика: встртчаю такую дъвушку, что и подойти нельзя, держить себя строго.... Такъ я какъ завлекся, влюбился, какъ мальчишка. Жениться хотблъ.... Начали меня усовъщивать, невъстъ разныхъ подставлять».... Ни что на него не дъйствовало, да подъйствовала напраслина, пущенная въ ходъ ея золовкою, которой приглянулся тотъ же Миловидовъ. Аннушка еще не знаеть объ этой клеветь, но ясно видить, что Евгенія отбила у нея друга милаго. «За что меня обижаете, говорить она ему, отстраняясь оть его неумъстныхъ объятій. Любите другую, а меня отъ скуки цаловать хотите! Чтожь я такое для васъ? Какъ-же мнв о себв думать? Въдь это вы мнъ ножъ въ сердце!» Ужасная мысль ше-

вельнулась у нея въ головъ. «Самое себя мнъ страшно. говорить она. Зажгу, зажгу домь. Пусть сгорять оба и я съ ними». Но не напрасно ей себя страшно: этотъ страхъ спасаеть ее. Надъ злобою вскорт торжествуеть жалость. «Зачъмъ мнъ его жаль стало? сперва какъ будто стыдится она своей жалости. Что за глупое сердце дъвичье! Развъ онъ не злодъй мой! А ее убила бы, змъю лютую! Братецъ. убей ее, убей ее! А онъ пусть живетъ. Что я такое. чтобъ изъ-за меня ему умирать! Зачемъ мешаю ему», задается она опять новымъ вопросомъ, вопросомъ, указывающимъ ей совершенно новый выходъ. «Зачъмъ на свътъ живу, себя мучаю! Она намъ помъха, говорятъ. Помъха я имъ! Ну что-жь? Гдв это у братца было.... Боже мой! Я не живая, у меня сердца нъть, я не чувствую; я помъха только. Ну что-жь? Ну пусть живуть безь помъхи!... Гдѣ это у братца быле спрятано».... И она добирается до того, что спрятано, принимаеть, какъ думается ей, отраву. Изъ комедін мы совстмъ уже переходимъ въ трагедію, но авторъ однакоже заключаеть благополучной развязкой. Отрава оказывается только дурманомъ, -- «питьицемъ забыдущимъ», которымъ, когда было надобно, Безсудный угощаль своихъ посётителей. Аннушка остается въ живыхъ, напраслина, взведенная на нее, выходитъ наружу, Миловидовъ ръшается жениться на ней, добродътель торжествуеть, а зло наказано тъмъ, что обличено. Скажемъ ли мы, что такая развязка не составляеть необходимости, что это какъ будто затасканная, натянутая мораль? Но въдь если въ жизни могъ тутъ послъдовать конецъ трагическій, то могъ точно также послёдовать и благополучный. Авторъ воленъ въ своемъ выборъ. Прекрасный характеръ Аннушки ни мало не потерпълъ отъ счастливой развязки.

VI.

Козьма Захарьичъ Мининъ-Сухорукъ.

Уже въ нъкоторыхъ изъ своихъ прежнихъ произведеній Островскій изображаль намь не современность, а время за 30, за 40 лътъ назадъ. Въ «Нетакъ живи, какъ хочется» время дъйствія было даже перенесено имъ въ XVIII ст. Онъ пытался такимъ образомъ становиться на почву прошлаго, почву историческую. Онъ окончательно сталь на нее въ своей драматической хроникъ: «Мининъ» (1862 г.). Соотвътственно содержанію, туть и внъшняя форма удаляеть насъ отъ будничной жизни. Произведеніе это, какъ извъстно, въ стихахъ и стихахъ прекрасныхъ, мъстами только чередующихся съ прозаическою ръчью (какъ у Шекспира и въ «Годуновъ» Пушкина). Нашему драматургу видимо хотблось отдохнуть душою, отвернуться отъ пошлости, грязи и самодурства, и перенестись на ту здоровую почву, слабые отголоски которой, однакоже, сказывались по временамъ и въ прежнихъ его произведеніяхъ. Это та почва общинная, земская, которая не поглощаетъ личности, не подавляетъ ея, а только не даетъ ей уродливо развиваться, доходить до безобразнаго самовольничанья. Мининъ, какимъ, послъ нъкоторыхъ колебаній, р*тился выставить его Островскій, самъ вполнт сознаеть, какая почва его возростила. Говорить же онъ:

Я къ дълу земскому рожденъ. Я выросъ На площади между народныхъ сходокъ. Я рано плакалъ о народномъ горф, И, не по лътамъ, тяжесть земской службы Я на плечахъ носилъ своей охотой. Соблазну власти я не поддавался; И, какъ насъдка бережетъ цыплятъ, Такъ я берегъ отъ властныхъ и богатыхъ Молодшую обидиную братью.

Потому-то Минина и не жалують эти властные и богатые, потому-то не жалують его и служилые, и приказные люди, потому-то они и считають его даже вреднымь и опаснымь человъкомъ, его, только и думающаго о томъ, какъ бы земскими силами снова соорудить разшатавшуюся и разсыпавшуюся государственную храмину. Стряпчій Биркинъ даже подвергаетъ Минина скрытому надзору, о чемъ и говоритъ дьяку Семенову:

Я сторожа къ нему приставилъ, знаеть, Павлушку; онъ коть зайца сослёдитъ; Волкъ травленый, отъ петли увернулся. Онъ изъ дьячковъ изъ бёглыхъ, былъ въ подъячихъ, Проворовался въ чемъ-то; присудили Его повёситъ, и онъ задалъ тягу: Теперь веревки, какъ огня, боится.

Семеновъ пытается придать такому отзыву болѣе удобный оборотъ, замѣчая, что Павлушка, быть можетъ, «и не своей виной въ бѣду попался». Но Биркинъ говоритъ на это совершенно невозмутимо:

.... Мий какое діло? Хоть висёльникъ, да только бы служилъ.

Такими соображеніями руководствуются въ разныя времена и въ разныхъ странахъ. Въдь и Робеспьеръ, когда ему говорили о гнусностяхъ одного изъ его клевретовъ, невозмутимъйшимъ образомъ повторялъ: «с'est un bon patriote». Терроръ снизу и терроръ сверху неръдко сходится въ своихъ основныхъ пріемахъ. Нашъ Биркинъ, конечно, не террористъ, но онъ изъ тъхъ рыболововъ въ мутной водъ, какіе всегда заводятся во время террора или смуты. Вспомнимъ, что онъ говоритъ Семенову:

Въдь Нижній — ключь всей Волги; за него бы Король Жигмонть иль Владиславъ царевичь Намъ дорогую цъну заплатили, Кабы привесть къ присягъ.

Понятно, что Мининъ, который противъ этого непремънно возстанетъ, по мнънію Биркиныхъ, только «заводитъ смуту». Да и какъ же этого ни сказать, если, по словамъ того же Биркина,

.... Всегда толпою За нимъ народъ валитъ, все шепчутъ что-то

И по ночамъ сбараются къ нему.

Семеновъ болъе выгоднаго мнънія о Мининъ, котя и согласенъ, что

Онъ боекъ на языкъ, упрямъ и дерзокъ, Въ дъла метается, за всехъ заступникъ...

На замъчание Биркина:

Я нелюблю, кто бойко говоритъ...

Семеновъ уже прямо поддакиваетъ:

Я не ему чета, молчать заставлю.

Тутъ оба собесъдника уже окончательно сходятся между собою, и Биркинъ имъетъ полнъйшее право сказать во множественномъ числъ:

На то мы власти, чтобы насъ боялись, Мы черный людь, какъ стадо, бережемь, Какъ стадо, долженъ онъ повиноваться.

На бѣду, народъ въ Нижнемъ не такъ-то податливъ.— Тотъ же Биркинъ о немъ отзывается:

> Ужь народецъ У васъ на Волгѣ! Нечего сказать! Новогородскемъ духомъ такъ и пахнетъ.

Т.-е., на самомъ дѣлѣ, не собственно Новгородскимъ, а тѣмъ стариннымъ обще-Русскимъ духомъ, который коренится въ вѣчевой порѣ. Патріархъ Гермогенъ другого мнѣнія объ этомъ духѣ, сохранившемся еще на Волгѣ. Недаромъ Мининъ передаетъ его слова:

Спасенье Русское придеть огь Волги: Хорошій, говорять, и чистый край! Снеси ты имъ мое благословенье. Самъ Мининъ строже относится къ своимъ землякамъ; онъ ближе стоитъ къ нимъ и въ горькомъ раздумыи спрашиваетъ:

Кто на Руси за правду ополчится? Кто чисть предъ Богомъ? Только чистый можетъ Святое дѣло честно совершить.

Вся забота Минина въ томъ, чтобы отыскать вполнъ чистыхъ людей, чтобы, подготовившись къ дѣлу постомъ и молитвою, общими силами дѣйствовать на остальныхъ, пробуждая и въ нихъ не въ конецъ заглохшія, лучшія стороны ихъ природы. Но вѣдь это-то и представляется чѣмъто непозволительнымъ такимъ «оберегателямъ чернаго люда» какъ Семеновъ и Биркинъ. Семеновъ прямо даже говоритъ Минину:

Вѣдь ты еще не воевода! Скажутъ, Чтобъ говорилъ — такъ говори, что хочешь; А скажутъ: замолчи! такъ замолчишь.

Но Минину, какъ онъ самъ на себя смотритъ, давно уже сказано, чтобы онъ говорилъ, сказано Тѣмъ, кто создаль его не безсловеснымъ, Тѣмъ, кто надѣлилъ его даромъ слова. Опираясь на велѣніе свыше, на самую верховную силу, самую верховную власть, онъ безстрашно и самоувѣренно отвѣчаетъ:

Не замолчу. На то мит дант изыкт, Чтобъ говорить. И говорить и буду По улицамъ, на площади, въ избт, И пробуждать, какъ колоколъ воскресный, Уснувшія сердца. Вы подождите, Я зазвоню не такъ. Не хочешь слушать, Я не неволю: не любо—не слушай; А замолчать меня заставить трудно. Я не свои вамъ ртчи говориль: Великій господинъ нашъ, патріархъ, Того же просить. Пусть насъ Богъ разсудитъ, Кто правъ, кто виноватъ.

Мининъ, пользующій свободой, и Гермогенъ, не сдающійся и въ заточеніи, говорять потому, что не го-

ворить не могутъ. Мининъ даже не отвъчаетъ за свои слова, за что либо крайнее въ нихъ или кому нибудь лично обидное. Онъ объясняется передъ тъми же «оберегателями» народа:

Не помию я, что говориль; быть можеть, Кого обидьть словомь. Не вините: Не самь я говориль, кровь говорила.

Кровь говорила въдь въ немъ не реди какой нибудь личной обиды; она говорила въ немъ потому, что сердце у него наболъло отъ общей бъды, отъ народнаго горя.

Этимъ-то горемъ пропитано у него каждое слово, живо-писующее то, что дълается на Руси:

Поймають, силой приведуть къ присягѣ Кривить душой, крестъ вору цѣловать. Да и не счесть всѣхъ дьявольскихъ насилій, И мукъ непереносныхъ не изчислить! И все безропотно и терпѣливо Народъ несеть, какъ будто ждеть чего-то.

Ждетъ онъ, этотъ многострадальный народъ, ждетъ не дождется избавителя отъ величайшей изъ бъдъ—отъ грозящаго ему вравственнаго исхуданія, отъ заполоненья его развратомъ. Прислушиваясь къ народной заунылой пъснъ, Мининъ хотълъ бы собрать всъ слезы съ матушки широкой Руси, и говоритъ:

Пусть всё онё въ одну сольются пёсню, И рвуть мнё сердце, душу жгуть огнемъ И слабый духъ на подвигь утверждають. О, Господа! Благослови меня! Я чувствую невёдомыя силы, Готовъ одинъ поднять всю Русь на плечи...

Мининъ сознаетъ, что имъ управляетъ такая сила, передъ которою все должно будетъ, наконецъ, сдаться. Сколько бы ни останавливали его, сколько бы ни заподозръвали его намъренія и ни проповъдывали ему смиреніе, осторожность или благоразуміе, а онъ все свое: Мит ждать нельзя. Мит Богъ велёль идти. Смотрите на меня! Теперь не свой я, А Божій. Не пойдеть никто, одинъ Пойду. На перепутьяхъ буду кликать Товарищей. Въ себт не воленъ я.

Завътвая мысль ему не даетъ покоя ни днемъ, ни ночью. Онъ не знаетъ, не помнитъ, спалъ онъ или не спалъ, когда предсталъ ему мужъ въ одъяніи схимника

И рекъ: "Кузьма! Иди спасать Москву! Буди уснувшихъ!"

То былъ голосъ съ того свъта, голосъ той же церкви, — не воинствующей еще въ лицъ моримаго голодомъ, но не поникающаго духомъ Гермогена, а церкви торжествующей, церкви небесной, — то былъ голосъ того, кто когда-то благословилъ на святую брань Донского, чья духовная сила преодолъла все и окрылила Русскую рать на побъду, зависъвшую отъ общаго настроенія, а не отъ личныхъ качествъ вождя. Не успълъ упомянуть о своемъ видъніи Мининъ, какъ доходитъ до него въсть:

Гонцы отъ $T_{\overline{p}}$ оицы живоначальной, Отъ Сергія угодника пришли.

Мининъ.

Отъ Сергія угодника? И старедъ, Явившійся мні грішному, быль Сергій.

Теперь въ последній разъ, друзья, пойду я Боярамъ, воеводамъ поклониться. Молятесь Богу, чтобъ смягчилъ онъ сердце Властителей, смирилъ гордыню ихъ, Чтобы помогъ мнё двинуть кроткимъ словомъ На дело Божье сильныхъ на землё.

Мининъ почти постоянно, въ теченіи пяти дѣйствій, является дъйствующимъ у Островскаго, дѣйствующимъ своимъ несмолкающимъ словомъ, но вѣдь такое слово есть вмѣстѣ съ тѣмъ и дъло. Сколько бы ни говорили о преобладающемъ въ драмѣ лиризмѣ, объ однообразіи большихъ рѣчей и монологовъ Минина, но въ ней есть свой

драматизмъ: онъ заключается въ медленномъ, но върномъ дъйствіи его упорнаго слова на все окружающее. Передъ нимъ, какъ дъйствительно «власть имущимъ», склоняется наконецъ и тотъ самый Семеновъ, который напрасно разсчитывалъ на иного рода власть, чтобы заставить замолчать Минина. Семеновъ обращается къ Нижегородскому воеводъ Алябьеву со словами, въ которыхъ прямо говоритъ вдохновитель Мининъ. Но воевода не поддается увъщаніямъ стать во главъ Нижегородской рати. «Я не пойду, усталъ», —вотъ его отвътъ. Онъ ссылается на неудачу прежнихъ предпріятій и объясняеть это волею Божьею. У Минина другое на то объясненіе. Оно —въ недостаткъ у властныхъ людей усердія, доброй воли, любви къ погибающему отечеству.

Что за корысть великимъ воеводамъ
За насъ, за маленькихъ людей, сражаться,
За дёло земское стоять до смерти!
Имъ хочется пожить да погулять!
Имъ хорошо вездъ. Съ царемъ повздорилъ,
Такъ въ Тушино — тамъ чинъ дадутъ боярскій;
Повздорилъ тамъ, опять къ царю съ повинной:
Царь милостивъ, проститъ; а то такъ въ Польшу.

Единственное, на что сдается, наконецъ, воевода Алябьевъ, это—приказъ кликнуть кличъ для сбора приношеній на ратное дѣло. Тѣ, которыхъ давно уже одушевилъ Мининъ, заранѣе одушевили на сборъ и другихъ. У нихъ ужь положено было пожертвовать третью деньгу. Раздался было и громкій протестъ со стороны скопидома Лыткина, ссылающагося на то, что нельзя же не дѣлать различія между семейнымъ и одинокимъ. Но міру такихъ отговорокъ не принимать стать. «Ты для себя для одного, что ли, жить хочешь?» спрашиваетъ его честный старикъ Аксеновъ. Такъ ступай въ лѣсъ, да и живи себѣ. Съ людьми живешь, такъ и слушай, что міръ говоритъ. Больше міру не будешь! Міръ никто не судитъ, одинъ Богъ. Велитъ міръ, такъ и все отнимутъ». И этотъ мірской голосъ находить себѣ поддержку въ мірѣ-народѣ. «Какъ сказано, такъ

и будеть, говорить Темкинь, на томъ всв и станемъ.»-«Всъ, всъ!» Раздается съ разныхъ сторонъ. Даже оказывающійся туть же на площади Німець соглашается дать на общее дъло. Почва для всенароднаго клича такимъ образомъ подготовлена. Съ разсвътомъ зазвонили въ Нижнемъ въ большой колоколъ, и сталъ отовсюду стекаться народъ православный. Тутъ и самому воеводъ приходится утирать себъ слезы. А Лыткину, по его словамъ, «сдуру втемяшилось, что всполохъ. Велълъ домашнимъ всю рухлядь, что есть, волочь въ городъ на спъхъ». А народъ поняль такъ, что это его приношение. Приходится скопидому отстаивать свои пожитки, но ихъ ему не отдають иначе, какъ съ темъ, чтобы онъ деньгами выплатилъ, «какъ на міру рѣшили». Приходится Лыткину раскошеливаться и въ утъшение себъ жаловаться на грабежъ, «Неволя заставляеть, самъ доводишь», говорять ему. Въ этомъ голосъ такъ и слышится Илья Муромецъ, требующій у калики тяжеловъсной его клюки подорожной, пропадающей задаромъ въ его рукахъ, и грозящій каликъ: «добромъ не дашь-силою возьму», -- потому что клюка та понадобилась для расправы съ Идолищемъ. Подобно той клюкъ, теперь нужны матеріальныя средства для отпора врагу, и вотъ ихъ силой берутъ у того, кто ихъ не даетъ добромъ. Знать, мірской-то духъ далекъ отъ той хитрости, что прозывается въ наше время «непротивленіемъ злу». Самъ Мининъ, по преимуществу дъйствующій убъжденіемъ, вынуждень дъйствовать и иначе-забираніемь власти въ руки, не ради ея самой, а ради того дъла, которому она послужить въ его рукахъ. Минину приходится вдругъ разочароваться, почти отчаяться. Вспомнимъ его слова:

> Давно-ль тоть день, когда бѣжаль толпами Народъ на площадь, отдаваль копѣйки Послѣднія и мѣдные кресты? А что́ теперь? Хоть плачь, хоть распинайся— И денежки не вымолишь: забыли, Что жень, дѣтей хотѣли заложить. Всѣ пріуныли. Только бѣдняки

И веселы; а тѣ, что побогаче, Какъ туча черная, всѣ почернѣли. Разстаться жаль съ добромъ....

Онъ видить, что они колеблятся, исполняясь къ тому же и ненавистью къ нему, точно онъ «о себъ, а не о земскомъ дълъ радъетъ». Эта ихъ личная ненависть, понимаетъ онъ, можетъ повредить всему дълу. Послушай, говоритъ онъ Аксенову,

Иослали выборных, просить велѣли На воеволство князя. Князь Дматрій Михайловичь ихъ спросить: "кто блюсти И ратнымъ раздавать казну приставленъ?" Меня не назовуть, гляди, другого Кого нибудь. Все прахомъ и пойдетъ.

Вотъ Мининъ и не смотритъ на то, что даже Аксеновъ винитъ его въ гордости, не смотритъ, какъ не смотрѣлъ на Семенова, подозрѣвавшаго его въ корыстолюбіи. Когда, направленные къ нему Пожарскимъ, земскіе люди ударяютъ ему челомъ, чтобы онъ согласился блюсти казну, онъ, не довѣряя прочности ихъ рѣшенія, упорно отказывается и говоритъ по уходѣ ихъ:

Теперь зовуть меня, а я нейду, И не пойду служить, пока весь Нижній Въ монкъ рукакъ не будеть поголовно Со всфиъ народомъ и со всфиъ добромъ.

И онъ. въ самомъ дълъ, даетъ свое согласіе лишь тогда, когда и Нижегородцы соглашаются на такую запись:

"И быти намъ Кузьмѣ послушнымъ, И не противиться ему пи въ чемъ! На жалованье ратнымъ людямъ деньги Имать у насъ у всъхъ безпрекословно! А не достанетъ денегъ, животы; А животовъ не станетъ, женъ съ дѣтьми Имать у насъ и отдавать въ закладъ.

Только при такомъ уже не переубъжденіи, а прямо пересиливаніи общественнаго зла и считаеть онъ дъло прочнымъ.

Еще такъ недавно корившій его въ гордости старикъ Аксеновъ именно тутъ-то и преклоняется передъ чистотой его побужденій и передъ силою его воли, говоря за всѣхъ:

Давно стоить земля, а не бывало Такого на святой Руси, И небывалую ты служишь службу. Прими жь такое званіе отъ насъ, Какого дёды наши не слыхали И внуки не услышать, и зовись Ты выборнымъ всей Русскою землею.

Принимая такое званіе, Мининъ имѣетъ полное право сказать, что онъ и теперь, какъ всегда, не поддается «соблазну власти». Да, онъ имѣетъ полное право сказать:

Я не свое хотвиье исполняю, А волю, заповъданную свыше.

Оглядываясь вокругъ себя, любуясь на дёло своихъ непреклонныхъ рукъ, онъ замёчаетъ не даромъ, что «въ немъ растетъ душа».

Не только склоняя на жертву, но и вымогая ее у другихъ, Мининъ не можетъ остановиться и передъ какимъ нибудь колебаньемъ въ своей семьъ, не можетъ не дать и тутъ полнаго хода своей непреклонной силъ и власти. Онъ велитъ нести все, что у него есть, велитъ даже «у святыхъ иконъ взять взаймы», —и жена, безпрекословно повинуясь ему, говоритъ:

.... Я все въ дарецъ поклала, Не думавши, взяда и принесла. Ты дума крвпкая, Кузьма Захарьичъ, Ты слово твердое, такъ что намъ думать!

Вотъ какое возвышенное значеніе получаетъ, движимая великою общественною идеею, та грозная власть домовладыки, которой отвратительное перерожденіе видъли мы у

того же Островскаго въ лицъ различныхъ Гордъй Карпычей и Титъ Титычей. Не оказывается ли послъ этого, что не чъмъ инымъ, какъ утратою земскихъ преданій, всякихъ отзвуковъ общиннаго начала, и объясняется появленіе и развитіе въ купеческой средъ того зла, которое называется самодурствомъ. Если же такъ, то не ясно ли, въ чемъ должны заключаться и настоящія средства противъ него?

Но воть передъ нами въ той же драмѣ и лишившаяся своего домовладыки молодая вдова. Не стало у нея «мужа и господина», какъ она выражается, осталось у нея на рукахъ его имѣнье-богачество, но она не копить его для того, чтобы добыть себѣ такою приманкою суженаго, который бы оказался у нея въ рукахъ, не думаетъ основать на деньгахъ какой либо, перетянутой на женскую сторону, самодовлѣющей власти. Далеко за предѣлы своего собственнаго дома выходитъ и ея кругозоръ, и она ощущаетъ свою неразрывную связь со всѣмъ человѣческимъ міромъ. Раздавала она свое имѣніе, раздавала, и все не могла раздать. Вотъ ея слова, обращенныя къ Нижегородцамъ:

.... Все прибавлялось— То долгь несуть, то кортому съ угодій. И не внуши вамъ Богъ такого дъла, Ни въ мизнь бы мив не разсчитаться съ долгомъ.

Она считаетъ долгомъ доставшееся ей наслъдство, потому что видитъ въ немъ чужое добро (сама она мало съ собою принесла въ домъ).

> Туть много тысячь. Сыпьте, не считайте! На добрыя діла, на обиходь Еще немного у меня осталось. Коли нужда вамъ будеть, такъ возьмете. А мні на что! Съ меня и такъ довольно, Однихъ угодій хватить на прожитокъ.

Ея широкому женскому сердцу достается пристыдить тъхъ, замкнувшихся въ себъ, богачей, которымъ приходится такъ солонъ Мининъ. А между тъмъ, въдь въ ней

шевелится и личное чувство любви, но она не даетъ ему разгоръться; оно невольно улегается въ ней передъ общей бъдой, передъ все перевъшивающею заботой о томъ, какъ бы выручить изъ нея землю Русскую. Напрасно желающій быть ея суженымъ домогается отъ нея, чтобы она, по крайней мъръ, дала ему слово передъ выступленіемъ его въ походъ. Островскій точно будто и самъ счелъ совершенно не нужнымъ, даже прямо не подходящимъ, развитіе какого нибудь романа въ подобнаго рода исторической драмъ. «Богъ дастъ, вернешься», говоритъ Поспълову Мареа Борисовна. «Какъ же, дожидайся»! отвъчаетъ онъ обиженнымъ тономъ.

Скорће голову свою положишь. — "А голову положишь, нешто хуло!"

Невольно пристыжая его, говорить она:

Что мученикъ, что на войнъ убитый, — Въдь, все равно. Куда ты угодишь, Пойми? Намъ не бывать тамъ, гдъ ты будешь.

Этотъ взглядъ ея—тотъ же мірской взглядъ, который побудилъ Новгородскаго лѣтописца отнестись и къ Западнымъ крестоносцамъ, какъ къ «святымъ мученикамъ».

Такимъ образомъ эта нъжная женская душа, не поддающаяся соблазну личной любви (въ такую годину это прямо соблазнъ), не поддается и тому умственному соблазну, въ силу котораго и къ подобнаго рода священной войнъ готовы бываютъ иные примънять пословицу: «худой миръ лучше хорошей брани». И отъ того, и отъ другого соблазна ограждаетъ Мареу Борисовну причастность ен тому разширенному кругозору, какой открывается передъ нею ен участіемъ въ общей, въ народной жизни.

Въ ряды «святыхъ мучениковъ», какими представляются Марет Борисовнт Божьи воины (такъ называетъ ихъ въ эпилогт народъ), поступаетъ, наконецъ, и юродивый— этотъ вполнт народный типъ, прекрасно воспроизведенный Островскимъ, типъ представитель той особой напряженности душевныхъ силъ, которая сказывается тутъ при полнт шей,

повидимому, слабости или даже непробужденности силы умственной. Сперва отдавъ всѣ свои «копѣечки», юродивый выбѣгаетъ подъ конецъ драмы вооруженный, и его прощаніемъ съ міромъ-народомъ и заканчивается драма. Не даромъ давно уже видѣлась ему «длинная дорога: встанетъ, такъ до неба достанетъ», не даромъ давно собирался онъ въ этотъ путь дороженьку не одинъ, а предвидѣлъ, что вмѣстѣ съ нимъ будетъ «много—много». Не даромъ видѣлись ему въ концѣ этой дороги

Обители, соборы, много храмовъ, Стѣна высокан, дворцы, палаты... Все по горамъ сады, на пёрквахъ главы, Все золотыя. Вотъ одна всѣхъ выше На солнышкѣ играетъ голова, Рѣка, какъ лента, вьется... Кремль! Москва!

VII.

"Воевода".— "Димитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій".— "Тушино".

Отъ драматической хроники въ IПекспировскомъ родъ Островскій снова обратился къ комедіи—только не въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, а въ томъ особенномъ, въ какомъ оно употреблялось иногда и великимъ Англійскимъ драматургомъ. Тутъ далеко не одинъ комизмъ, тутъ есть и не мало бъющаго по сердечнымъ струнамъ, а дъйствіе отодвинуто тутъ въ отдаленное прошлое — въ половину XVII столѣтія. Мы разумѣемъ «Воеводу или сонъ на Волгѣ», комедію въ пяти дъйствіяхъ съ прологомъ, въ стихахъ, воспроизводящую передъ нами тѣ-же двѣ стихіи Русской жизни, служилую или приказную и земскую, соотношеніе которыхъ такъ широко указано въ «Мининѣ».

Время дъйствія въ «Воеводъ»—это то время, когда окончательно возстановилась изъ развалинъ и окръпла на

прежнихъ своихъ основахъ государственная храмина, расшатавшаяся въ смутную пору. На повърку выходитъ, что, по прежнему считающіе себя ея единственною опорою, служилые люди ничему-то въ эту пору не научились. Вотъкакимъ образомъ описываютъ своего воеводу жители тогобольшого города на Волгъ, который служитъ въ нашейкомедіи мъстомъ дъйствія:

> Не до воровъ ему, поминки любитъ.... И сысканныхъ-то въ люди распускаеть, Берегъ на нихъ и сто рублевъ, и больше.

- А я скажу, что воевода сыщикъ
- Лихой у насъ. Онъ девокъ на посаде,
- Да по китимъ добро какъ разъ разыщетъ,
- Не утаишь...

Воевода, въ самомъ дълъ, живетъ, какъ Турецкій паша. Такъ, онъ забралъ къ себъ въ домъ молодую женщину, мужа которой довелъ своими прижимками до того, что тотъ ушелъ въ вольницу, а самъ на старости лътъ, защекотавъ до смерти двухъ своихъ прежнихъ женъ, собирается снова жениться, выбирая изъ двухъ сестеръ совсъмъ молоденькую и хорошенькую. Отъ общаго недовольства у воеводы есть такой надежный столбъ, какъ стрълецкій сотникъ Баимъ, которому онъ говоритъ:

Пошарь-ко тамъ съ своими молодцами, Не сыщешь ли кого изъ крикуновъ. Да не зъвай! Того, Бавмъ, не бойся, Что въ виноватыхъ правый попадется: Невиноватъ—укажетъ виноватыхъ.

Понятно, что, при такихъ порядкахъ, народнымъ сочувствіемъ пользуется та Волжская вольница, въ которую, вслъдъ за другими, ушелъ и прижатый воеводой Дубровинъ (въдь изъ той же гулящей вольницы вышелъ въ свое время и Ермакъ Тимовеевичъ). Недаромъ посадскій Тыра такимъ образомъ защищаетъ Дубровина, ограбившаго, какъ про него баютъ, казну:

Ты бай, не бай— не наше это дёло. Казну разбиль, казна про то и сыщеть: А ты не лай разбойникомъ напрасно, А называй удалымъ молодиомъ.

Недаромъ и самъ Дубровинъ говоритъ старику Несмъянову, совътующему связать его:

.... Эхъ, дъдушка, за что же? Тъ пожалъй меня! Связать не долго; Вязать—вяжи, да послъ не тужи. Я самъ даюсь; одинъ—не ратникъ въ полъ И дерево одно—не темный лъсъ.

Онъ теперь одинъ, потому что, оставивъ своихъ товарищей, прокрался въ городъ, чтобы узнать про жену. «Меня въ тюрьму», продолжаетъ онъ,

.... А сколько насъ на вол в Останется, ты всёхъ не перевяжешь; А у тебя домишко на посадъ, Чай бережешь отъ красныхъ пътуховъ?

И никто не выдаетъ Дубровина, не только изъ страха «краснаго пътуха», но и по болъе благороднымъ побужденіямъ, вытекающимъ изъ духа общины.

Кромъ ухода въ вольницу, есть и еще одинъ путь, уже совершенно законный, противъ воеводскихъ порядковъ. Объ этомъ пути вспоминаетъ посадскій Смирной;

.... Терптнья намъ не стало! Чему ни быть, а надоть челобитье Царю писать.

Иравда, на замѣчаніе старосты, что давно уже объ этомъ разговоръ, а дѣла нѣтъ, тотъ же Смирной замѣчаетъ:

.... Москва намъ дорога, Дойметь тебя Московской волокитой.

Но, не смотря ни на что, къ челобитной все-таки прибъгаютъ. Для подачи ея разсчитываютъ, и не даромъ, на бывшаго губного старосту Бастрюкова, разсчитываютъ, говоря:

Онъ намъ родной, мы сами выбирали, А воеводъ не въсть откуда шлють.

Это тотъ самый Бастрюковъ, котораго, по мнѣнію воеводы,

Унять давно пора. Зазнался больно, На нею сёлъ... Плутамъ заступникъ, Оберегатель земскій. Двумъ медвёдямъ Не жить въ одной берлогѣ.

Воеводъ и въ другомъ, чисто уже личномъ, смыслъ. приходится очутиться въ одной берлогъ — съ сыномъ Бастрюкова, которому давно приглянулась младшая дочь богатаго посадскаго Власа Дюжого, требуемая воеводою себъ въ замужство вмёсто старшей, предназначенной воеводё ея родителями. Воевода накрываетъ молодого Бастрюкова какъ разъ въ минуту задуманнаго имъ похищенія Марьи Власьевны. Но Бастрюковъ, разумъется, не оставляетъ своего молодецкаго замысла. Онъ сходится еще и съ удалымъ Дубровинымъ, а тотъ призываетъ на помощь колдуна Мизгиря. Нельзя, кажется, не замътить, что, разсчитывая на суевъріе воеводы, что вполнъ понятно, наши заговорщики разсчитывають и на его круглую глупость, а это далеко не такъ понятно. Мы не можемъ не видъть слабой стороны комедіи въ томъ, что воевода, зная уже о намфреніяхъ молодого Бастрюкова, уже накрывъ его разъ, такъ безоглядочно сдается на совътъ Мизгиря:

> Въ отъйздъ тебй изъ города дня на два, А не уйдешь, ничего не будетъ. Вся сила въ томъ. Пускай она тоскуетъ И сохнетъ по тебй. Какъ меду выпьетъ, Сейчасъ тоска ее обыметъ, станетъ Всйхъ спрашивать: да скоро-ль онъ прійдеть, Мой милъ сердечный другь?

Медъ, о которомъ говорить колдунъ, наговоренный медъ, но въдь для дъйствія его на дъвушку, посредствомъ наговоренной на медъ тоски, воеводъ не представляется ни малъйшей надобности удаляться. Не менъе страннымъ представляется и то, что у Бастрюкова съ его молодцами не хватаетъ умънья похитить Марью Власьевну поскоръе и

что воевода, надоумленный привидѣвшимся ему во время его странствія сномъ, возвращается какъ разъ во-время, чтобы снова накрыть похитителей. Все это какъ-то совсѣмъ неестественно, а равно и черезъ-чуръ уже близокъ къ дѣйствительности, неестественно близокъ, тотъ сонъ, въ которомъ онъ видитъ и Бастрюкова-отца, подающаго на него челобитную въ Москвѣ, и Бастрюкова-сына, нападающаго со своими молодцами на тѣ хоромы, въ которыхъ заперта у него Марья Власьевна. Недостатки комедіи выкупаются такими отдѣльными сценами (совсѣмъ уже не комическими), какъ между Дубровинымъ и пустынникомъ, Дубровинымъ и его женою (съ которою встрѣчается онъ у воеводы, принимая участіе въ похищеніи Марьи Власьевны).

Пустынникъ олицетворяетъ собою ту стихію древне-Русскаго общества, которая, при своемъ пассивномъ пониманіи Христіанства, испов'єдывала своего рода «непротивленіе злу». Онъ говоритъ Дубровину:

Мить жаль тебя. Мы оба бътлецы. Ты зломъ за зло, обидой за обиту Гръховному и суетному міру Воздать желаешь; я молюсь о немъ. Не обнажай меча! Мечомъ погибнетъ Извлекшій мечъ. Живи со мной въ пещеръ; Ко мить и звърь безтрепетно приходить, А отъ тебя и человъкъ со страхомъ Огходитъ прочь.

Дубровинъ начинаетъ каяться, но кончаетъ тѣмъ, что оправдываетъ себя, говоря:

Мой норовъ круть, душа моя не тернить, Когда большой молодшаго обядить, Подвластнаго гнететь да давить властный.

У пустынника, разумбется, и на это есть возраженія:

У властныхъ власть идеть отъ Бога. Кто же Тебъ дозволиль стать надъ властью?

Дубровинъ.

Сердце

Ретввое, что быстся—не уймется. Не правый судъ царить на быломь свыть, Въ овечьемъ стадъ волки пастухами; Кто жь застоить за быдныхъ, беззащитныхъ? Не мы, такъ кто-жь? Ныть власти,—есть охота.

Но онъ самъ понимаетъ, что тѣ, съ которыми онъ по неволѣ сошелся, не ему чета:

По локоть

Въ крови ихъ руки, головы похмёльны, Я имъ не ровня; я затёмъ и съ низу Привольнаго поближе къ дому приплыль, Чтобъ бросить ихъ и сёсть опять въ посадё, Лишь далъ бы Богь—смёнился воевода.

Онъ разсчитываетъ на то, что только бы была возможность вернуться въ тотъ кругъ, изъ котораго выжилъ его Шалыгинъ,—

Посадскіе не выдадуть, подъячихъ Купить не дорого. А тамъ годочекъ, Другой пройдеть, доводчиковъ не бойся. Живешь по тиху, такъ въ разбов старомъ Судить завазано, опричь убойства. А я не лгу: я рукъ не кровянилъ.

Его такъ и тянетъ домой, въ общество, завѣты котораго перенесъ онъ въ самую вольницу, въ семью, которая есть у него въ настоящемъ смыслѣ. Между тѣмъ какъ Шалыгины защекочиваютъ собственныхъ женъ и располагаютъ чужими, проявляя самое безшабашное самодурство, Дубровинъ—прямой семьянинъ и жена его остается ему вѣрна, не смотря ни на что. Ихъ союзъ основанъ на настоящей, на твердой и прочной любви, и если бы не злые Шалыгины, была бы у нихъ всегда «тишь, да гладь—Божья благодать». Свиданіе Дубровина со своею Оленушкой обдаетъ васъ дѣйствительнымъ лучомъ свѣта. На просьбу жены сказать ей по правдѣ, не промѣнивалъ ли онъ ее тамъ на сторонѣ на кого нибудь, онъ чистосердечно ей отвѣчаетъ:

Въ сиротской нашей долѣ До ласки ли, Олева? А взгрустнется, Бывало, мнѣ,—присядешь, горько всплакнешь. Придетъ ко мнѣ, бывало, пожалѣеть, Приластится, лицо и руки лижетъ Мой вѣрный песъ, лохматая собака....

Олена.

Такъ прогони жь свою собаку, злую Разлучницу. Возьми меня. Собакой Служить тебъ я буду, злое горе Съ тобой дѣлить; въ глаза глядѣть и плакать, И ластиться.

Но у него, въ свою очередь, являются совершенно невольныя и, пожалуй, еще болъе понятныя подозрънія. Она успокаиваеть его:

Романушко, не думай! Воевода И плакаль-то, и пыткой-то стращаль, Я напрямикь ему сказала: руки, Моль, наложу, отстань. Три дня не вла, Голодной смертью помереть хотвла, И унялся....

Прекрасна также въ сценъ остановки воеводы, на перепутьи, въ изоъ, противоположность между его тревожнымъ сномъ и безмятежнымъ покоемъ крестьянскаго младенца, убаюкиваемаго старухою:

Баю, баю, миль внученочект!
Ты спи-усни, крестьянскій сынь!
Нась Богь забыль, царь не милуеть,
Люди бросили, людямь отдали,
Намь во людяхь жить, на людей служить.
На людей людямь приноравливать.

Баю — баю, миль внученочекь!
Ты спи-усни, крестьянскій сынь!
Ты спи, поколь изживемь бёду,
Изживемь бёду, пронесеть грозу,
Пронесеть грозу, горе минется,
Поколь Богь простить, царь сжалится.

.

Долго, слишкомъ долго пришлось дожидаться того цълому ряду крестьянскихъ поколъній! Правду говорила воеводъ старуха, что

> И правнуки, и внуки Праправнуковъ Егорья помнить будутъ.

Но надъ тѣми своими «сиротами», которые печаловались ему на этого воеводу, царь вскорѣ сжалился. Напрасно еще во время поспѣваетъ Шалыгинъ домой, чтобы опять накрыть похитителей Марьи Власьевны, напрасно собирается онъ защекотать свою невѣсту, какъ защекоталъ въ свое время двухъ женъ: Бастрюковъ-отецъ тутъ какъ тутъ, чтобы объявить ему, что, по царскому указу, на мѣсто его присланъ Левонъ Поджарый. Приходится старому грѣховоднику сдаться. Между тѣмъ, Дубровина берутъ на поруки его посадскіе. Все такимъ образомъ устраивается пока совсѣмъ хорошо и Бастрюкову приходится праздновать нравственную побѣду, говоря Шалыгину:

Мить Богъ съ тобой, свою бы и обиду Тебт простиль; да ты весь міръ обидтяль. Ты, знагь, забыль, что съ міромъ не поспоришь, Что міръ вздохнеть, такъ до царя дойдегь.

Да, вздохнулъ этотъ міръ во дни Минина, и сдалась передъ этимъ вздохомъ народнымъ иноземная сила въ Кремъв, и не посмътъ король Сигизмундъ ни самъ усъсться на Русскій престолъ, ни послать на него своего королевича; вздохнулъ міръ-народъ, и на вздохъ его явился новый, своей Русской крови, царскій домъ и нашелъ онъ себъ опору твердую въ томъ же міръ-народъ. Но по прежнему не хотъли знать этого мірского вздоха всякіе служилые да приказные, извърился въ нихъ совсъмъ міръ-народъ, и радость его о томъ, что царь внялъ его глубокому вздоху, сейчасъ же и омрачается невольнымъ раздумьемъ о вновь назначенномъ воеводъ:

Ну, старый илохъ, каковъ-то новый будетъ?Да надо быть, такой же, коль не хуже!

Послъ своей бытовой комедін изъ XVII в. Островскій возвращается опять на чисто-историческую почву въ своей драматической хроникъ въ двухъ частяхъ: «Димитрій Самозванецъ и Василій Шуйскій» (1867 г.) За нею послъдовало «Тушино» (въ томъ же году). Нарисовавъ намъ конецъ нашей смутной поры въ своемъ «Мининѣ», онъ обратился затъмъ къ ея первой поръ и къ поръ ея разгара. Смуту не даромъ считають особенно драматического эпохою въ нашей исторіи. Съ легкой руки Пушкина, воспроизводили ен начало и ея конецъ Кукольникъ, Гедеоновъ, Константинъ Аксаковъ, Хомяковъ, Чаевъ и, позже всъхъ, уже послъ Островскаго, гр. Голенищевъ-Кутузовъ. Къ великой чести Островскаго, онъ со всею силою своего таланта далъ почувствовать въ своихъ драмахъ изъ этой поры все значеніе той народной стихіи, которая недостаточно выступаетъ впередъ у Пушкина, глубоко сознавалась, конечно, Хомяковымъ и К. Аксаковымъ, но не вполнъ далась имъ въ своемъ драматическомъ воспроизведеніи.

Конечно, уже Пушкинъ въ «Борисѣ Годуновѣ» далъ почувствовать, что Самозванецъ оказывался сильнымъ

Не войскомъ, нѣтъ, не Польскою помогой, А мнѣніемъ, да — мнѣніемъ народнымъ.

Недаромъ одно изъ дъйствующихъ лицъ говоритъ у него про народъ:

.... Попробуй Самозванець Имъ посулить старинный Юрьевъ день, Ну, и пойдеть потёха.

І'лубокаго смысла, конечно, исполнено въ конц'в драмы и то «безмолвіе народа», которое сулитъ Самозванцу недоброе. Зато прямая причина гибели Годунова, коренившаяся тоже въ настроеніи народномъ, показана Пушкинымъ далеко не ясно. Что же касается геніальнаго Пушкинскаго намека на будущую гибель Самозванца, то для оправданія его нужна была ц'ёлая новая драма, такъ и не написан-

ная Пушкинымъ. Съ нею-то, съ этою дальнъйшею драмою Самозванца, и встръчаемся мы у Островскаго. Мы видимъ его тутъ уже на престолъ и убъждаемся въ искренности его прекрасныхъ правительственныхъ намъреній. Онъ въдь съ истиннымъ увлеченіемъ говоритъ Басманову:

Всздѣ, во всемъ вы властвуете страхомъ:
Вы женъ своихъ любить васъ пріучали
Побоями и страхомъ; ваши дѣти
Отъ страха глазъ поднять на васъ не смѣютъ;
Отъ страха пахарь пашетъ ваше поле,
Идетъ отъ страха воинъ на войну,
Ведетъ его подъ страхомъ воевода,
Со страхомъ вашъ посолъ посольство правитъ;
Отъ страха вы молчите въ думѣ царской.
Отцы мои и дѣды, государи,
Въ ордѣ Татарской, за широкой Волгой,
По ханскимъ ставкамъ страха набирались
И страхомъ править у Татаръ учились.
Другое средство лучше и надежнѣй—
Пцедротами и милостью царить.

Говоря о «предкахъ», Самозванецъ, можно сказать, чистосердечно увлекается мыслыю, что онъ, пожалуй, и въ самомъ дёлё ихъ потомокъ. Ему, очевидно, втолковано, что онъ настоящій царевичь. Соединяя въ своемъ пониманіи названаго Димитрія ту историческую догадку, которая видить въ немъ орудіе извъстной боярской партіи, уже выростившей его въ потребныхъ для того понятіяхъ. съ тъмъ едвали уже не безспорнымъ историческимъ мнъніемъ, по которому Самозванецъ является орудіемъ Польско-іезуитской интриги. Островскій не ръшился, однакоже, выставить его вполнъ убъжденнымъ въ своемъ царскомъ происхожденіи. Такимъ оказывается онъ, какъ извъстно, въ неоконченной трагедіи великаго Німецкаго поэта, весь психологическій интересъ которой и сосредоточивается въ томъ, что, уже достигая своей цёли. Димитрій неожиданно разувъряется въ томъ, во что онъ такъ твердо върилъвъ самомъ себъ («Demetrius» Шиллера). Но и у Островскаго онъ, при своей увлекающейся натурѣ, по временамъ почти готовъ вѣрить тому, что ему издавна втолковано. Припомнимъ его обращение къ Грозному:

Отецъ названый! Я себя не знаю,
Младенчества не помню. Царскимъ сыномъ
Я назвался не самъ; твои бояре
Давно меня царевичемъ назвали
И, съ торжествомъ и злобнымъ смѣхомъ, въ Польшу
На береженье отдали. Не самъ я
На Русь пошелъ; на смѣну Годунова
Давно зоветъ меня твоя столица,
Давно идетъ по всей Россіи шепотъ,
Что Дмитрій живъ....

.... Какъ сонъ припоминаю,
Что въ дѣтствѣ я былъ вспыльчивъ какъ огонь;
И здѣсь, въ Москвѣ, въ большомъ дому боярскомъ,
Шептали мнѣ, что я въ отца родился
И радостно во мнѣ играло сердце.
Такъ кто же я? Ну, если я не Дмитрій,
То сынъ любви, иль прихоти царевой...
Я чувствую, что не простая кровь
Течетъ во мнѣ....

.... Счастлизый Самознанець И царствъ твоихъ невольный похититель, Я не возьму тиранскихъ правъ твоихъ— Губить и мучить. Я себъ оставлю Одно святое право всъхъ владыкъ— Прощать и миловать.

Онъ, стало быть, является у Островскаго не искателемъ приключеній, не ловцомъ рыбы въ мутной водѣ; онъ увлекается мыслію о тѣхъ благахъ, которыя онъ можетъ доставить Русской землѣ, пользуясь доставшеюся ему властію. Да, но онъ смотритъ на себя, какъ на какой-то добровольный источникъ благодѣяній, онъ составилъ себѣ, не безъ вліянія иноземцевъ, самое темное понятіе объ отечественномъ строѣ жизни, и онъ не чуетъ того народнаго воззрѣнія на власть, въ силу котораго она является служсбою землѣ; не чуетъ, что тиранскій образъ дѣйствій Грознаго не быль его государевымъ правомъ, что сыну

предстояло бы, просто, не мечтая о благодъяніяхъ, загладить передъ народомъ гръхи отца. Правда, Димитрій вспоминаеть о народъ, какъ о сознательной силъ, обращается къ его голосу, къ его суду, когда ему предстоитъ расправа съ Шуйскимъ. Но это отъ того, что ему бы только свалить съ самого себя тяжелое дъло расправы съ личными врагами. Островскій выставиль его самоув ренно великодушнымъ до легкомыслія, такъ что Самозванецъ напоминаетъ у него Сарданапала въ извъстной трагедіи Байрона. Но онъ напоминаетъ Сарданапала и въ другомъ отношеніитъмъ, что, при всей своей добротъ и великодушіи къ врагамъ, онъ, такъ сказать, слешкомъ добръ и къ самому себъ, слишкомъ самъ себъ потакаетъ. При этомъ онъ уже ни мало не думаеть о народномъ мнонім, о народномъ судо надъ собою, и вотъ ему приходится выслушать отъ дьяка Осипова такія см'єлыя укоризны:

> Какой ты царь! Тебв-ль управить царствомъ, Когда собой управить ты не въ силахъ! Какой ты царь! Ты самъ въ оковахъ рабства.

Но этотъ дьякъ, —онъ вѣдь, хотя и приказный человѣкъ, —въ этомъ случаѣ прямой представитель народнаго мнѣнія. Онъ открыто высказывается передъ Димитріемъ, не вынося и хозяйничанья въ Москвѣ Поляковъ съ ихъ очевиднымъ презрѣніемъ къ Русскому народу, и явнаго нарушенія Самозванцемъ народныхъ обычаевъ, открытаго вызова съ его стороны религіозному чувству народа. На спросъ Димитрія, чего онъ хочетъ, кѣмъ обиженъ, Осиповъ прямо отвѣчаетъ: «тобою».

Димитрій.

Не знаю, чёмъ и какъ я могъ напрасно Тебя обидёть, добрый человёкъ.

Осниовъ.

А тымъ, что ты въ святыхъ стынахъ премлевскихъ, Среди церквей вертенъ грыху ноставилъ.... Святую тишь молитвы православныхъ Нарушилт ты гудёньемъ Мусикійскимъ...

Гдѣ я молюсь, предъ чѣмъ благоговѣю, Куда вступаю съ трепетомъ священнымъ, Туда со мной Литвинъ и Ляхъ съ руганьемъ И мерзостнымъ кощунствомъ вмѣстѣ входятъ.

Осиповъ при этомъ очень хорошо понимаетъ, чѣмъ онъ можетъ поплатиться. Онъ говоритъ:

Я смерти жду. Постомъ и покаяньемъ Я оградилъ себя отъ страха смерти, И, причастясь святыхъ Христовыхъ тайнъ, Пришелъ къ тебъ изъ Божьей церкви прямо Принять изъ рукъ твоихъ вънецъ страдальца, Съ которымъ я на небеса предстану.

Димитрію, закричавшему было: казнить! но сейчась же и отмѣняющему такое рѣшеніе, остается только сознаться, что «твердый, какъ желѣзо, безжалостенъ къ себѣ народъ Московскій».

Но это вовсе не внушаетъ ему уваженія къ народу, а только заставляетъ Димитрія заключить о народъ, что

Онъ милостей не цвнитъ и не стоитъ.

Шуйскій, этотъ «лукавый царедворець», какъ его назваль Пушкинъ, но царедворець, пролагающій себѣ дорогу къ царству, искусно пользуется у Островскаго легкомысліемъ Самозванца и только подстрекаеть его на то, на чемъ онъ себѣ сломитъ шею. Напрасно предостерегаетъ Димитрія дѣйствительно вѣрный ему Басмановъ, говоря ему:

Вояръ проимрство
Невъдомо тебъ, — ты съ нами не жилъ.
Грозна была опала государей,
Родителей твоихъ, и Годунова;
Но еслибъ знать ты могъ бояръ крамольныхъ
Всъ помыслы, ты казнямъ бы Ивана
Не подивился. Въ самой преясподней,
На самомъ днъ клокочущаго ада
Не выковать такихъ сътей, какими
Они тебя и Русь опутать могутъ.

Голосъ Басманова вполнъ въ этомъ вторитъ народному голосу, который выражается тутъ и краткими словами юродиваго: «бояринъ — Татаринъ». Тому же юродивому принадлежатъ въ драмъ и другія слова: «казакъ — Полякъ!» Върность и этого замъчанія юродиваго (въ томъ смыслъ, что казаки дъйствовали тутъ за одно съ Поляками) подтверждается кое-чъмъ уже и въ этой драматической хроникъ; еще же болъе очевидною становится она въ «Тушинъ».

Но и бояре могли бы быть прозваны Поляками—въ смыслъдъйствовавшихъ во многомъ съ ними за одно. Только то, что сведо нашихъ бояръ съ панами, то и разводитъ ихъ съ ними. «Оно-бъ не худо, говоритъ Голицынъ,

Шляхетскія намь вольности им'ять; Да воть б'яда—нанъ Юрій Мнишекъ сядетъ На насъ на вс'яхъ, между паремъ и нами".

Они не на шутку задъты, когда Димитрій іговорить боярамъ:

Не забудьте, Что Польскіе паны не вамъ чета.

Ръшеніе ихъ коротко. Оно высказывается тъмъ же Голицынымъ:

Пора ужь намъ почетъ, боярамъ, вядѣть! Мы выберемъ себѣ царя межъ нами, Боярскаго царя.

А Татищевъ поясняетъ это тъмъ, что

Боярами стоить земля отг въка.

Шуйскій идеть еще далье, говоря:

Боярство—Русь великан, а земство Идетъ туда, куда ведутъ бояре. Народъ возьметъ, что мы ему дадимъ. И будетъ знать, что мы ему велимъ.

Шуйскій считаетъ себя и своихъ «Ворисовыми учениками», т. е. прошколенными опытомъ временъ Вориса и Гровнаго. «Насъ не проведешь!» похваляется онъ, прибавляя:

По выбору и ложь, и правда служать У насъ въ рукахъ орудіемъ для блага Народнаго. Нужна народу правда— И мы даемъ ее; мы правду прачемъ, Когда обманъ народу во спасенье. Мы лжемъ ему: и мрутъ, и оживаютъ По нашей волѣ люди; но базарамъ Молва пройдетъ о знаменьяхъ чудесныхъ. Убогіе, блаженные пророчатъ, Застонетъ камень, дерево заплачетъ, Изъ нѣдръ земли послышатся глаголы, И наша ложь въ народѣ будетъ правдой, Въ хронографы за правду перейдетъ.

На повърку же выходить, что они еще далеко не прошколены жизнью, такъ-таки ничему и не выучились. Шуйскій думаетъ помыкать народомъ, направляя его, какъ тупую, грубую силу, противъ Самозванца. Но въдь и какой нибудь калачникъ, которымъ онъ при этомъ польвуется, исполненъ самосознанія, когда останавливаетъ десятскаго, накинувшагося на того старика, который докавываетъ, что настояцій царевичъ давно убитъ.

> Ты лѣтъ не чтишь, ты, съ дуру, поднялъ руки На старика сѣдого! Ну, такъ стой же. Учтивости я выучу тебя.

Десятскій. Ты что шумишь? Ты сами-то что за чтица?

Калачникъ.

Что я-то?! Я—не сыщикъ, не доносчикъ; Я—весь народъ Московскій; вотъ—кто я! Ты радуйся, что мы покуда тихи. Берись за умъ, одну съ народомъ пъсню Затягивай! А то бъды дождешься...

Шуйскому удается, воспользовавшись легкомысленными ошибками Самозванца, вызвать противъ него возстаніе. Приговоренный уже было къ казни, но помилованный, Осиповъ, не смотря на то, величается надъ Самозванцемъ, говоря:

Проспался-ль ты, безвременный царекъ! Поди сюда! Покайся предъ народомъ!

Но Димитрій въ эту минуту даже готовъ на то. Въ немъ проснулись въ роковой часъ лучшія стороны его природы и онъ говоритъ Шуйскому:

Пойдемъ къ народу,
На Лобное, къ мятежникамъ твоимъ!
Я не боюсь, я правъ; пускай разсудятъ
Меня съ тобой! Я отдаюсь на волю
Народную... Боишься ты, не смѣешь
Своей души народу обпажить?
Я все скажу! И пусть народъ узнаетъ,
Что я честићй тебя...

Уже слишкомъ поздно, конечно,—участь Самозванца ръшена. Но вы чувствуете, что и Шуйскому не усидъть на своемъ самозданномъ престолъ.

Бояре, ради собственных выгодъ содъйствующие ему, чтобы взять съ него запись, огранивающую его въ ихъ пользу, въ тоже самое время и завидуютъ-то ему, и презираютъ-то его глубоко. Вотъ какъ описываетъ Шуйскаго Куракинъ:

Что ни начни, все свято у него!
Завъдомо мошенничать сберется,
Иль видимую пакость норовить,
А самъ, гляди, ведыхаеть съ постной рожей
И говоритъ: "свято» дъто, братцы!"

Чисто личными побужденіями, конечно, руководствуєтся въ своемъ осужденьи и Голицынъ. Это не мъшаетъ ему проговориться словомъ глубокой правды — върно указать на то, чего именно не достаетъ Шуйскому для прочности его власти. Вотъ слова Голицына, которыми и заканчивается его хроника:

Крамольникъ онъ отъ головы до пятовъ! Вояриномъ ему-бъ и оставаться. Крамольнику не слёдъ короноваться. Крамолой свяъ Борисъ, а Дмитрій силой: Обоимъ тронъ Московскій былъ могилой. Для Шуйскаго примёровъ недовольно; Онъ хочетъ сёсть на царство самовольно — Не царствовать ему! На тронъ свободный Садигся лишь избранникъ всенародный.

Мы снова встръчаемся съ Василіемъ Шуйскимъ въ новой драматической хроникъ Островскаго: «Тушино». Изъ собственной его ръчи видно, что престолъ уже сильно колеблется подъ нимъ. Онъ причитаетъ жалобно:

Моя судьба—мудреная загадка.
Отъ плахи я перешагнулъ на тронъ,
На грозномъ тронъ я сижу безъ власти!
Безъ власти царь Московскій! Это дъло
Не слыхано! Орлу парить высоко
Безъ крылъ нельзя! А я орелъ безъ крыльевъ.

Не страшенъ врагъ! Пошли Творецъ небсеный, Мит равнаго и честнаго врага! Ведутъ войну цари съ царями, идутъ На честный бой пытать и гитвъ и милость Твою, Господъ! И ты даешь побтду Достойному, а гордего смиряешь. А я борюсь, а я воюю, Боже! Съ холопями, съ ворами, съ бъглецами! Обругано твое святое имя, Обругано помазанъе твое!

Но Шуйскій все-таки не понимаеть, отчего оно такъ, чего именно не достаеть ему, чтобы считать себя на престолѣ прочнымъ.

Между тъмъ тамъ, въ Тушинъ — воображаетъ себя возсъдающимъ на томъ же престолъ другой, какъ его называли, «царикъ», также самозванно воспользовавшійся именемъ Дмитрія, какъ и тотъ, кого свергъ Василій Ивановичъ Шуйскій.

У него ли, казалось бы, не житье! Оно въдь не толькокрасноръчиво, но и въ своемъ родъ вполнъ върно описывается Саблуковымъ:

> Тамъ всё равны; живуть по Божью слову, Боярину большому, дворянину И ратнику простому честь одна.

> А если ты даввишнюю обиду,
>
> Хоть за десять годовъ, желаешь вспомнить
> И выместить—охотники сберутся,
>
> Товарищи, и вольною толпою
>
> Пойдуть съ тобой обидчика искать
>
> На диф морскомъ, лишь покажи дорогу.

Но тоть, кто даруеть подобную волю всякому, кто захочеть ему служить, самъ не имбеть никакой воли: онь весь въ рукахъ у Рожинскихъ и у Сапъть, которые, чуеть онъ, должно быть и сами погубять его—тъмъ, что разсчитывають только на приманку къ нему вольною волею да разливаннымъ моремъ, а позабывають о томъ, что есть же въ народъ потребность и не въ такой безшабашной волъ, потребность правды Божьей и возможной только подъ ел сънью настоящей человъческой свободы. Новый названый Дмитрій самъ приходить въ ужасъ отъ того, что

увъряетъ онъ, и тутъ же, немного погодя, даетъ приказанье идти на осаду Троице-Сергіеной Лавры, отдаетъ приказанье, и тутъ же приходитъ въ ужасъ, что не только между иноземцами и иновърцами, но и между Русскими, православными, находятся такіе, какъ М. Редриковъ, который съ полнтишимъ спокойствіемъ говоритъ про своего царя: Служа ему, мы грабить И раззорять въ Московскомъ государствъ Всъ города у Шуйскаго должны. А Сергіевъ, иной ли городъ грабить, Намъ все олно....

Туть ужь именно выходить по словамь юродиваго въ предъидущей хроникъ: «казакъ—Полякъ». Т.-е. туть можно было бы также сказать: «Русакъ—Полякъ».

Сапъта въдъ не даромъ говоритъ про Редрикова: «такихъ то мнъ и нужно». Правда, мы снова встръчаемся съ Редриковымъ уже подъ самыми стънами Троицкой обители, но ему вмъстъ съ Донскимъ атаманомъ Епифанцемъ становится жутко. «Угодники Господни, говоритъ Епифанецъ

Монастырю дають святую помощь; Мы съ музыкой идемъ, съ гудвньемъ, звономъ, Пьянехоньки, а тамъ святые старцы, Молитвою укрвплены, постомъ, И ратники съ благословеньемъ Божьимъ Отпоръ даютъ подъ звономъ колокольнымъ... Немного туть возьмешь! Сбираться на Донъ, Домой идти покаяться скорве, Замаливать свои грвхи, покуда живъ. Въдь есть одно у насъ святое двло—Крушить Татаръ Ногайскихъ: мало намър

Для Епифанца спасеніе въ томъ, чтобы вернуться къ своему казачеству въ его настоящемъ, исторически узаконенномъ смыслѣ—въ смыслѣ обороны родной земли отъ ея издавнихъ враговъ—степняковъ. Редрикову пришлось бы вернуться въ безъидейную среду тѣхъ баръ, которые вмѣстѣ съ тѣмъ и служилые люди, вернуться къ отцу, направлявшему его къ царю Василію Ивановичу, а онъ пошелъ служить царику, потому что не все ли равно, кому ни служить — только бы хорошенько выслужиться да добыть побольше простора своей рукѣ владыкѣ! Но и въ Редриковѣ, всегда остававшемся въ сторонѣ отъ какой либо бытовой общины, премелькнуло сознаніе тѣхъ особыхъ, высшихъ связей, о которыхъ напоминала и бар-

ству, и служилому люду церковная община. «По волъ царской, говорить онъ,

Стоимъ мы здъсь; да, видно, Богъ не хочетъ Въ раззоръ отдать святыни монастырской. За разъ бы взять и разговоръ короткій, Покаялся бъ ужь послѣ за озно За във грѣхи. А годъ бороться съ Богомъ И каждый день, вставая и ложась, На тѣ жь кресты молиться, по которымъ Изъ пушекъ бъемъ; сшибать колокола И съ музыкой ходить противъ святыни,— Разбойникамъ быть мало—окаяннымъ Быть надобно.

Редриковъ радъ радехонекъ идти изъ подъ Троицы къ Ростову. Но на это оказываются у него и особенныя основанія—опять совершенно личнаго свойства; тутъ замѣшаны тѣ же невысокія побужденія, которыя и привели его въ Тушино. Съ самымъ страстнымъ жаромъ говоритъ онъ:

Давно я жду отрады, добираюсь До города Ростова. Ну, Безпута, Ты жечь и грабить лють; тебя беру я Въ товарищи. Ростовскимъ воеводой Обиженъ я, пойдемъ считаться съ нимь!

Онъ не знаетъ еще—но въдь это его бы не остановило
— что тамъ предстоитъ ему встръча съ младшимъ братомъ, оказывающимся ни больше, ни меньше, какъ зятемъ Ростовскаго воеводы. Николая Редрикова точно также тянуло въ Ростовъ и онъ радъ былъ порученью туда отъ царя Василія Шуйскаго; его тянула туда не ненависть, а любовь, любовь, столь же личная, столь же неумъстная въ такую годину общаго испытанія, какъ и всякое другое личное чувство. Этотъ восемьнадцатилътній смазливый мальчишка, весь уходящій въ свою преждевременную страсть къ такой же смазливой дъвчонкъ, производитъ, по крайней мъръ на насъ, какое-то отвратительное впечатлъніе. Совершенно нежданно и незаслуженно достается этому

талопаю геройская смерть въ тъхъ стънахъ, въ которыхъ защищается онъ со своимъ тестемъ отъ нападенія Тушинцевъ. Но этой смерти предшествуетъ убіеніе имъ родного брата, который спасаль отъ товарища своего Безпуты жену Николая Редрикова и, неузнанный, былъ имъ принятъ за намъревающагося ее похитить. Хроника заканчивается словами старика Редрикова, которому остается только погибнуть въ горящихъ развалинахъ вмъстъ съ младшимъ сыномъ и его женою. «И я за вами» говорить онъ.

Зачёмъ мнё жить? Что видёть? Святотатство, Грабежъ церквей! Мученье беззащитныхъ! Дёвицъ п женъ позоръ! И поруганье Святынею и иноческимъ чиномъ! Дётей—убійцъ своихъ отдовъ сёдыхъ! всё лютости ужасной той годины, Предсказанной пророками издревле, Когда идетъ съ ножомъ на брата братъ!

VIII.

"Василиса Мелентьева".

Отъ смутной поры Островскій обратился еще далѣе назадъ, ко временамъ Грознаго, съ которымъ покойный Н. И. Костомаровъ не даромъ связывалъ внутреннее зло, бывшее причиною смуты. Мы разумѣемъ лживость. «Сѣмена этого порока, говорилъ Костомаровъ, существовали издавна, но были въ громадномъ размѣрѣ воспитаны и развиты эпохою царствованія Грознаго, который самъ былъ олицетворенная ложь. Создавши опричнину, Иванъ вооружилъ Русскихъ людей однихъ противъ другихъ, указалъ имъ путь искать милостей или спасенія въ гибели своихъ ближнихъ, казнями за явно вымышленныя преступленія прічилъ къ ложнымъ доносамъ, и, совершая для одной потѣхи безчеловѣчныя злодѣянія, воспиталъ въ окружающей его средѣ безсердечіе и жестокость. Изчезло уваже-

ніе къ правдѣ и нравственности, послѣ того какъ парь. который, по народному идеалу, долженъ быть блюстителемъ и того, и другого, устраивалъ въ виду своихъ подданныхъ такія эрфлища, какъ травля невинныхъ лклей мелвъдями, или всенародныя истязанія обнаженныхъ лъвушекъ, и въ тоже время соблюдалъ самыя строгія правила монашествующаго благочестія. Въ минуту сооственной опасности всякій человъкъ естественно думаеть только о себъ; но когда такія минуты для Русскихъ продолжались цълыя десятильтія, понятно, что должно было вырости покольніе своекорыстныхъ и жестокосердыхъ себялюбцевъ. у которыхъ вст помыслы, вст стремленія клонились только къ собственной охранъ, поколъніе, для котораго, при наружномъ соблюдении обычныхъ формъ благочестія, законности и нравственности, не оставалось никакой внутренней правды... Тяжелыя бользни людскихъ обществъ, подобно физическимъ, излъчиваются нескоро, особенно, когда дальнъйшія условія жизни способствують не прекращенію, а продолженію бользненнаго состоянія; только этимъ объясняются тв ужасныя явленія смутнаго времени, которыя, можно сказать, были выступленіемъ въ наружу испорченныхъ соковъ, накопившихся въ старинную эпоху Ивановыхъ мучительствъ» *).

Эпохѣ Грознаго, какъ и смутной порѣ, приходилось неоднократно становиться предметомъ драматическаго воспроизведенія. (Стоитъ вспомнить бар. Розена, Мея, А. К. Толстого). У Островскаго относится къ ней трагедія «Василиса Мелентьева», по силѣ драматизма превосходящая соотвѣтственные труды его предшественниковъ, а также и его собственныя драматическія хроники. Немногими, но выдающимися чертами выказываютъ тутъ себя предшественники тѣхъ бояръ, коихъ видѣли мы въ его хроникахъ. Въ лицѣ Морозова и Воротынскаго они исполнены того самосознанія, котораго нельзя не назвать въ самомъ

^{*)} Русская Исторія въ жизнеописаніяхъ ся главнъйшихъ дъятелей, отд. I, стр. 565.

дълъ благороднымт. «Мы, говоритъ Морозовъ, князьямъ Московскимъ

Не слугами, совътчиками были: Боярами князья держали землю, Боярами творили судъ и правду, Съ боярами сидъли о дълахъ.

Не рабски мы служили, доброхотно, И отъезжать была намъ вольнымъ воля—Вотъ старые порядки наши! Царь Не любить ихъ, ну, значитъ, не по нраву Ему и мы. Ему холопы нужны!"

Негодуя на кн. Курбскаго за то, что онъ только подводить другихъ, раздражая Грознаго изъ-за угла, кн. Воротынскій видить главный корень зла въ совътчикъ царскомъ Малютъ и, въ пылу негодованія, громко говорить боярамъ:

Коль иёть стыда у васъ, киязей природныхъ, Передъ Малютой рабски унижаться, Коль вамъ ума и словъ не достаетъ И смёлости заговорить въ защиту Головъ своихъ и чести,—Воротынскій На царскій судъ Малюту потоветъ, И передъ трономъ грознаго владыки Тягаться станутъ о боярской чести: Съдой старикъ, израненный врагами, Въ бронъ стальной и княжескомъ шеломъ И злой бъсоугодникъ въ черной рясъ Съ боярской кровью на рукахъ!..

Но что же! Когда Малюта, предупредивъ Воротынскаго, взвелъ на него поклепъ въ измѣнѣ и волшебствѣ, за то, что Воротынскій одинъ изъ всѣхъ бояръ не удостоилъ Малюту поклона, только у Морозова и хватаетъ духу выступить передъ Грознымъ на защиту Воротынскаго; всѣ же остальные бояре, при одной угрозѣ царя отказаться отъ власти, падаютъ на колѣни и вопіютъ:

Казни, кого желаешь! мы слагаемъ Вст головы у ногъ твоихъ. Отказомъ Отъ царскаго престола не губи Рабовъ твоихъ, сиротъ безвинныхъ!

Чувствуя себя сильнымъ отъ ихъ разъединенія, Грозный, совершенно согласно съ духомъ его писемъ къ Курбскому, не противополагаетъ боярскимъ вожделѣніямъ и затѣямъ никакой идеи; онъ уже вполнѣ порвалъ съ тѣми преданіями земской Руси, которыя проявили свою силу во времена Сильвестровскія и Адашевскія; онъ не ищетъ никакой другой опоры, кромъ той самодовлѣющей власти, которая и внушаетъ ему слова:

На свътъ нътъ славнъе насъ, владыкъ, Отъ Августа мы родъ ведемъ. Извъчный Я государь—произволеньемъ Божьимъ, Не человъческой митежной волей!

Онъ не соглашается отпустить царевича Өеодора на королевство, считая его слишкомъ слабымъ, чтобы обуздать многомятежный духъ пановъ и рыцарства. Онъ разсчитываетъ самъ принять Польскую корону, онъ мечтаетъ даже о власти въ цѣломъ Славянскомъ мірѣ, опятьтаки безъ малѣйшей опоры въ идеѣ, противоположной панству и рыцарству, вполнѣ полагаясь на власть, понимаемую въ чисто Византійскомъ смыслѣ, въ смыслѣ ея обожествленія, постановленія ея въ уровень съ властью небесною.

Да будегъ Едино стадо и единый пастырь, Единъ Господь на вышнихъ небесахъ, Единый царь во всъхъ земляхъ Славянскихъ!

При такомъ самообожествленьи, онъ далекъ отъ того, чтобы требовать отъ себя и божественнаго совершенства, хотя на это-то и дается человъку право словами Спасителя: «будите убо вы совершени, яко же совершенъ есть отецъ вашъ небесный». Онъ живетъ на всей волъ своихъ страстей, онъ прямо говоритъ Василисъ Мелентьевой:

Я человѣкъ, я рабъ грѣха и плоти. Ты, грѣшница съ лукавыми глазами, Съ манящимъ смѣхомъ на устахъ открытыхъ, Чего боишься? Я тебя не на духъ Зову къ себф! За блудное житье Эпитимъи не наложу тяжелой. Не постникъ я! Подвижняковъ смиренныхъ Постомъ и бдѣньемъ испигыя лица Вамъ, грѣшнымъ бабамъ, видѣть тяжело; Я тоже слабъ своей грѣховной волей И ежечасно помысломъ не чистъ, И разговоромъ срамнымъ согрѣшаю, Какъ вы же, бабы молодыя—
Тебѣ бояться нечего меня.

Тутъ, въ подобныхъ дълахъ, ему даже нравится смълость въ обращени съ нимъ; при подобнаго рода смълости ему «веселъе». Царица для него слишкомъ скромна, боязлива. Къ тому же онъ, можетъ быть, и чуетъ остаткомъ совъсти то, что она говоритъ на-единъ съ собою:

> Придешь къ царю съ следами и любовью; Отъ царскихъ рукт людскою пахнетъ кровью.

Ему, разумъется, ни почемъ измънить царицъ, на томъ одномъ основаніи, что она «съ тъла спала», а онъ «не любитъ худыхъ». Но еще болъе улыбается ему мысль возвести Василису прямо въ царицы. Онъ чуетъ, что ужь она-то не станеть въ немъ шевелить ничего похожаго на совъсть, что, поблажая ему, она не станетъ «тушить его гнѣвъ», а «будеть скорѣе его разжигать». Устранить тихую, но и смёлую вмёстё съ тёмъ царицу, смёлую въ самомъ непріятномъ для него смыслѣ-въ смыслѣ ходатайства за опальныхъ бояръ, Грозному ни по чемъ. На то у него и есть тутт, «песъ», какимъ величаетъ себя самъ Малюта, внушающій и другимъ боярамъ, что они только «псы государевы». Малюта умфетъ возбудить въ Грозномъ къ постылой уже царицъ особаго рода ревность-тъмъ, что, еще и не думая быть царицею, она любила, будто бы, человъка, котораго и на свътъ-то уже нътъ, сына только что казненнаго, по навътамъ того же Малюты, кн. Воротынскаго. Грозный и въ этомъ готовъ видёть все ту же измёну себе, то же нарушеніе своихъ правъ. Свидётелемъ противъ царицы является человекъ, готовый на все, ради выгоды продавшій свою душу Малють. Онъ, что называется, «изъ молодыхъ, да ранній». Его-то, облагодётельствованнаго темъ самымъ Воротынскимъ, котораго считала своимъ названымъ отцомъ и царица, его-то, Андрея Колычева, а вовсе не молодого Воротынскаго, и любила когда-то она, чистосердечно и сознающаяся царю въ этомъ. Колычева спасаеть, должно быть, то, что онъ любимецъ Малюты и что чистосердечная нота прозвучала царю въ его словахъ:

Не мало винъ на мић передъ тобою И передъ Господомъ грћховъ великихъ,— За тѣ казни, а этой нѣтъ вины.

Грозный отнимаеть отъ ноги Колычева свой востроконечный посохъ, уже занесенный имъ на нее. Онъ не
чуетъ, что, въ самомь дѣлѣ не любя царицу, Колычевъ
страстно любитъ ту, которой теперь быть царицей,—Василису Мелентьеву, а такимъ образомъ прямо становится
соперникомъ царскимъ. Но участь прежней царицы уже
рѣшена. Не позволяя женѣ и въ прошедшемъ того, что
позволяетъ самому себѣ въ настоящемъ, карая ее и за
помыслы, при полнѣйшемъ разрѣшеніи самому себѣ на дъла,
Грозный является перенесеннымъ на историческую почву
старымъ излюбленнымъ типомъ Островскаго, тѣмъ типомъ,
съ которымъ по преимуществу и имѣлъ дѣло Добролюбовъ.
Но есть, однако, и большая разница въ этомъ видоизмѣненіи типа на исторической почвѣ. Вспомнимъ, что Грозный
говоритъ:

.... Да, она виновна, знаю. Державный Генрихъ, Аглицкій король, Отець сестры моей Елизаветы, Двухъ королевъ казнилъ. У пасъ другіе Обычаи. Заговорятъ въ народѣ, Митрополитъ что скажетъ....

Это, конечно, въ теченіе всей трагедіи единственный признакъ сознанія своей отвътственности въ Грозномъ, признакъ, усмотрънный въ немъ Островскимъ, и ярко отличающій его отъ тъхъ самовластныхъ людей, какіе являлись передъ нами въ комедіяхъ Островскаго.... Тъ ни какой уже отвътственности не знаютъ.

Но хотя Грозный, по словамъ Василисы, «не далъ воли своимъ рукамъ, не уходилъ костылемъ плаксивую царицу Анну», Василиса върно разсчитываетъ на то, что онъ будетъ радъ, если мъсто для нея, Василисы, оосвободится какимъ нибудь другимъ способомъ. Не кто другой, какъ она сама, беретъ на себя самозванную казнь надъ царицей-разлучницей, стоящей поперекъ дороги ея властолюбію. Исполнителемъ же этой казни выбираетъ она того самаго Колычева, котораго дълаетъ ей подневольнымъ безумная его страсть къ ней. Только что пощаженный царемъ, онъ, въ пылу этой страсти, ръщается отнести царицъ кубокъ съ ядомъ, не потому, чтобы думалъ этимъ выслужиться передъ царемъ, какъ человъкъ, угадавшій его желанія, а потому, что Василиса втолковала ему, будто царь, по устраненьи постылой жены, добудеть себъ другую, милую; она же, Василиса, освобожденная тъмъ отъ его непрошенной ласки, достанется Колычеву. Василиса, правда, говорить ему, будто бы такъ приказалъ Малюта, но на этотъ разъ имъ руководитъ не тотъ холодный разсчеть выслуживающагося человъка, который притупиль въ немъ лучшія свойства молодости, а та, единственно и уцълъвшая въ немъ отъ молодости, горячая страсть, которая такъ и слышится въ его словахъ Василисъ:

Запомни ты! Свершивши это дёло Грёховное, я буду господаномъ, А ты моей рабой. Заставлю я Не ласкою, а грознымъ словомъ тёшить! Дюбовь мою и норовъ молодецкій— Женой возьму къ себё, въ свой домъ....

Царица устранена, но не для кого либо другого, какъ именно для Василисы, которой нужна не любовь безза-

вътно отдавшагося ей юноши, а тъ стариковскія ласки. которыя доставляють ей положение царицы. Колычеву пришлось бы стать потайнымъ соперникомъ Грознаго, на что уже, разумъется, не въ силахъ его подтолкнуть никакая молодость, и на что темь еще мене поластся она сама. Отъ самой же Василисы и узнавая, для кого имъ устранена прежняя царица (онъ, впрочемъ, не былъ въ силахъ не проговориться ей, что въ кубкъ ядъ, но она его все-таки выпила); - узнавая это отъ самой Василисы, Колычевъ оказывается такимъ образомъ ничъмъ не вознагражденною жертвою угрызеній совъсти. Зато Грозный достигаеть цёли, избавляясь на этоть разъ и отъ нихъ, такъ какъ и не думаетъ добираться до того, какимъ образомъ устранена прежняя царица. Одна бъда, — Василиса своимъ бредомъ о бывшей царицъ напоминаетъ и ему самому про тъ тъни, которыя такъ часто ему мерещатся. Въ томъ же бреду она даже прямо говорить парю про преслѣдующую ее тѣнь:

> Вольно же ей въ полночный часъ являться! Ужь это мив, помилуй, не подъ силу. Туть женскихъ силъ не хватитъ. Ты скажи мив: Къ тебв они приходять ночью?

> > Царь.

Кто?

Василиса.

Убитые тобою: князь Владиміръ, Михайло Воротынскій, Евдокія.

Царь (встаеть въ испугѣ, оглядывается посторонамъ)

Молчи, языкъ тебѣ я вырву. Къ ночи Заводишь ты такую рѣчь. Навличешь! Храни Господь! Надъ нами врестна сила Великая! Чуръ! Наше мѣсто свято! Безумная! Да развѣ я убійца? Я судія; по данной Богомъ власти, Караю здыхъ, крамольныхъ, лиходѣевъ, И жалую покорныхъ вѣрныхъ слугъ Объясненія съ Василисой, которая не хочеть уходить къ себѣ въ опочивальню, и требуетъ, чтобы царь сидѣлъ тутъ до свѣту съ ней, приводятъ уже къ тому, что Грозный хватается за свой ножъ. Но Василиса его поражаетъ тѣмъ, что ни мало его не боится. Этимъ отчасти пробуждаются въ немъ тѣ, еще не вовсе заглохшія, человѣческія чувства, пробужденіе которыхъ мы замѣчали и у нѣкоторыхъ типическихъ героевъ комедій Островскаго. Когда Василиса тутъ же и укладывается спать, требуя, чтобы царь покрылъ ей ноги своимъ кафтаномъ, онъ уже окончательно озадаченъ, говоря:

.... Да ты въ умѣ ли?
Иль хочешь ты, чтобъ свѣтъ перемфинлся,
Чтобъ къ астребу стервятнику подъ крылья
Безъ страха жалась кроткая голубка?
Чтобъ онъ своимъ кривымъ кровавымъ клювомъ
Ей перушки любовно разбиралъ.

А между тъмъ онъ исполняетъ ея желаніе; она засыпаетъ, а онъ съ какою-то странною нѣжностью останавливается надъ ней, говоря:

... Ну, спи, Господь съ тобой!

Ты, глупая, отъ соннаго мечтанья,
Отъ темноты пустой, отъ мертвецовъ,
Незлобивыхъ, безкровныхъ, безтълесныхъ
Ко мнт бъжишь искать защиты, къ звтрю,
Къ мучителю! Кругомъ меня трепещутъ
Вст близкіе—вст ненавистью дышатъ,
Злорадно ждутъ и крестится тяхонько
Вт моемъ дворцт, въ углахъ, моимъ иконамъ,
Чтобъ старыя, дрожащія, больныя,
Державныя окостентя руки,
Которыя держали въ смертвомъ страхѣ
Злодъйскія, крамольныя ихъ души....

Но ему ли мечтать о счастьи — о единственномъ настоящемъ, о чистомъ душевномъ счастьи? Нътъ, двери этого рая навсегда заграждены для него огненнымъ мечомъ херувима. Она бъжала къ нему подъ крыло только потому, что слишкомъ истомилась отъ своихъ страшныхъ грезъ. А затъмъ онъ ей дорогъ, какъ царь, во власти котораго сдълать ее царицей. Она въдь такъ и говоритъ ему:

> Повластвовать хочу, повеличаться. Хоть девь, да мой, а тамъ хоть умереть. И умереть-то хорошо царицей.

Да ей и приходится умереть—даже ранве, чвив она могла бы подумать. Уста ея, въ присутствии стоящаго надъ нею все въ томъ же обаянии царя, невольно шепчутъ любимое имя—не его, разумвется, имя, а имя Андрея. Колычевъ между твив тутъ какъ тутъ со своимъ Малютою. Онъ, разумвется, понимаетъ, что, коль скоро произнесено ею его имя, ему уже не снести своей головы. И вотъ онъ—все равно погибать!—совершаетъ на глазахъ у царя свою страшную месть—самосудъ надъ Мелентьевой. Царь, повидимому, доволенъ, онъ говоритъ:

Вотъ славно, вотъ спасибо! Андрюшка, ты слуга хорошій! Только Ты старому мнё въ слуги не годишься: Не даромъ же тобою бабы бредять.

А женскій родъ по занчых трусливъ, По кошечьи блудливъ.—Возьми, Малюта, И прибери Андрюшку Колычева. Огъ нашихъ глазъ куда нибудъ подальше... Хоть въ тотъ же гробъ, гдв Василиса будетъ!

Это та-же ужасающая иронія Гровнаго, которой исполнена и народная пѣсня, и Лермонтовская пѣсня о купцѣ Калашниковѣ. Этимъ и кончается драма, почему-то не названная у Островскаго трагедіей. Не трудно замѣтить, что въ ней уже вполнѣ сказывается смута нравственная, рано или поздно долженствовавшая произвести и смуту политическую, разшатать государство въ самыхъ его осно-

ваніяхъ, такъ разшатать, что единственнымъ для него спасеніемъ могли оставаться только тъ земскіе устои Руси, преимущественно отдаленныхъ ея концовъ, куда не успъла проникнуть зараза окончательнаго развращенія, да тъ устои церковные, въ которыхъ сказывался еще несдающійся духъ митрополита Филиппа.

«Василисой Мелентьевой» заканчивается у Островскаго рядъ историческихъ произведеній большого размѣра и величаваго пошиба. Попытки возвращенія на историческую почву и на почву народныхъ преданій и быта встрѣчаются, правда, у него и позже, но главнымъ образомъ съ этихъ поръ онъ опять посвящаетъ свои силы драматическому воспроизведенію современнаго общества.

IX.

"На всякаго мудреца довольно простоты". — "Горячее сердце". — "Вёшеныя деньги". — Не все коту масляница". — "Лёсъ".

Вернувшись къ своему преобладающему роду, Островскій въ томъ же 1868 г. пишетъ большую пяти-актную комедію: «На всякаго мудреца довольно простоты». Она произвела не особенно благопріятное впечатлѣніе, а у одного изъ почтенныхъ провинціальныхъ литературныхъ дѣятелей (Г. Г-скаго въ Нижнемъ Новгородѣ) вызвала даже такую замѣтку, въ которой указывалось на положительный упадокъ таланта Островскаго. Объясняется это, по нашему мнѣнію, тѣмъ, что пошибъ этой комедіи отзывается нѣсколько Щедринымъ; но что хорошо въ сатирѣ, то не совсѣмъ умѣстно въ комедіи. Кое-что отзывается тутъ если не каррикатурой, то шаржемъ. Странное впечатлѣніе производитъ тутъ и самая неопредѣленность мѣста дѣйствія. Оно, судя по содержанію, не въ провинціи, а въ какомъ-то, такъ сказать, столичномъ городѣ

Глуновъ. Время дъйствія также не указано, но по содержанію ясно, что это-шестидесятые года, когда озлобленные и простоватые консерваторы сталкивались съ неменъе простоватыми либералами, понимавшими однако, что съ либерализмомъ, пожалуй, и на службъ-то дальше уйдешь; когда вокругь тъхъ и другихъ увивались, смотря по надобности, различные ловцы рыбы въ мутной водъ. Вотъ такой-то ловецъ и выведенъ передъ нами въ лицъ Глумова-этого «мудреца», недоучившагося нигдъ, но не лишеннаго извъстныхъ способностей, умъющаго и говорить, и даже писать, и разсчитывающаго составить себъ карьеру посредствомъ служебнаго искательства и выгодной брачной аферы. Милая маменька Глумова, строчащая, по его предписанію, письма со сплетнями про его соперника, вотъ какимъ образомъ характеризуетъ дътство своего сынка: «Тихій, такой тихій быль, что удивленіе. Ужь никогда, бывало, не забудетъ у отца, или у матери ручку поцъловать; у всъхъ бабушекъ, у всъхъ тетушекъ разцълуетъ ручки. Даже, бывало, запрещаешь ему – подумаютъ, что нарочно научили; такъ потихоньку, чтобъ никто не видаль, подойдеть и поцелуеть. А то одинь разь, было ему нять лётъ, вотъ удивиль то онъ насъ всёхъ! Приходить по утру и говорить: «какой я видъль сонь! Слетають ко мнф, къ кроваткф, ангелы и говорять: люби папашу и мамашу и во всемъ слушайся! А какъ выростешь большой, люби своихъ начальниковъ. Я имъ сказалъ: ангелы! я буду всёхъ слушаться». Удивиль онъ насъ, ужь такъ обрадовалъ, что и сказать нельзя. Такимъ образомъ рекомендуетъ его маменька дядюшкъ Мамаеву, съ которымъ этотъ послушный духовидецъ ухитряется устроить себъ яко бы неожиданную встръчу, чтобы не возбудить въ старикъ опасенія какого либо посягательства на его родственный карманъ. Милый молодой человъкъ ухаживаетъ вследъ за темъ за г-жею Мамаевою-даже прямо съ разрѣшенія самого дядюшки, который находить, что свой человъкъ въ такой роли будеть все-таки надежнъе чужого. Дъло въ томъ, что Глумову нужна протекція-не

только дядюшкина, но и тетупкина. Дядюшка-консерваторъ и друзья его, понятнымъ образомъ, консерваторы, у тетушки же имъются связи и съ однимъ изъ выдающихся либераловъ. Дядюшка исповъдуется перелъ племянникомъ уже при первомъ своемъ знакомствъ съ нимъ (у него же на квартиръ, куда этого дядю, любителя подъискивать себъ новыя помъщенія, завезъ какъ бы невзначай слуга его, подкупленный Глумовымъ). «Отчего ныньче прислуга нехорошая? говорить разболтавшійся старикъ. «Оттого, что свободна отъ обязанности выслушивать поученія. Прежде, бывало, я у своихъ подданныхъ *) во всякую малость входиль. Всъхъ поучалъ отъ мала до велика. Часа по два каждому наставленія читаль; бывало, въ самыя высшія сферы мышленія заберешься, а онъ стоить передъ тобой, постепенно до чувства доходить, одними вздохами, бывало, онъ у меня истомится. И ему на пользу, и мит благородное занятіе. А ныньче, послт всего этого... Вы понимаете, послѣ чего?» И читатель, конечно, хорошо пойметь это характерное: «послъ чего?» Таковъ же и пріятель Мамаева, старикъ Крутицкій, -«очень важный господинъ». — Мамаевъ раскрываетъ передъ нимъ свою душу, говоря: «да, мы куда-то идемъ, куда-то ведутъ насъ; но ни мы не знаемъ, куда, ни тъ, которые ведуть насъ. И чемъ все это кончится? - Я, знаете ли, смотрю на все это, какъ на легкомысленную пробу, отвъчаеть Крутицкій, и особенно дурного ничего не вижу. Нашъ въкъ по преимуществу легкомысленный. Все молодо, неопытно, дай то попробую, другое попробую, то передвлаю, другое перемвню. Перемвнять легко. Воть возьму да поставлю всю мебель вверхъ ногами, вотъ и перемъна. Но гдъ же, я васъ спрашиваю, въковая мудрость, въковая опытность, которая поставила мебель именно на ноги?» -- Онъ, по его словамъ, не видитъ во всемъ этомъ «ничего особенно дурного», а между темъ у него

^{*)} Очевидно, у бывшихъ врепостныхъ.

сложился въ головъ прожектъ противъ «всего этого», редакцію котораго поручаеть онь такому владіющему перомъ, какъ Глумовъ. Тотъ прежде всего предлагаетъ сдово прожекть заменить другимь-трактать. «Прожекть, поясняеть онъ ему, когда что нибудь предлагается новое: у вашего превосходительства, напротивъ, все новое отвергается... и совершенно справедливо, ваше превосходительство».—Соглашаясь на «трактать», Крутицкій доволень и самымъ изложеніемъ своихъ мыслей у Глумова. «Любопытствую знать, говорить онь, какъ вы начинаете экспликацію моей главной цёли. «Артикуль 1. Всякая реформа вредна уже по своей сущности. Что заключаеть въ себъ реформа? Реформа заключаетъ въ себъ два дъйствія: 1) отмѣну стараго и 2) поставленіе на мѣсто онаго чего либо новаго. Какое изъ сихъ дъйствій вредно? И то и другое одинаково: 1) отметая старое, мы даемъ просторъ опасной пытливости ума проникать причины, почему то или другое отметается, и составлять таковыя умозаключенія: отметается нъчто непригодное; такое-то учреждение отметается, значить, оно непригодно. А сего быть не должно. ибо симъ возбуждается свободомысліе и делается какъ бы вызовъ обсуждать то, что обсуждению не подлежитъ». «Складно, толково», решаеть Крутицкій. Понятно, что онъ очень доволенъ Глумовымъ, такъ прекрасно приложившимъ свою руку къ его трактату, а Глумовъ еще и подъбзжаеть къ нему: «вашимъ превосходительствомъ весьма сильно выражена прекрасная мысль о томъ, что не следуетъ увеличивать содержание чиновникамъ и вообще улучшать ихъ положеніе, что напротивъ надо значительное увеличение жалованья предсъдателямъ и членамъ»... «Увеличение окладовъ старшимъ, читаетъ онъ уже прямо изъ трактата, можетъ быть произведено на тотъ конецъ, дабы сій наружнымъ блескомъ поддерживали величіе власти, которое должно быть ей присуще. Подчиненный же, сытый и довольный, получаеть несвойственныя его положенію осанистость и самоуваженіе, тогда какъ, для успъшнаго и стройнаго теченія дълъ, подчиненный долженъ быть робокъ и постоянно трепетенъ». Ну какъ не согласиться, что это прямо отзывается Щедринымъ, и что Крутицкій черезъ-чуръ ужь наивенъ, не разглядывая ироніи въ подобной передачъ своихъ мыслей, а равно и искусственнаго, дъланнаго смиренія въ обращеніи съ собою Глумова. «Коли куришь, такъ кури», говоритъ ему Крутицкій—Я не курю, ваше превосходительство. А впрочемъ, какъ прикажете?—«Вотъ еще! Мнъто какое дъло! Дядя не видалъ твоей работы?»—Какъ можно, какъ же бы я осмълился! —«Ну, то-то же. Онъ только говоритъ, что уменъ, а въдь онъ болванъ совершенный».—«Не смъю спорить съ вашимъ превосходительствомъ». Не достаетъ только, чтобы Глумовъ иронически прибавилъ къ этому: «и съ пріятелемъ моего дядюшки».

На весьма, конечно, натуральный вопросъ Крутицкаго: «ты служишь?» (Съ его ли, въ самомъ дълъ, способностями не служить?) Глумовъ отвъчаеть, что поступаеть на службу по протекціи тетушки. Она замолвила о немъ слово Городулину, «молодому, но важному господину» (какъ сказано въ спискъ дъйствующихъ лицъ). «Вотъ еще нашли человъка, замъчаетъ Крутицкій. Опредълить онъ тебя! Ты ищи прочнаго мъста, а эти всъ Городулинскія-то мъста скоро опять закроются, вотъ увидишь».--Я не по новымъ учрежденіямъ», не то объясняется, не то оправдывается Глумовъ. Крутицкій хочеть дать ему письма въ Петербургъ, но Глумовъ, желая, должно быть, окончательно задобрить его откровенностью, сознается: «я лѣнивъ былъ учиться, ваше превосходительство». Но по мнънію Крутицкаго это не важно: «очень-то заучишься, такъ, пожалуй, и хуже». Глумовъ, попавъ уже на почву откровенности, продолжаеть каяться: «Въ молодости гръшки, увлеченія... По кучиваль, ваше превосходительство», спъшить онъ однако же успокоить Крутицкаго, увъренный, надо думать, въ томъ, что тоть отвътить на это: «и только?» - «Что жь, это даже очень хорошо, продолжаетъ важная особа. Въ молодыхъ летахъ надо пить, кутить. Чего туть стыдиться? Вёдь ты не барышня». Онъ даже туть

же соглашается быть посаженымъ отцомъ у Глумова, полагая, должно быть, что не только для службы, но и для
семейной жизни, гръхи молодости въ видъ пьянства, кутежа, а, пожалуй, и чего-нибудь похуже, пожалуй, и со
слъдами прежней жизни въ организмъ — просто плевое
дъло! Тотъ же Крутицкій соглашается съ тетушкой Глумова, что «ныньче и молодежь-то хуже стариковъ», и плачется о томъ, что «никакой поэзіи нътъ, никакихъ благородныхъ чувствъ». «Я думаю, продолжаетъ онъ, это оттого, что на театръ трагедій не даютъ... У меня прожектъ
написанъ объ улучшеніи нравственности въ молодомъ поколъніи. Для дворянъ трагедіи Озерова, для простого народа продажу сбитня дозволить. Мы, бывало, всъ трагедіи
наизусть знали, а ныньче скромно!.. Оттого въ насъ и
рыцарство было, и честность, а теперь однъ деньги».

Другая, важная, хотя и молодая еще, особа, въ которой заискиваеть Глумовъ черезъ тетушку-это уже если не либеральныхъ дълъ, то либеральныхъ словъ мастеръ. Но онъ нуждается тутъ въ посторонней помощи-и вотъ. по недостатку времени, Городулинъ обращается къ Глумову по дълу изготовленія спича. Бесъда съ нимъ, однакоже, начинается казеннымъ вопросомъ: «вы служите?»-«Служиль, теперь не служу, да и не имъю никакой охоты», развязно отвъчаеть Глумовъ, очень хорошо понимая, что именно развязность тутъ и нужна. Далъе Глумовъ красноръчиво распространяется о томъ, что требуется для успъховъ на служот въ заурядномъ ея значеніи: «не разсуждать, когда не приказывають, смёнться, когда начальство вздумаетъ съострить, думать и работать за начальниковъ и въ тоже время увърять ихъ со всевозможнымъ смиреніемъ, что я, молъ, глупъ, что все это вамъ самимъ угодно было приказать. Кромъ того, нужно имъть еще нъкоторыя лакейскія качества, конечно, въ соединеніи съ извъстной долей граціозности: напримъръ, вскочить и вытянуться, чтобы это было и подобострастно, и холопски, а вмъстъ съ тъмъ благородно, и прямолинейно. и граціозно. Когда начальникъ пошлетъ за чемъ-нибудь, надо

умъть производить легкое порханье, среднее между галопомъ, маршъ-маршъ и обыкновеннымъ шагомъ». Городулинъ въ восторгъ отъ такой сатирической характеристики, не воображая, что тутъ моделью служилъ самъ Глумовъ въ минуты своего ухаживанія за Крутицкимъ. Зато теперь онъ становится въ позитуру и говоритъ: «дайте мнъ такую службу, гдъ бы я могъ лицомъ къ лицу стать съ моимъ меньшимъ братомъ. Дайте мнъ возможность самому видъть его насущныя нужды и удовлетворять имъ скоро и сочувственно».

Городулинъ. Отлично, отлично. Вотъ ужь и это запишите! Какъ я васъ понимаю, такъ вамъ, по вашему честному образу мыслей, нужно мъсто смотрителя или эконома въ казенномъ или благотворительномъ заведеніи?

Глумовъ. Куда угодно. Я работать не прочь и буду работать прилежно, сколько силъ хватитъ, но съ однимъ условіемъ, чтобы моя работа приносила дъйствительную пользу, чтобы она увеличивала количество добра, нужнаго для благосостоянія массы. Переливать изъ пустого въ порожнее, считать это службой и получать отличія—я несогласенъ.

Городулинъ. Ужь и это бы кстати: «Увеличивать количество добра». Прелесть!

Глумовъ. Хотите, я вамъ спичъ напишу?

Но въдь Городулинъ этого только и добивался. Онъ тутъ же почти и объявляетъ Мамаевой: «черезъ двъ недъли онъ будетъ опредъленъ». А она отвъчаетъ на это: «черезъ двъ недъли я васъ поцълую». Но Городулинъ, сверхъ того, спъщитъ замолвить за Глумова слово Турусиной, у которой дочь невъста. То же дълаетъ съ своей стороны и консерваторъ Крутицкій. Но у Глумова пущена на этотъ счетъ въ дъло и юродивая гадальщица Манева, нъчто въ родъ знаменитой когда-то въ Петербургъ Мареущи, или Московскаго, не менъе знаменитаго, Ивана Яковлевича въ юбкъ

Какъ эта гадальщица, такъ и приживалки Турусиной и сама Турусина — своего рода комическая Магдалина —

нарисованы довольно топорно, нъсколько каррикатурно. Дело, такъ хитро задуманное Глумовымъ, однакожь не выгораетъ. Во всемъ виноватъ его проклятый дневникъ. И безъ того уже въ душт недовольная, разумтется, укаживаніемъ племянника за m-elle Турусиной, тетушка Мамаева, найдя этотъ дневникъ раскрытымъ у него на столѣ и перелиставъ его, окончательно разубъждается такимъ чтеніемъ въ чувствахъ его къ себъ, и ръшается отомстить ему, при помощи того-же дневника. Стащивъ его со стола, она знакомить съ его содержаніемъ и Крутицкаго, и Городулина, раскрываеть передъ Турусиной и подкупъ Глумовымъ Маневы, и проч. Такимъ образомъ, все пошло прахомъ, - и сватовство, и получение мъста. Чтеніе вслухъ дневника Глумова напоминаетъ чтеніе письма Хлестакова въ «Ревизоръ». Но Глумовъ, этотъ своего рода Хлестаковъ, только безъ Хлестаковской наивности, и не думаетъ унывать. «Я вамъ нуженъ, господа, преспокойно говорить онъ Городулинымъ и Крутицкимъ. Безъ такого человъка, какъ я, вамъ нельзя жить. Будетъ и хуже меня, и вы будете говорить: эхъ, этотъ хуже Глумова, а все-таки славный малый.... Дъйствительно, честному человъку вы откажете въ протекціи, а за того поскачете хлопотать, сломя голову». И въдь онъ, пожалуй, и правъ. Онъ въдь тотъ-же Фамусовскій «дъловой», только дъловой на вст руки (дтловымъ и называетъ его Крутицкій). У Глумова недаромъ сказывается и какое-то чувство собственнаго достоинства. «Васъ возмутилъ мой дневникъ, говоритъ онъ. Какъ онъ попалъ къ вамъ въ руки-я не знаю. На всякаго мудреца довольно простоты. Но знайте, господа, что пока я былъ между вами, въ вашемъ обществъ, я только тогда и былъ честенъ, когда писаль этотъ дневникъ!... Не знаю кто, но кто нибудь изъ васъ, честныхъ людей, укралъ мой дневникъ. Вы у меня разбили все: отняли деньги, отняли репутацію. Вы гоните меня и думаете, что это все-тёмъ дёло и кончится. Вы думаете, что я вамъ прощу. Нътъ, господа, горько вамъ достанется». И что же? У нихъ душа въ пятки уходить. Имъ не хватаеть и того куражу, съ какимъ отвъчаль онъ самъ на угрозу Голытвина — напечатать про него статью, угрозу, соединявшуюся съ надеждою выманить у него этимъ деньги. А въдь у Глумова-то перо будеть почище Голытвинскаго. И вотъ, Крутицкій приходитъ кътому заключенію, что «наказать его надо, но черезъ нъсколько времени можно его опять и приласкать». И Городулинъ и Мамаевъ соглашаются съ этимъ, а Мамаева заканчиваетъ комедію словами: «ужь это я возьму на себя».

Нужно ли говорить, что при всемъ шаржѣ въ этомъ произведеніи Островскаго, при перевѣсѣ въ немъ сатирическаго надъ комическимъ, оно, по своему замыслу, по заключающейся въ немъ жизненной правдѣ, вполнѣ заслуживаетъ вниманія.

Новая пяти-актная комедія Островскаго: «Горячев Сердце» (1869 г.) переносить нась, какъ это и прежде у него случалось, за тридцать лѣть назадь въ тоть-же провинпіальный городь Калиновь, въ которомъ разыгрывается и «Гроза». При большомъ объемѣ, комедія эта отличается нѣсколько топорной работой. Основной ен интересъ—въ главномъ женскомъ лицѣ—Парашѣ, которой и принадлежить «горячее сердце». Но лицо это, весьма сочувственное, осталось психологически не довыясненнымъ, это скорѣе только талантливый намекъ на живое лицо.

Тутъ мы снова въ области самодурства, того же самаго, на деньгахъ основаннаго, передъ которымъ ни во что обращается тутъ и самое значеніе городничаго (столь грознаго, какъ извъстно, у Гоголя). Не смотря на свои раны, имъ просто помыкаетъ именитый купецъ Курослъповъ, которому отъ постояннаго пьянства кажется, что небо на землю валится, а часы бьютъ иногда пятнадцать. Городничему просто житья нътъ отъ того, что у Курослъпова кто то укралъ 2000 р. Вотъ онъ и спъшитъ обвинить перваго попавшагося—сына недавно раззорившагося купца, Васю, на самомъ дълъ повадившагося подъ вечеръ забираться въ садъ къ Курослъпову не ради кражи, а ради свиданій

съ его дочкой-Парашей. Судъ у пьянаго самодура и у покорнаго ему городничаго не дологъ - забрить Васъ лобъ, и все туть. Когда же Параша, въ отчаяніи, бежить за своимъ Васей, отецъ требуетъ, чтобъ ее поймали и доставили къ нему съ солнатами на веревкъ, а городничему приходится его уговаривать: «Что вы за нація такая? Отчего вы такъ всякій срамъ любите? Другіе такъ боятся сраму, а для васъ это первое удовольствіе! Честь-то, понимаешь ты, что значить, или нътъ?» Курослеповъ отвъчаетъ на это: «какая такая честь? Нажилъ капиталъ, вотъ тебъ и честь. Что больше капиталу, то больше и чести». Между тъмъ, тотъ же городничій весь въ рукахъ и у другого еще представителя такой же денежной чести, еще недавно вылъзшаго изъ крестьянъ въ богатьйшие купцы, Хлынова. Денегъ у него куры не клюютъ, времени тоже дъвать некуда, ну онъ и безобразничаетъ вполнъ безнаказанно. «Вотъ недавно придумалъ, разсказываетъ про него Вася, лётомъ въ саняхъ ёздить по полю. Тутъ недалеко деревня; собрали двенадцать девокъ и запрягли ихъ въ сани.... На каждую дъвку дали по золотому. А то вдругъ на него хандра нападетъ: не хочу, говоритъ, пьянствовать, хочу о своихъ гръхахъ казниться. Позоветь духовенство, посадить всъхъ въ гостинной по порядку кругомъ на кресла и начнетъ подчивать, встмъ въ ноги кланяться; потомъ пъть заставить, а самъ сидить одинъ посереди комнаты и горькими слезами плачетъ». Словомъ, точно будто бы подражаетъ Грозному. Къ счастью, есть у него «атютантъ, какъ выражается тотъ же Вася, мъщанинъ Алистархъ». Тотъ «ничего его не боится, грубитъ ему и ругаетъ въ глаза. А Хлыновъ его за это даже любитъ... жить скучно, потому ничего онъ не знаетъ, какъ ему эти деньги истратить, чтобъ весело было. «Коли, гогорить, не будеть у меня Листарха, стану ихъ такъ просто горстями бросать». Вотъ ему Алистархъ и нуженъ, чтобъ думать за него. А коли что самъ выдумаетъ, все нескладно». Этому-то Аристарху, доводящемуся крестнымъ отцомъ Парашъ и удается подбить Хлынова на доброе

дъло: онъ беретъ на поруки Васю и ставитъ за него на свои средства рекрута. Только достается это Васъ не даромъ. «Быть тебъ, говоритъ ему благодътель, у господина Хлынова запъвалой. Вотъ тебъ и чинъ отъ меня».

Вася. Ужь очень страмъ передъ своимъ братомъ, Тарасъ Тарасычъ.

Хлыновъ. А коли страмъ, братецъ, я тебя не неволю,—ступай въ солдаты.

Но дъло не въ «своемъ братъ,» а въ Парашъ. Она готова была идти за нимъ, за солдатомъ. «Люди его обидъли, все, все отняли, говорила она Аристарху... Что-жь! Онъ меня любить, можеть, у него только одно это на свътъ и осталось; такъ неужто я отниму у него эту послъднюю радость... Чемъ метето гордиться передъ нимъ? Разве онъ меня хуже?... Все равно, въдь ужь мнт въ дъвкахъ не оставаться. Выдадуть, крестный. Развъ мнъ легче будеть тъшить какого нибудь купца-то пьянаго противъ своей воли? Не то, что по охотъ, а, кажись бы, его ножомъ лучше заръзала! А тутъ, безъ гръха, по любви». У Параши не только горячее сердце, у нея и пылкое, возвышенно настроенное воображение. Она заранъе себъ представляетъ Васю храбрымъ воиномъ, а себя върною женою, пожалуй, даже молодою вдовою положившаго свою голову на полъ брани. «Ничего ты своей головы не жалъй, говорить она ему въ какомъ-то опьянъніи своею мечтою; одинъ разъ умирать-то. По крайности, мнъ будетъ плакать о чемъ. Настоящее у меня горе:то будетъ самое святое. А ты подумай, ежели ты не будешь проситься на сраженіе и переведуть тебя въ гарнизонь, начнешь ты баловаться... Что тогда за жизнь моя будеть? Самая послъдняя. Горемъ назвать нельзя, а и счастья-то не бывалотакъ, подлость одна. Изомретъ тогда мое сердце на тебя глядя». И вотъ, — ей приходится увидъть его чъмъ-то въ родъ шута у г. Хлынова! «Развъ ты... струсилъ? спрашиваетъ она Васю. Отвъчай! отвъчай мнъ! струсилъ ты? Обробъль? Такой красивый, такой молодець, и струсиль! Съ бубномъ стоитъ!... Вотъ когда я обижена. Что я? Что

я? Онъ — плясунъ, а я что. Возьмите меня кто нибуль! Я для него только жила, для него горе терпъла. Я, богатаго купца дочь, солдаткой хотёла быть, въ казармахъ съ нимъ жить, а онъ!!» Ее, стало быть, увлекала какая-то поэзія, какое то сладострастіе своего рода мученичества,-и вдругъ такая развязка! Между темъ все выходить наружу: деньги оказываются украденными женою Курослъпова по требованію ея милаго дружка, приказчика Наркиса. Вася ни въ чемъ не повиненъ, а отецъ согласенъ отдать Парашу за кого бы она ни вздумала. Но Параша такъ и не можетъ выйти изъ подъ оскорбительнаго для нея впечативнія. «Боюсь, что онъ отъ жены въ плясуны уйдеть, говорить она. И не пойду я за него, хоть осыпь ты меня съ ногъ до головы золотомъ. Не умълъ онъ меня брать бъдную, не возьметь и богатую. А пойду я воть за него». Она указываетъ на молодого прикащика Курослъпова по лавкъ, Гаврилу, который не отставалъ отъ нея въ роковую минуту, сопутствовалъ ей во время ея скитальчества по слъдамъ Васи. Она-вся порывъ, вся-увлеченіе сердцемъ, увлеченіе и воображеніемъ. «Я върно знала, говорить она, что онъ меня любить будеть. Одинъ день я его видъла, а на всю жизнь душу ему повърю». Таковъ этотъ набросокъ характера в'врный по своей основъ, но мало, къ сожалънію, разработанный.

Новая 5-ти-актная комедія Островскаго: «Вѣшеныя деньги» (1870 г.) опять переводить нась изъ купеческаго міра въ дворянскій. Тутъ передъ нами, въ лицѣ Надежды Антоновны—та-же мамаша «Доходнаго Мѣста», только, такъ сказать, возведенная въ кубъ. Вотъ какъ она характеризуетъ своего супруга: «Онъ имѣлъ видное и очень отвѣтственное мѣсто; чрезъ руки его проходило много денегъ, и, знаете-ли, онъ такъ любилъ меня и дочь, что когда требовалась какая нибудь очень большая сумма для поддержанія достоинства нашей фамиліи, или просто даже для нашихъ прихотей, онъ... онъ не зналъ различія между своими и казенными деньгами. Понимаете ли вы, онъ пожертвовалъ собою для святого чувства семейной любви.

Онъ быль преданъ суду и долженъ быль убхать изъ Москвы». У него оставалось большое имъніе, но управлять приходилось уже «послѣ того», --- вы понимаете, читатель, послъ чего? (повторяемъ вопросъ Мамаева). Тутъ нужно было попридержать свои вкусы, поограничить свои привычки, но, какъ у большинства нашихъ баръ, у г. Чебоксарова и милой его супруги, не хватило на то ни умънія, ни охоты. Въ началъ комедіи они уже въ долгу, какъ въ шелку, но разсчитывають поправиться при выгодной партіи для дочери. «Въдь вы найдете средства выйти изъ этого положенія, говорить своей мамашт и сама Лидія, дъвица уже двадцати пяти лътъ, въдь не покинемъ же мы Москву, не убдемъ въ деревню; а въ Москвъ мы не можемъ жить, какъ нищіе! Такъ или иначе, вы должны устроить, чтобъ въ нашей жизни ничего не измънилось». Ей представляется выгодная партія съ Васильковымъ; она выходить за него, не любя его, но считая возможнымъ его полюбить, послъ того, какъ онъ ей сдълалъ подарокъ въ три тысячи. Она, по крайней мъръ, не лжетъ, а прямо такъ и высказывается ему въ глаза. Онъ и въ самомъ дълъ человъкъ со средствами, но на ихъ аршинъ этихъ средствъ недостаточно. «Того, что вы называете состояніемъ, говоритъ ему его belle mère, довольно для холостого человъка; этого состоянія ему достанеть на перчатки. Что же вы сдёлаете съ моей бёдной дочерью?»—Я хотёль сдълать ее счастливою и постараюсь этого достигнуть, отвъчаетъ онъ. «Безъ состоянія? смъщно» отвъчаетъ maman. Между тъмъ, онъ уплачиваетъ за свою супругу 34,000 разнаго долга, но предупреждаеть ее, что они должны будутъ перевхать на небольшую квартиру и вообще постъсниться. Тутъ Лидія ръшается на все: она вспоминаетъ о старомъ (въ буквальномъ смыслѣ) пріятелѣ ихъ. Кучумовъ, человъкъ семейномъ, но съ юнымъ сердцемъ, и готова отдаться ему, считая его богатымъ. Дело въ томъ, что къ темъ годамъ, по верному замечанію одного изъ новъйшихъ критиковъ Островскаго, «купля-продажа перестала уже быть контрабандной торговлей втихомолку въ семейныхъ уголкахъ подъ благовидною маскою законнаго брака, а выступила на базаръ, сдълалась публичнымъ, даже аукціоннымъ торгомъ, безъ всякихъ масокъ и околичностей. Теперь стали уже смотръть, какъ на глупость, не только на страсть, увлеченіе, но и на желаніе. со стороны нъкоторыхъ старовърокъ, продать себя не иначе какъ въ формъ законнаго брака. Почему не слъдаться и содержанкой, камеліей, если это оказывается выгоднъе! И вотъ, является перелъ нами новая героиня въ вилъ Лидіи Чебоксаровой *). Матап Лидіи сперва оскорбляется тъмъ, что она называеть Кучумова «папашей», но Лидія преспокойно ей замъчаеть: «Скажите! Стыдно? Я ръщилась называть стыдомъ только бъдность, все остальное для меня не стыдно... Вы желаете жить роскошно, какъ же вы можете ждать отъ меня стыда! Нътъ, ужь вамъ поневолъ придется смотръть кой на что сквозь нальцы. Такова участь всъхъ матерей, которыя воспитывають дътей въ роскоши и оставляють ихъ безъ денегъ». На бъду, и г. Кучумовъ только сохраниль до старости всякія широкія привычки, только представляеть, а, пожалуй, и воображаеть себя богатымъ, на самомъ же діль и онъ уже раззоренъ. Тутъ Лидія навязывается г. Телятеву, который къ тому же и помоложе Кучумова; но онъ откровеннъйшимъ образомъ признается ей: «я вчера узналь, что я должень тысячь до трехсотъ». -- Куда же дъвались деньги? недоумъваетъ Лидія. Есть же онъ у кого нибудь. — «У дъловыхъ людей, отвъчаетъ Телятевъ, которые даромъ ихъ не бросаютъ... Теперь и деньги-то уметьй стали, все къ дъловымъ людямъ идутъ, а не къ намъ. А прежде деньги глупъйбыли. Вотъ именно такія деньги вамъ и нужны». — Какія? спрашиваетъ она -«Бъшеныя. Вотъ и мнъ доставались все бъшеныя, никакъ ихъ въ карманъ не удержишь. Знаете ли. я недавно догадался, отчего у насъ съ вами бъщеныя деньги? Оттого, что не мы сами ихъ наживали. Деньги,

^{*)} Женщины въ пьесахъ А. Н. Островскаго — А. Скабичевскаго (Съв. Въстн. 1887 г. Авг., стр. 161).

нажитыя трудомъ, дэньги умныя». Лидіи остается только вернуться къ мужу и занять въ имѣніи, гдѣ живетъ его мать, положеніе, какъ она выражается, «экономки», т.-е. лица завѣдующаго домашнимъ хозяйствомъ. Впрочемъ, онъ не лишаетъ ея и надежды бывать съ нимъ повременамъ въ Петербургъ. «Но узнайте, что я изъ бюджета не выйду», предостерегаетъ онъ ее и тутъ. Лидія сдается.

Типы дворянскіе опять начинають чередоваться у Островскаго съ типами купеческими. Казалось, типъ самодура на финансовой почвъ уже вполнъ имъ изчерпанъ, а между тъмъ въ новыхъ сденахъ изъ Московской жизни: «Не все коту масляница» (1871 г.) нашъ драматургъ придаеть этому типу еще несколько новыхъ мастерскихъ штриховъ. Добролюбовъ не дожиль до этихъ сценъ, а въ нихъ было бы для него не мало поживы Племянникъ богатаго куппа Ахова и его же приказчикъ, Ипполитъ заранъе знакомитъ насъ со своимъ дядюшкой, говоря: «Кругомъ насъ какое невъжество-то свиръпствуетъ, страсть! Каждый хозяинъ въ своемъ домъ, какъ Султанъ Махмутъ Турецкій; только что головъ не рубитъ». Но въдь такъ же смотрить на себя въ сущности и самъ Аховъ. «Не страшенъ я, а грозенъ», говорить онъ племяннику, прямо утверждая, что Ипполитъ «кромъ приказу да брани въ жизнь ничего отъ него не слыхивалъ». По его убъжденію, «страхъ имъть, это для человъка всего лучше». На вопросъ Агніи: «а вы имъете?» онъ отвъчаеть со всею полнотою самосознанія: «а мнъ предъ къмъ? Да и не надо, я и такъ уменъ. Мужчинъ страхъ на пользу, коли онъ подначальный; а бабъ-всякой и всегда». Когда Ипполить, требуя разсчета, пытается указать дядь на законь, тоть только плечами пожимаеть. «Какой для тебя законь писанъ, дуракъ? Кому нужно для васъ, для дряни, законы писать? Какія такія у тебя права, коли ты мальчишка и вся цъна тебъ грошъ? Ужь очень много вы о себъ думать стали! Написаны законы, а вы думаете, это про васъ. Мелко плаваете, чтобы для вась законы писать». Самъ онъ въ своихъ глазахъ человъкъ, такъ сказать, сверхза-

конный. Но что особенно отличаетъ Ахова, это ясное сознаніе того, на чемъ основывается его сверхзаконность (беззаконнымъ, конечно, онъ бы себя не назвалъ, хотя въ сущности это въдь все равно), «Ты богатаго человъка, говорить онъ Кругловой, коли онъ до тебя милостивъ, блюди пуше ока своего. Потому, ты своего достатка не имъещь; нужда, или чтб, къ кому тебъ кинуться?... Для нашего брата ежели что захотълось, дорогого нъть; а у васъ, нищей братіи, ничего завътнаго нътъ; все продажное. И вдругь изъ гроша рубль-поняла?... Коли вся жизнь-то, продолжаетъ онъ, обращаясь къ ея дочери, можетъ, не одной даже сотни людей въ нашихъ рукахъ, такъ какъ намъ съ тобой не возноситься? Всякому тоже пирожка сладенькаго хочется.... А что ужь про тъхъ, кому вовсе ъсть нечего! Ой, задешево людей покупали, ой, задешево! Повъришь ли, иногда даже жалко самому станеть». И въдь сама Круглова наединъ съ Агніей приходила-было къ его же исповъданію въры, говоря: «душа-то у насъ коротка, передъ деньгами-то, пожалуй, и растаешь». Однако жь на дёлё оно у нея выходить не такъ. Круглова по собственному опыту слишкомъ хорошо помнитъ, что значить быть за самодуромъ за мужемъ, да и Агнію не склонить на подобный жребій никакими коврижками. Аховъ противенъ ей. хотя она и говоритъ: «онъ чемъ виноватъ? Какъ же ему не возноситься, когда ему всв покоряются». Вотъ она и подстрекаетъ Ипполита перестать ему покоряться, а заставить его заплатить себъ разомъ за всъ, почти задаромъ прослуженные у него, года. Ипполитъ въ самомъ деле и прибегаеть къ верному противъ некоторыхъ самодуровъ способу -- застращиванью ихъ неожиданною смълостью. Вооружившись ножомъ, онъ грозить Ахову, если тотъ не выдастъ ему 15 тысячъ, полоснуть по горлу-не его, а себя самого, и Аховъ невольно сдается передъ такою угрозою самоубійствомъ, за которое, какъ знать. при всей сверхзаконности такого денежнаго туза, придется, пожалуй, быть притянутымъ къ отвъту. Аховъ все-таки не можетъ допустить, что бы и при капиталъ въ 15000 Агнія могла предпочесть Ипполита ему хотя и старику, но обладателю несмътныхъ сокровищъ. Онъ совсъмъ уже озадаченъ, когда Агнія, заранъе сговорившись съ матерью, предоставляеть ей решение своей участи, а Круглова читаеть ему такую отповъдь: «если дашь ты мнъ подписку, что умрешь черезъ недълю послъ свадьбы, и то еще подумаю отдать дочь за тебя». Тутъ ужь Ахову приходится събхать на выпрашивание себъ хотя бы подобающаго ему почета. - Онъ хочетъ придать дълу такой видъ, будто бы онъ же и женитъ своего Ипполитку. Онъ даже сулить этому Ипполиткъ «награжденіе свыше мъры». Ахову нужно одно: «женихъ съ невъстой, какъ изъ церкви, вся шестерня сърыхъ, какъ къ воротамъ-стой! А въ вороты чтобы не вътзжать! И сейчасъ имъ дворникъ по метлъ: и чтобы вымели они до крыльца... Ты не бойся (онъ обращается къ Кругловой), чисто будеть, еще до нихъ все выметуть. А они чтобы только примъръ показали. А я съ гостями буду на балконъ стоять. Вотъ тогда я васъ прощу и въ честь васъ произведу. И будете вы у меня промежду встми гостями все равно, что равные». Но и тутъ приходится старому гръховоднику ошибиться въ разсчетъ. «Да осыпь ты меня золотомъ съ ногь до головы, съ чувствомъ окончательно торжествующаго собственнаго достоинства говоритъ ему Круглова. такъ я все-таки дочь свою на позорище не отдамъ. Ахову остается утъщаться бранью да проклятьями. «Какъ жить? спрашиваеть онъ. Родства народъ не уважаеть, богатству грубить смѣетъ!» Тутъ ужь въ самомъ дѣлѣ самодурству нанесенъ ударъ, да еще какой! А все дёло въ той силъ устоя, которая такъ ръшительно сказывается въ двухъ женщинахъ — этой матери и этой дочери. Ипполить тутъ только ихъ ученикъ, а потому не его устами, а устами Кругловой высказывается заключительная мораль: «не все коту масляница, бываеть и великій пость»!

Мы опять возращаемся въ барскій кругь—въ новой, относящейся къ тому же 1871 г., пяти-актной комедіи Островскаго: «Лъсъ». Тутъ опять попадаются кое какія

черты самодурства а la Улабенкова, которую напоминаетъ пятидесятильтняя помьщица вдова Гурмыжская, ходящая почти постоянно въ трауръ, извъстная своею благотворительностью и думающая пристроить племянницу свою Аксюшу, которую держала почти что въ черномъ тълъ, за недоучившагося гимназиста Буланова. Это, впрочемъ, не просто капризъ съ ея стороны: она думаетъ прикрыть этимъ бракомъ свой, ежели не прошедшій, то будущій гръхъ (Булановъ по роли своей у Гурмыжской соотвътствуетъ молодому лакею въ «Воспитанницъ»). Аксюща между тъмъ любитъ сына купца Восьмибратова, которому Гурмыжская продаеть свой дёсь и который обсчитываеть ее, но на выручку ей является прожившійся племянникъ Гурмыжскей, провинціальный актеръ Несчастливцевъ. Ему удается приструнить Восьмибратова и Гурмыжская получаетъ свои деньги сполна, но не безъ колебанія уплачиваетъ затъмъ свой старый долгъ племяннику. Ему приходится явиться въ комедіи нежданнымъ устроителемъ счастья Аксюши, т.-е. чёмъ-то въ роде Любима Торцовасъ тою, конечно, разницею, что у него въ кутежъ не погибъ талантъ, а о непогибшемъ въ немъ благородномъ сердцъ свидътельствуетъ уже прямое самоотвержение. Несчастливцевъ отдаетъ Аксюшъ единственныя свои, только что полученныя отъ тетки, деньги, безъ которыхъ Восьмибратовъ не позволяетъ своему сыну жениться на Аксюшъ.

При этомъ онъ далекъ отъ того, чтобы превозноситься своимъ поступкомъ. Онъ считаетъ себя только обязаннымъ загладить свою вину передъ двоюродною сестрой. «О дитя мое! говоритъ онъ ей. Я преступникъ, я могъ имѣть деньги, могъ помочь тебѣ, могъ сдѣлать тебя счастливой, и я промоталъ, прожилъ ихъ безпутно». Только подъ самый конецъ, уже поправивъ свой старый грѣхъ выдачею Аксюшѣ денегъ, полученныхъ отъ Гурмыжской, онъ, видя, что его съ товарищемъ его по театральный профессіи, выпроваживаютъ, высоко поднимаетъ голову, говоря: «Аркадій, насъ гонятъ. И въ самомъ дѣлѣ зачѣмъ мы зашли въ этотъ лѣсъ, въ этотъ сыръ дремучій боръ? Зачѣмъ

мы, братецъ, спугнули совъ и филиновъ! Что имъ мъщать? Пусть ихъ живуть, какъ хочется! Туть все въ порядкъ, братецъ, какъ въ лъсу быть слъдуетъ. Старухи выходятъзамужъ за гимназистовъ, молодыя дъвушки топятся отъ горькаго житья у своихъ родныхъ: лъсъ, братецъ». Когда же Гурмыжская, пожимая плечами, говорить: «комедіанты»! онъ, еще болъе пріосанившись, продолжаеть: «Комедіанты? Нътъ, мы артисты, благородные артисты, а комедіанты вы! Мы коли любимъ, такъ ужь любимъ; коли не любимъ. такъ ссоримся или деремся; коли помогаемъ, такъ ужь последнимъ трудовымъ грошомъ. А вы? всю жизнь толкуете о благъ общества, о любви къ человъчеству. А что вы сдълали, кого накормили? Кого утъшили? Вы тъшите только самихъ себя, самихъ себя забавляете. Вы комедіанты, шуты, а не мы». Какъ трагическій актеръ, онъ наконецъ декламируетъ: «Люди, люди! — порожденье крокодиловъ! Ваши слезы-вода, ваши сердца — твердый булать! Поцълуи — кинжалы въ грудь. Львы и леопарды питають детей своихь, хищные враны заботятся о птенцахъ, а она, а она!.. О, еслибъ я могъ быть гіеною! О еслибъ я могъ остервенить противъ этого адскаго поколъ нія всёхъ кровожадныхь обитателей лесовъ!» Присутствующій туть богатый поміщикь Милоновь вь благородномъ негодованіи замічаеть: «но позвольте, — за эти слова можно васъ къ отвъту! «Недоучишійся мальчишка Булановъ, желая угодить своей противной старухъ, поддакиваеть: «Да просто къ становому. Мы всъ свидътели». Но Несчастливцевъ вынимаетъ «Разбойниковъ» Шиллера, показываеть и говорить: «Цензуровано. Смотри! Одобряется къ представленію... Я чувствую и говорю, какъ Шиллеръ, а ты, какъ подъячій». Между тёмъ, у нихъ заказаны были въ дорогу лошади. Оставшись теперь безъ копъйки, онъ говорить Лакею Гурмыжской: «Если прівдеть тройка, ты вороти ее, братецъ, въ городъ; скажи, что господа пфшкомъ пошли. Руку, товарищъ!»

Въ лицъ Несчастливцева Островскій вывелъ передъ нами совершенно новый у него типъ артиста. Уже въ

Любимѣ Торцовѣ звучала нѣсколько артистическая струнка. Въ Несчастливцевѣ она не заглохла, указала ему на его настоящій путь, не дала ему сгибнуть въ такъ называемой «широкой жизни» и окончательно развила въ немъширь иного закала—душевную ширь!

Χ.

"Не было ни гроша, да вдругъ алтынъ".— "Комикъ XVII столътія".— "Снъгурочка".— "Поздняя любовь".

Снова переносимся мы лътъ за 30 назадъ къ новой, опять пяти-актной комедіи нашего драматурга: «Не былони гроша, да вдругъ алтынъ» (1872 г.). Тутъ и отставные чиновники, и купцы-лавочники, и мъщане и квартальные со стряпчими-люди стараго покроя. О самодурствъ упоминается туть только эпизодически-въ словахъ Фетиньи Мироновны о супругъ ея Истукаріъ Лупычъ: «ты спроси только, чъмъ я не бита? И кочергою бита, и полѣномъ бита, и объ печку бита, только печкой не бита». На первомъ планъ тутъ старый и въ какихъ только литературахъ не затронутый типъ скупою. Но не ждите найти въ образъ Михея Михеича Крутицкаго такую тщательную психологическую разработку этого типа, какъ въ старомъ баронъ Пушкина, или въ Гоголевскомъ Плюшкинъ. Островскаго, очевидно, занималъ не самый анализъ характера, а драматическое развитіе послёдствій его образа д'виствій, отражающихся на другихъ, на ближайшихъ къ нему людяхъ. Михей Михеичъ, по словамъ сосъдки его Мигачевой, «служиль въ какомъ-то судъ секлетаремъ, ну и отставили его за взятки, что ужь очень грабилъ. Анна Тихоновна (жена Михея Михеича) сказывала, что и сталь онъ съ той поры сумлъваться, какъ ему жить безъ дохода. Продалъ домъ, лошадей, сталъ деньги въ проценты отдавать. И зажили мы, говорить (т.-е. жена его), день ото дня хуже: перебхали въ одну комнатку, прислугу всю онъ распустилъ, а тамъ ужь и кухарку сослалъ. И пришлось Аннъ Тихоновнъ самой и кушанье готовить, и за водой ходить. А потомъ и совсѣмъ, говоритъ, дома стряпать перестали, купимъ что нибудь въ лавочкѣ и поъдимъ, а когда и такъ просидимъ». А тутъ же какъ разъ вернулась къ нимъ въ домъ племянница, которую, когда выгнали Михея Михеича со службы, взяла къ себѣ ее крестная мать, барыня богатая, — взяла, воспитала въ достаткъ и ничего недъланіи, да и возвратила дядъ, когда крестница оказалась съ лътами гораздо красивъе ея дочерей.

Вотъ въ этой-то злополучной Насть и сосредоточивается весь интересъ комедіи, переходящей подъ часъ прямо въ драму, не обходящейся даже безъ трагическаго эпизода, а кончающейся совершенно счастливо (съ чисто Шекспировскою, т.-е. чисто жизненною свободой). Настя ни мало не героиня -- даже въ томъ неприподнятомъ смыслъ, въ какомъ героинями могутъ быть названы Аннушка въ «Бойкомъ мъстъ» или Параша въ «горячемъ сердцъ». Настя дъвушка совсъмъ заурядная, пожалуй даже пустая. скучающая о томъ, что щеголять ужь совстмъ не приходится, мечтающая, какъ бы выйти замужъ за такого же неподготовленнаго, какъ и она сама, ни къ какому труду, но благовиднаго и приличнаго юношу, Баклушина. Между тъмъ она, а отчасти и онъ возбуждають нашу симпатію своимъ добродущіемъ, своею готовностью быть хорошими, если бы обстоятельства сложились иначе. Весь изъянъ ихъ въ томъ, что нътъ въ нихъ никакой выдержки, неспособны они ни на какую борьбу. Дядя велить ей отправиться вмъстъ съ теткою въ хождение по домамъ съ подписнымъ листомъ на «бъдную невъсту», -и она идетъ, хотя ей и очень стыдно - идетъ не изъ одного послушанія, но и потому, что самой ей хотълось бы и платочекъ шелковый пріобръсть, и хоть какъ-нибудь угостить у себя вечеркомъ г. Баклушина. И чего только не приходится ей испытать и туть, и потомъ, отъ сосъдей, во время уго-

щенія предполагаемаго жениха, съ помощью чужого самовара, и наконоцъ отъ самого жениха, который приходить въ ужасъ, когда сосъди туть же и сплетничають ему про ея хожденіе за сборомъ. «Просить, побираться, говорить онь ея теткъ, воть что хуже бъдности». -Это не хуже бъдности, отвъчаеть та, это самая бъдность-то и есть». Но всего ужаснъе Настъ услыхать отъ Баклушина, что и самъ онъ «ищетъ богатой невъсты, чтобы поправить свои дъла». Ей, съ ея точки зрънія, остается одно-не побрезгать предложеніями того семейнаго купца, который готовъ, по словамъ тетки, поселить ее на особой квартиръ. «Думай, Настенька, говорить ей Анна Тихоновна, думай, душа моя, хорошенько. Хуже всего, коли руки опустишь. Затянешься въ нашу нищенскую жизнь, бъда! Думай теперь, пока еще въ тебъ чувства-то не замерли, а то и солдатской шинели будешь рада.

Настя. Ай, что вы! Нётъ, нётъ, нётъ! Ай, что вы! Анна. Ходить по домамъ, побираться, то кусочекъ сахарцу занять, то огарочекъ свёчки; подбирать на чужихъ дворахъ щепочки, чтобы вскипятить горшокъ пустыхъ щей...

Настя. Ахъ нътъ, нътъ! Не говорите, замолчите! (подумавъ) Тетенька?

Анна. Что, душа моя?

Настя. А много дѣвушекъ умираютъ?.. отъ бѣдности, отъ горя?

Анна. Довольно таки.

Настя. А много и такихъ...

Анна. Какихъ?

Настя. Ахъ, какъ стыдно!

Анна. Охъ, много, много!

Настя. И всѣ смѣются надъними, презираютъ, обижаютъ ихъ, оѣдныхъ!

Анна. Есть кто и пожалбеть; только мало Христіанства-то въ людяхъ.

Эта небольшая сцена, при всей своей незатъйливой простотъ, производитъ потрясающее впечатлъніе! Въдь

изъ-за этой Насти выглядывають столько другихъ дъвушекъ, ни въ чемъ уже неповинныхъ, совсемъ уже не пустыхъ, и тъмъ не менъе попадающихъ въ такое же положение. Но, что касается Насти, то на повърку оказывается, что дядя ея только затаилъ свои деньги, ради нихъ-то, этихъ затаенныхъ денегъ, и расхаживая въ ватной шинели даже въ іюльскія жары. Въдь эта шинель у него выстегана ассигнаціями, но, вследствіе изъяновъ въ ней, происходящихъ частію отъ той же скупости, частію отъ затруднительности, при содержимомо шинели, какихъ либо ея починокъ, онъ теряетъ въ саду часть содержимаго ею и съ отчаянія лишаеть себя жизни. Можно находить эту развязку натянутою, такъ какъ большая часть его сокровищъ все же осталась въ его шинели, которая и становится послъ него наслъдствомъ, сразу мъняющимъ положение и его жены, и чуть было не погибшей его племянницы (тутъ, разумфется, преблагополучно выходящей замужъ за своего Баклупина). Но вся сущность драмы (это скорте втдь драма, чтмъ комедія), повторяемъ-въ умѣніи потрясающимъ образомъ показать, какъ могла бы отозваться безобразная скупость Крутиц каго на существъ, ужь тутъ-то, конечно, ни въ чемъ неповинномъ!

Написанная въ следующемъ 1873 г. трехъ-актная комедія въ стихахъ: «Комикъ XVII столетія» переносить насъ снова, какъ и по заглавію видно, на совсемъ уже историческую почву. Тутъ передъ нами конецъ XVII века, пора непосредственно предшествующая Петру, о которой нашъ авторъ вспомнилъ по поводу двухсотлетія Русскаго театра. Передъ нами тутъ опять самодуръ стараго покроя въ лицъ Кочетова—отца, философствующаго такимъ образомъ на счетъ детской покорности:

...Когда тебь взгрустнется, Иль пьянъ придешь домой, на что утвиньй Поклоны ихъ земные. Заставляешь Поклоны бить и веселишься духомъ, Что какъ-де ты ни малъ, ни пріобиженъ Отъ властныхъ лицъ, а дётямъ, домочадцамъ, Въ своемъ дому и ты-де государь.

Вырощенный въ безгласномъ повиновеніи, Кочетовъ сынъ въ затрудненіи, какъ совмъстить повиновеніе отцу съ повиновеніемъ властямъ предержащимъ. Онъ говоритъ:

Воярскіе приказы разбирать Не смѣемъ мы; велять плясать, запляшешь.

Кочетовъ. Еще-бъ ты смѣлъ ослушаться бояръ!

Яковъ.

А стать плясать—тебъ не угодишь.

Кочетовъ. Еще-бъ ты смѣлъ отцу не угодить! Служи царю, боярамъ покоряйся Безропотно, безпрекословно, рабски И чти отца да матерь.

Но старому самодуру вскорѣ приходится убѣдиться, что одно съ другимъ несовмѣстимо. Сынъ его уже завербованъ въ царскіе комедіанты—дѣло, до тѣхъ поръ неслыханное на Руси. У него есть на то талантъ, но талантъ этотъ ему самому противенъ и страшенъ. Онъ повременамъ спасается отъ требующихъ его къ себѣ орудователей комедійнаго дѣла у своей невѣсты, боясь признаться во всемъ отцу. Но соперникъ его въ сватовствѣ, подъячій Клушинъ, выдаетъ его тайну. Отецъ выходитъ изъ себя, но, какъ служилому человѣку, ему приходится наконецъ сдаться передъ волей Матвѣева, говоря:

Сынка привель, возьми его, бояринь, Да будеть онъ царевъ комедіанть.

И Кочетовъ дълаетъ это исключительно по долгу службы, а вовсе не вразумляясь словами главнаго заправщика комедійнаго дъла, пастора Грегори:

...Въ душћ у человѣка Въ числѣ даровъ Господнихъ есть одинь Спасительный: порочное и элое Смёшнымъ казать, давать на посмёянье. Величіе родной земли героевъ Восхваливать и честно и похвально; Но больше честь, достойно большей славы Учить людей, изображая правы.

Не въ историческую старину, а въ старину народныхъ миническихъ преданій, народнаго сказочнаго міра уходитъ Островскій въ своей «Снѣгурочкъ», —этой «весенней сказкъ», написанной въ стилъ Шекспировскаго «Сна въ лътнюю ночь». Главная прелесть туть въ тъхъ хорахъ, которые прямо отзываются народною пъснею или же «Словомъ о Полку Игоревъ» (Пъсня гусляровъ-«что мет звенить по заръ издалече»), въ томъ чисто народномъ размъръ, который чередуется туть съ обычнымъ въ драмъ иятистопный ямбомъ, наконецъ, вообще въ оборотахъ и образахъ чисто народнаго языка. Самой Снътурочкъ авторъ пытался придать особый психологическій интересъ, но это, кажется намъ, менъе удалось ему, чъмъ Жуковскому въ его, въ самомъ дълъ, очаровательной, получившей отъ него живую душу, Ундинъ. Страшное порождение Дъда-Мороза и Весны-Красной, т.е. свътлой, но не теплой весны нашего Съвера, Снътурочка исполнена чарующей красоты, но лишена того внутренняго тепла, которымъ только и придается красотъ жизнъ. Снъгурочка сама сознаетъ это, когда говоритъ:

Кругомъ меня всё любять, всё счастливы И радостны, а я одна тоскую!..

Хочу любить, но словь любви не знаю И чувства нёть вь груди; начпу ласкаться, Услышу брань, насмёшки и укоры За дётскую застынчивость, за сердце Холодное. Мучительную ревность Узнала я, любви еще пе зная.

Эта ревность, вытекающая только изъ оскорбленнаго самолюбія, вызывается въ ней юнымъ пастушкомъ Лелемъ,

уже при первомъ знакомствъ бросающимъ поданный ему ею цвътокъ, а потомъ увивающимся за менъе, можетъ быть, красивою, но полною жизни, Купавою, которую, напротивъ того, бросилъ ея женихъ, молодой и богатый посадскій, Мизгирь, иривлеченный неописанною красотою Снъгурочки. Нъсколько страннымъ представляется, что, и ближе ее узнавъ, Мизгирь не оставляетъ ея, подобно Лелю, не чувствуеть себя обданнымь темь колодомь, какимъ обдаетъ она всъхъ, ближе подходящихъ къ ней. Онъ, повидимому, увлекается именно неподатливостью Снъгурочки, желаніемъ во что бы то ни стало одержать надъ нею такъ трудно дающуюся побъду, но вотъ Снътурочка вымаливаеть у своей матери Весны-красной то, чего ей не доставало. Надъвая на ея голову свой вънокъ. Весна надъляеть ее своею, хотя на съверъ и довольно скудною, теплотою. Это дълается уже подъ утро на Ивана Купалу, т.-е. на великій праздникъ Ярила. Но мать при этомъ предостерегаетъ Снігурочку:

Между тъмъ, Снъгурочка, встръчаясь со своимъ Мизгиремъ, встръчаясь уже не по прежнему, все забываетъ. Сладостно млъя, она говоритъ:

> О мать Весна, благодарю за радость, За сладкій даръ любви! Какая нѣга Томящая течеть во мнѣ...

Но, говоря это, она таетъ, таетъ не отъ внутренняго жара, а отъ тъхъ, проръзающихъ утренній туманъ, яркихъ лучей солнца, отъ которыхъ ее предостерегала матъ. Царь Берендей этимъ доволенъ. Онъ, говоритъ, что

...Солнце знаеть Кого карать и миловать. Свершился Правдивый судь! Мороза порожденье— Холодная Савгурочка погибла. Пятнадцать леть она жила межь нами, Пятнадцать леть на насъ сердилось Солице. Теперь, съ ен чудесною кончиной, Вмешательство мороза прекратилось. Изгонимъ же последній стужи слёдь Изъ нашихъ душь, и обратимся къ Солицу.

Но тутъ совсѣмъ уже странно, что Солнце свершаетъ надъ Снѣгурочкою свой судъ какъ разъ въ ту пору, когда, надѣленная, наконецъ, внутреннею теплотою, она перестала бы производить на всѣхъ то дѣйствіе, котораго слѣдствія такимъ образомъ описывалъ Царь Берендей:

...Сердечная остуда Повсюдная—сердца охолольян, И вотъ тебъ разгадва нашихъ бъдствій И холода: за стужу нашихъ чувствь И сердится на насъ Ярило-солице И стужей метитъ.

Символизмъ тутъ, какъ и во всей этой драматической сказкъ, какой то неясный и не выдержанный. Вообще она можетъ производить впечатлъніе на сценъ пъніемъ и всею эффектною постановкою, но на читателя она не производитъ какого либо цъльнаго и полнаго впечатлънія. Кстати замътимъ тутъ же, что и та фантастическая примъсь, какая оказывается въ «Воеводъ» (появленіе Домового)—то же представляется чъмъ-то натянутымъ и не довольно яснымъ. Тутъ Островскій, повидимому, не въ своей области.

Мы снова попадаемъ въ самую обыкновенную житейскую обстановку въ тъхъ «сценахъ изъ жизни захолустья», которыя озаглавлены: «Поздняя Любовь» (1874 г.). Тутъ Островскій взялъ себъ психологическую задачу, которая не ръпается такъ легко, а требовала бы болье тщательнаго анализа. Людмила Маргаритова, дъвушка уже не молодая, привыкла жить не для себя, а для своего труженика-отца, для котораго она—все, и который на

нее не надышется. И вдругъ, подъ вліяніемъ поздней любви, она сперва отдаетъ возбудившему ее въ ней послъднія, какія только есть у нихъ, деньги, а потомъ доходитъ и до того, что похищаетъ у отпа документъ, необходимый для веденія въ судъ защищаемаго имъ дъла (онъ адвокатъ) и передаеть этоть документь противной сторонь. Пыло въ томъ, что объ этомъ проситъ ее тотъ же предметъ ея поздней страсти, а она ни въ чемъ ему отказать не можетъ. Привязанность Людмилы къ Никодаю Шиблову-человъку, вовсе ея не стоющему, это какая-то не человъческая, а, говоря языкомъ Писемскаго въ «Тысячъ душахъ» собачья привязанность. Если такія привязанности и возможны, то въ данномъ случав не достаточно показана борьба такой привязанности съ иными, лучшими чувствами Людмилы, съ ея привычными и обычными чувствами къ ея достойнъйшему отцу. Борьбы туть, можно сказать, совсёмъ даже и нётъ, а потому Людмила, которая при такой борьбъ могла бы по крайней мъръ вызывать сожальніе, производить на насъ какое-то отталкивающее, чтобы не сказать, отвратительное, впечатлъніе. Да, она едва ли даже не противнъе своего негодяя Шиблова; его же мы прямо назвали такъ и не беремъ своихъ словъ назадъ. Онъ-вполнь образованный человькъ, онъ изъ университетскихъ, какъ и Калиновичъ у Писемскаго, онъ человъкъ способный, действующій въ новыхъ судахъ, но онъ изъ техъ, которые своею внутреннею дрянностью могутъ дурно зарекомендовать какую угодно образованность, какія угодно новыя учрежденія. «Записался онъ адвокатомъ, говоритъ про него Людмилъ его же мать, -- пошли дъла, и пошли, и пошли, и пошли, огребай деньги лопатой. Отъ того отъ самаго, что вошель онь въ денежный купеческій кругъ... И началь онъ эту самую купеческую жизнь, что день въ трактиръ, а ночь въ клубъ, либо гдъ. Само собою: удовольствіе, человъкъ же онъ горячій. Ну имъ что? У нихъ карманы толстые. А онъ барствовалъ, да барствовалъ, а дъла-то между рукъ шли, да лънь-то; а туть адвокатовъ развелось нъсть числа. Ужь сколько онъ тамъ ни путался,

а деньжонки вст прожиль, знакомство растеряль и опять въ прежнее бъдное положение пришелъ». Такимъ-то образомъ дёло дошло до того, что онъ, на всякій случай, обзавелся пистолетомъ, который и отбирается у него Людмилою. «Жить незачемь, говорить онь ей; какъ хочется жить, такъ нельзя; а какъ можно, такъ не хочется». Онъ изъ тъхъ, имя-же имъ легіонъ, самоновъйшаго покроя самодуровъ, которые сами, конечно, не считають себя таковыми. Надъ такимъ, въ широкомъ смыслъ понимаемымъ, самодурствомъ, не даромъ состоялся приговоръ Малороссійской пословицы: «паны, якъ дурни, — що хотять, то и роблять». И воть, ради такого-то «пана дурня» Людмила кривитъ душою и становится близка къ тому, чтобы стубить своего добраго и честнаго отца. Но дъло кончается лучше, чёмъ можно было ожидать. Шибловъ передаетъ той дамѣ, дѣло которой ведетъ онъ, не подлинное заемное письмо, а только копію съ него. «Вы, говорить онъ ей при этомъ, поручая мнъ это нечистое дъло, желали испытать, стою ли я любви вашей; по крайней мъръ вы такъ говорили. Ну, представьте себъ, что я, довъряясь вамъ, тоже желаль испытать, стоите ли вы моей любви». въріе съ его стороны заключается въ томъ, что онъ передаеть ей бумагу, не заручившись предварительно никакими «вещественными доказательствами невещественныхъ отношеній». Она отвітаеть ему совітомь подождать не только любви, но и денегъ, а заемное письмо (считая его подлиннымъ) кидаетъ въ печь. Когда же выходитъ наружу, что ею сожжена копія, ей приходится уплатить деньги купцу Дороднову, который передаеть Маргаритову половину ихъ, за ведение дъла. Старикъ спасенъ, и, позабывая все, что сдълала его дочь, половину своего заработка передаеть ей — какъ приданое. Она въ свою очередь передаеть эти деньги Шиблову, какъ своему жениху, а тотъ предлагаетъ ея отцу быть его помощникомъ. Дъло такимъ образомъ кончается совершенно благополучно, если смотръть на благополучие по водевильному.

Что въ самомъ дълъ ожидаетъ Людмилу въ замужствъ съ такимъ молодцомъ, способнымъ, конечно, и впредъвести дъла $\partial a m z$, выгодныя въ $\partial s o u n o m z$ отношеніи, это, конечно, такой вопросъ, надъ которымъ едва ли будетъ задумываться большинство зрителей.

XI.

"Трудовой хлѣбъ".— "Вогатыя невѣсты".— "Волки и Овцы".— "Правда хорошо, а счастье лучше".— "Послѣдняя жертва".

Литературная дъятельность Островского продолжалась съ прежнею неутомимостью и во второй половинъ 70-хъ годовъ. Въ ней однако же нельзи не замътить тутъ нъкотораго упадка творческой силы, зависвыпаго, очевидно, отъ поспъшности работы. Много, съ одной стороны, прекраснаго, напоминающаго лучшую пору нашего драматурга, представляють намъ «сцены изъ жизни захолустья», озаглавленныя: «Трудовой хлѣбъ». Но есть тутъ и странности, кое что натянутое, дъланное. Характеры пожилого образованнаго неудачника Корпълова и молодаго его пріятеля, окончившаго курсъ въ университетъ, Грунцова, нельзя не признать удавшимися. «Я и на свътъ-то живу, говорить про себя Корпеловь, не человекомь, а за место человъка. Я и на службъ-то былъ за мъсто кого-то, потому что служилъ исправляющимъ должность помощника младшаго сверхштатнаго учителя приходскаго училища. Прослужилъ я цёлыхъ три мёсяца, вышелъ въ отставку и аттестать два раза теряль, и живу теперь по копіи съ явочнаго прошенія о пропавшемъ документь. Признаться вамъ сказать, друзья мои и сродники ужь начинаютъ сомнфваться, самъ-то я не копія-ли съ какого нибудь пропавшаго человъка». Водится за нимъ и гръщокъ-запивать съ горя. Но челов'вкъ онъ безукоризненно честный и никогда-то неунывающій. Есть у него и сознаніе сво-

его умственнаго превосходства передъ такимъ, въ авантажъ обрътающимся, бывшимъ товарищемъ, какъ Потроховъ. котораго онъ, по старой гимназической привычкъ, величаетъ: stultus и отъ котораго не хочетъ принять высланной съ лакеемъ трехрублевки. Вотъ отъ Грунцова онъ всегда приметь помощь, -- Грунцовъ и самъ честный труженикъ. и дълится послъднимъ отъ всей души. Грунцовъ, какъ и Корпъловъ, готовъ даже трунить надъ своею бъдностью, предпочитать ее положенію тёхъ, повидимому, роскошно живущихъ людей, которымъ отъ ненасытимости ихъ стремленій хоть петлю надівать на шею. «Какая у нась нужда, domine, говорить онъ Корпълову; воть я ныньче видълъ нужду-то! Прихожу я къ Мурину (ростовщику); отъ него выходить молоденькій франтикь, въ коляску хочеть садиться... пара рысаковъ тысячи полторы стоитъ... вышелъ отъ Мурина-то, шатается: прислонился у двери, едва духъ переводитъ, --блъдный, какъ полотно, губы трясутся, а самъ шепчетъ: «душитъ онъ меня, душитъ, кровь пьеть; заръжу я его». --Воть она нужда-то! въ коляскъ на рысакахъ тадитъ, а мы что!» Грунцовъ не знаетъ, что этими словами рисуеть портреть человъка, сдълавшагося предметомъ илемянницы Корпълова, Наташи. Вотъ какимъ образомъ высказывается этотъ ея предметъ передъ Потроховымъ: «ты человъкъ развитой, современный, ты самъ понимаеть, я думаю, что людямъ съ нашими потребностями меньше 300 тысячь имъть нельзя. Это, что называется, въ обръзъ; разочти самъ. Иначе жить порядочно нельзя, -жить какъ нибудь я не соглашусь ни за что!.. Ты пожальй меня, мнь жить хочется»... И Потроховъ - свой своему по-неволъ оратъ - жалъетъ Копрова: даетъ ему денегъ взаймы, а бывшему своему товарищу труженику высылаетъ три рубля съ лакеемъ. Копровъ готовъ занимать у всякаго. Онъ признается Наташъ, что у него было много денегъ, но онъ запутался, потому что хотълъ имъть еще больше, «затъмъ, что больше-лучше».-А потомъ опять больше, замъчаеть она, и такъ далъе, гдъ же конецъ?-«Конца нътъ, возражаетъ онъ. Въдь совершенства тоже нёть на землё, а все-таки всякій стремится къ нему; умный желаеть быть умнёе, ученый — ученёе, добродётельный — добродётельнёе; ну, а богатый желаеть быть еще богаче».—Зачёмъ же такъ ужь много денегъ? все не можеть вразумиться Наташа. «Чтобъ имёть возможность удовлетворить всёмъ своимъ потребностямъ, поясняеть Копровъ. Потребности неудовлетворенныя причиняють страданіе, а кто страдаетъ, того нельзя назвать счастливымъ. Напримёръ, у меня синяя коляска и сёрыя лошади, вдругъ мнё понравится зеленая коляска и вороныя лошади... Конечно, я не умру, если не куплю ихъ сейчасъ же, но все-таки это причинить мнё нёкоторое страданіе. И я только тогда сочту себя покойнымъ и счастливымъ, когда получу возможность имёть во всякое время всякую коляску, какая только мнё понравится».

Наташа дъвушка совершенно другого покроя. Когда сестра ея, ожидая прихода къ ней Копрова, конфузится бъдной своей обстановки, Наташа урезониваетъ ее: «кто посмветь оть насъ требовать, чтобы у насъ богато было? Чисто, опрятно, и довольно. Ты не конфузься, не теряй своего достоинства! Наша бълность — горпость наша!... Милая Женичка! мы съ тобою хорошія, добрыя дівушки; что мы бъдны, мы не виноваты; забудь эти стъны и представь себъ, что мы королевны во дворцъ». Но именно такой-то дъвушкъ и не къ лицу такъ беззастънчиво употреблять то слово, которое является у нея на языкъ при первомъ же ен появленіи на сценъ. Сестра ен чувствуетъ себя обиженною тъмъ, что ихъ квартирный хозяинъ, Чепуринъ, говоритъ про Наташу: «у нихъ есть любовникъ». — «Онъ правду говоритъ», замъчаеть Наташа. — «Да какъ же онъ смъеть любовникомъ называть?» остается при своемъ Евгенія. «А какъ же назвать то? Конечно, любовникъ - утверждаетъ Наташа. Это пошлое слово, когдато очень употребительное на сценъ (въ сентиментальныхъ пьесахъ стараго покроя), почему-то полюбилось нашему драматургу и часто употребляется имъ въ его комедіяхъ 70-хъ годовъ. Но если это устарълое слово по крайней

мъръ не противоръчить характеру другихъ его женщинъ этой поры, то ужь Наташъ-то оно совсъмъ не къ лицу. Въдь говорить же она Копрову: «Любить? Любить можно, и не уважая человъка и не въря ему... да въдь такая любовь обида». Намъ кажется съ другой стороны, Наташа слишкомъ легко сдается на подталкиванье легкомысленной Евгеніи, отдавая Копрову тотъ завътный капиталь, который на случай замужества оставлень ей матерью, отдавая его ему — вмѣстѣ съ своею рукою, т.-е. намъ кажется, что она слишкомъ довърчиво относится къ его просьбъ отдать ему и свою руку, - просьбъ, оказывающейся только слёдствіемъ того условія, съ какимъ соединено получение денегъ. Мы не можемъ наконецъ допустить, чтобы такая девушка, какою наметиль Островскій Натапту (наметиль, но не вполни выполниль), могла такъ легко успокоиться послъ обмана со стороны Копрова, сейчасъ же и соглашаясь выйти замужъ за Чепурина и ничъмъ не отзываясь на разсказъ Корпълова о томъ, что Копровъ «хвать себя изъ револьвера». Намъ представляется также совершенно излишнею исторія съ тою коробочкой, которую, какъ «блаженненькому», передаетъ Корпълову такое полу-таинственное лицо, какъ «старая ключница». Въдь находящійся въ этой коробочкъ сторублевый билетъ -- совстви не такая сумма, которая могла бы вознаградить Наташу за деныи, отобранныя у нея Копровымъ, и безъ которой бы Чепуринъ не могъ на ней жениться. Интересана этимъ не привлечешь, а Чепуринъ, какъ выходить на повърку, даже вовсе не интересанъ. Когда Наташа отталкиваеть его, оскорбившись его предостереженіями на счеть Копрова, онь съ чувствомъ глубокаго оскорбленія говорить: «стою-ль я вашей любви, нътьли-съ, только мнт ея не надо-съ. И все-жь я человткъ съ душой-съ, и чужія слезы мнѣ не на радость». Между ткиъ онъ то и остается ей въренъ послъ постигшаго ее горя.

Отъ такой бъдной невъсты, какъ Наташа, Островскій переходить къ «Богатымъ Невъстамъ». Такъ озаглавлена

у него большая четырехъ-актная комедія, въ которой одна изъ невъстъ-купеческая вдова льть подъ сорокъ, другаямолодая и красивая дъвушка, сбываемая съ рукъ 60-тилътнимъ родственникомъ и «благодътелемъ». Исторія замужества первой коротка и проста. Послъ долгихъ зазываній, она и заполучаеть наконець жениха въ лицъ мелкаго чиновника Пирамидалова, состоящаго на посылушкахъ у его превосходительства г. Гнъвышева. Пирамидаловъ не прочь бы себъ добыть другую невъсту, ту, которую сбываеть съ рукъ этотъ штатскій генераль, сбываеть несмотря на ея красоту, такъ какъ ожидаеть возвращенія своей супруги. Для этой красавицы имфется у него въ виду другой женихъ — Цыплуновъ, знавшій ее еще тринадцатилътнею «ангеломъ дъвочкою» и неожиданно сходящійся съ нею 10 леть спустя. Воть какимъ описываеть Цыплунова своему генералу его штатскій адъютантъ: «сидитъ все дома за бумагами, да за книгами, не бываетъ нигдъ въ обществъ, даже и у товарищей; бъгаетъ отъ женщинъ. А если съ нимъ женщина заговоритъ, онъ краснъетъ и конфузится». По мнънію Пирамидалова Цыплуновъ не что иное, какъ дуракъ дуракомъ. Не раздъляя такого мивнія, мы не можемь не признать этого идеальнаго молодого человъка (лътъ 30-ти) не особенно-то удавшимся Островскому. Горькое разочарование въ кого онъ знавалъ «ангеломъ дъвочкой», и кто является теперь передъ нимъ «милымъ, но погибшимъ созданіемъ» -это тема, отчасти напоминающая ту, которая была затронута Гоголемъ въ «Невскомъ проспектъ» (гдъ паденіе милаго существа только глубже). Мы считаемъ эту тему очень благодарною и вполнъ драматическою, только Островскій, по нашему мнънію, не совладаль съ нею. Въ Цыплуновъ слишкомъ мало живого благороднаго чувства, слишкомъ много зато ходячаго резонерства. Сцены его съ Бълесовой выходять поэтому какими-то дёланными, а подчасъ и скучноватыми. Что-то искусственное сказывается и въ объясненіяхъ Цыплунова съ матерью, которую авторъ хотъль выставить вполнъ достойною матерью такого сына, только обладающею опытомъ и зависящимъ отъ него благоразуміемъ, а выставилъ тоже довольно безцвѣтном резонеркою—какимъ-то на полупрактической почвѣ Стародумомъ въ юбкѣ. «Выть можетъ я ошибаюсь—говоритъ ей Цыплуновъ,—но мнѣ всегда казалось, что женщины отдаютъ явное и очень обидное предпочтеніе людямъ не строгой нравственности, и даже иногда порочнымъ, передъ людьми чистыми. Мало того, къ людямъ совершенно чистымъ онѣ показываютъ какую-то ненависть. Извините, мнѣ такъ кажется».

- «И ты думаешь, -- возражаеть ему мать, -- что сказаль что нибудь очень ужасное про женщинь, что нибудь очень обидное для насъ? Такъ знай же, что женщины совершенно правы въ этомъ случат; потому что нтъ болъе несносныхъ деспотовъ, какъ вы, люди чистые. Вы создаете въ своемъ воображени какихъ-то небывалыхъ богинь, да потомъ и сердитесь, что не находите ихъ въ дъйствительности. Вы, чистыя натуры, не только не прощаете, но даже готовы оскорбить любимую женщину, если она не похожа на тъ блъдные, безжизненные шаблоны, которые созданы вашимъ досужимъ воображеніемъ». Намъ кажется, что никакая хорошая мать не стала бы такъ говорить со своимъ сыномъ. Если бы она считала его только лицемфромъ, только разыгрывающимъ роль какого-то безгръщнаго, то она прямо и заговорила бы о фальши, о томъ, что онъ хочетъ казаться не тъмъ, что онъ на самомъ дълъ есть. Но она не сомнъвается въ немъ, въ его искренности, а прямо нападаеть на его «чистоту», т.-е. на редкое качество въ той господствующей половине человъческаго рода, къ которой принадлежитъ и онъ. Вся бъда въдь въ томъ, что далеко не чистые изъ этой половины позволяють себъ требовать безупречной чистоты отъ другой. подчиненной половины человъчества, т.-е. въ томъ, что у нихъ одна мъра для мужчины и другая для женщины. Но Цыплуновъ, къ сожалънію, т.-е. то, чъмъ онъ вышель у Островскаго, дъйствительно похожъ на «блъдные, безжизненные шаблоны, созданные воображениемъ». Въ немъ не

видать ни дъйствительно сильнаго горя, когда онъ узнаетъ, во что обратилась на самомъ дълъ его «ангелъ—дъвочка», ни того дъйствительно сильнаго состраданія любящей души, которое только и могло ему внушить отказъ, данный имъ за нее, отъ того капитала, которымъ думаетъ ее вознаградить Гнъвышевъ, —отказъ, связанный съ ръшимостью жениться на ней на такихъ, непредвидънныхъ Гнъвышевымъ, условіяхъ.

Съ другой стороны и эта, когда-то «ангелъ-дъвочка», Бълесова не довольно живое существо, а также – какія-то ходячія перекрещивающіяся разсужденія. Въ ней не видно настоящей борьбы того, что осталось въ ней отъ прежняго «ангела дъвочки», съ тъмъ, что въ ней развилось отъ позднъйшаго положенія «милаго, но падшаго созданія». Она-просто какая-то деревяшка, когда на вопросъ Цыплунова: неужели не оскорбляють ее Гнъвышевскія деньги? говорить: «нъть, оскорбляють. Я иногда плачу; но что-жь дълать, я, признаюсь вамъ, не имъю столько силы воли, чтобъ...» Это-то и заставляетъ Цыплунова отказаться за нее отъ такихъ позорныхъ денегъ. Послъ того, какою вышла она у Островского, странными представляются слова о ней матери Цыплунова: «я нашла то, чего мев не доставало и чего я такъ желала-я нашла дочь себъ». Точно также приходится покачать головою и на слова самого Цыплунова: «это она-наша прежняя Валентина».

Въ пяти-актной комедіи: «Волки и овцы» встрѣчаемся мы со старой знакомой. Старая дѣва—помѣщица Мурзавецкая—это вѣдь новое изданіе Улабенковой и Гурмыжской, съ тою надбавкою, что Мурзавецкая, при такомъ же ханжествѣ и «благотворительности», не прочь и отъ того, чтобы воспользоваться фальшивыми документами, ловко фабрикуемыми для нея бывшимъ членомъ уѣзднаго суда Чугуновымъ, при помощи его совершенно безпутнаго племянника-землемѣра, Горецкаго. А между тѣмъ, если Шекспировскій Лиръ былъ и остался королемъ отъ головы до пятокъ, то и Мурзавецкая, несмотря ни на что, сохраняетъ все свое достоинство барыни-самодура.

«Что мнъ себя связывать? говорить она; отдамъ-вотъ и все туть. Я еще не знаю, сколько у меня денегь и есть ли деньги, -- да и копаться-то въ нихъ за грёхъ считаю. Когда понадобятся, да не то, что когда понадобятся, а когда захочу отдать, такъ деньги найдутся, стоитъ только пошарить кругомъ себя. И найдется ровно столько. сколько нужно. Вотъ какія со мною чудеса бываютъ» Дъло просто: Чугуновъ сфабрикуеть ей какое нибуль письмо отъ покойника въ дополнение къ его завъщанию - о томъ, что наслъдники должны столько-то доставить Мурзавецкой на ея благотворительныя дъла. — а она и расплатится этими деньгами съ къмъ слъдуетъ. Сказавъ. что это «Богъ послалъ», она однако же пойдетъ за тъмъ класть поклоны, подобно Грозному, чтобы, также подобно ему, вернуться на следующий день къ тому же. Въ качествъ благодътельницы, забираетъ она себъ въ голову исправить своего безпутнаго племянника, выжитаго изъ полка самими товарищами офицерами, посредствомъ женитьбы его на ея дальней родственниць, молодой вдовъ Купавиной, -- и вотъ, чтобы склонить ее на такой, не совсвиъ-то заманчивый, бракъ, она разсчитываетъ пригрозить ей тъмъ, что ея покойный мужъ объщалъ ссупить покойнаго брата Мурзавецкой, отца сулимаго ей жениха, 25 тысячами, да не исполнилъ своего объщанія, и что деньги эти можно взыскать съ нея, наследницы умершаго. Напрасно самъ Чугуновъ старается вразумить Мурзавецкую: «Нельзя этихъ денегъ получить-съ. Никто не обязанъ взаймы деньги давать, на это есть добрая воля. Хоть Купавинъ и не далъ взаймы вашему братцу, а все-таки по закону взыскать ничего съ него за это нельзя»... Мурзавецкая никакихъ такихъ резоновъ не принимаетъ. «Да развъ я глупъе тебя: говорить она. Развъ я не понимаю. что по законамъ, по тъмъ, что у васъ въ книгахъ-то написаны, туть долга нъть. Такъ у васъ свои законы, а у меня свои; я вотъ знать ничего не хочу, кричу, что ограбили моего племянника». Но такъ какъ, волею судебъ, Мурзавецкой пришлось пережить пору бывшихъ сословныхъ

судовъ, и дожить до поры реформенной, то такому находчивому человъку, какъ Беркутовъ, и удается прибрать ее къ рукамъ тъмъ, что она, по милости негодяевъ, которые, конечно, безъ спросу у нея, фабрикуютъ ея именемъ фальшивые документы, можетъ вдругъ очутиться на скамъъ подсудимыхъ.

Выданный своимъ перекупленнымъ племянникомъ, Чугуновъ не теряетъ однако же сознанія своего превосходства, когда въ концъ комедіи говоритъ Мурзавецкой: «за что насъ Лыняевъ волками-то называлъ? Какіе мы съ вами волки? мы куры, голуби... по зернышку клюемъ, да никогда сыты не бываемъ. Вотъ они волки-то! Вотъ эти сразу по многу глотаютъ».

А въдь онъ, пожалуй, и правъ. То ли проглатываетъ г. Беркутовъ, когда, при помощи Мурзавецкой, благодар. ной ему за спасенье ея отъ скамьи подсудимыхъ, пріобретаеть такія угодья посредствомь брака съ Купавиной -той самой, на которой Мурзавецкая хотъла сперва женить своего забулдыгу племянника. То-ли также глотаетъ и племянница Мурзавецкой, Глафира, прикидывавшаяся такою же святошей, какъ тетушка, когда ей удается себя пристроить за пожилого холостяка Лыняева, того самаго, которому и принадлежить изреченіе: «волки кушають овець, а овцы смиренно позволяють себя кушать». Когда же Мурзавецкая спрашиваеть его послъ этого: «и барышни тоже волки?», онъ точно пророчески отвъчаетъ: «Самые опасные. Смотрить лисичкой, всъ движенія такъ мягки, глазки томные, а чуть зазъвался немножко, такъ въ горло и влъпится».

Вотъ такъ-то именно и влъпляется въ него молодая еще и красивая Глафира, влъпляется въ этого, растолстъвшаго отъ лътъ и отъ привольной жизни, богатаго помъщика, прямо сознаваясь Купавиной, что она вовсе его не любитъ (еще бы любила!), а просто хочетъ выйти за него замужъ, видитъ въ этомъ «свою единственную надежду, единственную мечту». Глафира—это, если угодно, своего рода лэди Макбетъ—не въ злодъйствъ, конечно, а въ безстыдствъ.

Она употребляеть всё самые отвратительные виды кокетства, чтобы привлечь къ себъ отяжельвшаго, туго подающагося, старика, или почти старика. Мы не видали «Волковъ и Овецъ» на сценъ, но полагаемъ, что, при хорошей игръ, продълки Глафиры должны производить на зрителей самое омерзительное впечатлъніе. Она и въ монастырь собирается идти, и подзадориваетъ Лыняева ревностью къ мальчишкъ Горецкому, котораго называетъ своимъ «любовникомъ», и уколоть-то норовить Лыняева, говоря ему: «Вы не обижайтесь, Михайло Борисычъ! Вы очень хорошій человъкъ, но любить васъ невозможно. Вы ужь и въ лътахъ, и ожиръли, и, въронтно, дома въ тепломъ халатъ ходите и въ колпакъ, ну, словомъ, вы стали похожи на добраго милаго панашу». И она же ластится къ этому папашт во время его послтобъденнаго сна на дивант, она льнеть къ его жирному тълу, страстно посягая на его капиталь, въ разсчетв на то, что ихъ въ эту минуту застануть и ему уже нельзя будеть отступить назадъ.

Несравненно менте циничент въ своихъ пріемахъ волкъ мужского пола, Беркутовъ, добивающійся руки Купавиной, которая, впрочемъ, и сама не мало о немъ мечтала. Потому-то, правду сказать, ему бы и незачтыть было подзадоривать ее мнимымъ къ ней равнодушіемъ, выражающимся въ словахъ: «выходите за Мурзавецкаго». Намъ кажется даже, что эта, совстыть не нужная съ его стороны, уловка могла бы повлечь за собою вовсе не желанные для него результаты, глубоко оскорбивъ и ттыть самымъ оттолкнувъ отъ него Купавину, которая все-таки же не какая нибудь Глафира. Мы считаемъ недостаткомъ въ комедіи, что Купавина недостаточно оскорбляется его словами.

Къ числу недостатковъ ея относимъ мы и тотъ шаржъ какой замътенъ въ характеръ Горецкаго, этого безшабашнаго негодяя, которому Лыняевъ предлагаетъ вопросъ: «вы знали когда нибудь разницу между хорошимъ дъломъ и дурнымъ?» Въдь Горецкій отвъчаетъ на это съ чисто сатирическою откровенностью: «Какъ вамъ сказать-съ?

Нѣтъ, хорошенько не знаю». То, что разсказываетъ онъ далѣе о своей «заѣдающей средѣ» (употребляю излюбленное выраженіе 60-хъ годовъ), все же недостаточно для того, чтобы объяснить такое полнѣйшее отупѣніе нравственнаго сознанія.

Какъ бы то ни было, «Волки и Овцы» относятся къ наиболъе замъчательнымъ произведеніямъ позднъйшей поры нашего драматурга.

Къ числу ихъ несомнънно должна быть отнесена и 4-хъ-актная комедія: «Правда хорошо, а счастье лучше». Купеческая среда, въ которую мы опять попадаемъ въ ней, представляеть намъ туть тъ же, давно знакомыя черты патріархальнаго самодурства, хотя и нісколько посмягчившагося, въ своихъ внъшнихъ пріемахъ, подъ въяніями времени. Особенность комедіи съ этой стороны въ томъ, что ея «государыня матушка», Мавра Тарасовна, держащая въ ежовыхъ рукавицахъ своего 40-го лътняго сына Амоса Панфилыча, который не прочь кутнуть, неожиданно попадаеть въ положение, не особенно подобающее матерой вдовъ. За нею вдругъ оказываются старые гръшки, напоминающие такихъ помъщицъ, какъ Улабенкова и Гурмыжская, или же мать Маневу (у Мельникова). Память объ этихъ гръшкахъ возстаетъ передъ нею живьемъ лицъ того стараго ундера, котораго гдъ-то выкапываетъ няня Филицата, чтобы появленіемъ его, когда-то «милаго дружка» бъдовой старухи, прибрать старуху къ рукамъ и заставить ее, подъ вліяніемъ страха, согласиться на то, что требуется, - на бракъ ея внучки Поликсены со служащимъ у отца ея въ приказчикахъ Платономъ Зыбкинымъ. Мавра Тарасовна не на шутку испугана появленіемъ ундера, когда-то взявшаго съ нея, по его словамъ, «самую страшную клятву, что ежели эту клятву не исполнить, такъ разнесеть всего человъка»... «А клятва эта была,продолжаеть ундерь, въ томъ, что ежели я ворочусь благо. получно, и что ни истребую у нея, что-бъ все было.... А на что мнъ? такъ пугалъ». И вотъ, явившись, какъ снъть наголову, послъ того, какъ она давно привыкла его

считать погибшимъ еще на старой Турецкой войнъ, онъ начинаеть съ того, что пугаеть ее, матерую вдову-купчиху, вотъ какими требованіями: «выберу у тебя гостинную, которая получше, - да и останусь тутъ; гвоздей по стънамъ набью, амуницію развъшаю..... А вы каждое утро ко мнъ всей семьей здороваться приходите, въ ноги кланяться, и вечеромъ опять тоже, прощаться, покойной ночи желать. И сундукъ-то тотъ, желъзный, ко мнъ въ комнату подъ кровать». (Можно себъ представить, что у нея тамъ припрятано въ этомъ завътномъ сундукъ). — «Ахъ. отда моей головушкт!», невольно вырывается у отдовой старухи. Но Грозновъ совсъмъ не такъ грозенъ; — онъ только пошутиль. Онъ сейчасъ-же и мъняеть тонъ, утирая слезы: «уголъ мнѣ нуженъ-вѣкъ доживать, уголъ-гдѣ нибуль въ сторожкъ, подлъ кануры собачьей.» - «Ахъ ты. миленькій, миленькій», также утирая слезы причитаеть и Мавра Тарасовна. И туть же, успокоивщись на счеть его намъреній, видя, что онъ готовъ въ услуженіе въ домъ къ нимъ поступить, сейчасъ же опять обращается въ прежнюю заскорузлую скопидомку, которой бы только лишнюю копъйку у кого нибудь оттягать. «А многоль съ насъ-то запросишь?» спрашиваеть она.

Грозновъ. Четырнадцать рублей двадцать-восемь копъекъ съ денежкой—я на старый счетъ.

Мавра Тарасовна. Ну ужь съ насъ-то возьми по знакомству двънадцать.

Грозновъ. Ахъ, ты! (Топнувъ ногой). Полтораста.

Мавра Тарасовна. Ну четырнадцать, такъ четырнадцать... Четырнадцать, четырнадцать, я пошутила.

Грозновъ. Не четырнадцать, а четырнадцать 28 копъекъ съ денежкой. И денежки не уступлю. А какъ харчи?

Мавра Тарасовна. Харчи у насъ людскіе хорошіе, по праздникамъ водки подносимъ; ну, а тебя-то когда Филицата и съ нашего стола покормитъ.

Грозновъ. Я разностоловъ вапихъ не люблю, мнъ помягче.

Мавра Тарасовна. Да, да, состарвися ты, ахъ, какъ состарвися!

Память о бывшихъ гръхахъ окончательно беретъ верхъ: бабушкъ (въ этомъ напоминающей, пожалуй, и Гончаровскую въ «Обрывъ») уже не слъдъ винить внучку въ томъ, что застала ее вечеркомъ въ саду съ Платономъ Зыбкинымъ.

Этоть молодой человъкъ является самымъ оригинальнымъ, а вибств и самымъ интереснымъ лицомъ въ комедіи. На бъду себъ, онъ уродился таковъ, что ужь больно правду любитъ, а, поучившись кое чему, думаетъ въ этомъ найти опору для своего правдолюбія. «Неученье-тьма, а ученье-свътъ» -его исповъданіе; но свъть въдь на то и свътъ, чтобы указывать путь-дорогу къ правдъ. «Всю жизнь я, маменька, сражаюсь съ невъжествомъ, только дома утъщение и вижу, и вдругъ какой ударъ, въ родной матери я то же самое нахожу». Онъ говорить это изъ-за того, что у матери, долго державшей его сторону, вырвалось вдругъ слово ропота, когда они должны были все заложить, чтобы только выкупиться Платону у Амоса Панфилыча (который приняль его на службу въ видъ уплаты за деньги, занятыя у него матерью Платона, и отъ котораго Платонъ ръшился уйти послъ всяческихъ притъсненій и напраслинь, особенно же послі того, какъ украли у него письмо его, предназначавшееся для дочки Амоса Панфилыча, такъ имъ при этомъ и не выдаваемой, сколько ни пристають къ нему съ тъмъ). Мать Платона вообще высоко цёнить своего сына, хотя и понимаеть всю непрактичность его достоинствъ. «Говоритъ очень прямо. -описываеть его мать, --- ну, значить, ничего себъ въ жизни составить и не можеть. Учился онъ хоть на медныя деньги, а хорошо, и конторскую науку онъ всю понялъ; учителя вев его любили и похвальные листы ему давали, и теперь у меня въ рамкахъ на стънкъ висять... Учатся бъдные люди для того, чтобы званіе имъть да мъсто получить; а онъ чему учился-то, все это за правду приняль, всему этому повърилъ». Она совершенно върно поняла и

опредълила своего сына, который могъ бы въ этомъ отношеніи послужить приміромь для многихь и не изь его среды. «По нашему, матушка, по купечески, прододжаеть она, — учись, какъ знаешь, хоть съ неба звъзды хватай, а живи не по книгамъ, а по нашему обыкновенію, какъ изстари заведено». И въдь разсуждаетъ-то такъ не одна вдова Зыбкина, разсуждають такъ, какъ извъстно, и люди всякихъ положеній и званій-ну хоть, напримъръ, по поводу той книги, что евангеліемъ прозывается: мало ли что въ ней написано, а въ отношеніяхъ общественныхъ, въ отношеніяхъ международныхъ все будто бы должно оставаться «по нашему обыкновенію, какъ изстари заведено». Такія мысли зачастую проводятся у историковъ, политиковъ, публицистовъ, -- и не мирятся съ нею только такіе «юродивые» или «блаженненькіе», какъ Платонъ Зыбкинъ, которымъ и достается же за то горе – не отъ ума ужь, конечно, а отъ безумія. На бъду Платона, онъ и говоритъ-то своимъ особеннымъ языкомъ, какимъто книжно изысканнымъ и туманнымъ, хотя, при нъкоторой сообразительности, и не особенно трудно понять, что онъ говоритъ. «Всякій человъкъ, что большой, что маленькій, философствуеть Платонъ, - это все одно, -- если онъ живетъ по-правдъ, какъ слъдуетъ, хорошо, честно, благородно, дълаетъ свое дъло себъ и другимъ на пользу, - вотъ онъ и патріотъ своего отечества. А кто проживаетъ только готовое, ума и образованія не понимаеть, дъйствуетъ только по своему невъжеству, съ обидой и съ насмѣшкой надъ человъчествомъ, и только себъ на потъху, тотъ мерзавецъ своей жизни». Но въдь эти слова, несмотря на ихъ странную форму - право золотыя слова, ясно указывающія на тѣ два громадныхъ стана, на какіе распадается весь человъческій родъ. Такое же чистое золото и въ томъ, что Платонъ говоритъ Поликсенъ. «Одна у васъ природа съ Амосомъ Панфилычемъ», опредъляетъ онъ ее - ей же самой въ глаза. «Только свой капризъ тъщите... вы воображаете, что въ васъ существуетъ любовь, а совсъмъ напротивъ... Прикажетъ вамъ бабушка замужъ идти,

и всей этой любви конецъ, и обрадуетесь вы первому встръчному. А мучаете вы человъка такъ, отъ скуки, чтобы покуда, до жениха, у васъ даромъ время не шло.

Поликсена. Какъ ты смѣешь такія слова говорить? Платонъ. Отчего же и не говорить, коли правда? Поликсена. Да ты и правду мнѣ не смѣй говорить! Платонъ. Нѣтъ, ужь правду никому не побоюсь говорить. Самому лютому звѣрю—льву, и тому въ глаза правду скажу.

Поликсена. А онъ тебя растерзаетъ.

Платонъ. Пущай растерзаетъ. А я ему скажу: терзай меня, ну, терзай, а правда все-таки на моей сторонъ.

И что же? въдь безъ такихъ «юродивыхъ» окончательно не было бы людямъ житья отъ лютыхъ звърей. Конечно, подчасъ не достаточно говорить имъ правду, а приходится—не во гнѣвъ будь сказано Л. Н. Толстому—силою вырывать жертву изъ ихъ пасти. Но Платоны Зыбкины, надо думать, и на это готовы. Это тъ же Давиды, идущіе со своею пращею на Голіановъ Вспомнимъ, какимъ глубокимъ самосознаньемъ исполнены его слова: «Все вы у меня отвяли и убили меня совстмъ, но только изъ подъ политики, учтиво... и за то спасибо, что хоть не дубиной. Ахъ, благодътели, благодътели мои! Замучить-то вы и ее, (т.-е. Поликсену), и меня замучите, высушите, въ гробъ вгоните, да все-таки учтиво, а не по прежнему. Значитъ, наше взяло! Ура!! Воть оно правду-то вамъ говорить почаще, вотъ! Какъ вы много противъ прежняго образованнъе стали! А коли учить васъ хорошенько, такъ вы, пожалуй, скоро и совствы на людей похожи будете».

Многое въ словахъ Платона свидътельствуетъ о томъ, что «темное царство» самодурства кое въ чемъ уже пошатнулось. Но въдь сила Платона въ томъ, что на его
сторонъ не одна правда словъ, но и правда дълъ. На
повърку выходитъ, что онъ-то и относился честно къ
своему хозяину, что онъ-то и оберегалъ его интересы
отъ такихъ подслуживающихся ему мошенниковъ, какъ
приказчикъ его Мухояровъ съ компаніей. Мавра Тарасовна

дъйствующая, конечно, подъ вліяніемъ Грозновской грозы, остается и себъ на умъ, когда не только выдаетъ Поликсену за Платона, но и назначаетъ его главнымъ приказчикомъ и всю торговлю и капиталъ ему довъряетъ. Видно, и въ «темномъ царствъ» начинаютъ чувствовать, что правдивые, смълые люди — это въ то же время и въ самомъ дълъ честные люди, а безъ честныхъ людей далеко не уйдешь. Послъ всего этого нельзя, кажется, не признать, что Платонъ Зыбкинъ является настоящимъ «лучомъ свъта въ темномъ царствъ», — онъ, а не погубившая себя съ отчаянья Катерина!

Ияти-актная комедія «Посл'єдняя жертва» снова насъ переносить въ среду повяльной безчестности и распущенности. Тутъ передъ нами опять и «волки», и «овцы». Главнымъ волкомъ является тутъ жуиръ Дульчинъ, пользующійся нѣжностью молодой вдовы Юліи Павловны Тугиной, которая мало-по-малу передаетъ ему все свое состояніе-въ надеждъ на то, что онъ наконецъ на ней женится. Последняя жертва съ ея стороны заключается въ томъ, что она занимаеть для него шесть тысячь у богатаго купца Прибыткова, стараго Селадона, къ которому и приходится ей для этого подъвзжать при помощи ультра-кокетливыхъ пріемовъ, отчасти напоминающихъ Глафиру въ «Волкахъ и Овцахъ». А Дульчинъ, вмѣсто того, чтобы этими, такъ солоно ей достающимися, деньгами (она съ отвращеніемъ цодътажаеть къ Прибыткову) выпутаться изъ петли, проигрываетъ ихъ въ карты. Она, между тъмъ, полагая, что последнею жертвою купила наконецъ свое счастье, отправляется заказать себъ подвънечное платье, -а вернувшись домой, находить у себя на столъ пригласительный билеть отъ племянника старика Прибыткова, Лавра Мироныча, на свадьбу дочери его Ирины съ г. Дульчинымъ. Дёло въ томъ, что, повёривъ слуху о громадномъ будто бы приданомъ, объщанномъ старикомъ Прибытковымъ своей внучкъ, Дульчинъ хочетъ женитьбой на ней радикально поправить свои обстоятельства. Отношенія между нимъ и Ириною таковы, что туть хорошенько и не разберешь—кто овца, а кто волкъ, т. е. туть каждая сторона—и овца, и волкъ въ одно и то же время. На повърку выходитъ, что дъдъ даетъ за Ириною пустяки. Между тъмъ она, начитавшись романовъ, доводитъ сентиментальность свою до того, что прибъгаетъ къ Дульчину на квартиру, говоря: «отсюда только одинъ выходъ—подъ вънецъ!»

Дульчинъ. Можно и подъ вѣнецъ, только нѣтъ никакой налобности.

Ирина. Какъ нътъ надобности?

Дульчинъ. Рѣшительно никакой! У васъ приданаго только пятъ тысячъ, у меня ни копѣйки и пропасть долгу.

Ирина. А гдт же ваше состояніе?

Дульчинъ. Было когда то...

Ирина. Ахъ, какая гадость!

Дульчинъ. «Съ голубыми ты глазами, моя душечка!» Угодно вамъ со мною подъ вънецъ?

Ирина. Я думала, что вы очень богаты.

Дульчинъ. И я думаль, что вы очень богаты.

Ирина. Какъ я ошиблась.

Дульчинъ. И я ошибся.

Но воть та же самая сплетница, которая разблаговъстила ему про полмильсна Ирины, приносить ему въсть о томъ, что Юлія умерла съ горя. Тутъ только какъ будто бы пробуждается въ этомъ человъкъ какой-то остатокъ человъческихъ чувствъ— что то въ родъ горя, что-то въ родъ раскаянія. Но Юлія туть какъ тутъ. Вслъдъ же за нею является и Прибытковъ, торжествующимъ тономъ объявляющій Дульчину: «я имъю согласіе Юліи Павловны на вступленіе со мной въ бракъ; такъ ваши документы поступаютъ ко мнъ вмъсто приданаго». Онъ разумъетъ ту росписку, которую онъ заставилъ ее, давая ей деньги, взять съ Дульчина. Юлія такимъ образомъ не умерла, какъ разблаговъстила въстовщица Глафира Фирсовна; она заживо попадаетъ въ могилу—въ замужество съ противнымъ ей старикомъ, этимъ волкомъ, пользующимся слу-

чаемъ проглотить овцу. Но что же г. Дульчинъ? Ему, повидимому, предстоитъ немедленно очутиться въ «ямѣ» — вѣдь ужь Прибытковъ-то не пощадитъ своего бывшаго соперника, какъ не пощадитъ его и ростовщикъ Армянинъ, Салай Салтановичъ, не пощадятъ и многіе другіе. Онъ однако не унываетъ. «Глафира Фирсовна, спрашиваетъ онъ ту же въстовщицу, у Пивокуровой много денегъ?

Глафира Фирсовна. Мильонъ.

Дульчинъ. Сватай мнъ вдову Пивокурову.

Глафира Фирсовна. Давно оы ты за умъ взялся.

Дульчинъ. В-зи меня къ ней сейчасъ.

Такова развизка комедіи — развизка въ будущемъ. Основные характеры выиснились вполит; не въ размизкъдъло.

XII.

"Везприданница". — "Сердце не камень". — "Невольницы". — "Таланты и поклонники".

Намъ приходилось не разъ убъждаться, что въ комедіяхъ Островскаго встръчается очень много совстмъ некомическаго. Но нъкоторыя изъ своихъ произведеній онъ называеть драмами, хотя въ нихъ не мало и комическаго. Сюда относится у него и «Безприданница», оканчивающанся самымъ грустнымъ, даже трагическимъ образомъ. Мы туть опять на берегу Волги-въ большомъ торговомъ городъ Бряхимовъ. Передъ нами тузы торговаго міра, но ужест преобладающимъ лоскомъ заправской цивилизаціи (не Гордъю Карповичу Торцову чета). И знають же они себъ цъну. Мокій Парменычъ Кнуровъ, пожилой человъкъ изъ крупныхъ дъльцовъ последняго времени, «все молчитъ», по отзыву клубнаго буфетчика. «Да и какъ же ему разговаривать, если у него мильонъ! Съ къмъ ему разговаривать? Есть человъка два-три въ городъ, съ ними онъ разговариваеть, а больше не съ къмъ; ну, онъ и

молчить. Онъ и живеть здёсь подолгу, отъ этого отъ самаго; да и не жилъ бы, кабы не дъла. А разговаривать онъ тодить въ Москву, въ Петербургъ, да за-границу, тамъ ему просторнъе», Вотъ Василій Данилычъ Вожеватовъ, молодой представитель богатой торговой фирмы, тотъ еще разговариваетъ, «а въ лъта войдетъ, по сужденію того же буфетчика, такой же идоль будеть». Пока онъ благодуществуетъ въ кофейной на берегу Волги, радушно угощая всякихъ знакомыхъ, и мужчинъ, и дамъ, хододнымъ чаемъ, -- т.-е. шампанскимъ въ чайникахъ. Самый же блестящій баринъ въ городів, это, конечно, Сергъй Сергъичъ Паратовъ, - судохозяинъ, лътъ за тридцать. Приближение его къ городу сразу становится всемъ извъстнымъ. «Тамъ на биржъ пушка ость, разсказываетъ все тотъ же буфетчикъ Гаврило; когда Сергъи Сергъича встръчаютъ или провожаютъ, такъ всегда палятъ. Вотъ и коляска за ними ъдетъ извозчицкая, Чиркова. Видно, дали внать Чиркову, что прібдуть. Самъ хозяинъ Чирковъ на козлахъ. Это за ними... четыре иноходца въ рядъ, и цыганъ съ Чирковымъ на козлахъ сидитъ въ парадномъ казакинъ». Но Паратовъ, къ сожальнію, уже меркнущее свытило.... Дъла его, отъ широкой жизни, запутались; пароходъ продаетъ, только въ богатой невъстъ спасение видить. Нравилась ему, было, дъвушка, кръпко нравилась, да, на бълу, она «безприданница». Мать ея, однако, двухъ дочекъ уже пристроила: одну, по словамъ Вожеватова, за какого то Кавказца, заръзавшаго ее на дорогъ отъ ревности; другую - за предполагаемаго иностранца, на самомъ же дълъ-шуллера. «Огудалова разочла не глупо, замъчаетъ Кнуровъ; состояніе небольшое, давать приданое не изъ чего, такъ она живетъ открыто, всъхъ принимаетъ». На бъду, «средства у нея такъ не велики, что даже, по замѣчанію Вожеватова, и на такую жизнь не достаеть». Воть и появился у нея въ домъ Паратовъ, по разсказу того же Вожеватова, «мъсяца два поъздилъ, жениховъ всъхъ отбилъ, да и слъдъ его простылъ, изчезъ неизвъстно куда». Упустивъ такого звъря изъ рукъ, мамаша безъ устали продолжала свою ловлю. У дочери «иногда слезынки на глазахъ, видно, поплакать задумала, а маменька улыбаться велитъ. Потомъ вдругъ проявился этотъ кассиръ. Вотъ бросалъ деньгами-то, такъ и засыпалъ Хариту Игнатьевну (мать). Отбилъ всѣхъ, да не долго покуражился; у нихъ въ домѣ его и заарестовали. Скандалище здоровый!» Не въ моготу стало бѣдной дѣвушкѣ. «Тутъ ужь, продолжаетъ свой разсказъ Вожеватовъ, Ларисса наотрѣзъ матери объявила: «довольно съ насъ сраму-то; за перваго пойду, кто посватается, богатъ ли, бѣденъ ли, разбирать не буду». А Карандышевъ и тутъ какъ тутъ съ предложеніемъ».

Драма и начинается тъмъ, что Ларисса его невъста, потому что ей, какъ Пушкинской Татьянъ, всъ жребіи стали равны. Онъ небогатый чиновникъ, влюбчивый и недалекій; не оглядывается назадъ и не глядитъ впередъ, а считаетъ своимъ долгомъ, въ какомъ-то недъпомъ чаду, звать къ себъ на объдъ всъхъ богатыхъ Огудаловскихъ постителей, затымь, разумьется, чтобы они насмыялись нады нимъ и надъ его объдомъ, а невъста, вмъсто равнодушія, почувствовала къ нему презрѣніе. Между тѣмъ, у ней изъ мыслей не выходить Паратовъ. Да она и не скрываеть этого отъ жениха. «Сами по себъ вы что нибудь значите. говорить она ему; вы хорошій, честный человъкъ, но отъ сравненія съ Сергвемъ Сергвичемъ вы теряете все.... Сергъй Сергъичъ это идеалъ мужчины. Вы понимаете. что такое идеаль?» И воть она разсказываеть, какъ онъ далъ одному Кавказскому офицеру, въ доказательство мъткой стрёльбы, выстрёлить въ стаканъ, который поставилъ себъ на голову. «Сергъй Сергъичъ, - продолжаетъ она разсказъ, -- говоритъ: «вы прекрасно стръляете, но вы поблъднъли, стръляя въ мужчину и человъка вамъ не близкаго. Смотрите, я буду стрелять въ девушку, которая для меня дороже всего на свътъ, и не поблъднъю». Даетъ мнъ держать какую-то монету, равнодушно, съ улыбкой, стреляеть на такомъ же разстоянии, и выбиваеть ее». Въ словахъ этихъ вся Ларисса съ мечтательнымъ увлеченіемъ, доходящимъ до того, что бездушный поступокъ Паратова представляется ей какимъ-то геройскимъ подвигомъ. Напрасно бъдняга женихъ восклицаетъ: «и вы послушали его?»

Лариса. Да развъ можно его не послушать?

Карандышевъ. Развъ ужь вы были такъ увърены въ немъ?

Лариса. Что вы? Да развъ можно быть въ немъ неувъренной?

Карандышевъ. Сердца нътъ, оттого и смълъ.

А она тутъ же и говоритъ своему жалкому жениху: «если бы явился Сергъй Сергъичъ и былъ свободенъ, такъ довольно одного его взгляда.... Успокойтесь, онъ не явился, а теперь хоть и явится, такъ ужь поздно. Въроятно, мы никогда и не увидимся болъе».

А пушка тутъ то какъ разъ и возвъщаетъ его прибытіе. Изъ дальнъйшаго хода драмы выходить, что онъ явился совствить еще не поздно, для того, чтобы снова увлечь за собою Лариссу. Средство имъ выбрано верное: приглашенный также на объдъ къ ея жениху, онъ, при помощи прирученнаго имъ странствующаго актера, напаиваетъ Карандышева и доводитъ его до произнесенія темь более смешного спича въ честь невесты. Карандышевъ не былъ на столько уменъ, чтобы махнувъ рукою на всякія празднества, поскорте исполнить просьбу Лариссы-увезти ее изъ «этого цыганскаго табора». Насмъявшись на объдъ надъ ен женихомъ, такъ глупо увъреннымъ въ прочности своего положенія, Паратову достаточно сказать упрекающей его Лариссъ: «погодите, погодите винить меня! Я еще не совстмъ опошлился, не совстмъ огрубель; во мет врожденнаго торгашества неть; о, бла городныя чувства еще шевелятся въ душт моей. Еще нъсколько такихъ минутъ, да... еще нъсколько такихъ минутъ.... Я брошу всв разсчеты, и ужь никакая сила не вырветь вась у меня, разв'в выбств съ моею жизнію». Ему достаточно, тутъ же, съ жениховскаго объда позвать ее тхать съ ними со встии (за исключениемъ жениха) кататься по Волгъ съ пъсельниками, и она страстно кидается въ этотъ «цыганскій таборъ». Она такъ увърена, что этимъ быстрымъ откликомъ на его зовъ привяжеть его къ себъ навсегда, заставить его позабыть о полумильонной невъстъ. Между тъмъ, возвращаясь ночью съ прогулки, ей приходится только выслушать его благодарность за доставленное имъ удовольствіе. «Вы мнѣ фразъ не говорите, -- отвъчаетъ она; вы мнъ скажите только: что я-жена ваша или нътъ?» А онъ указываетъ ей на то, что пора ей тхать домой, что они еще успъють поговорить. Онъ даже не предлагаеть ей, что отвезеть ее самъ, а поручаеть это своему пьяному актеру, который, впрочемъ, оказывается сострадательнымъ къ ея положенію. А Паратовъ указываетъ ей на обручальное кольцо, какъ на «цёпи, которыми онъ на всю жизнь скованъ». При всей пустотъ, при всей суетности Лариссы, она сразу становится лицомъ драматическимъ, возбуждающимъ къ себъ самое глубокое участіе. Это участіе ростеть, когда Кнуровъ, туть же ночью, въ беседке на берегу Волги, предлагаеть ей свое покровительство: «неугодно ли вамъ тать со мной въ Парижъ на выставку.... И полное обезпечение на всю жизнь.... Стыда не бойтесь, осужденій не будеть. Есть границы, за которыя осуждение не переходить; я могу предложить вамъ такое громадное содержание, что самые злые критики чужой нравственности должны замолчать и разинуть рты отъ удивленія.... Я бы ни на одну минуту не задумался предложить вамъ руку, но я женатъ».... Онъ судитъ о ней по ея мамашъ: согласилась же та на его предложение сдълать на его счетъ для Лариссы приданое, выпросила же она у него сверхъ того триста рублей будто бы на покупку для Лариссы брошки, на самомъ дълъ уже подаренной ей Вожеватовымъ.... Но Ларисса-далеко не мать... Предложение Кнурова окончательно ей открываетъ глаза.... Она не даромъ просила своего жениха поскоръе ее увезти изъ цыганскаго табора.... Теперь это поздно: она не убдеть съ нимъ, онъ ужь слишкомъ ей опротивълъ, онъ окончательно отталкиваетъ

ее отъ себя и своими попреками, и своимъ покровительствомъ... Но куда она дънется?... Тутъ, внизу подъ бесъдкою Волга, на которую она и указывала Паратову, -Волга, не какъ мъсто катанья, а какъ то мъсто успокоенія, которое выбрала себ' Катерина... Но у Лариссы чегото не достаетъ на это. «Разставаться съ жизнію совсѣмъ не такъ просто, какъ я думала, говоритъ она... А въдь есть люди, для которыхъ это легко. Видно, ужь тъмъ совствить жить нельзя, ихъ ничто не прельщаетъ, имъ ничто не мило, ничего не жалко.... Да въдь и мнъ ничто не мило, и мет жить нельзя, и мет жить незачтмъ! Что-жь я не ръшаюсь?... Жалкая слабость. Жить, хоть какъ нибудь, да жить... когда нельзя жить и не нужно.... Кабы теперь меня убиль кто нибудь».... И Островскій совершенно неожиданною развязкою приводитъ желаніе ея въ исполнение. Такое желание съ ея стороны понятно, естественно, но приведение его въ исполнение Карандышевымъ ничъмъ хорошенько не подготовлено, вовсе не вытекаеть ни изъ его характера, ни изъ его обстановки. Ему совстви не кълицу носиться съ пистолетомъ, праздно красовавшимся у него на стънъ, носиться со времени ея изчезновенія послів об'єда, съ тімъ, чтобы спустить наконець курокъ прямо на нее; странно уже одно то, что, при его жить в быть в, пистолеть оказывается заряженнымъ. Такой неожиданный заключительный эффектъ портить всю драму. А между тъмъ, сколько глубокаго, сколько примиряющаго насъ съ Лариссою въ ея последнихъ словахъ Паратову, унимающему неуместныя пъсни цыганъ: «пусть веселятся, кому весело, я не хочу мѣпать никому! Живите, живите всѣ! Вамъ надо жить, а мив надо умереть... Я ни на кого не жалуюсь, ни на кого не обижаюсь (она даже увъряетъ, что и выстрълила сама).... Вы всъ хорошіе люди.... Я васъ всъхъ.... всѣхъ люблю».

Появившееся подъ названіемъ комедіи новое произведеніе Островскаго: «Сердце не камень» въ сущности оказывается настоящею драмою. Мы тутъ опять попадаемъ

въ область стараго самодурства, самодурства, -- ничъмъ не приглаженнаго, котя и вызывающаго извъстнаго рода затаенный протесть съ женской стороны. Онъ — въ словахъ Ольги, жены племянника богатаго купца старика, Потапа Потапыча Каркунова. Въ глаза старику она бы этого, конечно, не высказала, какъ не высказала бы и въ глаза мужу; но она обращается къ своей молодой и доброй теткъ. «Мы не люди, что ли? Да посмотрите, что мужчины-то делають, какую они себе льготу дають! Что они, боятся, али стыдятся чего? Какая только придеть имъ въ голову фантазія, все и исполняють. А отъ васъ требують, чтобы не только мы законъ соблюдали, а въ душт и помышленіи непорочность имели. Какъ еще они, при своей такой безобразной жизни, смъють отъ насъ чего-то требовать». Протесть ея такимъ образомъ направленъ противъ всей господствующей половины человъческаго рода, которая-на эло всемъ успехамъ цивилизаціи, - въ сущности является такою-же повсемъстно. Ольга, разумъется, и слыхомъ не слыхала о Миллъ, а тирада ея точно будто бы взята изъ книги его о «подчиненіи женщины». Но мы вовсе этимъ не хотимъ сказать, чтобы Островскій обратилъ свою купеческую жонку въ какую-то умственную ворону въ павдиньихъ перьяхъ. Напротивъ, Ольга не говоритъ у него ни одного слова, котораго не могли бы сказать въ такомъ же положени очень многія, никогда ничего не читающія, Ольги. Островскій только обобщиль это положеніе, придаль ему общечеловъческій характерь. Но Ольга продолжаеть: «я шла замужъ-то, какъ голубка была, а мужъ меня черезъ недёлю по трактирамъ повезъ арфистокъ слушать; сажалъ ихъ за одинъ столъ со мной, обнимался съ ними, а что говорилъ, такъ у меня волоса дыбомъ подымались!» Да вёдь и это опять, хотя бы и въ другихъ совершенно формахъ, возможно не въ одной купеческой средъ, возможно и не у насъ однихъ!-До чего же доходить ея супругь въ тёхъ своихъ похожденіяхъ, отъ которыхъ держить ее въ сторонъ, въ которыхъ участвуетъ витстт со своимъ старикомъ дядей, требующимъ

него, несмотря на то, какого-то особеннаго, основаннаго на лътахъ, уваженія? Потапъ Потапычъ зато не посвящаеть своей молодой жены ни въ какія тяжкія; - онъ слишкомъ для этого старъ, т.-е., подъ вліяніемъ старости, слишкомъ ревнивъ. Разъ какъ-то, вскоръ послъ женитьбы, повезъ было онъ Въру Филипповну въ театръ -да сейчасъ же и увезъ ее домой еще до начала представленія, зам'єтивъ, что кто-то изъ креселъ смотрить на нее въ трубку. - Но ужь себъ-то зато онъ все позволяетъ не хуже молодого племянника, который не даромъ ему говорить: «безобразіемъ-то, дяденька, мы вмѣстѣ занимались; ежели я и пьянствоваль, такъ для вашего удовольствія». Между тѣмъ, онъ вполнъ сознаеть, какія его лъта и что пора бы ему «о душъ позаботиться». Но въдь такія заботы не затруднительны-при его колоссальныхъ средствахъ. Задумавъ написать завъщание, онъ собирается щедро въ немъ отпустить на бъдныхъ; онъ даже близокъ къ тому, чтобы все имъ однимъ отдать — ибо какое же множество душъ станетъ тогда его грфхи отмаливать! «Мое въдь, - говоритъ онъ; - кому хочу, тому и даю. Душа-то дороже жены. Вотъ еще приказчикъ... У пріятеля сыночка взяль, объщаль въ люди вывести, наградить... а не вывель. И жалованье-то платилъ малое, все посулами проводилъ... И о немъ тоже, видишь, плачу. Только у меня дорогого то, что жена да приказчикъ; а душа все-таки дороже.. Можно ему что нибудь изъ платья... шубу старую... Такъ и напиши»!... На возраженіе: «будеть ли польза душѣ то?» старикъ самоувъренно утверждаетъ: «будеть, будеть; съ умными людьми совътовался, съ благочестивыми... И больше все, чтобы по мелочамъ, въ разда у нищей братіи, -по гривнѣ сто тысячь, по пятаку триста». На замъчаніе, что отъ этого «питейныя заведенія заторгують хорошо», онъ преспокойно отвъчаеть: «пущай! все-таки каждый передъ стаканомъ-то помянетъ добрымъ словомъ».

Завтщаніе старика и служить узломъ комедіи. Въ концъ концовъ оказывается, что ни молодая жена, ни со-

бутыльникъ-племянникъ тутъ далеко не забыты. Слухомъ земля полнится, -слухъ о щедрой долъ доходитъ и до Въры Филипповны. Простая, искренняя душа, она не скрываетъ, что рада этому, хотя выходила замужъ не по собственному разсчету на богатство старика, а потому. что при ихъ бъдности этого ея мать хотъла. Но она рада завъщанію потому, что «много бъднымъ даеть, такъ часто и не хватаетъ». Такой причинъ ея радости, конечно, не върять; и племянникъ-кутила, несмотря на оставляемую и ему большую часть, и его разбитная жена завидують Въръ Филипповиъ. Племянникъ сговаривается съ молодымъ приказчикомъ подвести ее: приказчикъ долженъ ее расположить къ себъ, зазвать на свиданіе, а племянникъ съ дядею ихъ накроютъ. Въра Филипповна такимъ образомъ лишится наслъдства; лишится, разумъется, и приказчикъ, но племянникъ Каркунова его щедро возваградитъ.

Такова интрига. Разсчетъ тутъ - на молодость Въры Филипповны и на молодость приказчика (они почти однолътки); разсчетъ тутъ также на простоту Въры Филипповны и на ея сострадательность. Сама она говорить про себя, что двадцать лътъ взаперти просидъла. Если солоставить это съ тъмъ, что ей, по указанію въ спискъ дъйствующихъ лицъ, лътъ около 30-ти, то ее, стало быть, просватали страшно рано, какъ водилось оно въ старину, просватали чуть не ребенкомъ. Утѣшеніе нашла она въ томъ, о чемъ слишкомъ мало думала Катерина (въ «Гроэћ») — въ заботъ о бъдныхъ. Только средствъ у нея не всегда хватало, а у Потапа Потапыча просить боялась. Думала она и о томъ, что манило Катерину-«пріемыша взять, сиротку, чтобы не такъ скучно было: Потапъ Потапычъ не велитъ.» Собесъдница ея Аполлинарія Панфиловна ехидно истолковываетъ ея слова: «такъ лътъ 25-ти кудрявенькаго, отъ скуки пріятно». Едва-ли она тутъ не намекаетъ на приказчика Ераста, который однако же старше, лътъ 30-ти. Быть можетъ, онъ и самъ представлялся Вфрф Филипповнф, когда она, на не менфе ехидныя

слова племянницы (по поводу завъщанія): «какъ богатаго не полюбить», чистосердечнъйшимъ образомъ отвъчаеть: «богатаго труднъе полюбить. За что я его буду любить? Ему и такъ жить хорошо. Бъднаго скоръе полюбищь, Будешь думать: «того у него нътъ, другого нътъ», станещь жадъть и полюбишь». Видно, душа у нея такая же сострадательная, какъ у многихъ действующихъ лицъ Достоевскаго. И Ерасть ее давно поняль. «Она у насъ сердобольная, -- говорить онъ, -- чувствительная, такъ я на жалость ее маню, казанскимъ сиротой прикидываюсь... Кажется, подъйствовало, ужь полдюжины голландскихъ рубашекъ получилъ вчера. Отъ кого-жь, какъ не отъ нея». Въдь она-жь, въ своемъ положении хозяйки, можетъ смотръть на заботы свои объ Ерастъ, какъ на чисто материнскія отношенія къ пріемышу своего мужа. На такомъто основаніи и позволяеть она ему поцеловать у нея руку. Вотъ на этой-то струнъ и играетъ сначала Ерастъ. «Кромъ васъ, - говоритъ онъ, я никому на свътъ не върю и никого не уважаю. Вамъ я желаю разсказать всю свою жизнь: какъ жилъ, что дълалъ и всъ свои помышленія, и спросить у васъ совъта, какимъ манеромъ и для чего мнъ существовать на этомъ свътъ и влачиться на землъ... Къ себѣ въ комнату я васъ приглашать не смѣю; поэтому самому пожалуйте завтра внизъ, въ контору, въ 10 часовъ вечера. Потапъ Потапычъ по обыкновенію въ эти часы находятся въ отъбзжихъ поляхъ, въ дом все будетъ погружено въ глубокомъ снѣ; значитъ намъ полная свобода». Ерасту удается еще болъе подстрекнуть ее своими сомнъніями въ возможности этого: «Вотъ если мужчина на вашихъ глазахъ тонетъ, -- говоритъ онъ, а вамъ только руку протянуть, и онъ спасенъ. Въдь вы руки не протянете, потому это стыдно; пущай онъ тонетъ». Она не даромъ отвъчаетъ ему: «Да если человъкъ тонетъ, до стыда ли тутъ! Стыдъ въдь только въ обыкновенной жизни нуженъ, а то онъ не очень важенъ; какъ что посерьезнъе, такъ его и нътъ». Изъ этого уже прямо слъдуетъ и то, что она говорить далће: «что-жь, видно, надо прійти». --

«Такт. я и ожидаль, отвъчаеть онь, потому у вась душа особенная». И она въ самомъ дълъ приходить къ нему, несмотря на его слишкомъ страстный и преждевременный поцълуй, доводящій ее до слезъ.

Но козни не удаются, какъ не удается и попытка бродяги богатыря Иннокентія ограбить ее подъ ствнами монастыря, да еще и другая попытка того же пропащаго человъка со стакнувшимся съ нимъ племянникомъ Каркунова еще почище ограбить ее у нея же въ домъ. Она точно будто бы, подобно древней Дамаянти, застрахована своимъ безстрашіемъ, которое вытекаетъ изъ полнаго въры сознанія ею своей правоты. Придя къ Ерасту въ контору, она совершенно неожиданно и невольно подслушиваетъ разговоръ, разъясняющій ей, какая ловушка для нея туть устроена. Въ эту ловушку случайно попадаетъ не она, а Ольга, въ пылу страсти, безъ приглашенія, пришедшая на свиданье къ тому же Ерасту. Вотъ ихъ-то и накрываетъ старикъ Каркуновъ, приведенный къ Ерасту племянникомъ. Старикъ такъ потрясенъ, что съ нимъ дѣлается параличъ. На первыхъ порахъ принимая это за смерть, молодой Каркуновъ и не думаетъ сердиться на свою жену.такъ онъ доволенъ смертью старика. Но онъ радуется слишкомъ рано. Старикъ пока еще живъ, и, увърившись въ своей женъ, съ безграничнымъ довъріемъ отдается ей въ руки. Она этимъ пользуется по своему: «Мнъ для себя ничего не нужно, - говоритъ Вфра Филипповна; - тъмъ довольна, что всякому бъдному помочь могу; никому отказывать не приходится, всякій съ чёмъ нибудь уйдетъ отъ меня ... Точно я изъ моря черпаю, ничего не убываетъ»... Она при этомъ и не думаетъ никому мстить: «за племянника Константина Лукича долги заплатила, изъ заключенія его выкупила». — А ужь Потапъ Потапычъ въ ваши дъла не вступается? - спрашиваютъ ее. «Нътъ, къ нему только кланиться ходять, которые люди съ чувствомъ. А овъ только плачетъ, крестится, да меня благодаритъ. Никогда бы мнъ, говоритъ, такъ о своей душъ не позаботиться, какъ ты объ ней заботишься; я хоть бы и хотель беднымъ людямъ помочь, такъ не съумель быз! Точно будто бы и про него сказалась пословица: «укатали бурку крутыя горки». Да, укатали, - да не советымы! Онъ по прежнему требуеть отъ нея, чтобы она дала ему слово-и послъ его смерти никого не любить, ни за кого. по крайней мъръ, не выходить замужъ. Въ этомъ одномъ онъ останся тъмъ же властнымъ самоуправцемъ. Она бы, пожалуй, и дала ему это слово, все еще хорошенько въ своемъ простодушій не понимая себя. Но ей приходится снова увидъться съ Ерастомъ, о которомъ она, не помня зла, позаботилась также, какъ и о Константинъ. И вогъ тутъто, при этомъ свиданіи. она стала наконецъ понимать,что не только она ему все простила, но что, пожалуй, она и любить, какъ и прежде любила, этого самаго своего обидчика. А онъ же еще и говорить ей: «вы теперь встхъ людей любите и добрыя дёла постоянно дёлаете, только одно у васъ это занятье и есть, а себя любить не позволяете; но пройдетъ годъ или полтора, и вся эта ваша любовь.... Я не смъю сказать, что она вамъ надобстъ, а только зачерстветь, и все ваши добрыя дела будуть въ родъ какъ обязанность или служба какая, а ужь душевнаго ничего не будетъ. Вся эта ваша душевность изсякнеть, а на мъсто того даже раздражительность послъ въ васъ окажется и сердиться будете и на себя, и на людей».

Эго, конечно, не върно: такое широкое сердце, какъ у нея, никогда не съузится и не обмелъегъ; но онъ правъ въ одномъ: онъ понялъ, что въ ней сказалась еще и потребность личнаго чувства, личной привязанности. И она это поняла, а потому и предупреждаетъ угасающаго мужа: «я вамъ откровенно скажу,—я замужъ пойду... Не могу я лгать, не могу». Старая закваска еще кръпка въ старикъ, а потому онъ, собирая остатокъ силъ, готовъ ее убить своею палкой, чтобы только она не пережила его. Но, вглядывансь въ ея глаза, эти добрыя, честныя глаза онъ невольно отказывается отъ своего умысла, онъ и стыдится его, и кается въ немъ. «За двадцать-то лътъ любви, покоя,—говорить умиленный старикъ,—за все ея усердіе убить

хотълъ. Вотъ какой я добрый, а еще умирать собпраюсь... Пусть живетъ какъ ей угодно; какъ бы она ни жила, что бы она ни дълала она отъ добра не отстанетъ и о душъ моей помнить будетъ... Владъй, всъмъ владъй! тебъ и владъть! А я долженъ благодарить Бога, что нашелъ человъка, когорый знаетъ, на что богатымъ людямъ деньги даны, и какъ богатому человъку проживать ихъ слъдуетъ чтобы непостыдно могъ стать онъ передъ послъднимъ судомъ»

Тутъ, стало быть, отпразднована у Островскаго новая, чисто нравственная побъда надъ самодурствомъ.

Изъ двухъ, только что разобранныхъ драмъ (и «Сердце не камень» считаемъ мы драмою), исполненныхъ такого глубокаго психологическаго интереса, Островскій переходить къ довольно даже легкой комедіи-той, которая озаглавлена у него: «Невольницы». Мы тутъ опять на той противоестественной семейной почвъ, какая всегда оказывается послъ женитьбы пожилыхъ, а тъмъ болью старыхъ людей на молодыхъ. Заглавіе комедіи объясняется, во-первыхъ, словами 60-ти лътняго богача Стырова: «Евлалію Андреевну выдали за меня почти насильно. Мать до 25 лътъ держала ее взаперти и обращалась съ ней, какъ съ десятилътней дъвочкой. Я ее купилъ у матери». А между тъмъ Евлалія—«мадамина дочь, вь родъ какъ изъ иностранковъ», по выраженію лакея Мирона. Мать ея не только женщина образованная, но и воспитательница. Сама Евлалія не только не чета такимъ необразованнымъ дъвушкамъ, какъ Авдотья Максимовна или Любовь Гордъевна, — на замъчание приятельницы своей Софыи Сергъевны, что не всегда же можно правду говорить, она изумленно отвъчаетъ вопросомъ: «такъ зачъмъ же насъ учили?» Между тъмъ она воспитана и учена (лишь затъмъ, чтобы стать «невольницей». Софья Сергъевна не даромъ и пропов'тдуеть ей изв'тстную рабью мораль, что «надо обманывать», «Вы подумайте только, -- говорить она Евлаліи, -- какъ на насъ смотрять мужья и мужчины вообще! Они считають насъ малодушными, вътренными, а

главное, хитрыми и лживыми. Въдь ихъ не разубъдишь; такъ зачёмъ же намъ быть лучше того, что они о насъ думають? Они считають насъ хитрыми, -и надо быть хитрыми. Они считають нась лживыми, -и надо лгать. Они только такихъ женщинъ и знаютъ; имъ другихъ и не нужно, только съ такими они и умѣють жить». - Евлація, не чуждая книжнаго идеализма, пытается заявить на это: «мы должны стать выше ихъ». — Да какъ вы станете, упорствуетъ Софья, коли въ ихъ рукахъ власть, власть ужасная тъмъ, что она опошляетъ все, къ чему ни коснется. Я говорю только про нашъ кругъ (т.-е. про кругъ людей съ большими промышленными предпріятіями). Посмотрите, взгляните, что въ немъ. Посредственность, тупость, пошлость; и все это прикрыто, закрашено деньгами, гордостью. неприступностью, такъ что издали кажется чъмъ то крупнымъ, внушительнымъ». Евлалія, опять таки подъ книжнымъ вліяніемъ, думаеть остановить ее тъмъ, что «въ ихъ кругу много иностранцевъ». «Да развѣ они лучше нашихъ! возражаетъ Софья. Наши дружатся съ ними, братаются, перенимають отъ нихъ новыя пошлости да сальные каламбуры и воображають, что живуть по европейски. Мой мужъ тоже уважаетъ Европу и очень хвалить. Онъ бываль на югь Франціи, знакомъ тамъ со многимијфабрикантами; но что же онъвынесъ изъ этого знакомства. Онъ говорить: «тамъ мужья-то еще круче нашего съ женами обращаются, тамъ они ихъ вовсе за людей не считаютъ». — Этотъ, бывавшій на югь Франціи, Кобловъ, и даеть совъть своему товарищу по промышленному предпріятію (Стырову) «учредить негласный надзоръ за женой». Когда же Евлалія замічаеть супругу своей пріятельницы: «мнъ кажется, вы на жену смотрите, какъ на невольницу», онъ и не думаетъ отъ того отпираться: «А что жь такое, коть бы и такъ? Слово-то, что ли, страшно? Вы думаете, я испугаюсь. Нътъ, я не пугливъ. По мнъ невольница все-таки лучше, чъмъ вольница». Онъ не понимаетъ, коречно, что изъ несольницо именно и выходятъ вольницы.

Стыровъ далеко не такъ ръшителенъ, какъ его пріятель, можеть быть, потому, что гораздо старше его, а оттого и чувствуеть себя нісколько виноватымь передь женою. Совътомъ пріятеля онъ, однако же, пользуется, съ другой же стороны, передъ своею отлучкою на недълю по дълу, поручаетъ жену служащему у него въ конторъ молодому человъку, Мулину, разсчитывая, конечно, на его служебную преданность. Дёло могло бы кончиться довольно печально, если бы не та находчивость, какую проявляеть Евлалія, несмотря на свою «правдивость». Доносъ на нее прислуги отражается ею самымъ ловкимъ образомъ-доносъ, далеко не лишенный основанія — но она умбеть поставить въ фальшивое положение не кого другого, какъ мужа, заставить его же передъ собой извиняться и, въ порывъ довърія, предоставить ей съ этихъ поръ полнъйшую свободу. Она бы, конечно, съумъла воспользоваться этою свободою по своему-по крайней мъръ до поры до времени - если бы эта въ своемъ родъ «идеалистка» не пришла въ столкновеніе съ такою «практическою» женщиною, какъ Софья Коблова. Пускаясь съ нею въ откровенности, Евлалія жалуется ей на то, что милый человъкъ «объщаетъ иногда придти; ждешь, ждешь его, — а онъ не придетъ; а если придетъ, такъ не на долго». Софья, узнавъ, что онъ не богать, преспокойно даеть ей совъть-«денегь давать ему побольше». Сентиментальный ужась Евлаліи заставляеть Софью вдаться въ подробности: «Купите хорошій, дорогой бумажникъ, а въ бумажникъ-то положите рублей двъсти или триста. Вотъ и конфузиться нечего: вы дарите бумажникъ, а деньги въ него нечаянно попали». Евлалія находить, что это не будеть уже «возвышенная любовь». -«Да, конечно, соглашается Софья, но оговаривается, что возвышенная любовь гораздо скучнее, она очень надофдаетъ молодымъ людямъ; на нее надо много времени даромъ тратить. Онъ бы почиталъ что нибудь, пошелъ къ пріятелямъ, поиграль въ карты; а туть надо возвышаться до возвышенной любви. Это очень тяжелое занятіе». Ясно, что Евлалія еще институтствующая кандидатка на то,

чёмъ давно уже сдёлалась Софья. Но откровенность заводить обёмхъ пріятельниць такъ далеко, что Софья называеть своего милаго друга и онъ оказывается тёмъ же Мулинымъ, за которымъ неудачно ухаживаеть Евлалія. Туть разъясняется ей и тайна его неподатливости. Евлаліи остается только усёсться за винтъ со своимъ супругомъ и съ его пріятелемъ, недавно еще утверждавшимъ, что самый лучшій признакъ благонадежности — именно если жена заинтересуется винтомъ. Стыровъ въ старческомъ упоеніи цёлуетъ Евлалію. Этимъ оканчивается комедія, но едва ли оканчивается «невольничье» поприще М-те Стыровой съ предоставленной ей «свободой».

Нужно ли зам'ячать, что, при всей легкости нашей комедіи, семейный вопросъ тутъ затронутъ м'ятко и притомъ не только въ нашемъ отечественномъ, но отчасти и въ его обще-Европейскомъ смыслъ.

Въ комедіи «Таланты и поклонники» Островскій переводить насъ въ театральный закулисный міръ, вводя въ него молодую, неподходящую къ нему, личность—студента-идеалиста Мелузова. Онъ есть—этотъ типъ или, по крайней мъръ, онъ нарождается... Что ежели нарождался, но обстоятельства уже задержали его развитіе?

Подъ вліяніемъ Мелузова, талантливая артистка провинціальной сцены, Нфгина, отбояривается отъ стараго селадона, князя Дулебова, да еще какъ разъ передъ своимъ бенефисомъ, чѣмъ очень озабочена ея совершенно простая мать. «Вотъ и глупа, вотъ и глупа, говоритъ она ей. Ты бы, какъ можно, старалась учтивъе. «Молъ, ваше сіятельство, мы завсегда вами очень довольны и завсегда вами благодарны; только подлостевъ такихъ мы слушать не желаемъ. Мы, молъ, совсъмъ напротивъ того, какъ вы объ насъ понимаете». Вотъ какъ надо сказать! Потому честно, благородно и учтиво». Она не понимаетъ, должно быть, что Дулебову именно безъ «этихъ подлостевъ» и нельзя. Это очень хорошо зато понимаетъ Мелузовъ, очень изкоса поглядывающій поэтому и на молодого деликатнаго въ обращеніи, Великатова. Когда тотъ, подавая руку

ему, говоритъ: «очень пріятно съ вами познакомиться», Мелузовъ безъ всякихъ учтивостей ему отвъчаетъ: «Что же тутъ пріятнаго для васъ? Въдь это фраза. Ну, познакомились, такъ и будемъ знакомы. Вотъ и все.

Великатовъ (почтительно). Совершенно справедливо: очень много говорится пустыхъ фразъ, я съ вами согласенъ, но то, что я сказалъ, — извините, не фраза. Мнъ пріятно, что артистки выходятъ замужъ за порядочныхъ людей.

Мелузовъ, дъйствительно рышившійся жениться на Нъгиной, какъ будто сдается передъ такой задушевностью. Великатовъ, повидимому, еще болъе располагаетъ его къ себъ тымъ, что жалуется на одолъвающую прозу жизни. «И радъ бы въ рай, говорить онъ, да гръхи не пускаютъ».

Менузовъ. Какіе же гръхи за вами водятся?

Великатовъ. Тяжкіе. Практическія соображенія, матеріальные разсчеты—вотъ наши грѣхи. Постоянно вращаенься въ сферѣ возможнаго, достижимаго; ну, душато и мельчаетъ, ужь высокихъ благородныхъ замысловъ и не приходитъ въ голову.

Мелузовъ. Да что вы называете благородными замыслами?

Великатовъ. А такіе замыслы, въ которыхъ очень много благородства, и очень мало шансовъ на успъхъ.

Великатовъ, повидимому, говоритъ искренно. Но слова его пророчатъ студенту недоброе. Бъдный юноша, въ пылу своего идеалистическаго увлеченія, и не чуетъ, какъ мало и у него самого этихъ «шансовъ на успъхъ». «Ты постепенно улучшаешься, увъренно говоритъ онъ Нъгиной, и современемъ будешь....

Нъгина. Что буду, милый мой?

Мелузовъ. Будешь совсѣмъ хорошей женщиной, такой, какой надо, какъ это нынче требуется отъ вашего брата.

Нъгина. Да, я тебъ благодарна. Я ужь и такъ много лучше стала, я сама это чувствую....

А все тебѣ обязана, голубчикъ»....

Но она туть же и признается ему, что завидуеть своей товаркъ по профессіи, Смъльской, когда Великатовъ возить ее кататься на чудесныхъ своихъ лошадяхъ.... Ему приходится негодовать, когда Смъльская привозить ей отъ Великатова матеріи на платье и увозитъ Нъгину на катанье. «Вы не ревновать ли вздумали? говоритъ ему Смъльская. Такъ успокойтесь, онъ черезъ день уъзжаетъ, да и я не уступлю его Сашъ».—«Не уступлю, желчно передразниваетъ ее Мелузовъ. Вы меня извините, я такихъ отношеній между мужчинами и женщинами не понимаю».

А въдь кончается именно тъмъ, что Смъльская уступаетъ Великатова Нъгиной, сама переходя къ Дулебову. Дъйствительно, уъзжая послъ бенефиса Нъгиной, Великатовъ уъзжаетъ не одинъ.... Онъ начинаетъ съ того, что покупаетъ у нея весь бенефисъ, съ върнымъ, впрочемъ, разсчетомъ на сбытъ билетовъ (почему и Мелузовъ соглашается на подобную операцію). Но Нъгина тутъ же, при женихъ, говоритъ Великатову: «вы такой благородный человъкъ, такой деликатный... Я вамъ такъ благодарна, я не знаю, какъ и выразить.... Я васъ поцълую завтра»....

Но вотъ завтра, послъ бенефиса, она получаетъ два письма. «Да, милая Саша, говорится въ первомъ, искусство не вздоръ, я начинаю понимать это. Сегодня въ игръ твоей я нашель такъ много теплоты и искренности, что, просто тебъ сказать, пришель въ удивленіе. Я очень радъ за тебя. Послъ спектакля у тебя, въроятно, будетъ кто, нибудь; при твоихъ гостяхъ я всегда чувствую что-то непріятное: не то смущенье, не то досаду, и вообще мнъ какъ-то неловко. Всъ они смотрятъ на меня или враждебно, или съ насмъшкой, чего я, какъ ты сама знаешь, не заслуживаю. По всъмъ этимъ соображеніямъ я послъ театра къ тебъ не зайду, но если ты найдешь минуты двъ-три свободныхъ, такъ выбъги въ нашъ садикъ, я тамъ подожду тебя». Письмо это, разумъется, отъ Мелузова. Но вотъ другое: «Я полюбилъ васъ съ перваго взгляда... Извините, что я объясняюсь съ вами на письмъ; по врож-

денной робости, я никогда не осмълился бы передать вамъ мои чувства словами. Теперь мое счастье отъ васъ зависить. А счастье мое, о которомъ я мечтаю, обожаемая Александра Николаевна, вотъ какое: въ моей усадьбъ, въ моемъ роскошномъ дворцъ, моихъ палатахъ есть молодая хозяйка, которой все поклоняется, все, начиная съ меня, рабски повинуется.... Осенью мы съ очаровательной хозяйкой тдемъ въ одинъ изъ южныхъ городовъ; она вступаетъ на сцену въ театръ, который совершенно зависить отъ меня, вступаеть съ полнымъ блескомъ; я наслаждаюсь и горжусь ея успёхами... Приговоръ вашъ я прочту завтра въ вашихъ глазахъ»... Письмо это, конечно, отъ Великатова. Нъгина совътуется съ матерью; мать во всъхъ этихъ «учтивостяхъ» не разглядываетъ никакихъ «подлостевъ». Нъгина, въ борьбъ съ собою, хочетъ оставить это до завтра. «А теперь не мъщайте мнъ, говорить она матери. Я теперь такая добрая, такая честная, какой никогда еще не была и, можетъ быть, завтра уже не буду». Не стало увіренности въ себъ, —и ей, конечно, не устоять. На другой день бъдный Мелузовъ получаетъ отъ нея такую записку: «Петя, нынче ты не приходи къ намъ, сиди дома, жди меня, я сама зайду къ тебѣ вечеромъ». Долго пришлось бы ему ждать, если бы онъ не узналъ, что она убзжаеть. Онъ спъшить на жельзную дорогу. «Все правда, все правда, что ты говориль, исповъдуется она ему. такъ и надо жить всёмъ, такъ и надо.... А если талантъ, если у меня впереди слава? Что-жь мнъ, отказаться, а? А потомъ жалъть, убиваться всю жизнь?.... Если я родилась актрисой?

Мелузовъ. Что ты, что ты, Саша! Развъ талантъ и развратъ нераздъльны?

Нъгина. Да нъть, не разврать! Ахъ, какой ты!..... Ты думаль, что я могу быть героиней; а я не могу.... да и не хочу. Что-жь, мнъ быть укоромъ для другихъ? Вы, моль, воть какія, а я воть какая.... честная! Да другая, можеть быть, и невиновата совсъмъ....

Мелузовъ. Саша, Саша, да развъ честная жизнь укоръ

для другихъ? Честная жизнь—хорошій примъръ для подражанія.

Нъгина. Ну, вотъ видишь ты; значитъ, я глупа, ничего не понимаю... А мы съ маменькой такъ разсудили... мы поплакали, да и разсудили... А ты хочешь, чтобы я была героиней. Нътъ. ужь куда мнъ бороться... Какія мои силы! А все, что ты говорилъ, правда. «Я никогда тебя не забуду». И она уъзжаетъ съ Великатовымъ.

Мелузовъ остается на жертву насмѣшкамъ какого нибудь г. Бакина (одного изъ театральныхъ «поклонниковъ»). Но ему слишкомъ горько, чтобы обижаться ими. «Смъйтесь надо мной, говорить онъ, я не сержусь, я этого заслуживаю... Въдь смъшно, дъйствительно смъшно: бъдняга, на трудовыя деньги, выучился трудиться; -- ну, и трудись! А онъ вздумалъ любить! Нътъ, этой роскоши намъ не полагается». Но онъ туть же старается и ободрить себя. «У насъ, у горемыкъ, у тружениковъ есть свои радости, которыхъ вы не знаете, которыя вамъ недоступны. Дружескія бесёды за стаканомъ чаю, за бутылкой пива-о книжкахъ, которыхъ вы не читаете, о движеніи науки. которой вы не знаете, объ успъхахъ цивилизаціи, которыми вы не интересуетесь»... Бакинъ удивляется, что онъ такъ не обидчивъ; онъ думалъ, по его словамъ, что Медузовъ его на дуэль вызоветь. «Дуэль? зачьмъ? отвъчаеть студенть. У насъ съ вами и такъ дуэль, постоянный поединокъ, непрерывная борьба. Я просвъщаю, а вы развращаете». И онъ, не унывая, хочеть дёлать свое дёло до конца. «А если я перестану учить, говорить онъ, нерестану върить въ возможность улучшать людей, или малодушно погружусь въ бездъйствіе, махну рукой на все, тогда покупайте мнъ пистолетъ—спасибо скажу!»

И въдь это не фразы. Это не Жадовскія жалкія слова, идущія въ разръзь съ дълами... Мелузовъ въренъ себъ отъ начала и до конца, онъ цъленъ... Это одна изъ симпатичнъйшихъ личностей у Островскаго.

XIII.

"Красавецъ-мужчина".— "Везъ вины виноватые".— "Не отъ міра сего".

Казалось бы, идти далбе того, до чего походить любящая женщина въ «Последней жертве», такъ же точно нельзя, какъ и превзойти въ подлости пользующагося такою жертвою въ той же комедіи. Но оказывается, что и то и другое возможно, если только върить тому, что выставлено Островскимъ въ четырехъ - актной комедіи «Красавецъ-мужчина» *). О томъ, какъ сложился характеръ героя этой комедіи, Окоемова, мы узнаемъ отъ сестры его руководителя на попришѣ разврата. «Я его зазнала, разсказываетъ она про Окоемова, хорошенькимъ мальчикомъ съ ограниченнымъ состояніемъ; онъ учился плохо, но въ обществъ его любили и баловали... Онъ не кончилъ нигдъ курса и рано попаль въ дурное общество. Къ сожальнію, я должна сказать, что это... общество моего брата... Я живу съ братомъ для того, чтобы нашъ домъ имълъ хоть сколько нибудь приличный видъ... Я старая вдова, ко мет ничего не пристанеть, а если я брошу домъ, такъ они будуть верхомъ по комнатамъ бадить. Вы видъли нъкоторыхъ изъ нашихъ... Это недоучившіеся шалопаи... Они ужь были развратны, прежде чёмъ узнали жизнь, они ужь надёлали долговь, прежде чёмъ выучились считать деньги. И теперь ждуть только богатых в дуръ, чтобы поправить свои обстоятельства... Такой же и Окоемовъ. Онъ по душт не дурной человткъ (?), но пріобрть трактирныя привычки и легкій, почти презрительный взглядъ на женщину и ея душу... Зоя влюбилась въ него и вышла ва него замужъ, чему главнымъ образомъ способствовала ея

^{*)} Въ Собраніе сочиненій пока не вошла. Напечатана была въ "Огеч. Запискахъ" 1883 г. (япварь). Дъйствіе, сказано туть, происходить въ городъ Бряхимовъ, т.-е. гдъ то въ провинціи.

тетка, помъщанная на мужской красотъ» (Потомъ эта тетка сама выходить за одного изъ тёхъ молодыхъ шалопаевъ, которыхъ тутъ описала Сосипатра Семеновна). Руководитель Окоемова на столь благородномъ прприщъ. Лупачевъ. съ величайшимъ цинизмомъ излагаетъ бъдной Зоъ свою философію: «Когда люди сходятся по любви, такъ они и живуть въ любви, пока не надобдять другь другу; а когда бъдный человъкъ беретъ за женой большое приданое, такъ онъ, радъ ли, не радъ ли, а обязанъ любить».--И вы можете, возражаеть ему Зоя, такъ дурно думать о моемъ мужт и вашемъ другъ?» -Но Лупачевъ не конфузится: «Пора вамъ, Зоя Васильевна, говоритъ онъ, приходить въ совершеннолътіе. Браки между людьми не равнаго состоянія по большей части торговыя сдёлки-Богатый мужчина, если женится на бъдной, то говорять, что онъ береть ее за красоту, т.-е., проще сказать, платить деньги за ея красоту».

Зоя. Какъ это хорошо покупать женщинъ за деньги! Лупачевъ. Точно также не хорошо и женщинамъ покупать красивыхъ мужей.

Зоя. Да этого никогда не бываетъ, вы клевещете на жевщинъ.

Лупачевъ. Нътъ, бываетъ и очень часто... Въ бракахъ, которые основаны на денежныхъ разсчетахъ, любовь пропорціональна деньгамъ: чъмъ больше денегъ, тъмъ больше и любви; убываютъ деньги, и любовь убываетъ; кончаются деньги и любовь кончается, а часто и раньше, если въ другомъ мъстъ оказывается для нея богатая практика.

Зоя. Послушайте, я на васъ буду мужу жаловаться.

Лупачевъ. Жалуйтесь! А если вашъ мужъ думаетъ такъ же, какъ и я? тогда кому жаловаться?

Зоя. Во всякомъ случат ужь не вамъ.

Пупачевъ. Напрасно. Вы меня не объгайте, я гожусь на многое... быть хорошенькой женщиной — привилегія большая.

Зоя. Да, это по вашей денежной теоріи.

Лупачевъ. Чтожь дёлать! Прежде была теорія любви теперь теорія донегь.

Пъло въ томъ, что Лупачевъ готовить ее къ сюрпризу со стороны ея мужа-красавца. Ему, далеко не выпутавшемуся изъ долговъ при помощи ея средствъ, нужно съ ней развестись. чтобы жениться хоть на уродъ, да на богатой, а для этого она должна принять вину на себя. И Зоя, сперка негодующая, соглашается наконецъ: она разыгрываеть любовную сцену съ пріятелемъ мужа, Олешунинымъ, чтобы дать себя накрыть. Она ведетъ свою роль до того искусно, что у негодая мужа начинаетъ шевелиться ревность. Онъ дълаеть ей еще новое, совсъмъ уже неимовърное предложение. Онъ, видите ли, о ней же заботится -хочеть, чтобы она сошлась съ человъкомъ богатымъ, хотя и пожилымъ, --а именно съ его наставникомъ Лупачевымъ, который, къ тому же, давно ее любитъ. И что же? она, повидимому, готова согласиться даже на это, чтобы только угодить мужу. Начавъ было такими словами: «Я не могу, я не могу, ты туть (показывая на ipyds) разорваль все», она кончаеть темь, что береть его за лицо, пристально смотритъ на него и въ какомъ-то умиленій говорить: «Красавець!» Мы мало знаемъ страницъ не въ одной только отечественной литературъ, которыя производили бы болье отталкивающее впечатльніе. Если, къ несчастью, можно повърить, что «красавцымужчины» способны доходить до подобныхъ мерзостей, то мы совершенно отказываемся вфрить, чтобы женщина, до того оскорбленная въ своихъ чувствахъ, могла не только такъ рабски повиноваться своему оскорбителю, но еще и любоваться его позорною красотой.

Мораль въ комедіи соблюдена зато вполнѣ. Зло наказано, такъ какъ Окоемовъ ошибается въ своемъ разсчетѣ и на урода Оболдуеву (которая выходитъ за другого) и на другую, менѣе богатую, но красивую невѣсту, которой даютъ раскусить этого яснаго сокола. Не кто другой, какъ вѣрная ему, не смотря ни на что, Зоя спасаетъ его отъ окончательной погибели, выкупая его векселя и пре-

доставляя ему затемъ совершенную свободу. Комедія оканчивается патетическимъ монологомъ Зои. «Добрая, честная женщина, говорить она, способна на безконечную преданность, способна прощать мужу его недостатки, пороки, переносить незаслуженныя оскорбленія; въ горькихъ обстоятельствахъ терпънью ея нътъ конца; но знайте, что есть границы, за которыя честная женщина не перейдеть никогда». Въ сущности она перешла всъ такія границы и все это только фразы, фразы... Но авторъ заставляетъ Зою, въ довершенье всего, еще и питать какія-то невъроятныя надежды на исправленіе «красавна-мужчины». «Всякій хорошій поступокъ вашъ, сентиментально резонерствуетъ Зоя, будетъ приближать васъ ко мнъ и всякій дурной-отдалять отъ меня. Я ужь не убъждаю васъ, я прошу васъ.. вы видите мои слезы... постарайтесь быть порядочнымъ человъкомъ (!!!) и доставьте мнъ счастье опять полюбить васъ». Во всемъ этомъ, по нашему крайнему разумѣнію, самая вопіющая фальшь, полнъйшая психологическая несообразность, объясняемая, думаемъ мы, ръшительнымъ ослаблениемъ творческой силы Островскаго *). Если Настенька привязана къ Калиновичу какой-то собачьей привязанностью (въ «Тысячъ душъ» Писемскаго), то Зоя даже ее превосходитъ. Мы туть ръшительно попадаемъ въ область психіатріи, хотя автору, повидимому, казалось, что онъ, въ лицъ Зоя, противопоставилъ своему «красавцу мужчинъ » въ своемъ родъ идеальную женскую личность. Дъло было бы еще понятно, если бы онъ выставиль ее увлекающеюся какою нибудь пародированною теоріею «непротивленія злу», доводящею увлеченье этимъ ученьемъ, такъ сказать, «до чертиковъ». Нозвъдь Зоя не имъетъ о немъ никакого понятія.

Замътные признаки упадка творческой силы, связанные, надо думать, съ постепенно развивавшеюся болъзнью

^{*)} Не трудно замѣтить, что въ пьесахъ послѣдняго періода и самый языкъ оказынается часто какимъ-то его собственнымъ, а не языкомъ, по-лобающимъ тому или другому дѣйствующему лицу.

нашего драматурга, обнаруживаются и въ его предпослъднемъ произведении – четырехъ-актной комедіи «Безъ вины виноватые» *). Это темъ более жаль, что туть онъ коснулся такого жизненнаго положенія, къ которому прежде не обращался. Къ значительной у него галлерев типовъ изъ міра «униженныхъ и оскорбленныхъ» присоединился туть типь «подзаборника». (Печальная кличка молодого актера Незнамова. По двумъ своимъ послъднимъ актамъ, замътимъ кстати, комедія эта относится къ артистическому міру). Первое дъйствіе скорье можать быть названо прологомъ къ ней, разыгрывающимися за 17 лътъ до трехъ остальныхъ дъйствій комедіи, скоръе заслуживающей названія драмы или даже мелодрамы (къ сожалънію, во всемъ стров пьесы есть что то мелодраматическое, точно будто навъянное столь знакомыми нашей сценъ Французскими устарълыми образцами). Основа, сама по себъ, тутъ простая, неръдко уже встръчавшаяся намъ у Островскаго — бездушный негодяй, увивавающійся доброю и довърчивою дъвушкою, готовою отдать ему даже свои послъднія трудовыя деньги, и бросающій ее ради выгодной партіи. Но туть оказывается еще и не встрфчавшееся до сихъ поръ у Островскаго осложнение: у нихъ есть сынъ, которому, во время измѣны Мурова Любови Ивановнъ, уже около пяти лътъ. Узнавая Мурова на той карточкъ, которую показываеть ей разбогатъвшая ея пріятельница, какъ карточку своего жениха, она прогоняетъ его, спрятавшагося отъ этой гостьи у нея же въ комнатъ, и туть же узнаеть, что ихъ ребенокъ, помъщенный ею у мъщанки Галчихи, при смерти боленъ. Мы встръчаемъ ее за тъмъ, уже семнадцать лътъ спустя, въ качествъ извъстной провинціальной актрисы, прітхавшей дать нъсколько представленій въ тоть самый губернскій городъ, въ которомъ разыгралась ея печальная исторія съ Муровымъ. Ей приходится тутъ, между прочимъ, играть мать, у которой на рукахъ умираетъ сынъ. Почитатель ея та-

^{*) &}quot;Отеч. Записки" 1884 г. (Январь).

ланта Дудукинъ пораженъ темъ чувствомъ, которое вложила она въ свою игру, а она, въ порывъ откровенности, сознается ему, что она не играла, а переживала то, что когда-то было съ нею самою. Вся разница въ томъ, что сама она слегла тогда въ постель, впала въ безпамятство и не могла ни закрыть глазъ своему мальчику, ни присутствовать на его похоронахъ: Но есть тутъ и другая, болъе существенная, разница, ею и не предполагаемая: ее только увърили, что сынъ ея умеръ (это были продълки того же негодяя отца его, боявшагося своей богатой супруги); онъ на самомъ дёлё живъ и играетъ тутъ же на провит діальной сцент. О томъ, что онъ живъ, и черезъ какія мытарства пришлось ему пройти, она узнаеть отъ выростившей его, случайно попадающей къ ней, уже старой теперь мѣщанки Галчихи. Вотъ эти-то мытарства, внезапное раскрытіе всего обмана, узнаніе посредствомъ медальона, -и переносять нась на почву мелодрамы, а равно и то, что тутъ на первомъ планъ драматическая интрига, а не психологія. Въ этой послъдней, т.-е. въ раскрытіи душевныхъ отношеній между матерью и сыномъ, и долженъ бы заключаться настоящій интересь, но онь, къ сожальнію, возбуждается слишкомъ слабо. Самою живою является та сцена, гдъ Незнамовъ, за котораго Кручинина (артистическая фамилія Любови Ивановны) ходатайствовала передъ губернаторомъ послъ вышедшей у него исторіи, — гдъ этотъ еще неузнанный сынъ, и самъ не узнающій въ ней мать, ей же еще и выговариваеть за непрошенное вм вшательство. Смягченный тою кротостью, съ какою она ему отвъчаетъ, онъ начинаетъ сознавать свою вину, и просить у нея позволенія поцъловать у нея руку. «То есть вы протяните мет ее, какъ милостыню, говоритъ онъ. Нътъ, если вы чувствуете ко мнъ отвращение, такъ скажите прямо.

Кручинина. Да нътъ же, нътъ, я очень рада.

Незнамовъ. Въдь въ сущности я дрянь, да еще подваборникъ.

Онъ не можетъ забыть этого слова, изъ-за котораго

вышла у него исторія. Но и Кручинина, протягивая ему руку, вскрикиваетъ: «не говорите этого слова, я не могу его слышать». Незнамовъ цёлуеть ея руку, она прижимаеть его голову къ груди и крѣнко цѣлуетъ. Тутъ. подъ вліяніемъ внутренняго голоса, уже совершается узнаніе. Оставалось бы дать ему до конца совершиться тъмъ же чисто исихологическимъ путемъ, вполнъ возможнымъ послъ того, что узнала Кручинина отъ Галчихи, а равно и послъ довольно ясно высказываемыхъ, передъ Кручининой предположеній Дудукина. Но нашъ драматургъ отказался отъ такого пути; онъ предпочелъ ему другой — болъе эффектный, мелодраматическій. Правдиво и просто, конечно, то, что говорится Незнамовымъ своему товарищу подъ неотразимымъ, совершенно особеннаго рода обаяніемъ для него Кручининой, «Я только разъ поговорилъ съ ней, и всв наши выходки, молодечество, ухарство, напускное презръніе къ людямъ, показались мнъ такъ мелки и жалки, и самъ я себъ показался такъ ничтожень, что хоть сквозь землю провалиться. Мы при ней и разговаривать-то не должны! а стоять намъ дурачкамъ молча, опустя голову, да ловить, какъ манну небесную, ея кроткія, умныя ръчи». Правдивъ и простъ и его отвътъ на передаваемыя ему сплетни о какихъ-то ея «старыхъ гръщкахъ»: «вы сами же и сочинили какую-нибудь гадость, да и разславляете ее вездѣ». «Ты скажи всѣмъ» (обращается онъ къ одному изъ актеровъ), что я обижать ее не позволю, что я за нее... Въдь я круглый сирота... повъришь ли, я вчера въ первый разъ въжизни видълъ ласку матери» (т.-е. именно отъ нея). Но мы не можемъ уже считать простымъ и правдивымъ того, что онъ тутъ же почти и начинаетъ уступать возбуждаемымъ въ немъ подозрѣніямъ и, вмѣсто того, чтобы прибѣгнуть къ задушевной бестать съ нею, ръшается на вечерт нанести ей публичное оскороленіе тостомъ «за матерей, которыя бросають детей своихь». Это нужно для того, чтобы вследь затъмъ произнесть ему еще и патетическую публичную рѣчь на тему о «подзаборникахъ» — съ намекомъ на «золотую бездёлушку», которую «вёшають своему ребенку бросающія ихъ матери». — Это нужно и для того, чтобы Кручинина бросилась къ нему и достала съ его груди медальонъ, т.-е. это нужно для эффектнаго узнанья ими другь друга. Публика должна быть потрясена и тёмъ, что Кручининой дурно, что она какъ бы близка къ смерти, но приходитъ въ себя, говоря: «отъ радости не умираютъ». Но въ одномъ отношеніи развязка оказывается правдивою и простою. Кручинина не хочетъ и знать Мурова, который туть какъ тутъ, давно уже овдовъвшій и готовый предложить ей теперь свою руку. «Твой отецъ не стоитъ того, чтобъ его искать», говоритъ она Незнамову, упавшему передъ ней на колёни съ крикомъ: «мама! мама»! и спрашивавшимъ затъмъ, гдъ его отецъ?

Отъ радости не умираютъ, хотя бы и радости неожиданной. За то умирають отъ горя, тёмъ болёе, если это внезапное горе. Воть что хотъль показать Островскій въ своемъ послъднемъ произведеніи: «Не отъ міра сего» (семейныя сцены въ 3-хъ действіяхъ) *). Съ другой стороны онъ въ немъ какъ бы предсказалъ свою собственную, тоже почти внезапную, смерть (хотя и подготовленную давнишнимъ недугомъ). У матери совершенно отъ сего міра, чего то въ родѣ полупросвѣщеннаго самодура въ юбкъ, купчихи, вышедшей замужъ за генерала Снафидина, показнымъ манеромъ вдающейся въ ханжество и читающей прописную мораль, оказывается тутъ дочь-Ксенія Васильевна, совстить не похожая на свою практическую сестрицу, скорве напоминающую пословицу о яблочкъ, не падающемъ далеко отъ яблони. Но Ксенія Васильевна, себъ на бъду, вышла за мужъ за человъкаи очень себъ на умъ, и порядочно таки безпутнаго. Онъподъ вліяніемъ пріятеля своего, Муругова, «богатаго барина, живущаго очень широко» (какъ значится въ росписаніи действующихъ лицъ). Понятнымъ образомъ разстроивъ себъ, при подобномъ же пошибъ мужа, свое и

^{*) &}quot;Русская Мысль", 1885 г., февраль.

безъ того ненадежное здоровье, Ксенія Васильевна уфхала отъ него за границу. Она возвращается вслъдствіе нарочно распущенныхъ слуховъ о растратт въ томъ частномъ банкъ, глъ онъ служитъ, растратъ, которой, быть можеть, онь же и причиною. Слухи разсчитаны на то, чтобы окончательно ее удалить отъ Кочуева и побудить тещу не выдавать ему остальныхъ, объщанныхъ за нею, 100 тысячъ. Но на любящую и прощающую душу Ксеніи Васильевны слухи эти дъйствують прямо обратнымъ образомъ. Она спъшитъ къ мужу, чтобы уплатить за него, если причиной растраты онъ. Слухъ оказывается ложнымъ, но она прівзжаеть кстати, такъ какъ онъ решиль измънить свое поведение, чтобы не отталкивать отъ себя жену, т. е. не терять тещиныхъ денегъ. Онъ даже отказывается отъ Муругинскаго пихника (по 300 р. «съ физіономіи»), но въ тотъ вечеръ, когда прітажаетъ жена, оказывается однако находящимся въ театръ. Ее встръчаетъ пріятель его Елоховъ, человъкъ порядочный, настраиваювающій ее въ пользу добрыхъ намфреній Кочуева. Она съ увлечениемъ вфритъ имъ, не запинаясь и за отсутствие мужа, которое не совствить то кстати въ такую пору, когда приходилось поджидать ее со дня на день. Намъ кажется, что пьеса выйграла бы въ драматизмъ, если бы въ Ксеніи Васильевнъ обнаруживалось колебаніе между върою въ исправленіе мужа и сомнініями, совершенно понятными послъ его прежней жизни. Между тъмъ она слишкомъ ровно въритъ, и только воспоминанія наводитъ ее на раздумье, выражающееся съ другой стороны нъсколько резонерски. «Кроткая женщина, говорить она, не столько радуется тому, что ее любять, сколько торжествуеть, что родъ людской еще не совсъмъ палъ, что не одна красота, а и скромное, любящее сердце могутъ найти себъ оцънку. Это святое, духовное торжество, это ни съ чъмъ не сравнимая радость побъды добра и честной жизни надъ зломъ и развратомъ. Ну, вотъ и посудите теперь, честно ли обмануть такую женщину»... «У страстной, энергической женщины, продолжаеть она (и туть уже безь резонерства),

явится ревность, она отомстить или мужу, или соперницъ, для оскорбленнаго чувства найдется выходъ, а кроткая женщина и на протестъ не ръшится; для нея все это такъ гадко покажется, что она только уйдеть въ себя, сожмется, завянетъ»... Ксенію Васильевну вдругъ пригрѣваетъ солнцемъ, она оживаетъ, -- но не на долго. Напрасно мужъ манить ее надеждою на будущую жизнь вдвоемъ въ Крыму-на вновь покупаемой ими дачъ; -злые люди мъшають осуществленію этой надежды. Искатель руки ея сестры, добивающійся того, чтобы все состояніе Снафидиной (матери объихъ сестеръ) перешло въ руки его невъсты, вполнъ входящей въ его виды, находить на столъ у Кочуева неосторожно не прибранные имъ убыточные счеты для M-elle Клемансъ. Овладъвъ ими, онъ кладетъ ихъ въ видъ закладки въ книжку, которую посылаетъ ей отъ Кочуева. Этому предшествуетъ счастливая сцена между мужемъ и женой, гдъ Ксенія Васильевна добросовъстнъйшимъ образомъ перечисляетъ свои недостатки, къ которымъ причисляетъ и крайнюю впечатлительность, нервность. Она сознается мужу, что не выносить его пріятеля Муругова (того самаго, который устраиваль пикникъ по 300 р. «съ физіономіи»). «Какъ я увижу его, говорить она, такъ мнъ кажется... мнъ кажется, - повъришь ли?--что онъ пришелъ за душой моей». А Муруговъ тутъ какъ тутъ. Стремясь увлечь ея мужа изъ дому (чему тотъ однако не поддается), онъ болъзненно затрагиваетъ ее разсказомъ про одну даму, которая «минуты не можетъ быть безъ мужа и очень печалится, когда мужъ не береть ее съ собой въ окружной судъ на канедру: я бы, говорить, никому не мъщала; я бы глядъла ему въ глаза и держала его за руку». Муруговъ уходитъ, а она сама сознается, что какъ-то при немъ «смѣшалась и поглупѣла». «Сама чувствую, говорить она, что глупости говорю, а остановиться не могу. Хочу поправиться, и скажу что нибудь еще глупъе». Мужъ просить ее успокоиться, самъ отправляясь съ Елоховымъ въ шахматы поиграть. Вотъ туть-то и приносять Ксеніи Васильевнѣ книжку съ роковыми счетами. Если не предвъстникъ Муруговъ, то эти счеты явились за ея душою. Она вдругъ падаетъ съ того неба, на которомъ думала успокоиться. Приступы бреда, галлюцинацій. Она опять поминаетъ Муругова, не велитъ его пускать, посылаетъ за мужемъ. Еще нъсколько мгновеній, и ея рука на прощанье протягиваетя къ нему, опускающемуся передъ ней на колъни. «Я... люблю... тебя»... шепчетъ она черезъ силу. «И прощаешь?», спрашиваетъ онъ, цълуя у нея руку. «И прощаю», подтверждаетъ она, испуская духъ.

Предсмертная піеса Островскаго закончилась такимъ образомъ трагическимъ мотивомъ. Послёднимъ произведеніемъ его кисти осталась идеальная женская личность, къ сожалёнію, далеко не дорисованная. Оттого-то и внезапная смерть Ксеніи является не достаточно подготовленною.

XIV.

Заключеніе.

Мы разсмотръли, болъе или менъе подробно, всъ 47 пьесъ Островскаго, отличающихся самымъ различнымъ объемомъ—начиная отъ сценъ въ одномъ дъйствіи и кончая пяти-актными комедіями и драмами. Онъ переиспыталь свои силы, какъ видъли мы, во всъхъ родахъ драматической литературы (кромъ, разумъется, водевиля), причемъ грани отдъльныхъ родовъ переступались имъ очень свободно, такъ что лучшія произведенія его являлись соединеніемъ, такъ сказать, въ различныхъ дозахъ двухъ основныхъ стихій драматическаго творчества—комической и трагической.

Мы разсматривали труды Островскаго по преимуществу въ томъ порядкъ, въ какомъ появлялись они одинъ ва другимъ (съ самыми незначительными уклоненіями отъ этого правила); мы доискивались въ каждомъ изъ нихъ

того, что въ немъ есть; мы старались уразумёть нашего драматурга, какимъ онъ проявилъ себя самъ, въ своемъ совершенно свободномъ, не тенденціозномъ творчествѣ. Мы могли убѣдиться въ томъ, что Добролюбовская формула «самодурства» слишкомъ узка для него, что въ нее далеко не укладываются его разнообразныя произведенія, особенно же произведенія второй половины его литературной дѣятельности (которыхъ не могъ имѣть въ виду Добролюбовъ). Мы потому-то и предпочитаемъ нѣсколько неопредѣленную, но зато широкую формулу Аполлона Григорьева—формулу «народности». Она, мы согласны, черезъчуръ широка; зато она не служитъ для произведеній Островскаго прокрустовымъ ложемъ.

Ла, Островскій — народный поэть, хотя у него и всего менње того, что принято у насъ называть народными типами, т.-е. типами изъ жизни простого народа, являющагося основною стихіею Русской народности. Самые крестьяне являются у него, по преимуществу, въ несочувственномъ для народа видъ оторвавшихся отъ своей земледъльческой почвы и перешедшихъ на почву торговую. Главнымъ же образомъ встръчаемся мы у него съ купцами не со вчерашняго дня, купцами, которые могли бы, пожалуй, указать на свою особую, купеческую родословную. Наряду съ ними встречаемся мы у Островскаго съ барами-какъ издавними и владъющими помъстьими, такъ и со всякими пролъзающими въ барство по ступенькамъ служилой лъстницы. Все это, стоящее надъ народомъ, можно сказать, окрашивается въ его глазахъ одною краскою, разсматривается имъ съ одной общей точки эрвнія. Вотъ эта-то точка зрвнія прямо и заимствована у самого народа нашимъ драматургомъ; она дъйствительно сводится къ самодурству, которое, стало быть, не даромъ усматривалось у Островскаго, но къ самодурству, понимаемому такъ широко, что тутъ далеко не достаточно тъхъ успъховъ умственнаго развитія, на которые возлагали всю надежду Добролюбовъ и вслъдъ за нимъ Писаревъ (послъдній едва ли еще не болъе). Типъ самодура давно уже данъ въ народной поэзіи — въ дицъ того Новгородскаго не то купеческаго, не то боярскаго сынка Васеньки Буслаева, которому вполнъ далась грамота и который, не смотря на то, пошучиваль такимъ образомъ, что кого схватитъ за руку — рука прочь, кого за ногу — нога прочь. Васенька, набравъ себъ особую наемную дружину приманкою: «кто хочетъ пить и ъсть изъ готоваго, тотъ вались къ Васькъ на широкій дворъ», испытавъ выносливость этой дружины ударами по лбу червленымъ вязомъ, становится во главъ ея, не признавая надъ собою никакого закона, и кончаетъ тъмъ, что, вызывая на бой весь Великій Новгородъ, даетъ своей рукъ-владыкъ разгуляться по мужикамъ Новгородскимъ-такъ и валяетъ ихъ съ моста въ Волховъ, въ этомъ смыслъ становясь какимъ-то эпическимъ предвозвъстникомъ историческаго Грознаго. Основа подобнаго рода подвиговъ-это сила, просто, какъ сила, возмнившая себя и властью, сила, позабывшая о какихъ либо нравственныхъ основахъ власти, о той «править – царицъ», въ которой коренится настоящая власть. Въ Васькъ Буслаевъ, можно сказать, предуказаны вст самодуры Островскаго. Типъ народнаго эпоса пирокъ-подъ него могутъ быть подведены, какъ ни грубы его богатырскія очертанія, соотвътственныя явленія всевозможныхъ странъ и временъ. Въ своемъ родъ пирокъ и типъ самодура въ комедіяхъ и драмахъ Островскаго (не слъдуетъ тутъ забывать и «Василису Мелентьеву»), - онъ несравненно шире того, какъ понимала его наша критика, сводя его собственно къ зауряднымъ купцамъ и помъщикамъ патріархальнаго покроя. Въ народномъ эпосъ типъ самодура Васьки, не то купчика, не то боярченка, прямо противоположенъ типу крестьянскаго сына Ильи, избирающаго мъстечко середнее межу голями, не позволяющаго самодурствовать и Владиміру, сдающагося передъ его челобитьемъ собственно ради матушки свято-Русь-земли, ради бъдныхъ вдовъ и малыхъ дътей. Это типъ земскій, произведеніе той общинной почвы, отрозненность отъ которой представляется народу жизнію не по разуму, не по Божьему, а на вольной волъ своихъ дурящихъ причудъ. Если міръ Гоголевскихъ типовъ назвали мы въ своемъ мъстъ «областью отрозненной личности» *), т.-е. личности, обособившейся отъ великаго целаго (таковъ и міръ Гриботдовскій, за исключеніемъ, разумтется, Чацкаго), то то-же название вполнъ подобаетъ и той, на половину купеческой, на половину помъщичьей и служилой средъ, которую охватилъ Островскій, какъ широкую область барства вообще. Но у него постоянно сказываются — въ людяхъ изъ разныхъ слоевъ общественныхъ, и отзвуки того противоположнаго Васькъ Буслаеву типа эпическаго, корни котораго находятся тамъ, гдф нфтъ и въ поминъ барства или какихъ нибудь поползновеній на барство. Такіе отзвуки слышатся у Островскаго во всевозможныхъ варіаціяхъ — начиная съ гулящаго, но не загубившаго въ себъ душу живу, Любима Торцова и до степеннаго, обрекающаго на служенье общему дёлу и свою патріархальную власть въ семьъ, Козьмы Минина, или же поневоль уходящаго въ вольницу, но сохраняющаго и въ ней твердую память объ идеалъ семейномъ и идеалъ общественномъ, Дубровина. Писаревъ въ свое время утверждаль, возражая Добролюбову, далъе котораго онъ думалъ идти, будто «ни одно свътлое явленіе не можетъ ни возникнуть, ни сложиться въ «темномъ царствъв» патріархальной Русской семьи, выведенной на сцену въ драмъ Островскаго» **). Островскій, напротивъ, умёлъ указать намъ въ ней, и указать правдиво, не одно такое явленіе - конечно, помимо превознесенной Добролюбовымъ Катерины, которую Писаревъ вполнъ основательно отказывался окружать какимъ либо свътлымъ ореоломъ. Мы видимъ у Островскаго, помимо ея, цёлый сочувственный рядъ жен. скихъ личностей, начиная съ самоотверженной и въ своей приниженности Дуни, такъ чутко отмъченной широкимъ сердцемъ Добролюбова, и кончая старушкой Кругловой, не сдающейся ни на какіе соблазны купца Ахова. Мы ви-

^{*) &}quot;Историческій Вѣстникъ" 1886, Іюпь.

^{**)} Сочиненія, т. І, стр. 211.

димъ у него и нравственно стойкую Аннушку (въ «Бойкомъ Мъстъ»), и одаренную «горячимъ серппемъ» Парашу, и отличающуюся не только теплотою, но и всеобъемлющею широтою сердца, Въру Филипповну (въ комедіи «Сердце не камень»). Ключъ къ пониманію воспроизводимой имъ. въ ея разностороннихъ явленіяхъ, много объемлющей жизни даль намъ Островскій въ нісколько странных по формъ, но глубокихъ по смыслу, словахъ своего Платона Зыбкина, разлъляющаго людей на «мерзавцевъ своей жизни» и «патріотовъ своего отечества». Если нашъ драматургъ передъ нами цълое множество «мерзавцевъ» «мерзавокъ», живущихъ во всю ширь своего затвшагося и оскотълаго эгоизма, то онъ же вывель передъ нами и не мало «патріотовъ», т.-е. разваго рода и разнаго положенія людей, не позабывающихъ о томъ, что они не одни на свътъ, постоянно тяготъющихъ къ широкому и все болъе и болъе разширяющемуся кругу - семьъ, обществу, отечеству. При подобной нравственной закваскъ и незначительная доля умственнаго развитія уже идеть въ прокъ. Такъ оно вышло съ тъмъ же Платономъ, про котораго не даромъ говоритъ его мать, что «онъ чему учится-то, все это за правду принялъ, всему этому повърилъ» («Правда хорошо, а счастье лучше»). Тъмъ еще болъе проку можеть, разумъется, принести такая уже большая доля развитія, какая достается студенту Мелузову («Таланты и Поклонники»), --- опять-таки при полнъйшемъ отсутствии въ немъ всякой барской, вводящей въ соблазнъ, закваски. Эта послъдняя все же, должно быть, есть у прошедшаго черезъ тоть же университеть Жадова, - а потому-то онъ и не приняль за правду того, чему его тамъ учили.

Такъ ярко рисун намъбарственность въ широкомъ смыслъ — т.-е. совокупность тъхъ качествъ, которыя вытекають изъ пользованія большими средствами и сознанія преимуществъ такого пользованія, Островскій рисуетъ намъ и тъ другіе изъяны душевные, ту степень всякаго рода приниженности, которые вытекаютъ изъ сознанія бъднымъ людомъ всей своей зависимости отъ богачей, — при далеко не обез-

печивающемъ трудовомъ заработкъ. Но и туть онъ умъетъ намъ показать, въ дипъ нъкоторыхъ, замъчательную силу нравственнаго устоя, не останавливающагося ни передъ какими испытаніями. Зато съ другой стороны- и это особенно въ произведеніяхъ второй половины своей жизнионъ выставляетъ передъ нами способность на сдёлки, зависящую уже не отъ того, что тсть нечего, а отъ желанія пожить широко, пожить всласть, пожить, какъ живуть богачи-самодуры. Такая способность сказывается у него въ лицъ разныхъ, выражаясь словами его Платона, «мерзавцевъ» и «мерзавокъ» -- преимущественно въ видъ различныхъ свадебныхъ сделокъ самаго грязнаго обманноворовскаго характера. Мы видёли, что одну изъ своихъ комедій послёдней поры Островскій озаглавиль: «Невольницы». Но онъ вывель такихъ невольницъ не только въ ней, но и во многихъ другихъ, онъ вывелъ въ нихъ также и невольниковъ, -- да, невольниковъ своихъ ственныхъ наклонностей, своей жажды «широкой жизни». приводящей ихъ къ культу золотого тельца, къ принесенію ему въ жертву самой есновной изъ святынь, святыни семейнаго начала. Островскійглубоко поняль этоть челов ко-убійственный культь, какъ ту болъзнь нашего въка, которая подкапываеть всв его успъхи на поприще гражданской свободы, подканываетъ до того, что при этомъ культъ невольно теряется довърение къ самымъ усовершенствованнымъ формамъ политической жизни. Островскій ярко изобличаетъ этотъ культь въ типахъ Русскаго общества, но ихъ приходится часто понимать широко-въ общечеловъческомъ современномъ смыслъ. Съ обличениемъ культа золотого тельца въ его пьесахъ соединяется могучій запросъ на ту силу нравственную, безъ которой, выражаясь языкомъ Посошкова, «ни коими дълы невозможно» *). Онъ рисуетъ намъ и картины самаго глубокаго нравственнаго паденія, и картины высокаго нравственнаго устоя, пересиливающаго всякую среду. Онъ, подобно другимъ нашимъ современнымъ писа-

^{*)} Т.-е. ни въ какомъ деле обойтись нельзя.

телямъ (за исключеніемъ Писемскаго), является въ одно и тоже время и полнъйшимъ реалистомъ и истымъ идеалистомъ (Писемскій только реалистъ, или даже натуралистъ). Подобно имъ, онъ и въ этомъ, какъ въ широтъ пониманія имъ самодурства со всъми его общественными послъдствіями и единственными върными средствами противъ него, насгоящій народный писатель *).



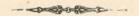


^{*)} Въ Іюльской книжей "Историческаго Въстника" за 1887 г. появилась статья объ Островскомъ П. Н. Полевого. Въ ней также развинается масль объ односторопности Добролюбовской формулы, по авторъ, какъ кажется намъ, уже слишкомъ умаляетъ значеніе критики "темнаго дарства".



замфченныя опечатки.

Cmp.	Строка.	Напечатано:	Должно быть:
29	12 сиизу	отюда	отсюда
34	15 снизу	стр. II, 5—7	П, стр. 5—7
68	15 сверху	пръзжаетъ	пр іѣзжает ъ
75	7 "	святотаецъ	святотатець
87	5 "	угадавъ чувства	угадаль чувства
148	9 си и зу	самодурвствоиъ	самодурствомъ
179	3 сверху	Я видинь	я, видишь
193	9-10 снизу	что значить	что значать
209	4 снизу	Вотъ и ужь	Воть я ужо
210	7 сверху	говорить	говоритъ
261	16 снизу	Лиза, недавно увъряла	. Гиза недавно увѣряла
293	20 сверху	небсеный	небеснии
296	12 "	Разбойникамъ	Разбойникомъ
301	7 снязу	т ут ъ "н есъ"	тоть "песъ"
315	9 ,,	Не смотря на свои раны	He смотря на его раны
321	3 сверху	она выражается	нэтважается
327	8 "	ее крестная мать	ея крестная мать
331	16 "	лиодик инпотратки	пятистопнымъ ямбомъ













Biblioteka WSP Kielce



